

**ЛЕОНИД
АНДРЕЕВ**

КРАСНЫЙ
СМЕХ
(СБОРНИК)

Леонид Николаевич Андреев

Красный смех (сборник)

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172475
Красный смех: Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет; М.:; 2000
ISBN 5-04-004476-3

Аннотация

В прозе Леонида Андреева причудливо переплелись трепетная эмоциональность, дотошный интерес к повседневности русской жизни и подчас иррациональный страх перед кошмарами «железного века». Любовь и смерть, жестокосердие и духовная стойкость человека – вот главные темы его повестей и рассказов, ставших одним из высших достижений русской литературы начала XX столетия. В этом томе представлены его лучшие повести и рассказы.

Содержание сборника:

Жизнь Василия Фивейского

Иуда Искариот

Красный смех

Рассказ о семи повешенны

Мысль

Жили – были

Так было

Баргамот и Гараська

Петька на даче
Полет
Мельком
У окна
Большой шлем
Случай
Город
Нет прощения
Христиане
Иван Иванович
Правила добра
Он
Ослы

Содержание

Автобиографическая справка	9
Жизнь Василия Фивейского	16
1	16
2	22
3	30
4	33
5	43
6	53
7	66
8	76
9	88
10	97
11	105
12	116
Иуда Искариот	130
1	130
2	139
3	152
4	161
5	172
6	183
7	193
8	204

9	215
Красный смех	227
Часть I	227
Отрывок первый	227
Отрывок второй	232
Отрывок третий	237
Отрывок четвертый	237
Отрывок пятый	246
Отрывок шестой	256
Отрывок седьмой	264
Отрывок восьмой	265
Отрывок девятый	269
Часть II	277
Отрывок десятый	277
Отрывок одиннадцатый	281
Отрывок двенадцатый	283
Отрывок тринадцатый	285
Отрывок четырнадцатый	287
Отрывок пятнадцатый	291
Отрывок шестнадцатый	294
Отрывок семнадцатый	300
Отрывок восемнадцатый	300
Отрывок последний	305
Рассказ о семи повешенных	314
1. В час дня, ваше превосходительство	314
2. К смертной казни через повешение	324

3. Меня не надо вешать	332
4. Мы, орловские	348
5. Поцелуй – и молчи	357
6. Часы бегут	367
7. Смерти нет	369
8. Есть и смерть, есть и жизнь	379
9. Ужасное одиночество	387
10. Стены падают	395
11. Их везут	402
12. Их привезли	416
Мысль	427
Лист первый	428
Лист второй	438
Лист третий	446
Лист четвертый	452
На клочке	462
Лист пятый	463
Лист шестой	472
Лист седьмой	478
Лист восьмой	488
Жили-были	496
1	496
2	505
3	512
4	523
Так было	528

1	528
2	534
3	539
4	545
5	550
6	554
7	559
8	565
Баргамот и Гараська	572
Петька на даче	586
Полет	601
1	601
2	608
3	613
4	620
5	628
Мельком	629
У окна	642
Большой шлем	676
Случай	691
Город	703
Нет прощения	713
Христиане	741
Иван Иванович	769
1	769
2	776

Правила добра	786
1	786
2	801
3	817
Он	826
1	826
2	834
3	842
4	856
5	861
6	868
7	875
Ослы	887
1	887
2	891
3	897
Эпилог	904

Леонид Андреев

Красный смех (сборник)

Автобиографическая справка

Я плохо знаю моих восходящих родных: большинство из них умерло либо безвестно затерялось в жизни, когда я был еще маленьким. Но насколько могу судить по тем немногим данным, которые дало мне наблюдение, мое влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую. Именно в этой стороне я нахожу наибольшее количество людей одаренных, хотя одаренность их никогда не поднималась значительно выше среднего уровня и часто, под неблагоприятными влияниями жизни, принимала уродливые формы. Бескорыстная любовь к вранью и житейскому вредному сочинительству, которой иногда страдают обитатели наших медвежьих углов, часто бывает неразвившимся зародышем того же литературного дарования. И пылкое фантазерство, не находившее себе границ в условиях скудной действительности, составляло характерную черту некоторых моих родственников, повторяю, уже умерших. В смысле обычной талантливости они, оставаясь самоучками, проявляли себя так: одни любили и умели рисовать, но не шли дальше лошадей и турок в фесках; другие имели склон-

ность к музыке, но другого инструмента, кроме трехрядной гармонике, не знали. Покойный отец мой был человеком ясного ума, сильной воли и огромного бесстрашия, но к художественному творчеству в какой бы то ни было форме склонности не имел. Книги, однако, любил и читал много, к природе же относился с глубочайшим вниманием и той проникновенной любовью, источник которой находился в его мужицко-помещичьей крови. Был хорошим садоводом, всю жизнь мечтал о деревне, но умер в городе.

Чтобы покончить с вопросом о наследственности, скажу, что отец и мать поженились очень рано, оба были людьми здоровыми и очень крепкими, а отец, кроме того, отличался огромной физической силой. В городе отец умер рано, всего сорока двух лет, скоропостижно, от кровоизлияния в мозг; в деревне он мог бы дожить и до ста лет.

Читать я начал шести лет и читал чрезвычайно много, все, что попадалось под руку; лет с семи уже абонировался в библиотеке. С годами страсть к чтению становилась все сильнее, и уже с десяти-двенадцати лет я начал ощущать то известное провинциальному читателю чувство, которое могу назвать тоскою о книге. Моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем «В чем моя вера?» Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра и в то же время

наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкниги «Учение о пище» Мошотта. К двадцати годам я был хорошо знаком со всею русскою и иностранною (переводною) литературою; были авторы, как, например, Диккенс, которых я перечитывал десятки раз. Вообще же любил и до сих пор люблю только толстые книги; и в библиотеке брал лишь такие, при которых цена была обозначена не меньше рубля.

Но о том, чтобы быть писателем, не думал, ибо чуть ли не с самого младенчества чувствовал страстное влечение к живописи. Рисовал много (первой учительницей была мать, которая держала карандаш в моих руках); но так как в Орле ни школ, ни настоящих учителей не было, то все дело ограничивалось бесплодным дилетантизмом. Бывали удачные рисунки и портреты, за которые меня хвалили, а учителя гимназии советовали немедленно ехать в академию (обычная форма совета была такова: чем сидеть на камчатке и протирать парту, поезжайте-ка... и т. д.), но еще чаще бывали неудачи, и во всем, что я рисовал, чувствовалось отсутствие школы, иногда простая неграмотность. Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки: до сих пор со стыдом вспоминаю лошадь, у которой по какой-то нелепой случайности оказалось всего три ноги. Все уже кончил, «оттушеввал» бока, похожие на колбасу, а четвертую ногу позабыл. И только посторонний критический взгляд открыл мне мою позорную забывчивость. И до чего было обидно, прекрасно оттушеванной колбасы никто не за-

метил, а над ногою все смеялись. Фантазировал я бесконечно: был у меня огромный альбом «рож», штук триста, и года два или три я провел в мучительных поисках «Демона».

О писательстве задумался впервые лет семнадцати. К этому времени относится очень характерная запись в моем дневнике; в ней с удивительной правильностью, хотя в выражениях и ребяческих, намечен тот литературный путь, которым я шел и иду поныне. Вспомнил о дневнике случайно, когда был уже писателем, с трудом нашел эту страничку – и был поражен точностью и совсем не мальчишеской серьезностью сбывающегося предсказания.

В гимназии к моим «сочинениям» относился очень благосклонно директор, он же преподаватель русского языка И. А. Белоруссов.

Первый мой, однако, литературный опыт был вызван не столько влечением к литературе, сколько голодом. Я был на первом курсе в петербургском университете, очень серьезно голодал и с отчаянием написал прескверный рассказ «О голодном студенте». Из редакции «Недели», куда я самолично отнес рассказ, мне его вернули с улыбкой. Не помню, куда он девался. Потом были и серьезные попытки проникнуть в литературу: посылал я рассказы и в «Северный вестник», и в «Ниву», и уж не помню куда и отовсюду получал отказ, в общем совершенно справедливый – вещи были плохи. Но меня эти неудачи привели к тому, что к окончанию университета, т. е. к 27 годам, я уже совершенно не думал о литературе,

серьезно решил стать присяжным поверенным.

Но здесь вмешалась в дело «случайность». Между прочим, сам я «случайности» не признаю и прибегаю к этому выражению только в целях упрощения рассказа. Дело заключалось в том, что один знакомый адвокат, знавший о моих попытках писательствовать и даже непосредственно знакомый с некоторыми из моих неудачных рассказов, предложил мне место судебного репортера в газете «Московский вестник». Как репортер, я заслужил одобрение, месяца через два перекочевал в только что возникшую газету «Курьер», а дальше все уже пошло по-писаному: сперва репортаж, потом маленькие фельетоны, потом большие, потом робкая пасхально-праздничная беллетристика и так далее. Здесь мой путь, как мне кажется, ничем не отличается от пути всякого иного беллетриста, начавшего свою литературную деятельность в газете. Работал я очень много, но в деньгах нуждался: половину у меня черкала цензура, а за другую половину оставалось по тогдашней построчной плате не так уж много. Помню, что за рассказ «Большой шлем» я получил 18, не то 19 рублей. В редакции «Курьера» ко мне относились хорошо, чувствовал я там себя превосходно и, подпав под гипноз типографской краски, без всякого дела просиживал ночи в типографии с секретарем И. Д. Новиком. Благодарную память храню я и о редакторе нашей газеты Я. А. Фейгине.

Как первым моментом моего сознательного отношения к книге я считаю чтение Писарева, так пробуждением ис-

тинного интереса к литературе, сознанием важности и строгой ответственности писательского звания я обязан Максиму Горькому. Он первый обратил серьезное внимание на мою беллетристику (именно на первый напечатанный мой рассказ «Баргамот и Гараська»), написал мне и затем в течение многих лет оказывал мне неоценимую поддержку своим всегда искренним, всегда умным и строгим советом. В этом смысле знакомство с Максимом Горьким я считаю для себя, как для писателя, величайшим счастьем, и если говорить о лицах, оказавших действительное влияние на мою писательскую судьбу, то я могу указать только на одного Максима Горького – исключительно верного друга литературы и литератора. Только известная сдержанность по отношению к нему заставляет меня удержаться от более горячего выражения чувства признательности и чувства глубокого, единственного уважения.

Постараюсь коротко ответить и на некоторые вопросы второстепенного значения.

Первый мой рассказ, «Баргамот и Гараська», написан под исключительным влиянием Диккенса и носит на себе заметные следы подражания.

Серьезных цензурных препятствий в моей беллетристической работе не встречал. Некоторые гонения испытывал уже после того, как вещь была напечатана или поставлена в театре.

Первый критический отзыв, который, я знаю, принадле-

жит А. А. Измайлову, – он очень доброжелательно отнесся к моему рассказу «Жили-были». Вообще, до появления первого моего тома критических статей обо мне не было.

Сейчас я материально обеспечен.

Январь 1910 г.

Жизнь Василия Фивейского

1

Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую, вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался – и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстанавливал он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей и как человек с незлобивой душою.

И случилось это на седьмой год его благополучия, в знойный июльский полдень: пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадья, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким, солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого округло перекачивается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадья все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»

Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о.

Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку, или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:

– Вася! А Вася?

– Что, милая? – покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли, нестриженными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая. – Что, милая? Может быть, чайку бы выпила – ты еще не пила?

– Вася, а Вася? – повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее.

Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадью дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла

черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным, рассеянным шагам матери, исподлобья, с тоскою оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий, – и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скулить, как заброшенному щенку.

Когда солнце поднималось к зениту, попадья наглухо закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и жгучее воспоминание о погибшем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу неумелые чтецы, рассказывала все одно и то же, все одно и то же, о тихоньком черненьком мальчишке, который жил, смеялся и умер; и в певучих книжных словах ее воскресали глаза его, и улыбка, и старчески-разумная речь. «Вася, – говорю я ему, – Вася, зачем ты обижаешь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть: и лошадок, и кошечек, и цыпляток». А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: «А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу».

И о. Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И

всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала: больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой.

Когда о. Василий в первый раз увидал пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, — он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки; крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал исподтишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьезен, и челюсти его замкнулись, как железные: ни слова утешения не мог он сказать метавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле.

Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз, на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые, живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский.

На повороте тропинки о. Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны зыбились на тонких стеблях тяжелые колосья, над головой было безбрежное, пламенное июльское небо, побелевшее от жары, — и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный

среди частых колосьев, перед лицом высокого пламенного неба. О. Василий поднял глаза кверху – они были маленькие, ввалившиеся, черные, как уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень, – приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули, но не подались сомкнутые железные челюсти: скрипнув зубами, поп с силою развел их, – и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова:

– Я – верю.

Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил:

– Я – верю.

А вернувшись домой, снова хворостинка за хворостинкой принялся восстанавливать свой разрушенный муравейник: наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за десять верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.

О. Василия не любил никто – ни прихожане, ни причт. Церковную службу отправлял он плохо, не благолепно: был сух голосом, мямлил, то торопился так, что дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения, что все считали его очень жадным и за глаза насмехались. И все окрест знали, что он очень несчастлив в своей жизни, и брезгливо сторонились от него, считая за дурную примету всякую с ним встречу и разговор. На свои именины, праздновавшиеся 28 ноября, он приглашал к обеду многих гостей, и на его низкие поклоны все отвечали согласиём, но приходил только причт, а из почетных прихожан не являлся никто. И было совестно перед причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина.

– Никто и идти к нам не хочет, – говорила она, трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок и все валившие как в пропасть.

Хуже всех относился к попу церковный староста Иван Порфирыч Копров; он открыто презирал неудачника и, после того как стали известны селу страшные запои попадья, отказался целовать у попа руку. И благодушный дьякон

тщетно убеждал его:

– Постыдись! Не человеку поклоняешься, а сану.

Но Иван Порфирыч упрямо не хотел отделить сан от человека и возражал:

– Нестоящий он человек. Ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, чтобы у духовного лица жена запоем пила, без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал!

Дьякон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова: как бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом сторицею вознаградил за все муки. Но Иван Порфирыч насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал ненравившуюся речь:

– Нечего рассказывать, и сами знаем. Так то Иов-праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

– Ну, погоди: задаст тебе ужотка поп, как руки не поцелуешь. Из церкви выгонит.

– Посмотрим.

– Посмотрим.

И они поспорили на четверть вишневки, выгонит поп или не выгонит. Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара, сиротливо осталась в воздухе, а сам о. Василий густо покраснел и не сказал ни слова.

И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Порфирыч укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на о. Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Порфирыч был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо, с твердыми, выпуклыми щеками и огромной черной бородою, и такие же черные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в бога, считал себя избранником среди людей, был горд, самонадеян и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народу, он потерял только фуражку, засосанную глиной.

– Да и та была старая! – самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.

Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирыч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.

И все это делало старосту страшным и необыкновенным

в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошливее становятся его шаги – шаги человека, которому стыдно и страшно, – и путаются в длинной рясе жилистые ноги. Точно вся жестокая, загадочная судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, – эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфирычу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старосты, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостина двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика – и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.

Однажды на Воздвижение попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирыч оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:

– Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало.

Стыд!

Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.

– Господи, за что? Господи! – тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.

Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая береза. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприятный, как на дворе.

– Что ж с ними поделаешь, Настенька! – оправдывался поп, потирая горячие сухие руки. – Терпеть надо.

– Господи! Господи! И защитити некому! – плакалась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти.

К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищ-

ных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая, разумная речь его – воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сторя в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания – и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:

– Не надо! Не надо!

Тогда она становилась на колени и хрипло молила:

– Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!

А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжело и глубоко вздыхала ненастная ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крути-

лись, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами – багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.

– Не хочешь? Не хочешь? – кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне. – Не хочешь? Так вот же перед богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошусь. Отдай мне Васю, проклятый!

И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных речей, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, – в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль: о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадья он, целомудренный и стыдливый, отвечал такую же бешеной страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.

Позднею ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; темно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь.

Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о повернувшийся камень – и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стопа. Была долгая и мертвая тишина.

И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломленный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприютности. Но слова, сказанные им, были яркие, как небесный огонь.

– Я – верю, – сказал невидимый голос.

Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.

3

Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Насти пошли по всему телу какие-то лишайи и не поддавались лечению, – но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем счастье, и все эти неприятности казались ей платой за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, поболееет Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.

Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирыча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет: большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней слежавшейся листвы, темной и

пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою, какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскапывала вокруг корней волокнистую, серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожную походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать, – и больше она ее не брала.

И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслыш-

но и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.

На Крещение, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.

В безумии зачатый, безумным явился он на свет.

Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя – над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали что приказывают и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывали та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадьи, или Настя, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.

И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дому на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборо-

чивались – и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скорчился, и прислушивается к тому страшному, что содержится в глубине его, и все его вытарашенные окна, глухо замкнутые двери с трудом удерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя: как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити и соединяли их прочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет – и туда, во мрак могилы, потянутся за нею тонкие, как паутина, нити, опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах, вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полуробенка, полузверя.

Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на постилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно

била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.

Так же трудно было кормить его – жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений: опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.

И, как прежде, стала пить измученная попадья. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полуребенка, полужверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погибшем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызывала милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и, уже казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь, – когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все проваливалось, все исчезало, и в холодной, мертвой пу-

стоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:

– Василий! Василий! Скорее сюда!

О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исхудавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и платья, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.

– Стулья отодвинь! – запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.

На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.

– Слышишь? Василий, слышишь?

Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:

– Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.

Попадья улыбалась радостно и светло, как ребенок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.

– Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.

– Да, видел. Спит.

– А кто же говорит там?

– Никого там нет. Это послышалось тебе.

И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шуточно покачивала головой и неопределенно отмахивалась – как будто хотел кто-то злой пошутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзвука, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, – отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она оборачивалась к мужу – в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе – на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пят-

нами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:

– Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.

О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадьи. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:

– Поп, а поп! Ты помнишь Васю... того Васю?

– Нет.

– Ага! – обрадовалась попадья. – Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?

– Нет.

– А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?

– Так. Нездоров.

Попадья сердито засмеялась.

– Ты? Нездоров? Это ты нездоров? – Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь. – Зачем ты лжешь?

О. Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами:

– У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же. О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь,

думаешь, думаешь?

О. Василий молчал и внимательным, раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:

– А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.

– Что знаешь?

– Знаю, о чем ты думаешь. Ты... – Попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа. – Ты... в бога не веришь. Вот что!

И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, сожженные водкой и красные, как кровь. И обрадовалась, когда побледневший поп резко и наставительно ответил:

– Это неправда. Думай, что говоришь. Я верю в бога.

И опять молчание, опять тишина, – но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода. И, потупив глаза, она стыдливо просила:

– Можно мне, Вася, я выпью немного? Скорее засну потом, а то ведь поздно.

Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В груди становилось горячо,

хотелось какого-то веселья, шума и света и людских громких голосов.

– Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.

– Поздно. Она уже спит.

Попадья топнула ногой.

– Разбуди!.. Ну, ступай.

Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.

И молча садились они играть в веселую и смешную игру – в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадья шутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила. И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздвогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола – два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске – два холодных, два

угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый, появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу...

– Кто тут? – вскрикивала попадья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее. И было их только двое: муж и Настя.

– Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.

– А он?

– Он спит.

Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.

– Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?

Ответила Настя:

– Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.

– Неправда, – сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глухо.

И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ощупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и куда-то влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.

Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:

– Помогите! Помогите!

Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья и стыдливо сверкали днищами; растерянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:

– Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася...

Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерна-седые нити волос.

Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкою его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому. И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжелой поступи, в медлительности запинаящейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленой висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцавший из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфирычу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.

– Загордели, батюшка! Кланяться не хотите, – насмешливо сказал он.

О. Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился:

– Извините, Иван Порфирыч: не заметил.

Староста строго, сверху вниз, хотел посмотреть на попа и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил:

– Заходите как-нибудь.

И долго оборачивался и мерил глазами попа. Приятно стало и о. Василию, но только на мгновение: уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о старостиных добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал – думал о боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

И случилось это на исповеди: окованный своею неподвижною думой, о. Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше: он стоит и спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах, а какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду – ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет. И неожиданно, на полуслове перебивая ее, он спросил:

– А ты правду говоришь, старуха?

Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от

его лица, и блестящими, точно обмытыми глазами он изумленно глядел на лицо женщины, и оно было особенное – на нем была начертана какая-то и ясная и загадочная правда о боге и о жизни. На голове у старухи под ситцевым платком о. Василий заметил пробор – серенькую полоску кожи среди тщательно расчесанных волос. И этот жалкий пробор, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове были также правдой – печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые на сороковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и всеми чувствами своими, что, кроме него, есть на земле другие люди – подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба.

– А дети у тебя есть? – быстро спросил он, снова перебивая старуху.

– Умерли, батюшка.

– Все умерли? – удивился поп.

– Все умерли, – повторила женщина, и глаза ее покраснели.

– Как же ты живешь? – с недоумением спросил о. Василий.

– Какая же наша жизнь, – заплакала старуха. – Кто милостыньку подаст, тем и живу.

Вытянув шею вперед, о. Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами,

показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки ее, сложенные на груди, похолодели.

– Ну, ступай, – прозвучал над нею суровый голос.

...Странные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями, – а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества, – но вместе с ним скрылось и солнце, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи.

Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица; и на домах и на лицах была начертана неумолимая правда жизни. Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедников в рождественском посту бывало немного, но каждого из них поп держал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет, и

беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому богу, сами не знают правды о своей жизни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом – эту огромную правду о боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

Начал чувствовать ее о. Василий, и чувствовал ее то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надежду. И был он по-прежнему суров и холоден с виду, когда ум и сердце его уже плавилась на огне непознаваемой правды и новая жизнь входила в старое тело.

Во вторник на последней неделе перед Рождеством о. Василий поздно вернулся из церкви; в темных холодных сенях его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал:

– Василий, не ходи туда.

По страху в голосе он узнал, что это попадья, и остановился.

– Я уж час жду тебя. Замерзла вся! – Она лякнула зубами от внезапной дрожи.

– Что случилось? Пойдем.

– Нет! Нет! Слушай! Настя... я вошла, а она стоит перед

зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он. . .

– Пойдем.

Он силой увел в комнаты сопротивлявшуюся попадью, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить цветы, и увидела: Настя стоит тихо перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бессмысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению – и все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадья вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает наверное, было ли это в действительности или ей пригрезилось.

– Позови Настю и уходи сама, – приказал поп.

Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, костлявое, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре: вытянув шею немного набок, с угрюмым взглядом исподлобья. И руки держала назади, как он.

– Настя! Зачем ты делаешь это? – сурово, но спокойно спросил о. Василий.

– Что?

– Мать видела тебя перед зеркалом. Зачем ты делаешь? Ведь он больной.

– Нет, он не больной. Он дерет меня за волосы.

– Зачем же ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо,

как у него?

Настя угрюмо смотрела в сторону.

– Не знаю, – ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила:

– Нравится.

О. Василий всматривался в нее и молчал.

– А вам не нравится? – полуутвердительно спросила Настя.

– Нет.

– А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.

О. Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.

– Ступай! – резко сказал он.

Но Настя не двигалась с места и с тою же странною откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.

– А обо мне вы не думаете, – сказала она просто, как безразличную правду.

И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:

– Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?

– Нет.

– Пойди и поцелуй меня.

– Не хочу.

– Ты меня не любишь?

– Нет. Я никого не люблю.

– Как и я! – И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.

– А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.

– А меня?

– Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын – дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.

Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.

– Скучно, Настя! – задумчиво сказал поп.

Неторопливо и важно она согласилась:

– Конечно, скучно.

– А богу ты молишься?

– Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром некогда, работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай – сами знаете, сколько дела.

– Как горничная, – неопределенно сказал о. Василий.

– Что вы? – не поняла Настя.

О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:

– Папа!

Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой – раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:

– Обнимаю за шею. Я отнесу тебя.

– Что вы! Я ведь большая.

– Ничего! Держись.

Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, послышалось ей или отец действительно прошептал:

– Жалей маму.

Но, уже помолившись богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча; обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:

– А я бы ее все-таки убила.

Поздней ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в

комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад, белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмыслие глаз, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученного трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная.

О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбегалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства, – пока медленно и тяжело переступали ноги.

Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.

Пришел Великий пост. Одноцветно затренькал глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскакивали они из колокольной в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.

К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли – бесконечно повторяли – глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили – глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.

Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе, не подобающей месту: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду. Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая нозд-

ри, как лошадь.

– А я тебя давно поджидаю, – сказал, усмехаясь, поп. – Зачем пришел, Мосягин?

– Исповедаться, – быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.

– Что же, легче станет, когда исповедаешься? – продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину. И такой же улыбкой ответил он:

– Известно, легче.

– А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?

Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно, и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою и приказал:

– Ну, сказывай грехи.

Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа – точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина и обвивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так

неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая, стихийная воля к такому же стихийному, могучему творчеству – и уродливое прозябание где-то на границе между жизнью и смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому – он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластывался по земле – и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все бранили его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутив и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жа-

любные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.

И грехи его были ничтожные, формальные: то землемер, которого он возил на петровки, дал ему скоромного пирога, и он съел, – и так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство; то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу, – и об этом он говорил долго и мучительно.

– Кончил! – весело, другим голосом сказал Мосягин и вытер со лба пот.

О. Василий медленно повернул к нему костлявую голову.

– А кто помогает тебе?

– Кто помогает-то? – повторил Мосягин. – Да никто не помогает. Скучно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирыч помог, – мужик осторожно подмигнул попу, – дал три пуда муки, а к осени чтобы четыре.

– А бог?

Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным.

– Бог-то? Стало быть, не заслужил.

От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно; он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые черные зубы и подумал: «Много, должно, сахару ест». И вздохнул.

– Чего ты ждешь?

– Чего жду-то? А чего ж мне ждать?

И снова молчание. В церкви темно, и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика.

– Так, значит, и будет? – спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб.

– Так, значит, и будет. Так, значит, и будет, – повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова.

И представилось ему то, что было в его жизни: голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться; и оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный, затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами – и что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознательным движением они подались один к другому, и о. Василий положил руку на плечо мужика; легко и нежно легла она, как осенняя паутинка. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиною рта:

– А может, полегчает?

Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волоски в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное.

– Да. Стало быть, не полегчает. Конечно, вы правду говорите...

Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж:

– Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята. Что я могу сделать? – Он ткнул пальцем себе в грудь. – Что я могу сделать? Что я – бог, что ли? Его проси. Ну, проси! Тебе говорю.

Он толкнул мужика.

– Становись на колени.

Мосягин встал.

– Молись!

Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал: «Молись, молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и оттого особенно легко. Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал:

– Будет.

Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал

дальнейших приказаний.

Но о. Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся: на том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа; слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю, она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных границ и очертаний и была только частицею мрака, наполнявшего церковь.

С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед о. Василием непрестанно чередовались морщинистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать – ждать нетерпеливо, ждать гроз-

но.

Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо, вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб, и блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему – его зовут. Все чаще, с сдержанным гневом, он говорил: – Его проси! Его проси!

И отворачивался.

А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним – и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом.

На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сушки стали синими и прозрачными, с попадьею случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый – в субботу вечером – потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но, как только петля начала душить ее, она испугалась и закричала, и, так как двери были открыты, тотчас прибежали о. Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадья: она плакала и просила

прощения; руки и ноги у нее дрожали, и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, и потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга о. Василий стал спокоен и холодно ласков, даже шутил; рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам о. Василий смеялся тихим и детским смехом, и лицо у него было правдивое и доброе. Понемногу попадья успокоилась, перестала коситься на темные углы и, когда Настю отослали спать, спросила мужа, тихо и робко улыбаясь:

– Испугался?

Лицо о. Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил:

– Конечно, испугался. Что это ты надумала?

Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка:

– Не знаю, Вася. Так, тоска очень. И страшно мне всего. Всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето. Потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот так, как сейчас, – ты в

том угле, а я в этом. Ты не сердись, Вася, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки...

Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка:

– Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять... пить?

Она недоуменно подняла на о. Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ, и глухая, покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь: у нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавленной мосо-лыжкой; было холодно, а белый пар облаком окутывал ее, блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед – и страшны были они своею кротостью. И такие глаза были у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, – тот поступил бы хорошо.

Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала:

– Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его, а вот скоро начнет ходить – загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, и не знаю.

Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая придавленная комната, и заметались в тос-

ке ночные тени, бесшумною толпою окружавшие о. Василия. Они рыдали безумно, и простирали бессильные руки, и молили о пощаде, о милости, о правде.

– А-а-а! – длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа.

Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натываясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натываясь на стену, он бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад; и так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И, странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы – первые слезы со смерти Васи.

Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала:

– Вася, что с тобою? Что с тобою?

О. Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза:

– Бедная, бедная.

И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его

исступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова:

– Бедная. Бедная. Все бедные. Все плачут. И нет помощи! О-о-о!..

Он остановился и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и исступленно:

– И ты терпишь это! Терпишь! Так вот же...

Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колена, билась в истерике попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:

– Не надо! Не надо! Голубчик, милый. Я не буду больше!..

Проснулся и замычал идиот; прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель и, когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника.

На другой день о. Василий был таким, как всегда, – холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драго-

ценнейший дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, — но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернулись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой; она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала со своим лицом и волосами, от чего стали они молодыми и новыми и в строгой печали своей странно-прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадья исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками.

И каждую ночь, когда все спало, попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.

Все так же однозвучно и уныло вызванивал великопостный колокол, и казалось, что с каждым глухим ударом он приобретает новую силу над совестью людей; все больше собиралось их, и отовсюду тянулись к церкви бесцветные, как колокольный звон, молчаливые фигуры. Еще ночь царила над обнажившимися полями, и еще не начинали звенеть подмерзшие ручьи, когда на всех тропинках, на всех дорогах появлялись люди и строго печальной вереницею, одинокие и чем-то связанные, двигались к одной невидимой цели. И каждый день, с раннего утра до позднего вечера, перед о. Василием стояли человеческие лица, то ярко во всех морщинах своих освещенные желтым огнем свечей, то смутно выступавшие из темных углов, как будто и самый воздух церкви превратился в людей, ждущих милости и правды. Люди теснились, неуклюже толкаясь и топоча ногами, нестройным, разрозненным движением валились на колени, вздыхали и с неумолимую настойчивостью несли попу свои грехи и свое горе.

У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принес ему свои слезы и муки и ждет от него помощи, — ждет кротко, ждет повелительно. Он искал правды когда-то, и теперь он

захлебывался ею, этою беспощадною правдою страдания, и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света, умереть, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он позвал к себе горе людское – и горе пришло. Подобно жертвеннику, пылала его душа, и каждого, кто подходил к нему, хотелось ему заключить в братские объятия и сказать: «Бедный друг, давай бороться вместе и плакать и искать. Ибо ниоткуда нет человеку помощи».

Но не этого ждали от него измученные жизнью люди, и с тоскою, с гневом, с отчаянием он твердил:

– Его проси! Его проси!

Печально они верили ему и уходили, а на смену им надвигались новые серые ряды, и снова, как исступленный, повторял он страшные и беспощадные слова:

– Его проси! Его проси!

И несколько часов, когда он слышал правду, казались ему годами, и то, что было утром до исповеди, становилось бледным и тусклым, как все образы далекого прошлого. Когда последним он уходил из церкви, уже темнота царила, и тихо сияли звезды, и молчаливый воздух весенней ночи ласкался нежно. Но он не верил в спокойствие звезд; ему чудилось, что и оттуда, из этих отдаленных миров, несутся стоны, и крики, и глухие мольбы о пощаде. И так стыдно ему было, как будто он совершил все преступления, какие есть в мире, он пролил все слезы, он истерзал и изорвал в клочки человеческие сердца. Стыдно ему было придавленных домов,

мимо которых он шел, стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и нагло, силою зла и безумия, царил страшный образ полурепбенка, полузверя.

И в церковь, по утрам, он шел так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего бога, – и было палачей столько, сколько людей, и было кнутов столько, сколько доверчивых и ожидающих взоров. Все были неумолимо серьезны, и никто не смеялся над попом, но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиною. Все дикое и злое рождается за спиною человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, муча своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за конторкой стоит Иван Порфирыч Копров.

Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посылал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медяки, складывал стопочками и часто щелкал замком; когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился; и видно было, что он считает себя близким и нужным богу человеком и знает, что без него богу было бы трудно устроить все так хорошо и в таком порядке. Давно, с начала поста, он сердил-

ся на о. Василия, что тот так долго исповедует: он не мог понять, какие могут быть у этих людей интересные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать. И относил это к неумению о. Василия жить и обращаться с людьми.

– Ты думаешь, они это оценят? – говорил он благодушно-му дьякону, измученному, как и весь причт, тяжелой великопостной работой. – Нипочем. Над ним же смеяться будут.

Но то, что о. Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост; настоящий священнослужитель казался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирыч говел всегда на последней неделе и задолго приготавлился к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи. И был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела.

В среду на страстной неделе, когда силы уже начали покидать о. Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон, калека, таскавшийся на своих костылях по Знаменскому и окрестным селам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей; на приподнятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова, с такою же грязною, свалывшейся бородою и наглыми глазами нищего, пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, пресмыкался в грязи и пыли,

как гад, и такая же темная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как он живет такой, а он жил, напивался пьян, дрался и даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.

О. Василию пришлось низко наклониться, чтобы принять исповедь калеки, и в открыто спокойном зловонии его тела, в паразитах, липко ползавших по его голове и шее, как сам он ползал по земле, попу открылась вся ужасная, не допустимая совестью, постыдная нищета этой искалеченной души. И с грозной ясностью он понял, как ужасно и безвозвратно лишен этот человек всего человеческого, на что он имел такое же право, как короли в своих палатах, как святые в своих кельях. И содрогнулся.

– Ступай! Бог отпустит твои грехи, – сказал он.

– погоди. Еще скажу, – прохрипел нищий, задирая вверх побагровевшее лицо.

И рассказал, как десять лет назад он изнасиловал в лесу подростка-девочку и дал ей, плачущей, три копейки; а потом ему жаль стало своих денег, и он удушил ее и закопал. Так ее и не нашли. Десять раз десяти различным попам рассказывал он эту историю, и от повторения она стала казаться ему простой и обыкновенной и не относящейся к нему, как какая-нибудь сказка. Иногда он разнообразил рассказ: заменял лето осенью и девочку представлял то белокуренькой, то смуглой, – но три копейки оставались неизменными. Неко-

торые ему не верили и смеялись над ним – утверждали, что за десять лет в округе не было убито и не пропадало ни одной девочки; ловили его в бесчисленных и грубых противоречиях и с очевидностью доказывали, что всю эту страшную историю он выдумал спьяна, валяясь в лесу. И это приводило его в ярость: он кричал, божился, поминая черта так же часто, как и бога, и начинал рассказывать такие отвратительные и грязные подробности, что самые старые священники краснели и негодовали. И теперь он ждал, поверит ли знаменский поп или нет, и был доволен, что поп поверил: отшатнулся от него, побледнел и поднял руку, как для удара.

– Правда это? – глухо спросил о. Василий.

Нищий быстро закрестился:

– Ну, ей-богу, правда. Ну вот провалиться мне...

– Так ведь за это же ад! – крикнул поп. – Ты понимаешь, ад!

– Бог милостив, – угрюмо и обиженно пробормотал нищий.

Но по злым и испуганным глазам его видно было, что сам он ждет ада и уж свыкся с ним, как и с своею странною историей о задушенной девочке.

– На земле – ад, в небе – ад. Где же твой рай? Будь ты червь, я раздавил бы тебя ногой, – но ведь ты человек! Человек! Или червь? Да кто же ты, говори! – кричал поп, и волосы его качались, как от ветра. – Где же твой бог? Зачем оставил он тебя?

«Поверил!» – с радостью думал нищий, чувствуя себя под словами попа, как под горячей водой.

О. Василий присел на корточки и, в унизительности необычайной позы черпая странную и мучительную гордость, зашептал страстно:

– Слушай! Ты не бойся. Ада не будет. Это я верно тебе говорю. Я сам убил человека. Девочку. Настя ее зовут. И ада не будет! Ты будешь в раю. Понимаешь, со святыми, с праведниками. Выше всех. Выше всех – это я тебе говорю!

В тот вечер о. Василий вернулся домой поздно, когда уже поужинали. Был он сильно утомлен и бледен, и до колен мокр, и покрыт грязью, как будто долго и без дорог бродил он по размокшим полям. В доме готовились к Пасхе, и попадьа была занята, но, прибегая на минутку из кухни, она каждый раз с тревогою смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться и скрывала тревогу.

А ночью, когда, по обыкновению, она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, непохожий на голос сурового о. Василия:

– Настя! Я не могу идти в церковь.

В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастье, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими, лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья стала на колени

у постели мужа и взглянула ему в лицо; при слабом синеватом свете лампадки оно казалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжело больной ребенок, которого напугал страшный сон, и он не смеет пошевелиться.

– Молись, Вася! – прошептала попадья, глядя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

– Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя!

Пока она зажигала лампу, о. Василий начал одеваться, медленно и неловко, как тяжело больной, давно не встававший с постели. Крючки на подряснике он не мог застегнуть сам и попросил жену:

– Застегни.

– Куда ты? – удивилась попадья.

– Никуда. Я так.

И медленно он начал ходить по комнате, ступая неуверенно и слабо подгибающимися ногами. Голова его тряслась еле заметною и ровною дрожью, и нижняя челюсть бессильно отвисла; с усилием он подбирал ее, облизывая языком сухие пересмякшие губы, но через минуту она падала снова и открывала черное отверстие рта. Надвигалось что-то огромное и невыразимо ужасное, как беспредельная пустота и беспредельное молчание. И не было земли, и людей, и мира за стенами дома – там был тот же зияющий, бездонный провал и вечное молчание.

– Вася! Неужели это правда? – спросила попадья, замирая

от страха.

О. Василий взглянул на нее тусклыми, без блеска глазами и с минутным приливом силы замахал рукой:

– Не надо... Не надо. Молчи.

И снова заходил, и снова отпала бессильная челюсть. И так ходил он медленно, как само время, а на постели сидела бледная женщина, замирающая от страха, и медленно, как время, двигались ее глаза и следили. И надвигалось что-то огромное. Вот пришло оно, и стало, и охватило их пустым и всеобъемлющим взглядом – огромное, как пустота, страшное, как вечное молчание.

О. Василий остановился против жены и, тускло глядя на нее, сказал:

– Темно. Зажги еще огонь.

«Он умирает», – подумала попадья и трясущимися руками, роняя спички, зажгла свечу. И снова он попросил:

– Зажги еще.

И она зажигала, все зажигала, и уже много горело ламп и свечей. Как маленькая голубая звездочка, терялась лампадка в живом и смелом блеске огня, и было похоже на то, что уже наступил большой и светлый праздник. И медленный, как время, тихо двигался он в сияющей пустоте. Теперь, когда пустота светилась, увидела попадья и поняла на одно короткое, но ужасное мгновение, – что он одинок, не принадлежит ей и никому, и ни она и никто не может этого изменить. Если бы сошлись добрые и сильные люди со всего мира, обнимали

его, говорили бы ему слова утешения и ласки, он остался бы так же одинок.

И снова подумала, холодея: «Он умирает».

Так проходила ночь. И когда уже близилась она к концу, шаги о. Василия стали тверже, он выпрямился, несколько раз взглянул на попадью и сказал:

– Зачем столько огня? Потуши.

Попадья потушила свечи и лампы и нерешительно заговорила:

– Вася!...

– Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ложиться.

Но попадья не уходила и о чем-то умоляла его глазами. И, по-прежнему высокий и сильный, он подошел и, как ребенка, погладил ее по голове.

– Так-то, попадья! – сказал он и улыбнулся.

А лицо его было бледно прозрачной бледностью смерти, и вокруг глаз лежали черные круги: как будто притаилась там ночь и не хотела уходить.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан, и осенью, собравши деньги, они уедут далеко – еще неизвестно куда. А идиот останется: он будет отдан на воспитание. И попадья плакала и смеялась, и в первый раз после рождения идиота поцеловала мужа в губы, краснея и смущаясь.

Было в это время Василию Фивейскому сорок лет и жене его тридцать четыре года.

Три месяца отдыхала их душа; и снова вернулась в их дом потерянная надежда и радость. Всею силою пережитых страданий поверила попадая в новую жизнь, совсем новую и совсем особенную, какой нет и не может быть у других людей. Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце ее мужа, но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи; видела особенный блеск его глаз, какого не было раньше, и верила в его силу. О. Василий пытался иногда говорить с нею о том, куда они уедут и как будут жить, – но она не хотела его слушать: точные и определенные слова отпугивали ее широкую и бесформенную мечту и как-то странно и страшно сближали будущее с мучительным прошлым. Одного только она хотела: чтоб это было далеко, за пределами знакомого ей и по-прежнему страшного мира. Как и раньше, случались запои, но проходили быстро, и она не боялась их; верила, что скоро перестанет пить совсем. «Там будет другое, там не нужно будет пить», – думала она, озаренная светом неопределенной и прекрасной мечты.

Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет с сенокоса о. Василий. Неслышно и медленно нарастала тьма короткой летней ночи; и казалось, что никогда не придет ночь и не погасит дня; и только взгля-

нув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и ее руками, и это – ночь с своей прозрачною и таинственною мглою. И уже беспокоиться она начинала, когда приезжал о. Василий, высокий, сильный, веселый, окруженный резким и приятным запахом травы и поля. Лицо у него было темное от ночи, а глаза ласково светились, и в сдержанном голосе словно таилась необъятная ширь полей и запахов трав и радость продолжительной работы.

– Хорошо на земле, – говорил он и сдержанно смеялся загадочным и темным смехом, как будто насмеялся он над кем-то или над самим собою.

– Ну, ну, Вася. Конечно, хорошо! – говорила попадья убедительно, и они шли ужинать.

После простора полей о. Василию казалось тесно в маленькой комнате; он стеснялся своих длинных рук и ног и так неуклюже и смешно двигал ими, что попадья весело шутила:

– Вот бы заставить тебя написать проповедь. Ты сейчас и пера не удержишь, – говорила она.

И они смеялись.

Но когда о. Василий оставался один, лицо его делалось серьезно и строго: наедине с мыслями своими не смел он шутить и смеяться. И глаза его смотрели сурово и с гордым ожиданием, ибо чувствовал он, что и в эти дни покоя и надежды над жизнью его тяготеет все тот же жестокий и загадочный рок.

Двадцать седьмого июля, вечером, о. Василий с работником возил с поля снопы.

Тень от ближнего леса стала косая и длинная, и по всему полю отовсюду шли такие же длинные и косые тени, когда со стороны Знаменского принесся жидкий и еле слышный звон, странный своею неурочностью. О. Василий быстро обернулся: там, где темнела среди ветел крыша его домика, неподвижно стоял густой клуб черного смолистого дыма, и под ним извивалось, словно придавленное, багровое, без света, пламя. Пока побросали снопы с телеги, пока прискакали в село, уже темнело и пожар кончался: догорали, как свечи, черные обугленные столбы, смутно белела кафлями обнаженная печь, и низко стлался белый дым, похожий на пар. Он окутывал ноги тушивших мужиков, и на фоне догорающей зари они словно висели в воздухе плоскими смутными тенями.

Вся улица была запружена народом; мужики толкались в свежей грязи, образовавшейся от пролитой воды, возбужденно и громко разговаривали и внимательно присматривались друг к другу, точно не узнавали сразу ни знакомых лиц, ни голосов. С поля пригнали стадо, и оно тревожно металось. Коровы мычали, овцы неподвижно глядели стеклянными выпуклыми глазами, растерянно терлись между ног и шархались в сторону от беспричинного испуга, дробно попыливая копытцами. За ними гонялись бабы, и по всему селу слышался однообразный призыв: кыть-кыть-кыть. И от этих

темных фигур с темными, как будто бронзовыми лицами, от этого однообразного и странного призыва, от людей и животных, слившихся в одном стихийном чувстве страха, – веяло чем-то дикарским, первобытным.

День был безветренный, и сторел один только поповский дом. Как рассказывали, пожар начался в комнате, где отдыхала пьяная попадья – вероятно, от зароненного огня с папиросы или от небрежно брошенной спички. Весь народ был в поле; и успели спасти только перепуганного идиота да кое-какие вещи, а сама попадья сильно обгорела, и ее вытащили чуть живую, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему о Василию, ожидали от него взрыва горя и слез, и были удивлены: вытянув шею вперед, он слушал сосредоточенно и внимательно, с напряженно сомкнутыми губами; и был у него такой вид, точно он уже знал то, что ему рассказывают, и только проверял рассказ. Как будто в этот короткий сумасшедший час, пока он, стоя с разметавшимися волосами и прикованным к огненному столбу взглядом, бешено скакал на подпрыгивающей телеге, он догадался обо всем: и о том, отчего должен был произойти пожар, и о том, что все имущество и попадья должны были погибнуть, а идиот и Настя уцелеть.

Мгновение он стоял молча с опущенными глазами – и, скинув назад голову, решительно и прямо направился через толпу к дому дьякона, где нашла приют умиравшая попадья.

– Где она? – спросил он громко у молчавших людей. И

молча ему указали. Он подошел, низко наклонился к бесформенной, глухо стонущей массе, увидел сплошной белый пузырь, страшно заменивший собой знакомое и дорогое лицо, и в ужасе отшатнулся и закрыл лицо руками.

Попадья глухо заволновалась; вероятно, она пришла в себя, и ей нужно было что-то сказать, но вместо слов из гортани ее выходил глухой отрывистый хрип. О. Василий отнял руки от лица: на нем не было слез, оно было вдохновенно и строго, как лицо пророка. И когда он заговорил, отдельно и громко, как говорят с глухими, в голосе его звучала непоколебимая и страшная вера. В ней не было человеческого, дрожащего и в силе своей; так мог говорить только тот, кто испытал неизъяснимую и ужасную близость бога.

– Во имя божие, – слышишь ли ты меня? – воскликнул он. – Я здесь. Настя. Я здесь, около тебя. И дети здесь. Вот Василий. Вот Настя.

По неподвижному и страшному лицу попадья нельзя было понять: слышит она что-нибудь или нет. И, еще повысив голос, о. Василий продолжал, обращаясь к бесформенной, обгоревшей массе:

– Прости меня, Настя. Безвинно погубил я тебя. Погубил. Прости, единая любовь моя. И благослови детей в сердце своем. Вот они: вот Настя, вот Василий. Благослови. И отыди с миром. Не страшись смерти. Бог простил тебя. Бог любит тебя. Он даст тебе покой. Отыди с миром. Там увидишь Васю. Отыди с миром.

Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идюта. Один о. Василий остался с умирающей – на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадья. Он стал на колени и, положив голову возле умирающей, обоня легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво ждущей радостей и ласк; о ней, потерявшей сына; о ней, безумной и жалкой, объятай страхом, гонимой призраками; он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она – кричала, билась, звала мужа?

О. Василий дико оглянулся помутившимися глазами и встал. Тихо было – так тихо, как бывает только в присутствии смерти. Он посмотрел на жену: она была неподвижна той особенной неподвижностью трупа, когда все складки одежд и покрывал кажутся изваянными из холодного камня, когда блекнут на одеждах яркие цвета жизни и точно заменяются бледными искусственными красками.

Умерла попадья.

В открытое окно дышала теплая и мягкая ночь, и где-то далеко, подчеркивая тишину комнаты, гармонично стрекотали кузнечики. Около лампы бесшумно метались налетевшие в окно ночные бабочки, падали и снова кривыми болезненными движениями устремлялись к огню, то пропадая во тьме, то белея, как хлопья кружасьегося снега. Умерла попа-

дья.

– Нет! Нет! – заговорил поп громко и испуганно. – Нет! Нет! Я верю. Ты прав. Я верю.

Он пал на колени, потом приник лицом к залитому полу, среди клочков грязной ваты и перевязок – точно жаждал он превратиться в прах и смешаться с прахом. И с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово «я», сказал:

– Верую!

И снова молился, без слов, без мыслей, молитвою всего своего смертного тела, в огне и смерти познавшего неизъяснимую близость бога. Самую жизнь свою перестал он чувствовать – как будто порвалась извечная связь тела и духа, и, свободный от всего земного, свободный от самого себя, поднялся дух на неведомые и таинственные высоты. Ужасы сомнений и пытующей мысли, страстный гнев и смелые крики возмущенной гордости человека – все было повергнуто во прах вместе с поверженным телом; и один дух, разорвавший тесные оковы своего «я», жил таинственной жизнью созерцания.

Когда о. Василий поднялся, уже светло было, и солнечный луч, длинный и красный, ярким пятном лежал на окаменевших одеждах покойницы. И это удивило его, так как последнее, что он помнил, было темное окно и бабочки, метавшиеся вокруг огня. Несколько обожженных бабочек темными комочками лежало около лампы, все еще горевшей почти

невидимым желтым светом; одна серая, мохнатая, с большой уродливой головой, была еще жива, но не имела сил улететь и беспомощно ползала по стеклу. Вероятно, ей было больно, она искала теперь ночи и тьмы, но отовсюду лился на нее беспощадный свет и обжигал маленькое, уродливое, рожденное для мрака тело. С отчаянием она начинала трепетать короткими, опаленными крылышками, но не могла подняться на воздух и снова угловатыми и кривыми движениями, припадая на один бок, ползала и искала.

О. Василий загасил лампу, выбросил в окно трепетавшую бабочку и, бодрый, как после крепкого сна, полный ощущением силы, новизны и необыкновенного спокойствия, отправился в дьяконский сад. Там он долго ходил по прямой дорожке, заложив руки назад, задевая головой низкие ветви яблонь и черешни, ходил и думал. Солнце начало пригревать его голову сквозь просветы деревьев и на повороте огненным потоком вливалось в глаза и слепило; падали, тихо стучая, подъеденные червем яблоки, и под черешнями, в сухой и рыхлой земле, копалась и кудахтала насадка с дюжиной пушистых желтых цыплят, – а он не замечал ни солнца, ни стуча яблок и думал. И чудны были его мысли – яркие и чистые они были, как воздух ясного утра, и какие-то новые: таких мыслей никогда еще не пробегало в его голове, омраченной скорбными и тягостными думами. Он думал, что там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могучею рукою был начертан верный и прямой путь. Через горнило бедствий, на-

сильственно отторгая его от дома, от семьи, от суетных забот о жизни вела его могучая рука к великому подвигу, к великой жертве. Всю жизнь его бог обратил в пустыню, но лишь для того, чтобы не блуждал он по старым, изъезженным дорогам, по кривым и обманчивым путям, как блуждают люди, а в безбрежном и свободном просторе ее искал нового и смелого пути. Вчерашний столб дыма и огня – разве он не был тем огненным столбом, что указывал евреям дорогу в бездорожной пустыне? Он думал: «Боже, хватит ли слабых сил моих?» – но ответом был пламень, озарявший его душу, как новое солнце.

Он избран.

На неведомый подвиг и неведомую жертву избран он, Василий Фивейский, тот, что святотатственно и безумно жаловался на судьбу свою. Он избран. Пусть под ногами его разверзнется земля и ад взглянет на него своими красными, лукавыми очами, он не поверит самому аду. Он избран. И разве не тверда земля под его ногою?

О. Василий остановился и топнул ногой. Обеспокоенно закудаhtала и насторожилась испуганная курица, сзывая цыплят. Один из них был далеко и быстро побежал на зов, но на дороге его схватили и подняли большие, костлявые и горячие руки. Улыбаясь, о. Василий подышал на желтенького цыпленка горячим и влажным дыханием, мягко сложил руки, как гнездо, бережно прижал к груди и снова заходил по длинной дорожке.

– Какой подвиг? Я не знаю. Но разве смею я знать? Вот знал я про судьбу мою, жестокой называл ее – и знание мое было ложь. Вот думал я родить сына – и чудовище, без образа, без смысла, вошло в мой дом. Вот думал я умножить имущество и покинуть дом – а он раньше меня покинул, сожженный огнем небесным. И это – мое знание. А она – безмерно несчастная женщина, оскорбленная в самом чреве своем, исплакавшая все слезы, ужаснувшаяся всеми ужасами? Вот ждала она новой жизни на земле, и была бы скорбной эта жизнь, – а теперь лежит она там, мертвая, и душа ее смеется сейчас и знание свое называет ложью. Он знает. Он дал мне много: он дал мне видеть жизнь, и испытать страдание, и острием моего горя проникнуть в страдание людей; он дал мне почувствовать их великое ожидание и любовь к ним дал. Разве они не ждут, и разве я не люблю? Милые братья! Пожалел нас господь, настал для нас час милости божией!

Он поцеловал пушистую головку цыпленка и продолжал:

– Мой путь. Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой? Она летит и пробивает цель – покорная воле пославшего. Мне дано видеть, мне дано любить – и что выйдет из этого видения, из этой любви, то и будет его святая воля – мой подвиг, моя жертва.

Пригретый теплой рукой цыпленок заволок глаза и заснул – и улыбнулся поп.

– Вот – стиснуть только руку, и он умрет. А он лежит в моих руках, на моей груди и спит доверчиво. И разве я –

не в руке его? И смею я не верить в божью милость, когда этот верит в мою человеческую благодать, в мое человеческое сердце.

Он тихо засмеялся, открыв черные, гнилые зубы, и на суровом, недоступном лице его улыбка разбежалась в тысячах светлых морщинок, как будто солнечный луч заиграл на темной и глубокой воде. И ушли большие, важные мысли, испуганные человеческою радостью, и долго была только радость, только смех, свет солнечный и нежно-пушистый заснувший цыпленок.

Но вот сгладились морщинки, лицо сделалось строго и важно, и вдохновенно засверкали глаза. Самое большое, самое важное предстало перед ним, и называлось оно – чудо. Туда не смела заглянуть его все еще человеческая, слишком человеческая мысль. Там была граница мысли. Там, в бездонных солнечных глубинах, неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею. Мир любви, мир божественной справедливости, мир светлых и безбоязненных лиц, не опозоренных морщинами страданий, голода, болезней. Как огромный чудовищный брильянт, сверкал этот мир в бездонных солнечных глубинах, и больно и страшно было взглянуть на него человеческим глазам. И, покорно, склонив голову, о. Василий промолвил:

– Да будет святая воля твоя.

В саду показались люди: дьякон, его жена и многие другие. Они издали увидели попа и, дружелюбно кивая голо-

вами, поспешно направлялись к нему, подошли ближе, замедлили шаги – и остановились в оцепенении, как останавливаются перед огнем, перед бушующей водою, перед спокойно-загадочным взглядом познавшего.

– Что вы так смотрите на меня? – удивленно спросил о. Василий.

Но они не двигались и смотрели. Перед ними стоял высокий человек, совсем незнакомый, совсем чужой, и чем-то могуче-спокойным отдалял их от себя. Был он темен и страшен, как тень из другого мира, а по лицу его разбегалась в светлых морщинках искристая улыбка, как будто солнце играло на черной и глубокой воде. И в костлявых больших руках он держал пухленького желтого цыпленка.

– Что вы так смотрите на меня? – повторил он, улыбаясь. – Разве я – чудо?

Видимо для всех о. Василий Фивейский поспешно сбрасывал с себя последнее, связывавшее его с прошлым и суетными заботами о жизни. Быстро списавшись с сестрою своею, жившей в городе, он отослал к ней Настю; и дня одного не промедлил он с отправлением дочери, боясь, что укрепитя в сердце его родительская любовь и многое отнимет у людей. Настя уехала без радости и горя; она была довольна, что мать умерла, и жалела только, что не пришлось сгореть идиоту. Уже сидя в повозке, в старомодном платье, перешитом из материного, в криво надетой детской шляпке, больше похожая на странно наряженную некрасивую девушку, чем на подростка, – она равнодушно поглядывала на суетившегося дьякона своими волчьими глазами и говорила отцовским сухим голосом:

– Да бросьте, отец дьякон. Хорошо мне сидеть, и так доеду. Прощайте, папаша.

– Прощай, Настенька. Учись, смотри не ленись.

Телега дернулась, встряхнув Настю, но уже в следующее мгновение она снова стала прямою, как палка, и не покачивалась в стороны на колеях, а только подпрыгивала. Дьякон вынул платок, чтобы помахать отъезжавшей, но Настя не обернулась; и, покачав укоризненно головой, дьякон с долгим вздохом высморкался в платок и положил обратно в кар-

ман. Так уехала она, чтоб никогда больше не вернуться в Знаменское.

– А вы бы, отец Василий, и сынка бы отправили. А то ведь трудно вам будет с одной кухаркой. Глупая она у вас баба и глухая к тому же, – сказал дьякон, когда уже и пыль улеглась за скрывшейся телегой.

О. Василий задумчиво посмотрел на него.

– Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет, дьякон. Мой грех – со мною ему и быть надлежит. Как-нибудь проживем, старый да малый, – так, отче?

Он улыбнулся ласково и приятно, с безобидной насмешливостью над чем-то, что знает он один, и похлопал дьякона по толстому плечу.

Пользование своею землею о. Василий передал причту, выговорив себе на содержание небольшую сумму, «вдовью», как он ее называл.

– А может, и этого брать не стану, – загадочно промолвил он, улыбаясь приятно, с безобидною насмешкою над тем, что знает он один.

И еще одно дело совершил он: определил пухнувшего от голода Мосягина в работники к Ивану Порфирычу. Последний сперва прогнал явившегося к нему с просьбой Мосягина, но, поговорив с попом, не только принял мужика, но и самому о. Василию прислал тесу на постройку дома. А жене своей, вечно молчаливой и вечно беременной женщине, сказал:

– Помни мое слово: наделает делов этот поп.

– Каких делов? – равнодушно спросила жена.

– А таких. Только как по тому случаю, что мое дело сторона, я и молчу. А то бы... – Он неопределенно посмотрел в окно, на дорогу в губернский город.

И неизвестно откуда – с загадочных ли слов старосты, или из другого источника – по селу, а потом и дальше пошли смутные и тревожные слухи о знаменском попе. Как дымная гарь от далекого лесного пожара, они двигались медленно и глухо, и никто не замечал их прихода, и, только взглянув друг на друга и на потускневшее солнце, люди понимали, что пришло что-то новое, необычное и тревожное.

К половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и покрыть крышею успели только половину; другая половина без стропил и наката, с пустыми незарамленными окнами, прицеплялась к жилой части, как скелет к живому человеку, и по ночам казалась покинутою и страшною. Новой обстановки о. Василий заводить не стал: среди голых бревенчатых стен, на которых не успели еще затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырех комнатах стояли две некрашенные табуретки, стол да постели. Глухая, бестолковая кухарка печи топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом, и часто болела голова от угара, сизым облаком ползавшего по грязному, исслеженному полу. И холодно было. В сильные морозы стекла изнутри покрывались белым слоем

пушистого инея, и в доме царил холодный белый полусвет; на подоконниках намерзли с начала зимы огромные куски льда, и от них по полу тянулись водяные потоки. Даже неприхотливые мужики, приходившие к попу за требами, смущенно и виновато косились на убожество поповского жилья, а дьякон сердито назвал его «мерзостью запустения».

Когда о. Василий впервые вступил в новый дом, он долго и радостно ходил по пустым и холодным, как амбар, комнатам и весело сказал идиоту:

– Важно заживем мы с тобою, Василий!

Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугукал прыгающими, однообразными и громкими звуками:

– Гу-гу! Гу-гу!

Ему было весело, и он смеялся. Но уже скоро он почувствовал холод, одиночество и скуку заброшенного жилища, сердился, кричал, бил себя по щекам и пробовал сползти на пол, но падал и больно ушибался. Временами он впадал в состояние тяжелого оцепенения, похожего на странную кошмарную задумчивость. Подперев голову тонкими длинными пальцами, слегка высунув кончик языка, он неподвижно смотрел перед собою из-под узеньких звериных век. И тогда чудилось, что он вовсе не идиот, что он думает что-то особенное, не похожее на мысли всех людей; и что он знает что-то тоже особенное, простое и загадочное, чего не знает никто из них. И думалось, глядя на его приплюснутый нос с ши-

рокими вывернутыми ноздрями, на его срезанный затылок, животной линией переходивший прямо в спину, что, если бы дать ему крепкие и быстрые ноги, он убежал бы в лес и зажил бы там таинственной лесной жизнью, полной игр, жестокости и темной лесной мудрости.

И бок о бок с ним, вечно вдвоем, вечно наедине, то оглушаемый его злым, бесстыдным криком, то преследуемый окаменевшим загадочным взглядом, зажил о. Василий столь же таинственную жизнь духа, отрекшегося от плоти. Он чистым хотел быть для великого подвига и еще неведомой великой жертвы – и все дни и ночи его стали одною непрерывною молитвою, одним безглагольным излиянием. Со смерти попадьи он наложил на себя строгий пост: не пил чаю, не вкушал мясного и рыбного и в дни постные, в среду и пятницу, питался одним хлебом, размоченным в воде. И с непонятною суровостью, похожей на месть, такой же строгий пост возложил он на идиота, и тот мучился, как голодное животное: кричал, царапался и даже плакал скупыми собачьими слезами, но не мог добиться ни одного лишнего куска. Людей поп видел мало и только по необходимости, старательно сокращая время пребывания с ними, и все часы, с короткими перерывами для отдыха и сна, посвящал коленопреклоненной молитве. А когда уставал – садился и читал Евангелие, Деяния святых апостолов и жития святых. Обычно церковная служба отправлялась только по праздникам – теперь он ежедневно совершал раннюю литургию. Престаре-

лый дьякон отказался служить с ним, и помогал ему псаломщик, грязный и одинокий старик, давно когда-то лишенный дьяконского сана за пьянство.

Еще затемно, дрожа от утреннего холода, о. Василий пробирался в церковь. Идти было недалеко, а времени уходило много: часто за ночь наносило сугробы снега, ноги утопали и расползались в сухой искристой массе, и каждый шаг стоил десяти. В церкви как следует не топили, и холод стоял лютей – тот особенный, пронизывающий холод, какой свойствен нежилым зданиям зимою; при дыхании шел сильный пар, и до металлических вещей больно было дотронуться. Собственно для попа псаломщик, он же и сторож, растапливал одну печку, и у открытой дверцы ее, присев на корточки, о. Василий отогревал руки: иначе крест не держался в негнущихся, залубневших пальцах. Тут, в эти десять минут, он шутил со стариком относительно холода и цыганского пота, и псаломщик угрюмо и снисходительно слушал его; от постоянного пьянства и от холода нос у псаломщика был багрово-синий, а щетинистый подбородок, который начал он брить после разжалования, равномерно двигался, точно при жевании.

Потом о. Василий облачался в старую ризу, на которой, в местах золотой вышивки, торчали обтертые нитки; в кадило бросалась крупинка ладана, и в полутьме, смутно различая друг друга, но двигаясь уверенно, как слепые в знакомом месте, они начинали служить. Два восковых огарка – один

у псаломщика, другой на амвоне у образа спасителя – только сгущали тьму; и острое пламя их медленно колыхалось в стороны, подчиняясь движению двух неторопливых людей.

Служили долго, служили медленно и крепко; и каждое слово дрожало и расплывалось в очертаниях своих, подхватываемое холодным эхом пустынной церкви. И было только эхо, и тьма, и двое служащих богу людей; и постепенно разгоралось что-то в груди старого пьяного псаломщика. Подставив ухо, он бережно ловил каждое слово попа и задолго начинал двигать колючим подбородком; и уходила куда-то одинокая и грязная старость, и уходила вся неудачная, тоскливая жизнь, – а то, что являлось на смену, было необычно и радостно до слез. Часто на возглас псаломщика из алтаря долго не слышалось ответа; наступала долгая и строгая тишина, и неподвижно желтели острые язычки свеч; потом издалека приносился голос, налитый слезами и радостью. И снова уверенно двигались в полутьме две неторопливых фигуры, и пламя колыхалось, подчиняясь их неспешным, размеренным движениям.

Когда служба кончалась, уже светло становилось, и о. Василий говорил:

– Смотри, Никон, как потеплело-то.

А изо рта его шел пар. Морщины на щеках Никона розовели; строго и пытливо он взглядывал на попа и недоверчиво спрашивал:

– А завтра – будем? А то, может, нельзя?

– Как же, Никон, будем, будем.

Почтительно он провожал попа до дверей и шел к себе в сторожку. Там визгом и лаем его встречал десяток собак, взрослых и щенков; окруженный ими, как детьми, он кормил их и ласкал, а сам думал о попе. Думал о попе – и удивлялся. Думал о попе – и улыбался, не разжимая рта и отворачиваясь от собак, чтобы и они не видели его улыбки. И все думал, думал – до самой ночи. А наутро ждал – не обманет ли поп и не сдастся ли перед тьмою и морозом. Но поп приходил, продрогнувший, но веселый, и снова от устья печки в самую глубину темной церкви уходила багрово-красная полоса, и по ней тянулась черная тающая тень.

Вначале, прослышав о странностях попа, многие нарочно приходили, чтобы посмотреть на него, и удивлялись. Иные из смотревших находили его безумным, иные умилялись и плакали, но были такие, и их было много, в сердце которых вырастала острая и непреодолимая тревога. Ибо в прямом, безбоязненно открытом и светлом взоре попа они уловили мерцание тайны, глубочайшей и сокровеннейшей, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний. Но скоро любопытные отстали, и церковь долго оставалась пустою в темные предутренние часы, и никто не нарушал покоя двух молящихся людей. Но прошло еще время – и на возгласы попа стали приходиться из темноты церкви робкие, сдержанные вздохи; чьи-то колени глухо стучали о каменный пол; чьи-то уста шептали; чьи-то руки ставили цельную маленькую све-

чу, и среди двух огарков она была как молоденькая стройная березка среди порубленного леса.

И стала крепнуть тревожная, глухая и безликая молва. Она вползала всюду, где только были люди, и оставляла после себя что-то, какой-то осадок страха, надежды и ожидания. Говорили мало, говорили неопределенно, больше качали головами и вздыхали, но уже в соседней губернии, за сотню верст от Знаменского, кто-то серый и молчаливый вдруг громко заговорил о «новой вере» и опять скрылся в молчании. А молва все двигалась – как ветер, как тучи, как дымная гарь далекого лесного пожара.

Позже всего дошли слухи до города – словно больно и трудно им было продираться сквозь каменные стены по шумным и людным улицам. И какие-то голые, ободранные, как воры, пришли они – говорили, что кто-то себя сжег, что открылась новая изуверская секта. В Знаменское приехали люди в мундирах, ничего не нашли, а дома и бесстрастные лица ничего им не сказали, – и они уехали обратно, позвякивая колокольцами.

А слухи, после этого посещения, стали еще упорнее и злее – и каждое утро совершал служение о. Василий Фивейский.

Все долгие зимние вечера о. Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу заключенный вместе с ним в белую клетку сосновых стен и потолка.

От прошлого он сохранил любовь к яркому свету – и на столе, нагревая комнату, белым огнем пылала большая лампа с пузатым стеклом. Замерзшие окна, запущенные инеем, светлели под огнем и искрились, были непроницаемы, как стены, и отделяли людей от серой ночи. Безграничным кольцом она облежала дом, давила на него сверху, искала отверстия, куда бы пропустить свой серый коготь, и не находила. Она бесновалась у дверей, мертвыми руками ощупывала стены, дышала холодом, с гневом поднимала мириады сухих, злобных снежинок и бросала их с размаху в стекла, – а потом, бесноватая, отбегала в поле, кувыркалась, пела и плашмя бросалась на снег, крестообразно обнимая закоченевшую землю. Потом поднималась, садилась на корточки и долго и тихо смотрела на освещенные окна, поскрипывая зубами. И снова с визгом бросалась на дом, выла в трубе голодным воем ненасытимой злобы и тоски и обманывала: у нее не было детей, она сожрала их и схоронила в поле, в поле...

– Метель, – говорил о. Василий, прислушиваясь, и снова опускал глаза на книгу.

Она нашла. Огонь большой лампы проточил кружок в пу-

шистой броне, и заблестело мокрое стекло, и снаружи она прильнула к нему серым бесцветным глазом. Их двое, двое, двое... Ободранные голые стены с блестящими капельками янтарной смолы, сияющая пустота воздуха и люди. Их двое.

Склонив маленький и тесный череп, идиот клеил из картона коробочки: мазал клеем, держа кисть за кончик длинной ручки, и резал бумагу, и каждый лязг ножниц отчетливо и громко разносился по пустому дому. Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей и отклеивающейся бумагой, но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом из-под узких звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толклись, метались и кружились звуки. Шуршание, шорох, треск, протяжный вздох. Они вились над ним, паутиной пробегали по лицу и входили в голову – шуршание, шорох и протяжные, длительные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал.

– Бах! – стреляло высыхающее дерево, и, вздрогнув, о. Василий отрывал глаза от белых страниц. И тогда видел он и голые стены, и запущенные окна, и серый глаз ночи, и идиота, застывшего с ножницами в руках. Мелькало все, как видение – и снова перед опущенными глазами разворачивался непостижимый мир чудесного, мир любви, мир короткой жалости и прекрасной жертвы.

– Па-па, – бормотал идиот недавно узнанное слово и исподлобья сердито и тревожно смотрел на отца.

Но человек не слышал и молчал, и вдохновенным было светлое лицо его. Он грезил дивными грезами светлого, как солнце, безумия; он верил – верю тех мучеников, что всходили на костер, как на радостное ложе, и умирали, славословя. И любил он – могучей, несдержанной любовью властелина, того, кто повелевает над жизнью и смертью и не знает мук трагического бессилия человеческой любви. Радость, радость, радость!

– Па-па! Па-па! – еще раз пробормотал идиот, но не получил ответа и снова взялся за ножницы. Но скоро бросил их – и, уставившись неподвижными глазами, оттопырив большие уши, терпеливо ловил бегающие звуки. Шипение и шорох, визг и свист. И хохот. Она играла. Она садилась на бревна покинутого сруба, качалась и бахалась в снег, и тихо кралась в угол и рыла там могилу – для чужих, для чужих. И пела: для чужих, для чужих. И с радостью взметывала вверх и раскидывала широкие серые крылья, высматривая; камнем падала вниз и, кружась, проносилась в темные окна заиндевевшего сруба с визгом и свистом. За снежинками гонялась она – и, бледные от страха, вытянувшись вперед, они молчаливо бежали.

– Па-па! – громко кричал идиот. – Па-па!

Человек слышит и поднимает голову – с длинными исседа-черными волосами, как метель и ночь обволакивающими лицо. На минуту перед ним встают голые стены, и злобно-испуганное лицо идиота, и визг разыгравшейся выюги –

и наполняют душу его мучительным восторгом. Свершается – свершилось!

– Ну, что, Василий? Чего не клеишь – клей!

– Па-па!

– Что волнуешься? Метель? Да, да. Метель.

О. Василий прильнул к стеклу – глаз в глаз с серою ночью – и смотрит. И шепчет с ужасом:

– Отчего он не звонит? Что, если кто-нибудь блуждает в поле?

Она плачет: в поле, в поле, в поле!..

– погоди, Василий. Я схожу к Никону. Я сейчас вернусь.

– Па-па!

Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей – но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся к идиоту – по полу, по потолку, по стенам, – заглядывают в его звериные глаза, шепчутся, смеются и начинают играть. Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают; что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого.

– Бо-о-м! – откуда-то сверху падает первый тяжелый удар колокола и разгоняет маленькие испуганные звуки. – Бо-о-м! – падает второй, глухой, вязкий и разорванный, точно захватило ветром широкую пасть колокола, он задохнулся и стонет.

Убежали маленькие звуки.

– Вот и я! – говорит о. Василий. Он весь белый и дро-

жит. Тугие красные пальцы никак не могут перевернуть белой страницы. Он дует на них, трет одну о другую, и снова шуршат тихо страницы, и все исчезает: голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные, глухие звуки колокола. Снова безумным восторгом горит его лицо. Радость, радость!

– Бо-о-ом!

Она играет с колоколом. Она ловит его гулкие, толстые звуки, обвивает их шипением и свистом, рвет, разбрасывает – тяжело катит их в поле, зарывает в снег и прислушивается, склонив голову набок. И снова бежит навстречу новым звукам, неутомимая, злая и такая хитрая, как бес.

– Па-па! – кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы.

– Ну, что?.. Ну, успокойся.

– Па-па!

Молчание в комнате, свист и злое шипение метели и вязкие, глухие удары. Идиот туго ворочает головой, и тоненькие, безжизненные ноги его с согнутыми пальцами и нежной, не знающей земли подошвой слабо шевелятся, бессильно порываясь к бегу. И зовет:

– Па-па!

– Ну, хорошо. Перестань. Слушай, что я прочту тебе.

О. Василий перевернул назад страницу и начал строгим и важным голосом, как в церкви:

– «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения...»

Он поднял руку и, бледнея, взглянул на Васю.

– Понимаешь! Слепого от рождения. Никогда не видел солнца, ни лиц друзей и близких. Явился в жизнь – и тьма объяла его. Бедный человек! Слепой человек!

Голос попа звучит крепкою верою и восторгом насытившейся жалости. Он молчит и смотрит тихо улыбающимся взглядом, точно не хочет он расстаться с этим бедным человеком, который был слеп от рождения, не видел лица друга и не думал, как близка к нему божественная милость. Милость – и жалость и жалость!..

– Бо-о-м!

– Ну, слушай же, сын. «Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил: он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дело божие“.»

Крепчает голос попа и наполняет всю обнаженную комнату своими раскатами. И его широкие звуки пронизывают тихое шипение, и шорох, и свист, и растянутый, разорванный, блуждающий гул задохнувшегося колокола. Идиоту весело от огненного голоса, от блестящих глаз, от шума, свиста и гула. Он хлопает себя по оттопыренным ушам, мычит, и густая слюна двумя грязными рукавами ползет по низкому подбородку.

– Па-па! Па-па!

– Слушай, слушай. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может

делать». – «Доколе я в мире – я свет миру». Во веки веков, во веки веков! – посылает он в ночь и метель страстные торжествующие крики. – Во веки веков!

Зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый, надорванный голос. И она качается на его черных слепых звуках и поет: их двое, двое, двое! И к дому мчится, колотится в его двери и окна и воет: их двое, их двое!

И о. Василий смутно слышит ее и сурово спрашивает идиота:

– Ты что бурчишь там?

Но идиот молчит, и, еще раз с недоверием взглянув на него, о. Василий продолжает:

– «Я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому – и сказал ему: „Пойди умойся в купальне Силоам“ (что значит посланный). Он пошел и умылся и вернулся зрячим».

– Зрячим, Вася, зрячим! – грозно крикнул поп и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди ее и возопил:

– Верую, господи! Верую!

И тихо стало. И громкий скачущий хохот прорвал тишину, ударил в спину попа – и со страхом он обернулся.

– Ты что? – испуганно спросил он, отступая.

Идиот смеялся. Бессмысленный зловещий смех разодрал до ушей неподвижную огромную маску, и в широкое отверстие рта неудержимо рвался странно-пустой, прыгающий хо-

хот: «Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!»

Под Троицу, под светлый и веселый праздник весны, брали красный песок, чтобы посыпать дорожки. Глубокие ямы, где знаменские крестьяне уже несколько лет добывали для себя песок, находились верстах в двух от села, среди невысоких и густых вырубков березы, осины и дубка. Еще было только начало июня месяца, а трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметавшихся кустов с крупными влажно-зелеными листьями. И цветов много было в тот год, и пчела отовсюду налетела на цветы, и на дно глубокой выемки с осыпающимися и сползающими стенами вливались ровное и жаркое жужжание и нежный простой аромат. И уже несколько дней все ждало грозы и чувствовало ее. Она была в раскаленном безветренном воздухе, в безросных душных ночах; ее звала измученная скотина и просительно мычала, задирая головы. И людям было и душно и хорошо. Неподвижный воздух давил и угнетал, а что-то беспокойное звало к движению, к громким отрывочным разговорам и беспричинному смеху.

Работали двое: псаломщик Никон, бравший песок для церкви, и работник старосты, Семен Мосягин. Иван Порфирч любил, чтобы песку у него было много и на улице перед домом, и на мощеном дворе, и Семен уже успел с утра отвезти одну телегу, а теперь накладывал другую, бойко швыряя

полные лопаты золотистого, красивого песку. Ему было весело от жаркого жужжания, от запаха и приятной работы; он задорно поглядывал на мрачного псаломщика, лениво ковырявшего песок щербатым скребком, и дразнил его:

– Эх, брат, Никон Иваныч, даром наша с тобой красота пропадает!

– Скажи другой раз, – отвечал псаломщик с ленивой и неопределенной угрозой, и, пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась изо рта на седую щетину подбородка и постукивала.

– Гляди, соску уронишь! – предостерег Семен.

Никон ничего не ответил, и Семен, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Порфирыча он стал гладкий и круглый, как свежий огурец, и легкая работа не могла взять всех его сил и внимания; он быстро долбил, подкапывал и бросал, и с ловкостью и быстротой подбирающей зерна курицы собирал рассеянные крупинки золотистого песку, шевеля лопатой, как широким и ловким языком. Но яма, из которой еще накануне брали песок, истоцилась, и Семен решительно плюнул в нее.

– Ну, тут немного накопаешь. Разве там поковырять? – посмотрел он на низенькую полупещерку, подкопанную в непрочной стене и пестревшую красными и зеленовато-серыми пластами, и решительно направился к ней.

Псаломщик посмотрел на пещерку, подумал: «А ведь завалится», – но ничего не сказал. Но Семен почувствовал эту

мысль в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и легкую тошноту, и остановился.

– Как думаешь, не завалится? – спросил он, обертываясь.

– А я почему знаю! – ответил сторож.

В темноте овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то предательское, выжидающее, и Семен колебался. Но сверху, где повис над ямой дубовый куст и резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать что-нибудь смелое и веселое. Послунявив ладони, Семен взял лопату, и когда только второй раз ткнул ею, – что-то слабо хрустнуло, вся стена беззвучно сползла вниз и накрыла его. И только удержавшийся на корнях дубовый куст слабо закачал листьями да ссохшийся круглый комочек песку подкатился к самым ногам побледневшего сторожа и остановился, такой простой и невинный. Через два часа Семена откопали мертвым. Широко открытый рот с чистыми и ровными, точно по нитке обрезанными зубами был туго набит золотистым песком; и по всему лицу – во впадинах глаз, среди белых ресниц, в русых волосах и огненно-рыжей бороде желтел тот же красивый, золотистый песок. И все так же завивались и плясали рыжие волосики, и диким глумлением отзывалась эта нелепо веселая, залихватская пляска вокруг бледного помертвелою лица.

С собравшимся народом прибежал сын погибшего Мосягина, Сенька. Его не взяли на лошадь, и во всю дорогу он бе-

жал сзади едущих, так что слышно было его тяжелое дыхание; и, пока откапывали отца, стоял неподвижно в стороне, на куче глины, и так же неподвижны были его глаза, которыми впивался он в тающую песчаную гору.

Мертвеца положили на телегу, поверх накопанного им золотистого песку, прикрыли рогожей и тихим шагом повезли в Знаменское по корчеватой лесной дороге; позади враздробь тихо шли мужики, рассыпавшись между деревьями, и рубахи их под солнечными пятнами вспыхивали красным огнем. И когда проезжали мимо двухэтажного дома Ивана Порфирыча, псаломщик предложил поставить покойника к нему:

– Его работник – ему и хоронить.

Ни в окнах, ни около дома никого не было, и лавка была заперта висячим железным замком. Долго стучали в высокие ворота с большими черными шляпками железных гвоздей, потом дергали в большой звонок, и слышно было, как громко и резко звонил он где-то за углом, и заливались на дворе собаки, но никто не показывался. Наконец вышла старуха кухарка и сказала, что Мосягина хозяин велит везти домой и дает на похороны, не в зачет жалованья, десять рублей. А пока она объяснялась с толпою, сам Иван Порфирыч, злой и испуганный, смотрел из-за занавесок на страшную рогожу и шепотом говорил жене:

– Запомни мои слова: ежели поп миллион будет давать мне, руки не протяну, пусть лучше отсохнет. Страшный он

человек.

И неизвестно откуда – с загадочных ли слов старосты и его отказа принять покойника, или из другого неведомого источника – по селу быстро заползали и всюду зашипели взъерошенные, жуткие слухи. Говорили о Семене, о его неожиданной и страшной смерти, а думали о попе, и сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда о. Василий шел на панихиду, бледный, отягощенный какою-то неясной думою, но веселый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались стать на то место, где невидимо горели следы его тяжелых больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нем; вспомнили сгоревшую попадью и сына ее, безногого дурачка, и за простыми, ясными словами забежали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой и смутной жалости и ушла; оставшиеся долго смотрели на ее вздрагивающую спину и молча, не глядя друг на друга, разошлись. Ребята, отражая волнение взрослых, собирались в сумерки на гумне и на задворках и рассказывали страшные сказки о мертвецах, чернея большими расширенными глазами; и уже давно звал их домой знакомый и приятно-сердитый голос, а они не решались высвободить из-под себя босые ноги и промчаться сквозь прозрачную пугающую мглу. И все два дня до похорон непрерывно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и пухнувшего от жары.

И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала то-

мительным жаром, и безросны оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звезды мерцали тускло; и над всем стоял неумолчный сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней панихиды о. Василий вышел из хаты, уже темно было и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, поп снял широкополую черную шляпу и тихо шел, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру. И скорее по усилившейся тревоге, не оставлявшей его, как и всех, нежели по слуху – догадался он, что сзади, в нескольких шагах кто-то следует за ним. Он оглянулся – кто-то темный и высокий шел сзади, видимо, соразмеряя свои шаги с медленно поступающей попой. Поп остановился – тот, сзади, не догадываясь об этом, сделал несколько шагов и тоже остановился, резко подавшись назад.

– Кто это? – спросил о. Василий.

Человек молчал. Потом внезапно повернулся и быстро, не сдерживая шага, пошел назад; и уже через минуту ночная тьма бесследно поглотила его.

На следующую ночь повторилось то же. Высокий и темный человек шел за попом до самой его калитки, и почему-то в походке и складе коренастой фигуры попу показалось, что это Иван Порфирыч, староста.

– Иван Порфирыч, это вы? – окликнул он.

Но человек не отозвался и отошел назад. А когда о. Василий уже раздевался для сна, кто-то тихо постучал в окно;

поп вышел – и возле дома не было ни души. «Что это он мечется, как злой дух?» – с неудовольствием подумал о. Василий, становясь на долгую коленопреклоненную молитву. И в ней он забыл и старосту, и ночь, тревожно лежавшую над землею, и себя самого – об умершем молился он, о его жене и детях, о даровании земле и людям великой милости божией. И в бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею.

А пока он молился, идиот сполз с постели, шумно ворочая оживающими, но все еще слабыми ногами. Он стал ползать с начала весны, и уже не раз приходилось о. Василию при возвращении находить его у порога, где неподвижно сидел он, как собака у запертых дверей. Теперь он направился к открытому окну и двигался медленно, с усилием, сосредоточенно покачивая головою. Подполз, закинул за окно сильные цепкие руки и, приподнявшись на них, угрюмо и жадно всматривался в темноту ночи. И слушал что-то.

Хоронили Мосягина в понедельник, на Духов день, и начался он зловещий и странный, точно смуте среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное плотное небо низко и грозно висело над землею, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими, кроваво-красными жилками – такое оно было багровое,

звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, а ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня, точно между солнцем и землею висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи.

И тишина стояла немая и тяжелая, как будто задумался безысходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые березки, с свернувшимися листьями, серыми рядами тянулись по деревне; печаль и непонятная тревога была в этом бесцельном шествии молоденьких серых деревьев, молчаливо погибавших от жажды и огня и не дававших тени, как призраки. Давно превратился в желтую пыль золотистый песок, усыпавший дорожки, и вчерашняя праздничная шелуха подсолнухов удивляла глаз; о чем-то мирном, простом и веселом говорила она, когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было все в остановившейся природе.

Когда о. Василий облачался, в алтарь вошел Иван Порфирич. Сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрела серая землистая бледность; глаза запухли и горели лихорадочным огнем; наскоро причесанные, слипшиеся от квасу волосы местами высохли и торчали растерянными кисточками, как будто несколько ночей не спал этот человек, терзаемый нечеловеческим ужасом. Какой-то взмочаленный и растерянный был он; забыл тонкости обхождения с людьми, не подошел к попу за благословением

и даже не поздоровался.

– Что это с вами, Иван Порфирыч? Вы нездоровы? – участливо спросил о. Василий, выправляя волосы из-под тугого ворота ризы, сам бледный, несмотря на жару, и сосредоточенный.

Староста попробовал улыбнуться.

– Так. Собственно, не важно. Поговорить с вами хотел, батюшка.

– Это вы вчера?..

– Я-с. И третьего дня – тоже я. Извините. Я без всякого намерения...

Он тяжело передохнул и, снова забыв все тонкости обхождения, ужасаясь, открыто, громко сказал:

– Боюсь. Отроду ничего не боялся. А теперь боюсь. Боюсь.

– Чего ж боитесь? – удивленно спросил поп.

Иван Порфирыч заглянул за плечо попа, как будто там прятался кто-то молчаливый и страшный, и выдохнул:

– Смерти.

Молча смотрели они друг на друга.

– Смерти. Пришла она во двор. Шальная, без рассудку, всех переберет. Всех! У меня, извините, курица и та без причины подохнуть не смеет: прикажу в щи зарезать, тогда и околет. А это что же такое? Разве так можно? Извините. А я сразу и не догадался. Извините.

– Ты про Семена?

– А про кого же? Про Сидора и Евстигнея? Ты вот что, –

грубо заговорил староста, шалея от страха и злости, – ты эти дела оставь. Тут дураков нету. Уходи подобру-поздорову. Уходи!

Он энергично мотнул головой по направлению к двери и добавил:

– Живо!

– Да что ты? С ума спятил?

– Это еще неизвестно, кто спятил: ты или я. Ты зачем каждое утро тут выкидываешь? «Молюсь, молюсь», – прогундосил он по-церковному. – Так не молятся. Ты жди, ты терпи, а то: «Я молюсь». Поганец ты, своеволец, по-своему гнуть хочешь. Ан вот тебя и загнуло: где Семен? Говори, где Семен? За что погубил мужика? Где Семен, говори!

Он резко дернулся к попу – и услышал короткий и строгий приказ:

– Пойди вон из алтаря, нечестивец!

Пунцовый от гнева, Иван Порфирыч сверху взглянул на попа – и застыл с раскрытым ртом. На него смотрели бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч. Одни глаза. Ни лица, ни тела не видал Иван Порфирыч. Одни глаза – огромные, как стена, как алтарь, зияющие, таинственные, повелительные – глядели на него, – и, точно обожженный, он бессознательно отмахнулся рукою и вышел, толкнувшись о притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь

каменную стену, все еще впивались черные и страшные глаза.

Входили молча, опасливо ступая ногами, и становились, где пришлось – не на своем обычном месте, где хотелось и где привычно стоять, как будто нехорошо и неуместно было в этот жуткий, тревожный день придерживаться каких-то привычек, заботиться о каких-то удобствах. Становились и долго не решались повернуть голову, чтобы осмотреться. Уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды; и все молчали, и все сумрачно и тревожно ждали, и тесная близость не давала успокоения: локоть прикасался к локтю, а казалось, что человек стоит один в безграничной пустоте. Привлеченные странными слухами, приехали люди из дальних сел, из чужих приходов; они были смелее и говорили громко, но скоро умолкали и они, сердясь, удивляясь, но бессильные, как и все, разорвать невидимые узы свинцового молчания. Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное, угрожающее небо; оно точно переглядывалось угрюмо из окна в окно и на все бросало металлические сухие отсветы. И в этом рассеянном, тяжелом, но ярком свете старая позолота иконостаса блистала тускло и нерешительно, раздражая глаз хаосом и неопределенностью бликов. За одним окном неподвижно и сухо зеленел молодой клен, и много глаз неотступно глядело на его широкие, слегка об-

виснувшие листья: друзьями казались они, старыми спокойными друзьями среди этого молчания, среди этой сдерживаемой сумятицы чувств, среди этих желтых дразнящих бликов.

И над всеми обычными, спокойными запахами церкви, над благоуханием ладана и воска царил определенный, отвратительный и страшный запах тления. Труп быстро разлагался, и к черному гробу, обнимавшему эту расплзающуюся массу гниющего и воняющего тела, больно и страшно было подойти. Только подойти, а там неподвижно, как самый гроб, стояли четверо: вдова покойного и трое детей. Быть может, они слышали запах, но не верили ему; быть может, они его не слышали и думали и верили, что хоронят живого – как думают все люди, когда одного из них, такого близкого, такого родного, такого неотделимого, берет неожиданная и быстрая смерть. Но они молчали – и молчало все, и медно-красное, угрожающее небо переглядывалось из окна в окно над головами толпы и сеяло сухие, растерянные блики.

Когда началась обедня, торжественно и просто, как всегда, и махнул на толпу кадилом толстый и благодушный дьякон, вздохнулось свободнее, стало веселее и легче. Кое-кто перешепнулся; кое-кто решительно и грузно переступнул затекшими ногами; некоторые, кто ближе к дверям, вышли на паперть отдохнуть и покурить. Но, куря и спокойно разговаривая о посевах, о грозящей засухе, о деньгах, они внезапно спохватывались и пугались, что без них произойдет в церк-

ви что-то важное и неожиданное, бросали недокуренные сигарки и ломились в церковь, раздирая толпу плечами, как клинья. И останавливались: торжественно и просто шло служение, мирно побряхтывал и откашливался перед началом слов старый дьякон, отыскивал в толпе разговаривающих и грозил им толстым, коротким пальцем. Те, кто вышли наружу перед концом обедни, заметили, что над лесом, со стороны солнца, поднималась дымная синеватая туча, слабо темневшая под солнечными лучами – и радостно перекрестились. Был среди них и Иван Порфирыч, бледный и как бы больной; он тоже перекрестился, увидев тучу, и тотчас же угрюмо опустил глаза вниз.

В короткий перерыв между обедней и отпеванием, когда о. Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал:

– Эх! Хорошо бы ледку, а то очень уж смердит. Да где его возьмешь, льду-то. По – моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец – скажите-ка старосте.

– Смердит? – глухо спросил поп, не оборачиваясь.

– А вы не слышите? Ну и нос же у вас. А я так просто изнемог. Теперь, по летнему времени, этого запаху за неделю не выкуришь. Вы послушайте: даже борода пахнет. Ей-богу!

Он поднес к носу кончик седой бороды, понюхал и с неодобрением заключил:

– Экий народ, право!

Началось отпевание. И снова свинцовое молчание прида-

вило толпу и каждого приковало к его месту, отделило от людей и отдало в добычу мучительному ожиданию. Читал старый псаломщик. Он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба; ясно помнил он и невинный кусочек сохшейся земли, и дубовый куст, качнувшийся резными листьями, – и старые, знакомые, омертвевшие слова оживали в его шамкающем рту, били метко и больно. И о попе он думал с тревогою и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил о. Василия стыдливою и нежною любовью и близок был его великой, мятежной душе.

– «Воистину суета всяческая, житие же сень и соние: ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече писание, егде мир приобретаем, тогда во гроб вселимся, идеже вкупе царие и нищие. Тем же Христе боже преставльшегося раба твоего упокой, яко человеколюбец...»

В церкви темнело – буро-синей беспокойной темнотою затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клена, видели, как позади их выползло что-то чугуно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло выше, к кресту.

– «Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; где есть злато и сребро; где есть рабов множество и молва – вся персть, вся пепел, вся сень...» – дрожали горькие слова в старческих дрожащих устах.

Теперь все заметили растущую темноту и обернулись к окнам. Позади клена небо было черно, и широкие листья перестали зеленеть: бледными сделались они, и уже не было в них, испуганных и оцепеневших, ничего дружеского и спокойного. На лица взглянули люди, ища успокоения, и все лица были серо-пепельные, все лица были бледные и чужие. И всю, казалось, темноту, молчаливым и широким потоком вливавшуюся в окна, впитали в себя черный гроб и черный священник: так черен был этот немой гроб, так черен был этот высокий, холодный и строгий человек. Уверенно и спокойно двигался он, и чернота одежд его казалась светом среди ослепленной позолоты, пепельно-серых лиц и высоких окон, сеявших тьму. Но минутами непонятное колебание и нерешительность овладевали им; он замедлял шаги и, вытянув шею, удивленно смотрел на толпу, точно неожиданным чем-то была эта онемевшая толпа в церкви, где привык молиться он один; потом забывал толпу, забывал, что он служит, и рассеянно шел в алтарь. Точно двоилось в нем что-то; точно ждал он слова, приказа или могучего, разрешающего чувства, – а оно не приходило.

– «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу божию созданную, нашу красоту безобразну, бесславу, не имущу вида. О чуде! Что сие, еже о нас бысть таинство; како предахомся тлению; како сопрягохомся смерти; воистину бога повелением...»

Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумер-

ках, и уже бросали на лица красноватые отсветы, и многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи – когда все еще был полдень. Почувствовал тьму и о. Василий, но не понял ее: ему странно почудилось, что это – раннее зимнее утро, когда один он оставался с богом, и одно великое и мощное чувство окрыляло его, как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к цели. И дрогнул он, не видя, как слепой, но прозревая. Замедлили свой бешеный бег тысячи разрозненных, сцепившихся мыслей, тысячи незавершенных чувств: замедлили, остановились, замерли – мгновение страшной пустоты, стремительного падения, смерти, – и всколыхнулось в груди что-то огромное, неожиданно радостное, неожиданно прелестное. Еще строго и веско отбивало первые удары на миг остановившееся сердце, а он уже знал. Это оно! Оно – могучее, все разрешающее чувство, повелевающее над жизнью и смертью, приказывающее горам: сойдите с места! И сходят с места старые сердитые горы. Радость, радость! Он смотрит на гроб, на церковь, на людей и понимает все, понимает тем чудным проникновением в глубину вещей, какая бывает только во сне и бесследно исчезает с первыми лучами света. Так вот оно что! Вот великая разгадка! О радость, радость, радость!

Закинув голову, подняв руки горе, как Моисей, узревший бога, он хохочет беззвучно и грозно, короткими спадающими вздохами – видит внизу испуганное лицо дьякона, предостерегающе приподнявшего палец, видит съжившиеся спи-

ны людей, которые заметили его хохот и поспешно точат ходы в толпе, как черви, – и стискивает рот с неожиданной и трогательной пугливостью ребенка.

– Не буду! – шепчет он дьякону, а грозный восторг брызжет огнем изо всех пор его лица. И плачет он, закрывая лицо руками.

– Капелек бы! Капелек бы каких-нибудь, отец Василий! – растерянно шепчет на ухо дьякон и с отчаянием восклицает: – Ах, господи, вот не вовремя-то! Послушайте, отец Василий!..

Поп отымает слегка от лица сложенные руки и искоса, за их прикрытием, смотрит на дьякона – дьякон вздрагивает, на цыпочках, большими шагами отходит в сторону, налезает животом на решетку и, ошупью найдя дверцу, выходит.

– «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаряще бога, сей бо оскуде от сродства своего, и ко гробу тщится, не к тому пекийся о суетных и о многострастной плоти. Где ныне сроднице же и друзи; се разлучаемся...»

В толпе движение. Некоторые потаенно уходят, не обмениваясь ни словом с остающимися, и уже свободнее становится в потемневшей церкви. Только около черного гроба безмолвно толкуются люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному, отвратительному и с страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова. Она уже верит, что он мертв, и запах слышит, – но замкнуты для слез

ее глаза, и нет голоса в ее гортани. И дети смотрят на нее – три пары молчаливых глаз.

И тут заметили, что дьякон растерянно пробирается сквозь толпу, а о. Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в это мгновение, навсегда запечатлели в памяти своей его необыкновенный образ. Руками он с такою силою держался за решетку, что концы пальцев его побелели, как у мертвого; вытянув шею вперед, всем телом перегнувшись за решетку, он весь одним огромным взглядом устремлялся к тому месту, где стояла вдова и дети. И странно: он точно наслаждался ее безмерною мукою – так весел, так ликующ, так дерзко-радостен был его стремительный взор.

– «Кое разлучение, о братие, кий плач, кое рыдание в настоящем часе; приидите убо, целуйте бывшего вмале с нами, предается бо гробу, камнем покрывается, во тьму вселяется, с мертвыми погребается и всех сродников и друзей ныне разлучается. Его же...»

– Да остановись же, безумец! – прозвучал с амвона стонущий голос. – Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых!

И тут совершилось то мятежное и великое, чего с таким ужасом, так загадочно ожидали все. О. Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту ее одежд своим черным торжественным одеянием, направился к черному, молчаливо ждущему гробу. Остановился, поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающе-

муся телу:

– Тебе говорю, встань!

Было смятение, и шум, и вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо: они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми и Иван Порфирыч. Последний минуту смотрел на попа – и сорвался с места, и врезался в хвост толпы, исторгнув новые крики ужаса и гнева.

Со светлой и благостной улыбкой сожаления к их неверию и страху, весь блистая мощью безграничной веры, о. Василий возгласил вторично, с торжественной и царственной простотою:

– Тебе говорю, встань!

Но неподвижен был мертвец, и вечную тайну бесстрастно хранили его сомкнутые уста. И тишина. Ни звука в опустевшей церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные, испуганные шаги: то уходит вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, всплескивает руками – и снова тишина.

«Так лучше будет: нехорошо ему, такому, вставать при жене и детях», – быстро, вскользь думает о. Василий и говорит в третий раз, тихо и строго:

– Семен! Тебе говорю, встань!

Он медленно опускает руку и ждет. За окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет. Шаги прозвучали ближе, миновали окно и смолкли. И тишина, и долгий, мучительный вздох. Кто вздохнул? Он наклоняется к гробу, в опухшем лице он ищет движения жизни; приказывает глазам: «Да откройтесь же!» – наклоняется ближе, ближе, хватается руками за острые края гроба, почти касается к посинелым устам и дышит в них дыханием жизни – и смрадным, холодно-свирепым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп.

Он молча отшатывается – и на мгновение видит и понимает все. Слышит трупный запах; понимает, что народ бежал в страхе, и в церкви только он да мертвец; видит, что за окнами темно, но не догадывается – почему, и отворачивается. Мелькает воспоминание о чем-то ужасно далеком, о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшем. Вспоминается вьюга. Колокол и вьюга. И неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое...

И снова исчезает все. Потухшие глаза разгораются холодным, прыгающим огнем, жилистое тело наполняется ощущением силы и железной крепости. И, спрятав глаза под каменную аркой бровей, он говорит спокойно-спокойно, тихо-тихо, как будто разбудить кого-то боится:

– Ты обмануть меня хочешь?

И молчит, потупив глаза, точно ответа ждет. И снова говорит тихо-тихо, с той зловещей выразительностью бури, ко-

гда уже вся природа в ее власти, а она медлит и царственно нежно покачивает в воздухе пушинку:

– Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость – чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все одним тобою, все для тебя. Один ты! Ну, явись же – я жду!

И в позе гордого смирения он ждет ответа – один перед черным, свирепо торжествующим гробом, один перед грозным лицом необъятной и величавой тишины. Один. Неподвижными остриями вонзаются в мглу огни свечей, и где-то далеко напевает, удаляясь, вьюга: их двое, их двое... Тишина.

– Не хочешь? – спрашивает он все так же тихо и смиренно и внезапно кричит бешеным криком, выкатывая глаза, давая лицу ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающим и глубоко спящим. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души:

– Ты должен! Отдай ему жизнь! Бери у других, а ему отдай! Я прошу.

Обращается к молчаливо разлагающемуся телу и приказывает с гневом, с презрением:

– Ты! Проси его! Проси!

И кричит святотатственно, грозно:

– Ему не нужно рая. Тут его дети. Они будут знать: отец.

И он скажет: сними с головы моей венец небесный, ибо там – там сором и грязью покрывают головы моих детей. Он скажет! Он скажет!

Со злобою трясет черный тяжелый гроб и кричит:
– Да говори же ты, проклятое мясо!

Смотрит изумленно, остро – и в немом ужасе откидывается назад, выкинув для защиты напряженные руки. В гробу нет Семена. В гробу нет трупа. Там лежит идиот. Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами – и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьется молчаливый, зарождающийся смех. Молчит и смотрит и медленно высовывается из гроба – несказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти.

– Назад! – кричит о. Василий, и голова его становится огромной от вздыбившихся волос. – Назад!

И снова неподвижный труп. И снова идиот. И так в чудовищной игре безумно двоятся гниющая масса и дышит ужасом. И в диком гневе он хрипит:

– Напугать! Так вот же...

Но слов его не слышно. Внезапно, загораясь ослепительным светом, раздирается до самых ушей неподвижная маска, и хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь. Грохочет, разрывает каменные своды, бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека.

О. Василий открывает ослепленные глаза, поднимает голову вверх и видит: падает все. Медленно и тяжело клонятся и сближаются стены, сползают своды, бесшумно рушится высокий купол, колышется и гнется пол – в самых основах своих разрушается и падает мир.

И тогда с диким ревом он бежит к дверям. Но не находит их и мечется, и бьется о стены, об острые каменные углы – и ревет. С внезапно открывшеюся дверью он падает на пол, радостно вскакивает, и – чьи-то дрожащие, цепкие руки обнимают его и держат. Он барахтается и визжит, освободив руку, с железною силою бьет по голове пытавшегося удержать его псаломщика и, отбросив ногою тело, выскакивает наружу.

Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи и всею гигантскою массою своею падают на потрясенную землю – в самых основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса, несется огромный громopodobный хохот, и треск, и крики дикого веселья. На западе еще светлеет голубая полоска, и, задыхаясь, он бежит к ней. Ноги его путаются в длинной коляной ризе, он падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, и снова бежит. Улица безлюдна, как ночью – ни у домов, ни в окнах ни одного человека, ни одного живого существа: ни зверя, ни птицы.

«Все умерли!» – мелькает последняя мысль. Он выбегает за околицу на широкую торную дорогу. Над головой его чер-

ная клубящаяся туча бросает вперед три длинные отростка, как три хищно загнутые когтя; сзади что-то глухо и грозно рокочет – в самых основах своих рушится мир.

Далеко впереди на телеге возвращаются из Знаменского мужик и две бабы. Они видят быстро бегущего черного человека, на секунду останавливаются, но, узнав попа, бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, двумя колесами поднимается на воздух, но трое молчаливых, согнувшихся людей, охваченных ужасом, отчаянно настегивают лошадь – и скачут, и скачут.

* * *

О. Василий упал в трех верстах от села, посередине широкой и торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега; бледные мертвые руки тянулись вперед, нога подвернулась под тело, другая в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назад напряженно и прямо – как будто и мертвый продолжал он бежать.

19 ноября 1903 г.

Иуда Искариот

1

Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота – человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывшие в Иудее, хорошо знали его сами, многие много слышали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых спрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно, – говорили они, отплевываясь, – он думает что-то свое и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду, а Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота», – говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи.

Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно и живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех

трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше; и всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом; и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору – любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда – дурной человек и не хочет бог потомства от Иуды.

Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей; но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги – а потом снова незаметно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.

Но не послушал их советов Иисус; не коснулся его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избран-

ных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уже десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами, – слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятия; и от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно книзу, зажигая небо; и все на земле, что было обращено к нему: смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев, – все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белой теперь, и не остался белым красный город на красной горе.

И вот пришел Иуда.

Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову – и как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже; и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей му-

жа, досадно-жидкий и неприятный для слуха: и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось также и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая: и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающейся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искарюота, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с собою – рядом с собою посадил Иуду.

Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупи-

лись. А Иуда сел – и, двигая головой направо и налево, то-
неньким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у
него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыха-
ется, а стоя у края пропасти, испытывает головокружение
и едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И
многое другое безбожно выдумывал он, как будто не пони-
мая, что болезни приходят к человеку не случайно, а родят-
ся от несоответствия поступков его с заветами предвечного.
Потирал грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно
этот Иуда из Кариота при общем молчании и потупленных
взорах.

Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симоно-
ва, своего друга:

– Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить
ее и уйду отсюда.

Петр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро
встал.

– Подожди! – сказал он другу.

Еще раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторван-
ный от горы, двинулся к Иуде Искарриоту и громко сказал
ему с широкой и ясной приветливостью:

– Вот и ты с нами, Иуда.

Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не гля-
дя на учителя, но чувствуя на себе взор его, решительно до-
бавил своим громким голосом, вытесняющим всякие возра-
жения, как вода вытесняет воздух:

– Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: в наши сети попадают еще и не такие уродины, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбалям господу нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел однажды в Тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его, и я попросил еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога – только одною половиною.

И громко захохотал, довольный своей шуткой. Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так твердо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекачивался по сонной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи. И, вероятно, они любили за это Петра: на всех других лицах еще лежала ночная тень, а его крупная голова, и широкая обнаженная грудь, и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода.

Слова Петра, видимо, одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищ-

ный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнились: огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие – и раз! – обнял, облил, раздавил и высосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжавшего горячо рассказывать об осьминоге, – и один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко.

И только Иоанн Зеведеев упорно молчал да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряженно морщил прямой, гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появились восемь беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел.

А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою буроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз ка-

кой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза – остановился – решительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло. Петр ушел куда-то; Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачал загорелой ногою; ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьезно рассматривал его как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся – Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял ее в расчет, как и все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица – оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как и все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал:

– Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, подари одно из них Иуде, который так беден.

Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери.

Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошел гулять, и с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каж-

дая белая фигура казалась легкой и неторопливою и не шла, а точно скользила впереди своей черной тени; и вдруг человек пропадал в чем-то черном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими – как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно-мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услышал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух; обиженно и громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу.

Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую, здоровую грудь: быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что думает Иуда.

Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы: он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожею на смешную, а иногда и страшную сказку.

По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека обнять, приласкать и выпросить хорошенько, то из него потечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял с клятвою, что другие лгут еще больше, и если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по многу раз об-

манывали его и так и этак. Так, некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уже десять лет непрестанно хочет украсть вверенное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести. И Иуда поверил ему – а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил – а он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные; когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой – она лижет ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем, но кто знает? Может быть, оттого, что он ее убил, она стала еще более живою и теперь не лежит в яме, а весело бегаёт с другими собаками.

Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз, и тут же, с тою же улыбкой сознавался, что немного солгал; собаки этой он не убивал. Но он найдет ее непременно и непременно убьет, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись еще больше.

Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности, каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветою, другие же шутливо спрашивали:

– Ну, а твои отец и мать, Иуда, не были ли они хорошие люди?

Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел.

– А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов: про которого вы говорите?

Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей, и Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона:

– Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.

Иоанн же Зеведеев надменно бросал:

– Ну, а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда из Каприота?

Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяния у прохожего:

– Ах, искушают бедного Иуду! Смеются над Иудой, обмануть хотят бедного, доверчивого Иуду!

И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искарриота Петр Симонов. Но однажды

случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален и поспешно отвел Иуду в сторону, таща его за рукав.

– А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? – наклонившись, спросил он громким шепотом. – Только не шути, прошу тебя.

Иуда злобно взглянул на него:

– А ты что думаешь?

Петр испуганно и радостно прошептал:

– Я думаю, что он – сын бога живого.

– Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать

Иуда, у которого отец козел!

– Но ты его любишь? Ты как будто никого не любишь,

Иуда.

С той же странной злобою Искарriot бросил отрывисто и резко:

– Люблю.

После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осьминогом, а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол и там сидел угрюмо, светлея своим белым несмыкающимся глазом. Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома: он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искарriота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замеча-

ниями:

– Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще был при этом, кроме тебя? Как его зовут?

Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал, или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которой тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств – с одной стороны, и спокойных, настойчивых вопросов – с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, пронизывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою:

– Но чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все.

– Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом? – с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа.

Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом: увидел длинный, прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал:

– Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне: дерево,

стену, осла?

И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. А ночью, когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал с своего ложа – они оба спали теперь вместе на кровле:

– Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь: за свои сны также должен отвечать человек?

– А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам?

Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп.

Когда, во время странствований Иисуса по Иудее, путешники приближались к какому-нибудь селению, Искарriot рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил:

– Так! Так! Иуда думал, что они плохие, а они хорошие: и поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду из Кариота!

Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили и, чтобы ре-

шить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид смущенный и грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил:

– Иуда прав, господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов.

И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденького беленького козленка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор.

– Так вот как! – вскричал Петр, раздувая ноздри. – Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам, и...

Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади, за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем и как будто не прав оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное, хищное, с крючковатым носом лицо, – на него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто.

И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал: а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему – и даже упорнее, чем прежде, – искал его глазами всякий раз, когда начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему спиною и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, – казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающей розою ливанскою, а для Иуды оставлял одни только острые шипы – как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него и не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков.

– Фома! Ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза, как у серны? – спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил:

– Розу? Да, мне приятен ее запах. Но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как у серны.

– Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?

Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади него и привязанного к ней понурого осла.

Произошел некоторое время спустя и еще один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Иуда из Кариота. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал ее какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда, – потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые с камнями руки.

– Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного, – говорили одни, в то время как другие задумчиво провозжали глазами быстро удалявшегося Иуду.

И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изодранную одежду, и лгал, что били его, – но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему: и все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, с своим счастливо-возбужденным, но все же еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят.

– Ты хочешь видеть глупцов? – сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади. – Посмотри: вот идут они по дороге, кучкой, как стадо баранов, и поднимают пыль. А ты, умный, Фома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином.

– Почему ты называешь себя прекрасным? – удивился Фома.

– Потому что я красив, – убежденно ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми камнями.

– Но ты солгал! – сказал Фома.

– Ну да, солгал, – согласился спокойно Искарот. – Я им

дал то, что они просили, а они мне вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большею ложью была бы смерть Иисуса?

– Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой – дьявол. Это он научил тебя, Иуда.

Лицо Искарриота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому – словно белое облако нашло и закрыло дорогу Иисуса. Мягким движением Иуда так же быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движения, и зашептал в ухо:

– Значит, дьявол научил меня? Так, так, Фома. А я спас Иисуса? Значит, дьявол любит Иисуса, значит, дьяволу нужен Иисус и правда? Так, как, Фома. Но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус? Хе? А вам он не нужен, нет? И правда не нужна?

Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее.

А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались в пеструю кучу идущие, и уже нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку – и внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось и руки взмывали вверх, как для полета. Вот

на обрыве он поскользнулся и быстрым серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком:

– Ты еще, проклятая!..

И, внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, прижал руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезаая края синего неба; и всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни – словно прошел здесь когда-то каменный дождь и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг, и каждый камень в нем был как застывшая мысль, и их было много, и все они думали – тяжело, безгранично, упорно.

Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые белесою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расщелин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла

вверх – к светлому побледневшему небу. Наступила ночь со своими мыслями и снами.

В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, роптали на его нерадивость.

3

Однажды, около полудня, Иисус и ученики его проходили по каменистой и горной дороге, лишенной тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петр с другим своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями и таким образом сделали для Иисуса как бы шатер. И он возлег в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали его веселыми речами и шутками. Но видя, что и речи утомляют его, сами же будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу; кто, взбираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашел между камней красивую голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь, принес ее Иисусу; и ящерица смотрела своими выпуклыми, загадочными глазами в его глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по его теплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный, вздрагивающий хвостик.

Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп занялись тем, что отрывали от горы большие камни

и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлеченные их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжелый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался; потом нерешительно делал первый скачок – и с каждым прикосновением к земле, беря от нее быстроту и крепость, становился легким, свирепый, всеразрушающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу. Вот край – плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно, в тяжелой задумчивости, округло летел вниз, на дно невидимой пропасти.

– Ну-ка, еще один! – кричал Петр. Белые зубы его сверкали среди черной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажались, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки, и, тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус.

– Что же ты, Иуда? Отчего ты не примешь участие в игре – это, по-видимому, так весело? – спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности, за большим серым камнем.

– У меня грудь болит, и меня не звали.

– А разве нужно звать? Ну, так вот я тебя зову, иди. Посмотри, какие камни бросает Петр.

Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота – два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым:

– Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их Мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?

И, приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждою грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вот он легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихим смехом.

– Нет, ты еще брось! – сказал Петр обиженно.

И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Петр бросал большой камень – Иуда еще больше. Петр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочал обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз – Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом еще больший обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облипал его, качался вместе с ним и, леденея, посылал его в пропасть. Бросив свой камень,

Петр откидывался назад и так следил за его падением – Иуда же наклонялся вперед, выгибался и простирал длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Петр, потом Иуда, схватились за старый, седой камень – и не могли его поднять, ни тот, ни другой. Весь красный, Петр решительно подошел к Иисусу и громко сказал:

– Господи! Я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить.

И тихо ответил ему что-то Иисус. Петр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами:

– Он сказал: а кто поможет Искарриоту?

Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал еще обнимать упорный камень, и весело засмеялся:

– Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной, бедный Иуда!

И засмеялся сам Иуда, так неожиданно уличенный в своей лжи, и засмеялись все остальные – даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы, серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Петр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал:

– Вот так больной!

Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все

дружелюбно болтали с ним, но Иисус – но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шел он впереди, покусывая сорванную травинку; и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною кучкою шли впереди, а Иуда – Иуда-победитель – Иуда сильный – один плелся сзади, глотая пыль.

Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другою рукою указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая, могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую, загорелую руку.

На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом – и никто не вспомнил об Иуде.

Иуда вышел. Потом вернулся. Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась однажды учителя, но не обеспоко-

ила его. Коснулся – и замер. И громко и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса.

Искарриот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с своею поднятой рукой. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны; и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъяснимом мраке ее, молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одну на другую; и снова поднимал, и снова накладывал; и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное: и кто-то молча работал: поднимал громады, подобные горам, накладывая одну на другую, и снова поднимал... И нежно звучали где-то далекие и призрачные слова.

Так стоял он, загораживая дверь, огромный и черный, и говорил Иисус, и громко вторило его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк – резким незаконченным звуком, и Петр, точно проснувшись, востор-

женно воскликнул:

– Господи! Тебе ведомы глаголы вечной жизни!

Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то. И когда последовали за его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуды и сказал словами Соломона:

– Смотрящий кротко – помилован будет, а встречающийся в воротах – стеснит других.

Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и все у него – глаза, руки и ноги – точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес на устах своих – и прошел мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь.

Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды, присел на корточки и спросил:

– Ты плачешь, Иуда?

– Нет. Отойди, Фома.

– Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров?

Иуда помолчал, и из уст его, одно за другим, стали падать тяжелые слова, налитые тоскою и гневом.

– Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему

жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки?

– Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и язык твой так же неприятен, как и твое лицо. Ты лжешь и злословишь постоянно, как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус?

Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь в темноте:

– Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принес ему ящерицу – я принес бы ему ядовитую змею. Петр бросал камни – я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у нее зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно скрыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду! А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда.

– Ты что-то странно говоришь, Иуда?

– Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою, – ведь это я, это обо мне он сказал. Почему же он не рубит? Он не смеет, Фома. Я его знаю: он боится Иуды! Он прячется от смелого, сильного, прекрасного Иуды! Он любит глупых, предателей, лжецов. Ты лжец, Фома, ты слышал об этом?

Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда просто бранится, и только покачал в темноте головою. И еще сильнее затосковал Иуда; он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело.

– Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он сына своего отдает собакам! Он дочь свою отдает разбойникам на поругание, невесту свою – на непотребство. Но разве не нежное сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть один останется сильный, смелый, прекрасный Иуда!

Иуда утаил несколько динариев, и это открылось благодаря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не первый раз Иуда совершает кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу, и испуганный, побледневший Иуда не сопротивлялся.

– Учитель, смотри! Вот он – шутник! Вот он – вор! Ты ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор! Негодяй! Если ты позволишь, я сам...

Но Иисус молчал. И, внимательно взглянув на него, Петр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно-угнетенный вид раскаявшегося преступника.

– Так вот как! – сердито сказал Петр и громко хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудой, – но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которой слышался тихий и как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то был бледный, и потупленные его глаза краснели как бы от недавних слез.

– Учитель сказал... Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет.

Петр сердито засмеялся. Быстро, с укором взглянул на него Иоанн и, внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко воскликнул:

– И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Иуда наш брат, и вы тяжело обидели его – так сказал учитель... Стыдно вам, братья!

В дверях стоял бледный, криво улыбавшийся Иуда, и легким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущенно подошли Иаков, Филипп и другие – после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошел Петр.

– Все мы тут глупые, все слепые, Иуда. Один он видит, один он умный. Мне можно поцеловать тебя?

– Отчего же? Целуй! – согласился Иуда.

Петр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал:

– А я тебя чуть не удушил! Они хоть так, а я прямо за горло! Тебе не больно было?

– Немножко.

– Пойду к нему и все расскажу. Ведь я и на него рассердился, – мрачно сказал Петр, стараясь тихонько, без шума, отворить дверь.

– А что же ты, Фома? – строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников.

– Я еще не знаю. Мне нужно подумать.

И долго думал Фома, почти весь день. Разошлись по делам своим ученики, и уже где-то за стеною громко и весело кричал Петр, а он все соображал. Он сделал бы это быстрее, но ему несколько мешал Иуда, неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьезно спрашивавший:

– Ну как, Фома? Как идет дело?

Потом Иуда притащил свой денежный ящик и громко, звеня монетами и притворно не глядя на Фому, стал считать деньги.

– Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Смотри, Фома, опять фальшивая монета. Ах, какие все люди мошенники, они даже жертвуют фальшивые деньги... Двадцать четыре... А потом опять скажут, что украл Иуда... Двадцать пять, двадцать шесть...

Фома решительно подошел к нему – уже к вечеру это было – и сказал:

– Он прав, Иуда. Дай я поцелую тебя.

– Вот как? Двадцать девять, тридцать. Напрасно. Я опять буду красть. Тридцать один...

– Как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого. Ты просто будешь брать, сколько тебе нужно, брат.

– И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только его слова? Не дорожишь же ты временем, умный Фома.

– Ты, кажется, смеешься надо мною, брат?

– И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова его? Ведь это он сказал – «свое», – а не ты. Это он поцеловал меня – вы же только осквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок динариев, Фома, не хочешь ли проверить?

– Ведь он наш учитель. Как же нам не повторять слов учителя?

– Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый и его не за что схватить? Вот уйдет учитель из дому, и опять украдет нечаянно Иуда три динария, и разве не за тот же ворот вы схватите его?

– Мы теперь знаем, Иуда. Мы поняли.

– А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу – ученики кричат: мы знаем, учитель! А ушел учитель спать, и говорят ученики: не этому ли учил нас учитель? И тут. Сегодня утром ты назвал меня: вор. Сегодня вечером ты зовешь меня: брат. А как ты назовешь меня завтра?

Иуда засмеялся и, легко поднимая рукою тяжелый, звенящий ящик, продолжал:

– Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лег у подножия ее, а ветер ле-

тит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома!

Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся.

– Я рад, что тебе весело, – сказал Фома. – Но очень жаль, что в твоей веселости много зла.

– Как же не быть веселым человеку, которого столько ценовали и который так полезен? Если бы я не украл трех динариев, разве узнал бы Иоанн, что такое восторг? И разве не приятно быть крюком, на который вывешивают для просушки: Иоанн – свою отсыревшую добродетель, Фома – свой ум, поеденный молью?

– Мне кажется, что лучше мне уйти.

– Но ведь я же шучу. Я шучу, мой добрый Фома, – я только хотел знать, действительно ли ты желаешь поцеловать старого, противного Иуду, вора, который украл три динария и отдал их блуднице.

– Блуднице? – удивился Фома. – А об этом ты сказал учителю?

– Вот ты опять сомневаешься, Фома. Да, блуднице. Но если бы ты знал, Фома, что это была за несчастная женщина. Уже два дня она ничего не ела...

– Ты это знаешь наверное? – смутился Фома.

– Да, конечно. Ведь я сам два дня был с нею и видел, что она ничего не ест и пьет только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с нею...

Фома быстро встал и, уже отойдя на несколько шагов, ки-

нул Иуде:

– По-видимому, в тебя вселился сатана, Иуда.

И, уходя, слышал в наступивших сумерках, как жалобно позванивал в руках Иуды тяжелый денежный ящик. И как будто смеялся Иуда.

Но уже на другой день Фоме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде – так прост, мягок и в то же время серьезен был Искарот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал свое хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде, – точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток имел их, но бежал бесшумно, без писка, воплей и смеха, похожего на смех гиены, каким раньше сопровождал он все действия свои. А когда Иисус начинал говорить, он тихо усаживался в углу, складывая свои руки и ноги, и смотрел так хорошо своими большими глазами, что многие обратили на это внимание. И о людях он перестал говорить дурное, и больше молчал, так что сам строгий Матфей счел возможным похвалить его, сказав словами Соломона:

– Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит.

И поднял палец, намекая тем на прежнее злоречие Иуды. В скором времени и все заметили в Иуде эту перемену и порадовались ей; и только Иисус все так же чуждо смотрел на него, хотя прямо ничем не выражал своего нерасположения. И сам Иоанн, которому Иуда оказывал теперь глубокое по-

чтение, как любимому ученику Иисуса и своему заступнику в случае с тремя динариями, стал относиться к нему несколько мягче и даже иногда вступал в беседу.

– Как ты думаешь, Иуда, – сказал он однажды снисходительно, – кто из нас, Петр или я, будет первым возле Христа в его небесном царствии?

Иуда подумал и ответил:

– Я полагаю, что ты.

– А Петр думает, что он, – усмехнулся Иоанн.

– Нет, Петр всех ангелов разгонит своим криком – ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постарается первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса, – но он уже староват, а ты молод, он тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христом. Не так ли?

– Да, я не оставлю Иисуса, – согласился Иоанн.

И в тот же самый день и с таким же вопросом обратился к Иуде Петр Симонов. Но, боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвел Иуду в самый дальний угол, за дом.

– Так как же ты думаешь? – тревожно спрашивал он. – Ты умный, тебя за ум сам учитель хвалит, и ты скажешь правду.

– Конечно, ты, – без колебаний ответил Искарот; и Петр с негодованием воскликнул:

– Я ему говорил!

– Но, конечно, и там он будет стараться отнять у тебя первое место.

– Конечно!

– Но что он может сделать, когда место уже будет занято тобой? Ведь ты первый пойдешь туда с Иисусом? Ты не оставишь его одного? Разве не тебя назвал он – камень?

Петр положил руку на плечо Иуды и горячо сказал:

– Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой? Учитель не любит этого. А то ведь и ты мог бы стать любимым учеником, не хуже Иоанна. Но только и тебе, – Петр угрожающе поднял руку, – не отдам я своего места возле Иисуса, ни на земле, ни там! Слышишь!

Так старался Иуда доставить всем приятное, но и свое что-то думал при этом. И, оставаясь все тем же скромным, сдержанным и незаметным, каждому умел сказать то, что ему особенно нравится. Так, Фоме он сказал:

– Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.

Матфею же, который страдал некоторым излишеством в пище и питии и стыдился этого, привел слова мудрого и почитаемого им Соломона:

– Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

Но и приятное говорил редко, тем самым придавая ему особенную ценность, а больше молчал, внимательно прислушиваясь ко всему, что говорится, и думал о чем-то. Размышляющий Иуда имел, однако, вид неприятный смешной и в то

же время внушающий страх. Пока двигался его живой и хитрый глаз, Иуда казался простым и добрым, но когда оба глаза останавливались неподвижно и в старые бугры и складки собиралась кожа на его выпуклом лбу – являлась тягостная догадка о каких-то совсем особенных мыслях, ворочающихся под этим черепом. Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка, они глухим молчанием тайны окружали размышляющего Искарриота, и хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно-глухим и неотзывчивым молчанием.

– Опять задумался, Иуда? – кричал Петр, своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание Иудиных дум, отгоняя их куда-то в темный угол. – О чем ты думаешь?

– О многом, – с покойной улыбкой отвечал Искарриот. И, заметив, вероятно, как нехорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединенных прогулках или же забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел. И уже несколько раз слегка пугался Фома, наткнувшись неожиданно в темноте на какую-то серую грудку, из которой вдруг высывались руки и ноги Иуды и слышался его шуточный голос.

Только однажды Иуда как-то особенно резко и странно напомнил прежнего Иуду, и произошло это как раз во время спора о первенстве в царстве небесном. В присутствии учи-

теля Петр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая свое место возле Иисуса: перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бранились несдержанно, Петр – весь красный от гнева, рокочущий; Иоанн – бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью. Уже непристойным делался их спор и начал хмуриться учитель, когда Петр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал; взглянул на Иуду Иоанн и также улыбнулся – каждый из них вспомнил, что говорил ему умный Искарот. И, уже предвкушая радость близкого торжества, они молча и согласно призвали Иуду в судьи, и Петр закричал:

– Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса – он или я?

Но Иуда молчал, дышал тяжело и глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно-глубокие глаза Иисуса.

– Да, – подтвердил снисходительно Иоанн, – скажи ты ему, кто будет первый возле Иисуса.

Не открывая глаз от Христа, Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно:

– Я!

Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия себя в грудь костлявым пальцем, Искарот повторил торжественно и строго:

– Я! Я буду возле Иисуса!

И вышел. Пораженные дерзкой выходкой, ученики мол-

чали, и только Петр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фоме неожиданно тихим голосом:

– Так вот о чем он думает!.. Ты слышал?

Как раз в это время Иуда Искариот совершил первый, решительный шаг к предательству: тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших, тяжелых век, рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый и в ученики к Иисусу Назарейю вступил с единственной целью уличить обманщика и предать его в руки закона.

– А кто он, этот Назарей? – пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса.

Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти его к фарисеям и храму, о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его исторгнуть власть из рук церковников и создать свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательнее взглянул на него Анна и лениво сказал:

– Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев?

– Нет, он опасный человек, – горячо возразил Иуда, – он нарушает закон. И пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ.

Анна одобрительно кивнул головой.

– Но у него, кажется, много учеников?

– Да, много.

– И они, вероятно, очень любят его?

– Да, они говорят, что любят. Очень любят, больше, чем себя.

– Но если мы захотим взять его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстания?

Иуда засмеялся продолжительно и зло.

– Они? Эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они!

– Разве они такие дурные? – холодно спросил Анна.

– А разве дурные бегают от хороших, а не хорошие от дурных? Хе! Они хорошие, и поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо будет класть в гроб. И они положат его сами, а ты только казни!

– Но ведь они же любят его? Ты сам сказал.

– Своего учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим! Хе!

Анна проницательно взглянул на предателя, и сухие губы его сморщились – это значило, что Анна улыбается.

– Ты обижен ими? Я это вижу.

– Разве может укрыться что-либо от твоей проницатель-

ности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да. Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария, – как будто Иуда не самый честный человек в Израиле!

И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках его, о гибельном влиянии его на израильский народ – но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уже давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слышал как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и гневливый народ иерусалимский, боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутая сопротивлением, оплодотворенная красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падает, – еще сильнее разрастется ересь и в гибких кольцах своих задушит Анну, и власть, и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искарот, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий и в четвертый раз пришел к нему Искарот, настойчивый, как ветер, который и днем и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее.

– Я вижу, что боится чего-то мудрый Анна, – сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику.

– Я довольно силен, чтобы ничего не бояться, – надменно ответил Анна, и Искарriot раболепно поклонился, простирая руку. – Чего ты хочешь?

– Я хочу предать вам Назарея.

– Он нам не нужен.

Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника.

– Ступай.

– Но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна?

– Тебя не пустят. Ступай.

Но вот и еще раз, и еще раз постучался Иуда из Кариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал и Иуда – точно и сам подсчитывал волоски в седой бороде первосвященника.

– Ну? Ты опять здесь? – надменно бросил, точно плюнул на голову, раздраженный Анна.

– Я хочу предать вам Назарея.

Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искарriot смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою.

– Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?

– А сколько вы дадите?

Анна с наслаждением оскорбительно сказал:

– Вы все шайка мошенников. Тридцать серебряников – вот сколько мы дадим.

И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда – проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него.

– За Иисуса? Тридцать серебряников? – закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. – За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать серебряников? И вы думаете, что вам могу продать Иисуса за тридцать серебряников?

Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки:

– Ты слышишь? Тридцать серебряников! За Иисуса!

С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:

– Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле.

И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства того, кого он продает.

– А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!

– Если ты... – пробовал вставить порозовевший Анна, хо-

лодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды; но тот беззастенчиво перебивал его:

– А то, что он красив и молод – как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха? А?

– Если ты... – старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.

– Тридцать серебряников! Ведь это одного оболы не выходит за каплю крови! Половины оболы не выходит за слезу! Четверть оболы за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? – вопил Искарот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.

– За все! За все! – задыхался Анна.

– А сами вы сколько наживаете на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!

Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:

– Вон!.. Вон!..

Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками:

– Но если вы так... Зачем же ты сердишься на бедного

Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди...

– Мы другого... Мы другого... Вон!

– Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов? За два обола? За один?

И, кланяясь все ниже, извиваясь и лъстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.

– Теперь так много фальшивых денег, – спокойно пояснил Иуда.

– Эти деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм, – сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.

– Но разве благочестивые люди умеют отличать фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.

Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший,

измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку – но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать серебряников.

Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся – и выполз бесшумно.

– Господи! – сказал он. – Господи!

И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба.

...Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его корот-

кой жизни. Стыдливый, робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она, – он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности – теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью спрашивал об одном и том же, тайно совал деньги в руку, в самую ладонь, – и те приносили амбру, благовонное дорогое мирро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердится, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству; и в каменистом Иерусалиме, почти в лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках – первый раз в жизни – маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали; и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг вползло на колени что-то маленькое, черненькое, с курча-

выми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.

По вечерам, когда вместе с тьмою у окон остановилась на страже и тревога, Искарriot искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихой водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн; у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и он вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:

– Как он рассказывает! Ты слышишь?

– Слышу, конечно.

– Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать.

Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с бла-

годарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.

И без зависти, с снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней!

6

Одною рукой предавая Иисуса, другою рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:

– Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.

Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление – пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а бесконечные советы вызвали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали:

– Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И

разве Иисус не пророк, а военачальник?

– Но если они захотят умертвить его?

– Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним.

– А если посмеют? Тогда что?

Иоанн говорил пренебрежительно:

– Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя.

И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью:

– Но вы его любите, да?

И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:

– А ты его любишь? Крепко любишь?

И все отвечали, что любят.

Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его:

– Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?

Фома рассудительно ответил:

– Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча – что можно сделать двумя мечами?

– Можно еще достать. Их можно отнять у воинов, – нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые, нависшие усы:

– Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат.

– Это я украл. Можно было еще украсть, но там закричали – и я убежал.

Фома задумался и печально сказал:

– Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь?

– Но ведь нет же чужого!

– Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.

И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз проклинали ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.

А рассерженный Иуда после каждого такого разговора шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.

– Разве это люди? – горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. – Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на

обол!

– Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, – возразила Мария.

– Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? – удивлялся Иуда. – Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!

– Он так тяжел, я не подниму его, – улыбнулась Мария.

– Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтобы найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был он? Улыбнулся ли он?

– Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.

– И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?

– Ты же просил не говорить.

– Нет, не надо, конечно, не надо, – вздохнул Иуда. – Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее: быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она хорошая женщина, ты не знаешь?

– Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей

жены?

– Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать серебряников – это большие деньги? Или нет, небольшие?

– Я думаю, что небольшие.

– Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять серебряников или десять? Ты была дорогой?

Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.

– Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.

– Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?

– Ведь это грех.

– Тому страшно, кто греха еще не совершал. А кто уже совершил его – чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его.

Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам – он уже старый, сухой, безобразный со своею бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом; она – молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.

А время равнодушно протекало, и тридцать серебряников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день

предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на ослиати, и, расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками:

– Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!

И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо:

– Не сын ли это божий с нами?

И сами кричали торжествуяще:

– Осанна! Осанна! Грядый во имя господне!

В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые, большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивительно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искарот; задумывался и вновь слушал и смотрел; потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывал его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде:

– Фома! А что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою – песок только? Тогда что?

– Про кого ты говоришь? – осведомился Фома.

– Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удрушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?

– Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И, покачивая готовую, Иуда повторил, как эхо:

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И на другой еще день в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал тот же странный вопрос:

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И еще больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды:

– Тогда не будет Иуды из Кариота. Тогда не будет Иисуса. Тогда будет... Фома, глупый Фома! Хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее? И, может быть, бросить потом.

– Это невозможно. Что ты говоришь, Иуда!

– Это возможно, – убежденно сказал Искарот. – И мы ее поднимем когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Фома. Спи! Мне весело, Фома! Когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи!

Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах, за стенами, и загадочны стали лица встречаемых. Погасло ликование. И уже смутные слухи об опасности

поползли в какие-то щели; пробовал сумрачный Петр подаренный ему Иудой меч. И все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробежало время и неумолимо приближало страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его.

– Ты знаешь, кто его предаст? – спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами.

– Да, знаю, – ответил Иуда, суровый и решительный. – Ты, Фома, предашь его. Но он сам не верит тому, что говорит! Пора! Пора! Почему он не зовет к себе сильного, прекрасного Иуду?

...Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерилось неумолимое время. И был вечер, вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле – первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил:

– Ты знаешь, куда я иду, господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов.

И было долгое молчание, тишина вечера и острые, черные тени.

– Ты молчишь, господи? Ты приказываешь мне идти?

И снова молчание.

– Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь?

И снова молчание, огромное, как глаза вечности.

– Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз, но разве моя – меньше? Повели мне остаться! Но ты молчишь, ты все молчишь? Господи, господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, искал и нашел! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжелее гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота?

И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности.

– Я иду.

Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала и не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла – так слаб был шум удалявшихся шагов. Прощумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тенями, потемнела – и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, вздохнула и замерла, встречая ночь.

Затолклись, захлопали, застучали другие голоса – точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами, и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стучаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра – он клялся, что никогда не оставит учителя своего.

– Господи, – говорил он с тоскою и гневом. – Господи! С тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалявшихся шагов, прозвучал беспощадный ответ:

– Говорю тебе – Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня.

Уже встала луна, когда Иисус собрался идти на гору Елеонскую, где проводил он все последние ночи свои. Но непонятно медлил он, и ученики, готовые тронуться в путь, торопили его; тогда он сказал внезапно:

– Кто имеет мешок, возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному: «И к злодеям причтен».

Ученики удивились и смотрели друг на друга с смущением. Петр же ответил:

– Господи! Вот здесь два меча.

Он взглянул испытующе на их добрые лица, опустил голову и сказал тихо:

– Довольно.

Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих – и пугались ученики звука шагов своих; на белой стене, озаренной луною, вырастали их черные тени – и теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за ворота города они вышли, и в глубокой ложине, полной загадочно-неподвижных теней, открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание и плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей; уродливые тени скал и деревьев, преграждаю-

щие дороге, беспокоили их пестротой своею, и движением казалась их ночная неподвижность. Но по мере того как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иерусалим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе; и те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса. О том, что все покинут его, говорил он.

В саду, в начале его, они остановились. Большая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном кружеве теней и лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо его ближайших учеников пошли дальше в глубину сада. Там сели они на земле, не остывшей еще от дневного жара, и, пока Иисус молчал, Петр и Иоанн лениво перекидывались словами, почти лишенными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как дорого мясо в Иерусалиме, рыбы же совсем нельзя достать. Старались точным числом определить количество паломников, собравшихся к празднику в город, и Петр, громкою зевотою растягивая слова, говорил, что двадцать тысяч, а Иоанн и брат его Иаков уверяли так же лениво, что не больше десяти. Вдруг Иисус быстро поднялся.

– Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте, – сказал он и быстрыми шагами удалился в чашу и

скоро пропал в неподвижности теней и света.

– Куда он? – сказал Иоанн, поднявшись на локте. Петр повернул голову вслед ушедшему и утомленно ответил:

– Не знаю.

И, еще раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжелую дрему Петр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помраченном сознании.

– Симон, ты спишь?

И опять он спал, и опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа:

– Так ли и одного часа не могли вы бодрствовать со мною?

«Ах, господи, если бы ты знал, как мне хочется спать», – подумал он в полусне, но ему показалось, что сказал он громко. И снова он уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных.

– Вы все еще спите и поживаете? Кончено, пришел час – вот предается сын человеческий в руки грешников.

Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев, озаряя их бегучим огнем факелов, с топотом и шумом, в лязге оружия и хрусте ломающихся веток приближалась толпа воинов и слугителей храма. А с

другой стороны прибегали трясущиеся от холода ученики с испуганными, заспанными лицами и, еще не понимая, в чем дело, торопливо спрашивали:

– Что это? Что это за люди с факелами?

Бледный Фома, со сбившимся в сторону прямым усом, зябко ляскал зубами и говорил Петру:

– По-видимому, это пришли за нами.

Вот толпа воинов окружила их, и дымный тревожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда из Кариота и, остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса. Нашел его, на миг остановился взором на его высокой, тонкой фигуре и быстро шепнул служителям:

– Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. Но только осторожно, вы слышали?

Затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд в его спокойные, потемневшие глаза.

– Радуйся, равви! – сказал он громко, вкладывая странный и грозный смысл в слова обычного приветствия.

Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики, не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул Искарriot их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко ляскающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые движения рук, точно стянутых железом у предпле-

чья, – и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков.

– Иуда, – сказал Иисус и молнией своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искарота, – но в бездонную глубину ее не мог проникнуть. – Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?

И видел, как дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть в своем гордом величии, стоял Иуда из Кариота, внутри его все стонало, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов:

«Да! Целованием любви предаем мы тебя. Целованием любви предаем мы тебя на поругание, на истязания, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест – и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь».

Так стоял Иуда, безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и шум, поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нерешительностью вооруженной силы, с неловкостью смутно понимаемой цели уже хватали его за руки солдаты и тащили куда-то, свою нерешительность прини-

мая за сопротивление, свой страх – за насмешку над ними и издевательство. Как кучка испуганных ягнят, теснились ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая – и даже самим себе; и только немногие решались ходить и действовать отдельно от других. Толкаемый со всех сторон, Петр Симонов с трудом, точно потеряв все свои силы, извлек из ножен меч и слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей – но никакого вреда не причинил. И заметивший это Иисус приказал ему бросить ненужный меч, и, слабо звякнув, упало под ноги железо, столь, видимо, лишенное своей колющей и убивающей силы, что никому не пришло в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой.

Солдаты распахивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги, и это продолжалось до тех пор, пока не овладела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну; другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак, – и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натываясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому только

что вставший с постели, ибо был покрыт он только одним одеялом, возбужденно сновал в толпе воинов и служителей. Но, когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдат. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и нагое тело его странно мелькало под луною.

Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Петр и в отдалении последовал за учителем. И, увидя впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его:

– Иоанн, это ты?

– А, это ты, Петр? – ответил тот, остановившись, и по голосу Петр признал в нем предателя. – Почему же ты, Петр, не убежал вместе с другими?

Петр остановился и с отвращением произнес:

– Отойди от меня, сатана!

Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошел дальше, туда, где дымно сверкали факелы и лязг оружия смешивался с отчетливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ним и Петр, и так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуρο грел над огнем свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Петр:

– Нет, я не знаю его.

Но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что еще громче Петр повторил:

– Да нет же, я не понимаю, что вы говорите!

Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал:

– Так, так, Петр! Никому не уступай своего места возле Иисуса!

И не видел он, как ушел со двора перепуганный Петр, чтобы не показываться более. И с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи его ни одного из учеников; и среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий, – тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал. Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба, преданный и предатель, и огненная влага одинаково опалила чистые и нечистые уста.

Пристально глядя на огонь костра, наполнявший глаза ощущением жара, протягивая к огню длинные шевелящиеся руки, весь бесформенный в путанице рук и ног, дрожащих теней и света, Искарот бормотал жалобно и хрипло:

– Как холодно! Боже мой, как холодно!

Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, оставив на берегу тлеющий костер, из темной глубины моря вылезает нечто, подползает к огню, смотрит на него пристально и дико, тянется к нему всеми членами своими и бормочет жалобно и хрипло:

– Как холодно! Боже мой, как холодно!

Вдруг за своей спиной Иуда услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой, сонно жадной злобы, и хлесткие, короткие удары по живому телу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей, – это били Иисуса.

Так вот оно!

Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из караульни все еще неслись глухие крики, смех и ругательства. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искарриот проворно бегал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивленно натываясь на костры, на стены. Потом прилипал к стене караульни и, вытягиваясь, присасывался к окну, к щелям дверей и жадно разглядывал, что делается там. Видел тесную, душную комнату, грязную, как все караульни в мире, с заплеванным полом и такими замасленными, запятнанными стенами, точно по ним ходили или валялись. И видел человека, которого били. Его били по лицу, по голове, перебрасывали, как мягкий тюк, с одного конца на другой; и так как он не кричал и не сопротивлялся, то минутами, после напряженного смотрения действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла, без костей и крови. И выгибалась она странно, как кукла, и когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было впечатления удара

твердым о твердое, а все то же мягкое, безболезненное. И когда долго смотреть, то становилось похоже на какую-то бесконечную, странную игру – иногда до полного почти обмана. После одного сильного толчка человек, или кукла, опустился плавным движением на колени к сидящему солдату, тот, в свою очередь, оттолкнул, и оно, перевернувшись, село к следующему, и так еще и еще. Поднялся сильный хохот, и Иуда также улыбнулся – точно чья-то сильная рука железными пальцами разодрала ему рот. Это был обманут рот Иуды.

Ночь тянулась, и костры еще тлели. Иуда отвалился от стены и медленно прибрел к одному из костров, раскопал уголь, поправил его и, хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнем слегка дрожащие руки. И забормотал тоскливо:

– Ах, больно, очень больно, сыночек мой, сыночек, сыночек. Больно, очень больно!..

Потом опять пошел к окну, желтеющему тусклым огнем в прорези черной решетки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное лицо в чаше спутавшихся волос. Вот чья-то рука впиалась в эти волосы, повалила человека и, равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стала лицом его вытирать заплыванный пол. Под самым окном спал солдат, открыв рот с белыми блестящими зубами; вот чья-то широкая спина с толстой, голой шеей загородила окно, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо.

Что это? Почему они молчат? Вдруг они догадались?

Мгновенно вся голова Иуды, во всех частях своих, наполняется гулом, криком, ревом тысяч взбесившихся мыслей. Они догадались? Они поняли, что это – самый лучший человек? – это так просто, так ясно. Что там теперь? Стоят перед ним на коленях и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он сюда, а за ним ползут покорно те – выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, властелином правды, богом...

– Кто обманывает Иуду? Кто прав?

Но нет. Опять крик и шум. Бьют опять. Не поняли, не догадались и бьют еще сильнее, еще больше бьют. А костры догорают, покрываясь пеплом, и дым над ними так же прозрачно синь, как и воздух, и небо так же светло, как и луна. Это наступает день.

– Что такое день? – спрашивает Иуда.

Вот все загорелось, засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце.

– Что такое солнце? – спрашивает Иуда.

На Иуду показывали пальцами, и некоторые презрительно, другие с ненавистью и страхом говорили:

– Смотрите: это Иуда Предатель!

Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрек он себя вовеки. Тысячи лет пройдут, народы сменятся народами, а в воздухе все еще будут звучать слова, произносимые с презрением и страхом добрыми и злыми:

– Иуда Предатель... Иуда Предатель!

Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощенный чувством всепобеждающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульни избитого Иисуса, Иуда ходил за ним и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости – одно только непобедимое желание все видеть и все слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело свое чувствовал легким; когда его не пропускали вперед, теснили, он расталкивал народ толчками и проворно вылезал на первое место; и ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса Каиафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал рукою ухо и утвердительно мотал головою, бормоча:

– Так! Так! Ты слышишь, Иисус!

Но свободным он не был – как муха, привязанная на нитку: жужжа, летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не

оставляет ее послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним он был привязан крепко; он не знал как будто, что это за мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами они вдруг надвигались на него, наседали, начинали давить всю свою невообразимой тяжестью – точно свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову. Тогда он хватался рукою за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, еще на новое место. Когда Иисуса выводили от Каиафы, он совсем близко встретил его утомленный взор и, как-то не отдавая отчета, несколько раз дружелюбно кивнул головою.

– Я здесь, сынок, здесь! – пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ротозея, стоявшего ему на дороге. Теперь огромной, крикливой толпою все двигались к Пилату, на последний допрос и суд, и с тем же невыносимым любопытством Иуда быстро и жадно разглядывал лица все прибывавшего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда, но встречались и те, которые кричали Иисусу: «Осанна!» – и с каждым шагом количество их как будто возрастало.

«Так, так! – быстро подумал Иуда, и голова его закружилась, как у пьяного. – Все кончено. – Вот сейчас закричат они: это наш, это Иисус, что вы делаете? И все поймут...»

Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что все это не касается их; другие что-то сдержан-

но говорили, но в гуле движения, в громких и исступленных криках врагов Иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил невдалеке осторожно пробиравшегося Фому и, что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой, грязной улице, между двух стен, Иуда нагнал его.

– Фома! Да погоди же!

Фома остановился и, протягивая вперед обе руки, торжественно произнес:

– Отойди от меня, сатана.

Искариот нетерпеливо махнул рукою.

– Какой ты глупый, Фома, я думал, что ты умнее других. Сатана! Сатана! Ведь это надо доказать.

Опустив руки, Фома удивленно спросил:

– Но разве не ты предал учителя? Я сам видел, как ты привел воинов и указал им на Иисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?

– Другое, другое, – торопливо сказал Иуда. – Слушай, вас здесь много. Нужно, чтобы вы все собрались вместе и громко потребовали: отдайте Иисуса, он наш. Вам не откажут, не посмеют. Они сами поймут...

– Что ты! Что ты, – решительно отмахнулся руками Фома, – разве ты не видел, сколько здесь вооруженных солдат и служителей храма. И потом суда еще не было, и мы не должны препятствовать суду. Разве он не поймет, что Иисус неви-

нен, и не повелит немедля освободить его?

– Ты тоже так думаешь? – задумчиво спросил Иуда. – Фома, Фома, но если это правда? Что же тогда? Кто прав? Кто обманул Иуду?

– Мы сегодня говорили всю ночь и решили: не может суд осудить невинного. Если же он осудит...

– Ну! – торопил Искарот.

– ...то это не суд. И им же придется худо, когда надо будет дать ответ перед настоящим Судиею.

– Перед настоящим! Есть еще настоящий! – засмеялся Иуда.

– И все наши прокляли тебя, но так как ты говоришь, что не ты предатель, то, я думаю, тебя следовало бы судить...

Не дослушав, Иуда круто повернул и быстро устремился вниз по улице, вслед за удаляющейся толпой. Но вскоре замедлил шаги и пошел неторопливо, подумав, что когда идет много народу, то всегда идут они медленно, и одиноко идущий непременно нагонит их.

Когда Пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил его перед народом, Иуда, прижатый к колонне тяжелыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь все кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, окровавленного, бледного, в терновом венце, остриями своими вонзавшемся в лоб; у края возвышения стоял он, видимый весь с

головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал, был так ясен в своей непорочности и чистоте, что только слепой, который не видит самого солнца, не увидел бы этого, только безумец не понял бы. И молчал народ – так тихо было, что слышал Иуда, как дышит стоящий впереди солдат и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле.

«Так. Все кончено. Сейчас они поймут», – подумал Иуда, и вдруг что-то странное, похожее на ослепительную радость падения с бесконечно высокой горы в голубую сияющую бездну, остановило его сердце.

Презрительно оттянув губы вниз, к круглому бритому подбородку, Пилат бросает в толпу сухие, короткие слова – так кости бросают в стаю голодных собак, думая обмануть их жажду свежей крови и живого трепещущего мяса:

– Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ; и вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его...

Иуда закрыл глаза. Ждет.

И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов:

– Смерть ему! Распни его! Распни его!

И вот, точно глумясь над самим собою, точно в одном миге желая испытать всю беспредельность падения, безумия и позора, тот же народ кричит, вопит, требует тысячью звериных и человеческих голосов:

– Варраву отпусти нам! Его распни! Распни!

Но ведь еще римлянин не сказал своего решающего слова: по его бритому надменному лицу пробегают судороги отвращения и гнева. Он понимает, он понял! Вот он говорит тихо служителям своим, но голос его не слышен в реве толпы. Что он говорит? Велит им взять мечи и ударить на этих безумцев?

– Принесите воды.

Воды? Какой воды? Зачем?

Вот он моет руки – зачем-то моет свои белые, чистые, украшенные перстнями руки – и злобно кричит, поднимая их, удивленно молчащему народу:

– Неповинен я в крови праведника этого. Смотрите вы!

Еще скатывается с пальцев вода на мраморные плиты, когда что-то мягкое расплывается у ног Пилата и горячие, острые губы целуют его бессильно сопротивляющуюся руку – присасываются к ней, как щупальца, тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он взглядывает вниз – видит большое извивающееся тело, дико двоящееся лицо и два огромные глаза, так странно непохожие друг на друга, как будто не одно существо, а множество их цепляется за его ноги и руки. И слышит ядовитый шепот, прерывистый, горящий:

– Ты мудрый... Ты благородный!.. Ты мудрый, мудрый!..

И такой поистине сатанинскую радостью пылает это дикое лицо, что с криком ногою отталкивает его Пилат, и Иуда падает навзничь. И, лежа на каменных плитах, похожий на

опрокинутого дьявола, он все еще тянется рукою к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюбленный:

– Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!

Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь еще не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда... Что тогда? Видит мельком оторопелого бледного Фому и зачем-то, успокоительно кивнув ему головою, нагоняет Иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг Иуда чувствует, что он устал. Весь уходит в заботу о том, чтобы лучше ставить ногу, тускло смотрит по сторонам и видит плачущую Марию Магдалину, видит множество плачущих женщин – распущенные волосы, красные глаза, искривленные уста, – всю безмерную печаль нежной женской души, отданной на поругание. Оживляется внезапно и, улучив мгновение, подбегает к Иисусу.

– Я с тобою, – шепчет он торопливо.

Солдаты отгоняют его ударами бичей, и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, показывая солдатам оскаленные зубы, он поясняет торопливо:

– Я с тобою. Туда. Ты понимаешь, туда!

Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату, который оборачивается, смеясь, и показывает на него другим. Ищет зачем-то Фому – но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожающих. Снова чувствует усталость и тяжело передвигает ноги, внимательно разглядывая острые, белые, рас-

сыпающиеся камешки.

...Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, не жил, а только слушал. Но вот со скрежетом ударило железо о железо, и раз за разом тупые, короткие, низкие удары – слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, раздвигая частицы его.

Одна рука. Еще не поздно.

Другая рука. Еще не поздно.

Нога, другая нога – неужели все кончено? Нерешительно раскрывает глаза и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанавливается в яме. Видит, как, напряженно содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Иисуса, расширяют раны – и внезапно уходит под ребра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, белеют, вывертываются в плечах, и раны под гвоздями краснеют, ползут – вот оборвутся они сейчас... Нет, остановилось. Все остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким, глубоким дыханием.

На самом темени земли вздымается крест – и на нем распятый Иисус. Осуществился ужас и мечты Искарота – он поднимается с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается кругом. Так смотрит суровый победитель, который уже решил в сердце своем предать все разрушению и смерти и в последний раз обводит взором чужой и богатый город, еще живой и шумный, но уже призрачный под холодной рукою смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу

свою, видит Искарriot ее зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Еще не поздно. Иисус еще жив. Вот смотрит он зовущими, тоскующими глазами...

Что может удержать от разрыва тоненькую пленку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что ее как будто нет совсем? Вдруг – они поймут? Вдруг все своею грозной массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своей кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!

Осанна? Нет, лучше Иуда ляжет на землю. Нет, лучше, лежа на земле и ляская зубами, как собака, будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем? То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутом, как ленивого осла, – то безумно мчится оно с какой-то горы и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина. Вон плачет мать Иисуса. Пусть плачут. Разве значат сейчас что-нибудь ее слезы, слезы всех матерей, всех женщин в мире!

– Что такое слезы? – спрашивает Иуда и бешено толкает неподвижное время, бьет его кулаками, проклиняет, как раба. Оно чужое и оттого так непослушно. О, если бы оно принадлежало Иуде – но оно принадлежит всем этим плачущим, смеющимся, болтающим, как на базаре; оно принадле-

жит солнцу; оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно.

Какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит: «Осанна!» так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: «Осанна, осанна!» – как болтун, который на улице разбрасывает святыне тайны... Молчи! Молчи!

Вдруг громкий, оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это? Поняли?

Нет, умирает Иисус. И это может быть? Да, Иисус умирает. Бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам пробегают короткие судороги. И это может быть? Да, умирает. Дыхание реже. Остановилось... Нет, еще вздох, еще на земле Иисус. И еще? Нет... Нет... Нет... Иисус умер.

Свершилось. Осанна! Осанна!

Осуществился ужас и мечты. Кто вырвет теперь победу из рук Искарота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и возопиют миллионами своих глоток: «Осанна, осанна!» – и моря крови и слез прольют к подножию ее – они найдут только позорный крест мертвого Иисуса.

Спокойно и холодно Искарот оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую еще только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит. Теперь все время принадлежит ему, и идет он нето-

ропливо; теперь вся земля принадлежит ему, и ступает он твердо, как повелитель, как царь, как тот, кто беспредельно и радостно в этом мире одинок. Замечает мать Иисуса и говорит ей сурово:

– Ты плачешь, мать? Плачь, плачь, и долго еще будут плакать с тобою все матери земли. Дотоле, пока не придем мы вместе с Иисусом и не разрушим смерть.

Что он – безумен или издевается, этот предатель? Но он серьезен, и лицо его строго, и в безумной торопливости не бегают его глаза, как прежде. Вот останавливается он и с холодным вниманием осматривает новую, маленькую землю.

Маленькая она стала, и всю ее он чувствует под своими ногами; смотрит на маленькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца, и горы чувствует под своими ногами; смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот, смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и ослепить, – и небо и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно и радостно одинокий, он гордо ощутил бессилие всех сил, действующих в мире, и все их бросил в пропасть.

И дальше идет он спокойными и властными шагами. И не идет время ни спереди, ни сзади; покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримою громадой.

Свершилось.

Старым обманщиком, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед синедрионом Иуда из Кариота – предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, его судьи и убийцы: и престарелый Анна со своими сыновьями, тучными и отвратительными подобиями отца, и снедаемый честолюбием Каиафа, зять его, и все другие члены синедриона, укравшие имена свои у памяти людской – богатые и знатные саддукеи, гордые силою своею и знанием закона. Молча встретили они Предателя, и надменные лица их остались неподвижны: как будто не вошло ничего. И даже самый маленький из них и ничтожный, на которого другие не обращали внимания, поднимал кверху свое птичье лицо и смотрел так, будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрели и молчали: как будто не человек вошел, а только вползло нечистое насекомое, которого не видно. Но не такой был человек Иуда из Кариота, чтобы смутиться: они молчали, а он себе кланялся и думал, что если и до вечера придется, то и до вечера он будет кланяться.

Наконец нетерпеливый Каиафа спросил:

– Что надо тебе?

Иуда еще раз поклонился и громко сказал:

– Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса На-

заря.

– Так что же? Ты получил свое. Ступай! – приказал Анна, но Иуда как будто не слышал приказания и продолжал кланяться. И, взглянув на него, Каиафа спросил Анну:

– Сколько ему дали?

– Тридцать серебряников.

Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем надменным лицам скользнула веселая улыбка; а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И, заметно бледнея, быстро подхватил Иуда:

– Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда недоволен, разве Иуда кричит, что его ограбили? Он доволен. Разве не святому делу он послужил? Святому. Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг, Иуда из Кариота. Предатель? Разве Анне не хочется стать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст, он трус, он боится, что его укусят.

Каиафа сказал:

– Выгони этого пса. Что он лает?

– Ступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню, – равнодушно сказал Анна.

Иуда выпрямился и закрыл глаза. То притворство, которое так легко носил он всю свою жизнь, вдруг стало невыносимым бременем; и одним движением ресниц он сбросил его. И когда снова взглянул на Анну, то был взор его прост,

и прям, и страшен в своей голой правдивости. Но и на это не обратили внимания.

– Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками? – крикнул Каиафа.

Задыхаясь под тяжестью страшных слов, которые он поднимал все выше и выше, чтобы бросить их оттуда на головы судей, Иуда хрипло спросил:

– А вы знаете... вы знаете... кто был он – тот, которого вчера вы осудили и распяли?

– Знаем. Ступай!

Одним словом он прорвет сейчас ту тонкую пленку, что застилает их глаза, – и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа – они лишатся ее; у них была жизнь – они потеряют жизнь; у них был свет перед очами – вечная тьма и ужас покроют их. Осанна! Осанна!

И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло:

– Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного.

Ждет. И слышит равнодушный, старческий голос Анны:

– И это все, что ты хотел сказать?

– Кажется, вы не поняли меня, – говорит Иуда с достоинством, бледня. – Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили невинного.

Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомленно:

– Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак.

– Что! – кричит Иуда, весь наливаясь темным бешенством. – А кто вы, умные! Иуда обманул вас – вы слышите! Не его он предал, а вас, мудрых, вас, сильных, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. Тридцать серебряников! Так, так. Но ведь это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона, – зачем ты не дал одним серебряником, одним оболлом больше! Ведь в этой цене пойдешь ты вовеки.

– Вон! – закричал побагровевший Каиафа. Но Анна остановил его движением руки и все так же равнодушно спросил Иуду.

– Теперь все?

– Ведь если я пойду в пустыню и крикну зверям; звери, вы слышали, во сколько оценили люди своего Иисуса, что сделают звери? Они вылезут из логовищ, они завоюют от гнева, они забудут свой страх перед человеком и все придут сюда, чтобы сожрать вас! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам: горы, вы знаете, во сколько люди оценили Иисуса? И море и горы оставят свои места, определенные извека, и придут сюда, и упадут на головы ваши!

– Не хочет ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко! – насмешливо заметил тот, у которого было птичье лицо,

и заискивающе взглянул на Каиафу.

– Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил: где же человек? Я подошел близко и в глаза ему посмотрел. И он смеялся и говорил: где же человек, скажите мне, я не вижу! Или ослеп Иуда, бедный Иуда из Кариота!

И Искарriot громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал:

– Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало и это волнует тебя. Вот еще деньги, возьми и отдай своим детям.

Он бросил что-то, звякнувшее резко. И еще не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжил его: это Иуда горстью бросал серебряники и оболочки в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. Косым дождем криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по полу. Некоторые из судей закрывались руками, ладонями наружу, другие, вскочив с места, кричали и бранились. Иуда, стараясь попасть в Анну, бросил последнюю монету, за которую долго шарила в мешке его дрожащая рука, плюнул и гневно вышел.

– Так, так! – бормотал он, быстро проходя по улочкам и пугая детей. – Ты, кажется, плакал, Иуда? Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостоин ее – знаешь ли ты

это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Иуда из Кариота!

Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона:

– Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

В это мгновение, громко хлопнув дверью, вошел Иуда Искариот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и закричал:

– Уходи отсюда, Предатель! Уходи, иначе я убью тебя!

Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предателя и смолкли, испуганно шепча:

– Оставьте! Оставьте его! В него вселился сатана.

Выждав тишину, Иуда громко воскликнул:

– Радуйтесь, глаза Иуды из Кариота! Холодных убийц вы

видели сейчас – и вот уже трусливые предатели перед вами! Где Иисус? Я вас спрашиваю: где Иисус?

Было что-то властное в хриплом голосе Искарриота, и покорно ответил Фома:

– Ты же сам знаешь, Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли.

– Как же вы позволили это? Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик, ты – камень, где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?

– Что же могли мы сделать, посуди сам, – развел руками Фома.

– Ты это спрашиваешь, Фома? Так, так! – склонил голову набок Иуда из Кариота и вдруг гневно обрушился: – Кто любит, тот не спрашивает, что делать! Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага и кости ломает у него! Кто любит! Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих: «Что мне делать? Мой сын утопает!» – а не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном. Кто любит!

Петр хмуро ответил на неистовую речь Иуды:

– Я обнажил меч, но он сам сказал – не надо.

– Не надо? И ты послушался? – засмеялся Искарриот. – Петр, Петр, разве можно его слушать! Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе!

– Кто не повинуется ему, то идет в геенну огненную.

– Отчего же ты не пошел? Отчего ты не пошел, Петр? Ге-

енна огненная – что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошел – зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь, когда захочешь.

– Молчи! – крикнул Иоанн, поднимаясь. – Он сам хотел этой жертвы. И жертва его прекрасна!

– Разве есть прекрасная жертва, что ты говоришь, любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там! Жертва – это страдания для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу и хохочут и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса! И плюют на нее – как я!

Иуда гневно плюнул на землю.

– Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна! – настаивал Иоанн.

– Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с землею? Вы погубить ее захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так – целовать крест обещает вам Иуда!

– Иуда, не оскорбляй! – прорычал Петр, багровея. – Как могли бы мы убить всех врагов его? Их так много!

– И ты, Петр! – с гневом воскликнул Иоанн. – Разве ты не видишь, что в него вселился сатана? Отойди от нас, искуситель. Ты полон лжи! Учитель не велел убивать.

– Но разве он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда он мертв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык бол-

тает дрянное, ваши глаза моргают, когда он мертв, недвижим, безгласен? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда он молчит? Что делать, спрашиваете вы Иуду? И отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда из Кариота: умереть. Вы должны были пасть на дороге, за мечи, за руки хватать солдат. Утопить их в море своей крови – умереть, умереть! Пусть бы сам Отец его закричал от ужаса, когда все вы вошли бы туда!

Иуда замолчал, подняв руку, и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел ее и медленно спросил:

– Что это? Вы ели? Быть может, вы спали также?

– Я спал, – кротко опустив голову, ответил Петр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказать. – Спал и ел.

Фома решительно и твердо сказал:

– Это все неверно, Иуда. Подумай: если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все: и Петр, и Иоанн, и я?

– А что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она? Фома, Фома, разве ты не понимаешь, что только сторож ты теперь у гроба мертвой правды. Засыпает сторож, и приходит вор, и уносит правду с собою – скажи, где правда? Будь же ты проклят, Фома! Бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ним, проклятые!

– Будь сам проклят, сатана! – крикнул Иоанн, и повторил его возглас Иаков и Матфей, и все другие ученики. Только Петр молчал.

– Я иду к нему! – сказал Иуда, простирая вверх властную руку. – Кто за Искарриотом к Иисусу?

– Я! Я с тобою! – крикнул Петр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря:

– Безумный! Ты забыл, что он предал учителя в руки врагов!

Петр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал:

– Куда же мне идти? Господи! Куда же мне идти!

Иуда давно уже, во время своих одиноких прогулок, наметил то место, где он убьет себя после смерти Иисуса. Это было на горе, высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одну из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его или чем-то угрожая, и ее избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда из Кариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеяна ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть, и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселины камней, холодом дышала в его спину гора.

– Ты еще, проклятая! – говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжелой головою, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал ее, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал:

– Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Теперь ты мне поверишь? Я иду к тебе. Встреть меня ласково, я устал. Я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как братья, вернемся на землю. Хорошо?

Опять качал каменеющей головою и опять широко раскрыл глаза, бормоча:

– Но, может быть, ты и сам будешь сердиться на Иуду из Кариота? И не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну что же! Я пойду в ад! И на огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твое небо. Хорошо? Тогда ты поверишь мне? Тогда пойдешь со мною назад на землю, Иисус?

Наконец добрался Иуда до вершины и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбранил его, то начал петь мягко и тихо – улетал куда-то ветер и прощался.

– Хорошо, хорошо! А они собаки! – ответил ему Иуда, делая петлю. И так как веревка могла обмануть его и оборваться, то повесил ее над обрывом – если оборвется, то все равно на камнях найдет он смерть. И перед тем как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда из Кариота еще раз заботливо предупредил Иисуса:

– Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус.

И прыгнул. Веревка натянулась, но выдержала: шея Иуды

стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два дня, один за другим, оставили землю Иисус Назарей и Иуда из Кариота. Предатель.

Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом; и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне – точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду. Но, куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А наутро кто-то зоркий увидел над городом висящего Иуду и закричал в испуге. Пришли люди и сняли его, и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль.

И в тот же вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней; и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетела весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни тише, но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все – добрые и злые – одинаково предадут проклятию позорную память его; и у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей – Иуда из Кариота, Предатель.

24 февраля 1907 г. Капри

Красный смех

Отрывки из найденной рукописи

Часть I

Отрывок первый

... безумие и ужас.

Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце не было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго,

быть может, несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмяканье запекшимися губами. Но слова не слышал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и, когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натывались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше – как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натывался и падал, и тогда невольно открывал глаза, – и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно студенисто колыхались – точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чуждой и страшный.

И тогда – и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок ком-

наты, клочок голубых обоев и запыленный нетронутый графин с водою на моем столике – на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы – так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, – остановила меня. Так же торопливо повернул в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, – что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий.

Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может, умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голый спиной кверху. По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне; где смерть является

только этапом на пути чудесных и запутанных видений.

И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:

– Чего тебе?

Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не сможет: сведет руки и они тотчас распадутся.

– Ты что? Ты лучше сядь, – говорю я.

Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза – и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены – а у него расплылись они во весь глаз; какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, – но нет, я не ошибаюсь: в этих черных, бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.

– Уходи! – кричу я, отступая. – Уходи!

И как будто он ждал только слова – он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, разбросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать – куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то над головою, с радостным, многоголосым визгом, криком и воем проносится граната.

Нас обошли!

Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло – и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.

Я подошел.

Отрывок второй

...почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия – остальные подбиты, – шесть человек прислуги и один офицер – я. Уже двадцать часов мы не спа-

ли и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, – и мы, живые, бродили – как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись, и были – как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно – но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило, казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие или слушал грохот – все поражало меня своей новизной и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате – и я их не вижу – на-

ходятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустале графина, разглядывал обои и думал, почему не спит сын; уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы, – я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин, и думал, почему не спит сын: уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: «Кто-то убил!» – но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног – и больше ничего. В это время было уже светло, и вдруг – капнул дождь. Дождь – как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться

куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал – не то плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнул дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало – так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стекают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень и запах взмоченной земли, и тишина – точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и, когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенное тишины; с той же внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверкер; грохнуло орудие, за ним второе, снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого обрызганного желтого лица скатывалась вода, – вероятно, дождь продолжался довольно долго.

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяю-

щийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно, своею необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица: даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться; и руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.

– Вы боитесь? – спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх – и больше ничего. – Вы боитесь? – повторил я ласково.

Губы его дергались, сиюсь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня – и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех – красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот

красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!

А они, отчетливо и спокойно, как лунатики...

Отрывок третий

...безумие и ужас.

Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант показывал мне...

Отрывок четвертый

...обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже мертв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него, — и вдруг сразу все стали неподвижны.

Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и пу-

тались в ее змеиных извивах, их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления.

Одни, точно сослепу, обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дергаясь и танцуя, как игрушечные паяцы; их придавливали новые тела, и скоро вся яма до краев превращалась в копошащуюся грудку окровавленных живых и мертвых тел. Отовсюду снизу тянулись руки, пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как клешни, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала с ними.

Вообще все показались ему похожими на пьяных: некоторые страшно ругались, другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не ел, чувствовал себя очень странно: голова кружилась, и страх минутами сменялся диким восторгом – восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним

запел, он подхватил песню, и скоро составился целый, очень дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень веселое, плясовое. Да, они пели – и все кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.

– Красный смех, – сказал я.

Но он не понял.

– Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движения тех трех походили на пляску.

Он ясно помнит: когда его ранили в грудь навывлет и он упал, еще некоторое время, до потери сознания, он подпрыгивал ногами, как будто кому подтанцовывал. И теперь он вспомнил об этой атаке со странным чувством: отчасти со страхом, отчасти как будто с желанием еще раз испытать то же самое.

– И опять пулю в грудь? – спросил я.

– Ну вот: не каждый же раз пулю. А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость.

Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами, – лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить

в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене.

– А матери послал телеграмму? – спросил я.

Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят раненые. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячею, но все еще сильною рукою и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами.

– Что же это такое, а? Что же это? – пугливо и настойчиво спрашивал он, дергая мою руку.

– Что?

– Да вообще... все это. Ведь она ждет меня? Не могу же я. Отечество – разве ей втолкуешь, что такое отечество?

– Красный смех, – ответил я.

– Ах! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить, а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пишет! Что она пишет! И ты не знаешь, у нее слова – седые. А ты... – Он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул пальцем и, неожиданно засмеявшись, сказал: – А ты полысел. Ты заметил?

– Тут нет зеркал.

– Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало. Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало!

У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушел из

лазарета.

В этот вечер мы устроили себе праздник – печальный и странный праздник, на котором среди гостей присутствовали тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар, и достали даже лимон и стаканы, и устроились под деревом – как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с шуткой, полные веселого ожидания, но скоро умолкли, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то странное было в этом сборище уцелевших людей. Оборванные, грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, худые и истощенные, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы точно сейчас только, за самоваром, увидели друг друга – увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей знакомые лица – и не мог найти. Эти люди, беспокойные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, постоянно ищущие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту загадочную пустоту, куда им страшно заглянуть, – были новые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмысленный, неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как

будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир – мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был желтый, холодный; над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные, неподвижные тучи, и земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвецов. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках своих желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый, непонятный.

– Где мы? – спросил кто-то, и в голосе его были тревога и страх.

Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрустнул пальцами, кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих, почти бегающих людей, иногда странно молчаливых, иногда странно бормотавших что-то.

– На войне, – ответил тот, что смеялся, и снова захохотал глухим, длительным смехом, точно он давился чем-то.

– Чего он хохочет? – возмутился кто-то. – Послушайте, перестаньте!

Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело, туча насадала на землю, и мы с трудом различали желтые, призрачные лица друг друга. Кто-то спросил:

– А где же Ботик?

«Ботик» – так звали мы товарища, маленького офицера в больших непромокаемых сапогах.

– Он сейчас был здесь. Ботик, где вы?

– Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими сапогами.

Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал грубый негодующий голос:

– Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке.

– Он только сейчас был здесь. Это ошибка.

– Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне лимона.

– И мне! И мне!

– Лимон весь.

– Что же это, господа, – с тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос. – А я только ради лимона и пришел.

Тот снова захохотал глухо и длительно, и никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз – и замолчал. Кто-то сказал:

– Завтра наступление.

И несколько голосов раздраженно крикнули:

– Оставьте! Какое там наступление!

– Вы же сами знаете...

– Оставьте. Разве нельзя говорить о другом. Что же это!

Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел.

– Как-то теперь дома? – неопределенно спросил он, и в

голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все – до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колена – и сразу замолчали, уступая непонятному.

– Дома? – закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить. – Дома? Какой дом, разве где-нибудь есть дома? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый день брал ванны – понимаете, ванны с водой – с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на голове у меня струпья, какая-то парша, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают... Я с ума схожу от грязи, а вы говорите – дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все попадает в мозг, – вы говорите – дом. Какой дом? Улица, окна, люди, а я не пошел бы теперь на улицу – мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На самовар.

Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул:

– Это черт знает что. Я пойду домой.

– Вы не понимаете, что такое дом!..

– Домой? Слушайте: он хочет домой!

Поднялся общий смех и жуткий крик – и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали это. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас, вероятно, у полкового командира, заиграла музыка, и бешено-веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громкая, слишком веселая, и видно было, что и те, кто играет, и те, кто слушает, видят так же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднявшуюся над миром. А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную молчаливую тень. Отрывистый и ломаный звук метался, и прыгал, и бежал куда-то в сторону от других – одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они разорванной толпой, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди.

И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.

Отрывок пятый

...я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскакивая, как вскрикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:

– Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать...

– Пять суток... – пробормотал я, засыпая, и заснул и спал, казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно подталкивая меня в бока и ноги.

– Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется... Я не могу. Мне все кажется, что там еще остались раненые...

– Какие раненые? Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!

– Голубчик, не сердитесь, – бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову. – Все спят, нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю... Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите ножки, ну, одну ножку, ну, так, так...

Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет – он заснет на несколько суток кряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул,

пока мы шли, – так внезапно и неожиданно, неизвестно откуда, вырос перед нами ряд черных силуэтов – паровоз и вагоны. Возле них медленно и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря, и только от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый неяркий свет.

– Что это? – спросил я, отступая.

– Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем, – бормотал доктор.

Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь.

– Черт вас знает! – закричал я громко. – Не могли вы взять другого...

– Тише, пожалуйста, тише! – Доктор схватил меня за руку.

Кто-то из темноты сказал:

– Теперь дай залп из всех орудий, так никто не шевельнется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать. Я сейчас прошел мимо самого часового. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит, вероятно. И как только он не упадет.

Говоривший зевнул, и одежда его зашуршала: видимо, он потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы влезть, – и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами – и опять заснул, и точно во сне слышал обрывки разговора:

– На седьмой версте.

– А фонари забыли?

– Нет, он не пойдет.

– Сюда давай. Осади немного. Так.

Вагоны дергались на месте, что-то постукивало. И постепенно от всех этих звуков и оттого, что я лег удобно и спокойно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, и, когда я взял его руку, она была как у мертвого: вялая и тяжелая. Поезд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрагивая и точно нащупывая дорогу. Студент-санитар зажег в фонаре свечу, осветил стены и черную дыру дверей и сказал сердито:

– Какого черта! Очень мы сейчас им нужны. А его вы разбудите, пока не разоспался. Тогда ничего не сделаешь, я по себе знаю.

Мы растолкали доктора, и он сел, недоуменно поводя глазами. Хотел опять завалиться, но мы не дали.

– Хорошо бы сейчас водки хлебнуть, – сказал студент.

Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошел совсем. Большой и черный четырехугольник дверей стал розоветь, покраснел – где-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево, как будто среди ночи всходило солнце.

– Это далеко. Верст за двадцать.

– Мне холодно, – сказал доктор, лякнув зубами.

Студент выглянул за дверь и рукой поманил меня. Я посмотрел: в разных местах горизонта, молчаливой цепью, стояли такие же неподвижные зарева, как будто десятки солнц

всходили одновременно. И уже не было так темно. Дальние холмы густо чернели, отчетливо вырезая ломаную и волнистую линию, а вблизи все было залито красным тихим светом, молчаливым и неподвижным. Я взглянул на студента: лицо его было окрашено в тот же красный призрачный цвет крови, превратившейся в воздух и свет.

– Много раненых? – спросил я.

Он махнул рукой.

– Много сумасшедших. Больше, чем раненых.

– Настоящих?

– А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара.

– Перестаньте, – сказал я, отворачиваясь.

– Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупо пораженное.

– Мне холодно, – сказал он и улыбнулся.

– Ну вас всех к черту! – закричал я, отходя в угол вагона. – Зачем вы меня позвали?

Никто не ответил. Студент глядел на молчаливое, разраставшееся зарево, и его затылок с выющимися волосами был молодой, и, когда я глядел на него, мне почему-то все пред-

ставлялась тонкая женская рука, которая ворошит эти волосы. И это представление было так неприятно, что я начал ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвращения.

– Вам сколько лет? – спросил я, но он не обернулся и не ответил.

Доктор покачивался.

– Мне холодно.

– Когда я подумаю, – сказал студент, не оборачиваясь, – когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет...

Он оборвал, точно сказал все, и замолчал. Поезд почти внезапно остановился, так что я ударился о стену, и слышались голоса. Мы выскочили.

Перед самым паровозом на полотне лежало что-то, небольшой комок, из которого торчала нога.

– Раненый?

– Нет, убитый. Голова оторвана. Только, как хотите, а я зажгу передний фонарь. А то еще задавишь.

Комок с торчавшей ногой сбросили в сторону; нога на миг задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху, и все скрылось в черной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу почернел.

– Послушайте! – с тихим ужасом прошептал кто-то.

Как мы не слышали раньше! Отовсюду – места нельзя было точно определить – приносился ровный, поскребывающий стон, удивительно спокойный в своей широте и даже как

будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов, но это не было похоже ни на что из слышанного. На смутной красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего, и оттого казалось, что стонет сама земля или небо, озаренное невсходящим солнцем.

– Пятая верста, – сказал машинист.

– Это оттуда, – показал доктор рукой вперед.

Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам:

– Что же это? Ведь этого же нельзя слышать!

– Двигаемся!

Мы пошли пешком впереди паровоза, и от нас на полотно легла сплошная длинная тень, и была она не черная, а смутно-красная от тихого, неподвижного света, который молчаливо стоял в разных концах черного неба. И с каждым нашим шагом зловеще нарастал этот дикий неслыханный стон, не имевший видимого источника, – как будто стонал красный воздух, как будто стонали земля и небо. В своей непрерывности и странном равнодушии он напоминал минутами трещание кузнечиков на лугу – ровное и жаркое трещание кузнечиков на летнем лугу. И все чаще и чаще стали встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасывали с полотна – эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставившие на месте лежания своего темные маслянистые пятна всосавшейся крови, и сперва считали их, а потом сбились и перестали. Было их много для этой зловещей ночи, дышавшей холодом и стонавшей каждую частицей своего существа.

– Что же это! – кричал доктор и грозил кому-то кулаком. – Вы – слушайте...

Приближалась шестая верста, и стоны делались определеннее, резче, и уже чувствовались перекошенные рты, издающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую мглу, обманчивую в своем призрачном свете, когда почти рядом, у полотна, внизу кто-то громко застонал призывным, плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого раненого, у которого на лице были одни только глаза – так велики показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он перестал стонать и только поочередно переводил глаза на каждого из нас и на наши фонари, и в его взгляде была безумная радость оттого, что он видит людей и огни, и безумный страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может, ему уже не раз грезились наклонившиеся люди с фонарями и исчезали в кровавом и смутном кошмаре.

Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух раненых; один лежал на полотне, другой стонал в канаве. Когда их подобрали, доктор, дрожа от злости, сказал мне:

– Ну что? – И отвернулся.

Через несколько шагов мы встретили легкораненого, который шел сам, поддерживая одну руку другой. Он двигался, закинув голову, прямо на нас и точно не заметил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется, он не видал нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул его и пошел вдоль вагонов.

– Ты бы сел! – крикнул доктор, но он не ответил.

Это были первые, ужаснувшие нас. А потом все чаще они стали попадаться на полотне и около него, и все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, как сонные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли, ругались и ненавидели нас, спасавших их, так страстно, как будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь, и одиночество их среди ночи и трупов, и эти страшные раны. Уже не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра от крови, как будто долго стояли мы под кровавым дождем, а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее поле.

Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и падая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было разможено лицо, и остался один только глаз, горевший дико и страшно, и был он почти голый, как из бани. Толкнув меня, он нащупал глазом доктора и быстро левою рукою схватил его за грудь.

– Я тебе в морду дам! – крикнул он и, тряся доктора, длительно и едко прибавил циничное ругательство. – Я тебе в морду дам! Сволочи!

Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, закричал:

– Я тебя под суд отдам, негодяй! В карцер! Ты мне мешаешь работать! Негодяй! Животное!

Их растащили, но долго еще солдат выкрикивал:

– Сволочи! Я в морду дам!

Я уже терял силы и отошел в сторону покурить и отдохнуть. От насохшей крови руки оделись точно в черные перчатки, и с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я закурил, табачный дым показался мне таким новым и странным, совсем особенного вкуса, которого я не ощущал ни раньше, ни позже. Тут подошел ко мне студент-санитар, тот, что ехал сюда, но мне показалось, что я виделся с ним несколько лет назад, и я никогда не мог вспомнить, где. Шагал он твердо, точно маршировал, и глядел сквозь меня куда-то дальше и выше.

– А они спят, – сказал он как будто бы совершенно спокойно.

Я вспылил, точно упрек касался меня.

– Вы забываете, что они десять дней дрались, как львы.

– А они спят, – повторил он, глядя сквозь меня и выше.

Потом наклонился ко мне и, грозя пальцем, все так же сухо и спокойно продолжал:

– Я вам скажу. Я вам скажу.

– Что?

Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил

пальцем и повторял точно законченную мысль:

– Я вам скажу. Я вам скажу. Передайте им.

И, все так же строго глядя на меня и еще раз погрозив пальцем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок. И это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложив папиросу в левую руку я попробовал пальцем рану и пошел к вагонам.

– Студент-то застрелился. Кажется, еще жив, – сказал я доктору.

Тот схватил себя за голову и простонал:

– А, черт его!.. Ведь нет же у нас места. Вон тот сейчас тоже застрелится. И даю вам честное слово, – он закричал сердито и угрожающе. – Я тоже! Да! И прошу вас – извольте идти пешком. Мест нету. Можете жаловаться, если угодно.

И, все продолжая кричать, он отвернулся, а я подсел к тому, который сейчас застрелится. Это был санитар, тоже, кажется, студент. Он стоял, упершись лбом в стенку вагона, и плечо его вздрагивало от рыданий.

– Перестаньте, – сказал я, коснувшись вздрагивающего плеча.

Но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у него было молодой, как у того, и тоже страшный, и стоял он, нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвота; и шея у него была в крови – должно быть, хватался руками.

– Ну? – сказал я нетерпеливо.

Он откачнулся от вагона и, опустив голову, по-стариков-

ски сгорбившись, пошел куда-то в темноту, прочь от всех нас. Не знаю почему, и я пошел за ним, и мы долго шли, все куда-то в сторону, прочь от вагонов. Кажется, он плакал; и мне стало скучно и захотелось плакать самому.

– Стойте! – крикнул я, остановившись.

Но он шел, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей походкой. И скоро пропал он в красноватой мгле, казавшейся светом и ничего не освещавшей. А я остался один.

Налево, уже далеко от меня, проплыл ряд неярких огоньков – это ушел поезд. Я был один среди мертвых и умирающих. Сколько их еще осталось? Возле меня все было неподвижно и мертво, а дальше поле копошилось, как живое, – или мне это казалось оттого, что я один. Но стон не утихал. Он стлался по земле – тонкий, безнадежный, похожий на детский плач или на визг тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острая, бесконечная ледяная игла входил он в мозг и медленно двигался назад и вперед, назад и вперед...

Отрывок шестой

...это были наши. Среди той странной спутанности движений, которая в последний месяц преследовала обе армии, нашу и неприятельскую, ломая все приказы и планы, мы были уверены, что на нас надвигается неприятель, именно четвертый корпус. И уже все готово было к атаке, когда кто-

то в бинокль ясно различил наши мундиры, а через десять минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уверенность: это были наши. И они, видимо, узнали нас: они подвигались к нам совершенно спокойно; в этом покойном движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыбка неожиданной встречи.

И когда они начали стрелять, мы некоторое время не могли понять, что это значит, и еще улыбались – под целым градом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших сотни человек. Кто-то крикнул об ошибке, и – я твердо помню это – мы все увидели, что это неприятель, и что форма эта его, а не наша, и немедленно ответили огнем. Минут, вероятно, через пятнадцать по начале этого странного боя мне оторвало обе ноги, и опомнился я уже в лазарете, после ампутации.

Я спросил, чем кончился бой, но мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а потом меня, безногого, охватила радость, что меня теперь отправят домой, что я все-таки жив – жив надолго, навсегда. И только через неделю я узнал некоторые подробности, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, еще не испытанному страху.

Да, кажется, это были наши – и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии,

стоя в версте один против другого, целый час взаимно истребляли друг друга, в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно, полусловами, и – это удивительнее всего – чувствовалось, что многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки. Вернее, они признают ее, но думают, что она была позднее, а вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то скрывшимся при всеобщем переполохе и подставившим нас под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом, давая точные объяснения, которые казались им правдоподобными и ясными. Я сам до сих пор не могу вполне уверенно сказать, как началось это странное недоразумение, так как одинаково ясно видел сперва нашу, красную форму, а потом их, оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об этом случае, так забыли, что говорили о нем как о настоящем сражении, и в этом смысле были написаны и посланы многие вполне искренние корреспонденции; я их читал уже дома. К нам, раненым в этом бою, отношение было вначале несколько странное – нас как будто меньше жалели, чем других раненых, но скоро и это сгладилось. И только новые случаи, подобные описанному, да то, что в неприятельской армии два отряда действительно перебили друг друга почти поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки, дает мне право думать, что тут была ошибка.

Наш доктор, тот, что произвел ампутацию, сухой, костлявый старик, провонявший йодоформом, табачным дымом и

карболкой, вечно чему-то улыбавшийся сквозь изжелта-седые, редкие усы, сказал мне, прищурив глаза:

– Счастье ваше, что вы едете домой. Тут что-то неладно.

– Что такое?

– Да так. Неладно. В наше время было попроще.

Он был участником последней европейской войны, бывшей почти четверть века назад, и часто с удовольствием вспоминал ее. А этой не понимал и, как я заметил, боялся.

– Да, неладно, – вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма. – Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было.

И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, закопченные усы:

– Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.

И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупо пораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холодея от ужаса, я прошептал:

– Красный смех.

И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головою и подтвердил:

– Да. Красный смех.

Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:

– Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые! – Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.

– Так что же? – так же шепотом и испуганно спросил я.

– Ничего. Как здоровые!

– Красный смех, – сказал я.

– Их разлили водой.

Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился:

– Вы с ума сошли, доктор!

– Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше.

Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осторожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.

– А это вы понимаете? – таинственно спросил он.

Потом так же торжественно и многозначительно обвел ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:

– А это вы можете объяснить?

– Раненые, – сказал я. – Раненые.

– Раненые, – как эхо, повторил он. – Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймете и это?..

С гибкостью, неожиданной для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова:

– А это... вы также... понимаете?

– Перестаньте, – испуганно зашептал я. – А то я закричу.

Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, действительно заметил:

– И никто этого не понимает.

– Вчера опять стреляли.

– И вчера стреляли. И третьего дня стреляли, – утвердительно мотнул он головой.

– Я хочу домой! – с тоской сказал я. – Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо.

Он думал, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, и он смеялся, а теперь... Будьте вы прокляты! Зачем я поеду! Мне только тридцать лет... Будьте вы прокляты!

И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих

быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять!

– Слушайте, – сказал доктор, глядя в сторону. – Вчера я видел: к нам пришел сумасшедший солдат. Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал и лез драться. Его накормили и выгнали – в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят они по холмам взад, и вперед, и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые целые ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком...

– Я хочу домой! – кричал я, затыкая уши.

И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой из-

мученный мозг новые ужасные слова:

– ...Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся, как герои – всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле – я выйду в поле, я кликну клич – я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха, и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и плясать, как огонь. Те, кто не умер, присоединятся к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..

Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широкий, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стонали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:

– Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага хабрецов – мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха, – мы попляшем на развалинах. Отчеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими – всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда, великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином, – какой веселый смех огласит вселенную!

– Красный смех! – закричал я, перебивая. – Спасите! Опять я слышу красный смех!

– Друзья! – продолжал доктор, обращаясь к стонущим, изуродованным теням. – Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех!..

Отрывок седьмой

...это было безбожно, это было незаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они увидели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме...

Отрывок восьмой

...вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза, – даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены подарила – она очень славная и добрая женщина.

– Неужели все целы? – недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.

– Одну разбили, – сказала жена рассеянно: она в это время держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода.

Я засмеялся.

– Чего ты? – спросил брат.

– Так. Ну, отвезите-ка меня еще разок в кабинетик. Постарайтесь для героя! Побездельничали без меня, теперь ба-ста, я вас подтяну, – и я в шутку, конечно, запел: «Мы храбро на врагов, на бой, друзья, спешим...»

Они поняли шутку и тоже улыбнулись, только жена не подняла лица: она перетирает чашечки чистым вышитым полотенцем. В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зеленым колпаком и столик, на котором стоял графин с водою. И он был немного запылен.

– Налейте-ка мне водицы отсюда, – весело приказал я.

– Ты же сейчас пил чай.

– Ничего, ничего, налейте. А ты, – сказал я жене, – возьми сынишку и посиди немножко в той комнате. Пожалуйста.

И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел.

– Так, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего он так поздно не ложится спать?

– Он рад, что ты вернулся. Милый, походи к отцу.

Но ребенок заплакал и спрятался у матери в ногах.

– Отчего он плачет? – с недоумением спросил я и оглянулся кругом. – Отчего вы все так бледны, и молчите, и ходите за мною, как тени?

Брат громко засмеялся и сказал:

– Мы не молчим.

И сестра повторила:

– Мы все время разговариваем.

– Я похлопочу об ужине, – сказала мать и торопливо вышла.

– Да, вы молчите, – с неожиданной уверенностью повторил я. – С самого утра я не слышу от вас слова, я только один болтаю, смеюсь, радуюсь. Разве вы не рады мне? И почему вы все избегаете смотреть на меня, разве я так переменился? Да, так переменился. Я и зеркал не вижу. Вы их убрали? Дайте сюда зеркало.

– Сейчас я принесу, – ответила жена и долго не возвращалась, и зеркальце принесла горничная. Я посмотрел в него,

и – я уже видел себя в вагоне, на вокзале – это было то же лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. И они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду в обморок, – так обрадовались они, когда я спокойно спросил:

– Что же тут необыкновенного?

Все громче смеясь, сестра поспешно вышла, а брат сказал уверенно и спокойно:

– Да. Ты мало изменился. Полысел немного.

– Поблагодари и за то, что голова осталась, – равнодушно ответил я. – Но куда они все убегают: то одна, то другая. Повози-ка меня по комнатам. Какое удобное кресло, совершенно бесшумное. Сколько заплатили? А я уж не пожалею денег: куплю себе такие ноги, лучше... Велосипед!

Он висел на стене, совсем еще новый, только с опавшими без воздуха шинами. На шине заднего колеса присох кусочек грязи – от последнего раза, когда я катался. Брат молчал и не двигал кресла, и я понял это молчание и эту нерешительность.

– В нашем полку только четыре офицера осталось в живых, – угрюмо сказал я. – Я очень счастлив... А его возьми себе, завтра возьми.

– Хорошо, я возьму, – покорно согласился брат. – Да, ты счастлив. У нас полгорода в трауре. А ноги – это, право...

– Конечно. Я не почтальон.

Брат внезапно остановился и спросил:

– А отчего у тебя трясется голова?

– Пустяки. Это пройдет, доктор сказал!

– И руки тоже?

– Да, да. И руки. Все пройдет. Вези, пожалуйста, мне надоело стоять.

Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова вернулась ко мне, когда мне стали готовить постель – настоящую постель, на красивой кровати, на кровати, которую я купил перед свадьбой, четыре года тому назад. Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завернули одеяло – а я смотрел на эту торжественную церемонию, и в глазах у меня стояли слезы смеха.

– А теперь раздень-ка меня и положи, – сказал я жене. – Как хорошо!

– Сейчас, милый.

– Поскорее!

– Сейчас, милый!

– Да что же ты?

– Сейчас, милый!

Она стояла за моею спиной, у туалета, и я тщетно поворачивал голову, чтобы увидеть ее. И вдруг она закричала, так закричала, как кричат только на войне:

– Что же это! – И бросилась ко мне, обняла, упала около меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача.

– Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет. Молодой, красивый был. Что же это! Как жестоки люди. Зачем это?

Кому это нужно было? Ты мой кроткий, мой жалкий, мой милый, милый...

И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянька, и все они плакали, говорили что-то, валялись у моих ног и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем белый, с трясущейся челюстью, и визгливо кричал:

– Я тут с вами с ума сойду. С ума сойду!

А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипела только и билась головой о колеса. И чистенькая, со взбитыми подушками, с завернутым одеялом, стояла кровать, та самая, которую я купил четыре года назад – перед свадьбой...

Отрывок девятый

...Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. Потом стал лицом к стене и, ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал:

– Сам посуди: ведь нельзя безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике, – давать сознание. Главное – сознание. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий – как вот мясники, или некоторые доктора, или военные; но как возможно, познав истину, отказаться от нее? По моему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить жи-

вотных, быть жалостливым; тому же учили меня все книги, какие я прочел, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, крови; я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на самые сильные возбуждения, – но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны – что же это такое, ведь это сумасшествие?

Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами.

– Красный смех, – весело сказал я, плескаясь.

– И я скажу тебе правду. – Брат доверчиво положил холодную руку на мое плечо, но как будто испугался, что оно голое и мокрое, и быстро отдернул ее. – Я скажу тебе правду: я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. Ты был на войне, ты видел – объясни мне.

– Убирайся к черту! – шутливо ответил я, плескаясь.

– Вот и ты тоже, – печально сказал брат. – Никто не в силах мне помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчас

я возьму тебя за горло, сперва тихонько, как будто ласкаясь, а потом покрепче, и удушю – что это будет!

– Ты говоришь вздор. Никто этого не делает.

Брат потер холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал:

– Когда ты был еще там, бывали ночи, в которые я не спал, не мог заснуть, и тогда ко мне приходили странные мысли: взять топор и пойти убить всех: маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не сделаю.

– Надеюсь, – улыбнулся я, плескаясь.

– Вот тоже я боюсь ножей, всего острого, блестящего: мне кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно кого-нибудь зарезу. Ведь правда, почему не зарезать, если нож острый?

– Основание достаточное. Какой ты, брат, чудак! Пусти-ка еще горяченькой водицы.

Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал:

– Вот тоже я боюсь толпы, людей, когда их соберется много. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась... резня. Когда несколько человек стоят друг против друга и я не слышу, о чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас они закричат, бросятся один на другого и начнется убийство. И ты знаешь, – таинственно наклонился он к моему уху, – газеты полны сообщениями об убийствах, о каких-то странных убийствах. Это пустяки, что много людей и много умов, – у

человечества один разум, и он начинает мутиться. Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, коченеет, превращается в страшный омертвелый лед. Я должен сойти с ума, не смейся, брат: я должен сойти с ума... Уже четверть часа – тебе пора выходить из ванны.

– Немножечко еще. Минуточку.

Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в порядке разложенные на полках. Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать – об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.

– Го-го-го! – загрохотал я, плескаясь.

– Что тобой? – испугался брат и побледнел.

– Так. Весело, что я дома.

Он улыбнулся мне, как ребенок, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался – как взрослый, как старик, у которого большие, тяжелые и старые мысли.

– Куда уйти? – сказал он, пожав плечами. – Каждый день, приблизительно в один час, газеты замыкают ток, и все человечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений, мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я – как

щепка на волне, как пылинка в вихре. Меня силою отрывает от обычного, и каждое утро бывает один страшный момент, когда я вишу в воздухе над черной пропастью безумия. И я упаду в нее, я должен в нее упасть. Ты еще не все знаешь, брат. Ты не читаешь газет, много от тебя скрывают – ты еще не все знаешь, брат.

И то, что он сказал, я счел немного мрачной шуткой – это было участием всех тех, кто в безумии своем становится близок безумию войны и предостерегал нас. Я счел это шуткой – как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде, все то, что видел я там.

– Ну и пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал слугу, и вдвоем они вынули меня и одели. Потом я пил душистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур, и теперь возле меня, на расстоянии руки, лежала гряда этих милых, прекрасных книг в желтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно, очень глупая улыбка, но я не мог удержать ее, любуясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во

всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо было работать, искать, как много нужно было вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся черточках.

– А теперь надо работать, – серьезно, с уважением к труду, сказал я.

И я взял перо, чтобы сделать заголовок, – и, как лягушка, привязанная на нитке, зашлепала по бумаге моя рука. Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дергалось, неудержимо скользило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные, кривые, лишённые смысла. И я не вскрикнул, и я не пошевельнулся – я похолодел и замер в сознании приближающейся страшной истины; а рука прыгала по ярко освещенной бумаге, и каждый палец в ней трясся в таком безнадежном живом безумном ужасе, как будто они, эти пальцы, были еще там, на войне, и видели зарево и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отделились от меня, они жили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие пальцы; и, холодея, не имея силы вскрикнуть и пошевельнуться, я следил за их дикой пляской по чистому, ярко-белому листу.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли все двери, чтобы не помешать звуком, – один, лишённый возможности двигаться, сидел я в комнате и послушно глядел, как дрожат руки.

– Это ничего, – громко сказал я, и в тишине и одиночестве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо, как голос сумасшедшего. – Это ничего. Я буду диктовать. Ведь был же слеп Мильтон, когда писал свой «Возвращенный рай». Я могу мыслить – это главное, это все.

И я стал сочинять длинную, умную фразу о слепом Мильтоне, но слова путались, выпадали, как из дурного набора, и, когда я подходил к концу фразы, я уже забывал ее начало. Я хотел вспомнить тогда, с чего это началось, почему я сочиняю эту странную, бессмысленную фразу о каком-то Мильтоне, – и не мог.

– «Возвращенный рай», «Возвращенный рай», – твердил я и не понимал, что это значит.

И тут я сообразил, что вообще много я забываю, что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица, что даже в простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово, не могу никак понять его значения. Мне ясно представился теперешний мой день: какой-то странный, короткий, обрубленный, как мои ноги, с пустыми, загадочными местами – длинными часами потери сознания или бесчувствия, о которых я ничего не могу вспомнить.

Я хотел позвать жену, позабыл, как ее зовут, – это уже не удивило и не испугало меня. Тихонько я прошептал:

– Жена!

Нескладное, непривычное в обращении слово тихо прозвучало и замерло, не вызвав ответа. И тихо было. Они бо-

ялись неосторожным звуком помешать моей работе, и тихо было – настоящий кабинет ученого, уютный, тихий, располагающий к созерцанию и творчеству. «Милые, как они заботятся обо мне!» – подумал я, умиленный.

...И вдохновение, святое вдохновение осенило меня. Солнце зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное – цветы и песни. Цветы и песни...

Часть II

Отрывок десятый

...к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногий калека, весь трясущийся, с разбитою душою, в своем безумном экстазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его от стола. С необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим, и все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза удалось нам уложить его на несколько часов в постель, благодаря сильному приему наркотика, а потом уже и наркоз не в силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его требованию, окна весь день были занавешены и горела лампа, создавая иллюзию ночи, и он курил папиросу за папиросой и писал. По-видимому, он был счастлив, и мне никогда не приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного лица – лица пророка или великого поэта. Он сильно исхудал до восковой прозрачности трупa или подвижника, и совершенно поседел; и начал он свою безумную работу еще сравнительно молодым, а кончил ее – стариком. Иногда

он торопился писать больше обыкновенного, перо тыкалось в бумагу и ломалось, но он не замечал этого; в такие минуты его нельзя было трогать, так как, при малейшем прикосновении, с ним делался припадок, слезы, хохот; минутами, очень редко, он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною, каждый раз предлагая одни и те же вопросы: кто я, как меня зовут и давно ли я занимаюсь литературой.

А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех же словах, как он смешно испугался, что потерял память и не может работать, и как он блистательно тут же опроверг это сумасшедшее предположение, начав свой великий, бессмертный труд о цветах и песнях.

– Конечно, я не рассчитываю на признание современников, – гордо и вместе с тем скромно говорил он, кладя дрожащую руку на грудь пустых листков, – но будущее, но будущее поймет мою идею.

О войне он не вспоминал ни разу и ни разу не вспомнил о жене и сыне; призрачная бесконечная работа поглощала его внимание так безраздельно, что едва ли он сознавал что-нибудь, кроме нее. В его присутствии можно было ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгновение лицо его не теряло выражения страшной напряженности и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали и он один неумоимо плел бесконечную нить безумия, он казался страшен, и только один я да еще мать решались подходить к нему. Однажды я попробовал дать ему, вместо сухого пе-

ра, карандаш, думая, что, быть может, он действительно что-нибудь пишет, но на бумаге остались только безобразные линии, оборванные, кривые, лишённые смысла.

И умер он ночью, за работой. Я хорошо знал брата, и сумасшествие его не явилось для меня неожиданностью: страстная мечта о работе, сквозившая ещё в его письмах с войны, составлявшая содержание всей его жизни по возвращении, неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утомленного, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мне довольно точно удалось восстановить всю последовательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую ночь. Вообще, все, что я здесь записал о войне, взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко вонзились в его мозг, что я мог привести их почти дословно, как он рассказывал.

Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и давит мозг своей бессмысленностью. К тому непонятному, что окутывает мою голову, как паутиной, она прибавила ещё одну петлю и крепко затянула её. Вся наша семья уехала в деревню, к родственникам, и я один во всем доме – в этом особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали, иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить печи, а в остальное время я один, и похож на муху, которую захлопнули между двумя рамами окна, – мечусь и расширяюсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И

я чувствую, я знаю, что из этого дома мне не уйти. Теперь, когда я один, война безраздельно владеет мною и стоит, как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглавого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного, постоянного отупелого ужаса, который владеет мною.

Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда. И это не страшит меня. Потеря рассудка мне кажется почетной, как гибель часового на своем посту. Но ожидание, но это медленное и неуклонное приближение безумия, это мгновенное чувство чего-то огромного, падающего в пропасть, эта невыносимая боль терзаемой мысли... Мое сердце онемело, оно умерло, и нет ему новой жизни, но мысль – еще живая, еще борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя, – мне жаль ее, мою бедную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть:

– Сейчас прекратите войну, или...

Но какое «или»? Разве есть слова, которые могли бы вернуть их к разуму, слова, на которые не нашлось бы других таких же громких и лживых слов? Или стать перед ними на колени и заплакать? Но ведь сотни тысяч слезами оглаша-

ют мир, а разве это хоть что-нибудь дает? Или на их глазах убить себя? Убить! Тысячи умирают ежедневно – и разве это хоть что-нибудь дает?

И когда я так чувствую свое бессилие, мною овладевает бешенство – бешенство войны, которую я ненавижу. Мне хочется, как тому доктору, сжечь их дома, с их сокровищами, с их женами и детьми, отравить воду, которую они пьют; поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели. Пусть спят с ними, как с женами, как с любовницами своими!

О, если б я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю; я стал бы владыкою их снов, и, когда, с улыбкой засыпая, они крестили бы своих детей, я встал бы перед ними, черный...

Да, я должен сойти с ума, но только бы скорее. Только бы скорее...

Отрывок одиннадцатый

...пленных, кучку дрожащих, испуганных людей. Когда их вывели из вагона, толпа рывкнула – рывкнула, как один огромный злобный пес, у которого цепь коротка и непрочна. Рывкнула и замолчала, тяжело дыша, – а они шли тесной кучкой, заложив руки в карманы, заискивающе улыбаясь бледными губами, и ноги их ступали так, как будто сейчас сзади под колено их должны ударить длинной палкой. Но один

шел несколько в стороне, спокойный, серьезный, без улыбки, и, когда я встретился с его черными глазами, я прочел в них откровенную и голую ненависть. Я ясно увидел, что он меня презирает и ждет от меня всего: если я сейчас стану убивать его, безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться, оправдываться, – он ждет от меня всего.

Я побежал вместе с толпой, чтобы еще раз встретиться с ним глазами, и это удалось мне, когда они входили уже в дом. Он вошел последним, пропуская мимо себя товарищей, и еще раз взглянул на меня. И тут я увидел в его черных, больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу на свете.

– Кто этот, с глазами? – спросил я у конвойного.

– Офицер. Сумасшедший. Их много таких.

– Как его зовут?

– Молчит, не называется. И свои его не знают. Так, приبلудный какой-то. Его уж раз вынули из петли, да что!.. – Конвойный махнул рукою и скрылся за дверь.

И вот теперь, вечером, я думаю о нем. Он один среди врагов, которых он считает способными на все, и свои не знают его. Он молчит и терпеливо ждет, когда может уйти из мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус: он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих, испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не считает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния долж-

на быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет назвать своего имени. Зачем имя? Он кончил с жизнью и с людьми, он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет, ни своих, ни чужих, как бы они ни кричали, ни бесновались и ни угрожали. Я расспрашивал о нем: он взят в последнем страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч людей, и он не сопротивлялся, когда его брали: он был почему-то безоружен, и, когда не заметивший этого солдат ударил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтоб защищаться. Но рана оказалась, к несчастью для него, легкой.

А может быть, он действительно сумасшедший? Солдат сказал: их много таких...

Отрывок двенадцатый

...начинается... Когда вчера ночью я вошел в кабинет брата, он сидел в своем кресле у стола, заваленного книгами. Галлюцинация тотчас исчезла, как только я зажег свечу, но я долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно вначале – пустые комнаты, в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески, создают эту жуть, – но потом мне даже понравилось: лучше он, чем кто-нибудь другой. Все-таки во весь этот вечер я не вставал с кресла: казалось, если я встану, он тотчас сядет на свое место. И ушел я из комнаты очень быстро, не оглядываясь. Нужно было во всех ком-

натах зажигать огонь – да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свете, – так все-таки остается сомнение.

Сегодня я вошел со свечой, и никого в кресле не было. Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале – теперь я каждое утро хожу туда – и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое, желтое как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него. А оно смотрело на меня, все целиком смотрело, и было неподвижно – и так и уплыло вместе с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях, я, пожалуй, не выдержал бы. Я спрашивал: двадцать два человека привезли? Зараза растет. Газеты что-то замалчивают, но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то черные, наглухо закрытые кареты – в один день, сегодня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной из таких, вероятно, поеду и я.

А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови, и я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну очень подозрительную статью, где доказывается, что среди народа много шпионов, предателей и изменников, что нужно быть осторожным и внимательным и что гнев народа сам

найдет виновных. Каких виновных, в чем? Когда я ехал с вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно, по этому поводу:

– Их нужно вешать без суда, – сказал один, испытующе оглядев всех и меня. – Изменников нужно вешать, да.

– Без жалости, – подтвердил другой. – Довольно их жалели.

Я выскочил из вагона. Ведь все плачут от войны, и они сами плачут, – что же это значит? Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня, и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и ее ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какие-то там меры, а как спрятаться от всепроникающей мысли, не знающей расстояний и преград?

Днем я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, как и все, рабом моих снов; и сны мои ужасны и безумны...

Отрывок тринадцатый

...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые.

Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится безразличным, кого убивать, – красная кровь просится наружу и течет так охотно и обильно.

Их было шестеро, этих крестьян, и их вели три солдата с заряженными ружьями. В своем особенном крестьянском платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со своими особенными лицами, точно сделанными из глины и украшенными свалывшейся шерстью вместо волос, на улицах богатого города, под конвоем дисциплинированных солдат, они походили на рабов древнего мира. Их вели на войну, и они шли, повинуясь штыкам, такие же невинные и тупые, как волы, ведомые на бойню. Впереди шел юноша, высокий, безбородый, с длинной гусиной шеей, на которой неподвижно сидела маленькая голова. Он весь наклонился вперед, как хворостина, и смотрел вниз перед собою с такою пристальностью, как будто взор его проникал в самую глубину земли. Последним шел приземистый, бородатый, уж пожилой; он не хотел сопротивляться, и в глазах его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впивалась в них, не пускала – и он шел, откинувшись назад, как против сильного ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикладом ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась вперед, а другая крепко прилипала к земле. Лица солдат были тоскливы и злобны, и, видимо, уже давно они шли так – чувствовали усталость и равнодушие в том, как они нес-

ли ружья, как они шагали враздρόбь, по-мужичьи, носками внутрь. Как будто бессмысленное длительное и молчаливое сопротивление крестьян замутило их дисциплинированный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем.

– Куда вы их ведете? – спросил я крайнего солдата. Тот вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром блеснувшем взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он находился уже в груди моей.

– Отойди! – сказал солдат. – Отойди, а не то...

Тот, пожилой, воспользовался минутой и убежал – легкой трусцой он отбежал к решетке бульвара и присел на корточки, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить так глупо, так безумно. Но солдат рассвирепел. Я видел, как он подошел вплотную, нагнулся и, перебросив ружье в левую руку, правой чмякнул по чему-то мягкому и плоскому. И еще собирался народ. Послышался смех, крики...

Отрывок четырнадцатый

...в одиннадцатом ряду партера. Справа и слева ко мне тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме торчали неподвижные головы, слегка освещенные красным со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы людей, заключенных в тесное пространство. Каждый из них молчал и слушал то, что на сцене, а может быть, думал что-нибудь свое, но оттого, что их было много, в молчании своем

они были слышнее громких голосов актеров. Они кашляли, сморкались, шумели одеждой и ногами, и я слышал ясно их глубокое, неровное дыхание, согревавшее воздух. Они были страшны, так как каждый из них мог стать трупом, и у всех у них были безумные головы. В спокойствии этих расчесанных затылков, твердо опирающихся на белые, крепкие воротнички, я чувствовал ураган безумия, готовый разразиться каждую секунду.

У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много, как они страшны и как я далек от выхода. Они спокойны, а если крикнуть – «пожар!»... И с ужасом я ощутил жуткое, страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того, чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом. Кто мне мешает крикнуть – привстать, обернуться назад и крикнуть:

– Пожар! Спасайтесь, пожар!

Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они вскочат, они заорут, они завоюют, как животные, они забудут, что у них есть жены, сестры и матери, они начнут метаться, точно пораженные внезапной слепотой, и в безумии своем будут душить друг друга этими белыми пальцами, от которых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет, и дико-весело заиграет дрожащая обрывающаяся музыка – а они не будут слышать ничего – они будут душить, топтать ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, замыслова-

тым прическам. Они будут отрывать друг у друга уши, отгрызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, нежные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и биться, беспомощные, у их ног, обнимая колени, все еще доверяя их благородству, – а они будут злобно бить их в красивое, поднятое лицо и рваться к выходу. Ибо они всегда убийцы, и их спокойствие, их благородство – спокойствие сытого зверя, чувствующего себя в безопасности.

И когда наполовину они сделаются трупами и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся зверей соберутся у выхода, улыбаясь лживой улыбкой, – я выйду на сцену и скажу им со смехом:

– Это все потому, что вы убили моего брата.

Должно быть, я громко прошептал что-нибудь, потому что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал:

– Тише! Вы мешаете слушать.

Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предостерегающее суровое лицо, я наклонился к нему.

– Что такое? – спросил он недоверчиво. – Зачем так смотрите?

– Тише, умоляю вас, – прошептал я одними губами. – Вы слышите, как пахнет гарью. В театре пожар.

Он имел достаточно силы и благоразумия, чтобы не вскрикнуть. Лицо его побелело, и глаза почти повисли на щеках, огромные, как бычачьи пузыри, но он не вскрикнул.

Он тихонько поднялся, даже не поблагодарив меня, и пошел к выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Он боялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему, единственному достойному спасения и жизни.

Мне стало противно, и я тоже ушел из театра, да и не хотелось мне слишком рано открыть свое инкогнито. На улице я взглянул в ту сторону неба, где была война, – там все было спокойно, и ночные желтые от огней облака ползли медленно и спокойно. «Быть может, все это сон и никакой войны нет?» – подумал я, обманутый спокойствием неба и города.

Но из-за угла выскочил мальчишка, радостно крича:

– Громовое сражение. Огромные потери. Купите телеграмму – ночную телеграмму!

У фонаря я прочел ее. Четыре тысячи трупов. В театре было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я думал: четыре тысячи трупов.

Теперь мне страшно приходиться в мой опустелый дом. Когда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые, плоские двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты, по которым пойдет сейчас, озираясь, человек в шляпе. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь не хожу, и он заперт на ключ – со всем, что в нем есть. И сплю я в столовой, куда перебрался совсем: тут спокойнее, и воздух как будто хранит еще следы разговоров, и смеха, и веселого звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение сухого пера;

и когда ложусь в постель...

Отрывок пятнадцатый

...этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную покрывку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь помещаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя понимает мир. Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю: я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и плачу, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, я чувствую боль ран и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу так же ясно, как то, что было и что близко, и нет предела страданиям обнаженного мозга.

Эти дети, эти маленькие, еще невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уж плакал тоненьким детским голосом – и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушел домой, и ночь настала, – и в огненных грезах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие еще невинные дети превратились в полчища детей-убийц.

Что-то зловещее горело широким и красным огнем, и в дыму копошились чудовищные уродцы-дети с головами взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играющие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты по-

ходили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно и широко; за прозрачную кожей их голых тел угрюмо бежала красная кровь – и они убивали друг друга, играя. Они были страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие и могли проникнуть всюду.

Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыбнулся и взглядом попросился ко мне.

– Я хочу к тебе, – сказал он.

– Ты убьешь меня.

– Я хочу к тебе, – сказал он и побледнел внезапно и странно начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, совсем как голодная крыса. Он обрывался и пищал, и так быстро мелькал по стене, что я не мог уследить за его порывистыми, внезапными движениями.

«Он может пролезть под дверью», – с ужасом подумал я, и, точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и быстро, виляя кончиком хвоста, вполз в темную щель под дверью парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло и слышал, как он, маленький, ищет меня по темным комнатам, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень медленно, останавливаясь, он приближался к моей комнате и вошел; и долго я ничего не слышал, ни движения, ни шороха, как будто возле моей постели не было никого. И вот под чьей-то маленькой рукой начал приподниматься край одеяла, и холодный воздух комнаты коснулся лица моего и груди. Я держал одеяло крепко, но оно упорно отставало со всех

сторон; и вот ногам моим стало так холодно, как будто они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.

На дворе, за стенами дома, залаяла собака и смолкла, и я слышал, как забренчала она цепью, убираясь в конуру. А он смотрел на мои голые ноги и молчал; но я знал, что он здесь, знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, окочевывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я мог крикнуть, я разбудил бы город, весь мир разбудил бы я; но голос умер во мне, и, не шевелясь, покорно я ощущал движение по моему телу маленьких холодных рук, подбирававшихся к горлу.

– Я не могу! – простонал я, задыхаясь, и проснулся на одно мгновение, и увидел зоркую темноту ночи, таинственную и живую, и снова, кажется, заснул...

– Успокойся! – сказал мне брат, присаживаясь на кровать, и кровать скрипнула: так был он тяжел, мертвый. – Успокойся, ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя душишат, а ты крепко спишь в темных комнатах, где нет никого, а я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял, о чем я пишу, и вы осмеяли меня, как безумца, но теперь я скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смеялось.

– Это красный смех. Когда земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, земля сошла с ума. На

ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь ее?

– Да, вижу. Она смеется.

– Посмотри, что делается у нее с мозгом. Он красный, как кровавая каша, и запутался.

– Она кричит.

– Ей больно. У нее нет ни цветов, ни песен. Теперь давай я лягу на тебя.

– Мне тяжело, мне страшно.

– Мы, мертвые, ложимся на живых. Тепло тебе?

– Тепло.

– Хорошо тебе?

– Я умираю.

– Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я ухожу...

Отрывок шестнадцатый

...уже восьмой день продолжается сражение. Оно началось в прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, и вновь наступила пятница и прошла – а оно все продолжается. Обе армии, сотни тысяч людей стоят друг против друга, не отступая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды: и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само небо и собрало над головой их черные тучи и грозу – а они стоят друг

против друга, не отступая, и убивают. Если человек не поспит трое суток, он становится болен и плохо помнит, а они не спят уже неделю, и они все сумасшедшие. От этого им не больно, от этого они не отступают и будут драться, пока не перебьют всех. Сообщают, что у некоторых частей не хватило снарядов и там люди дрались камнями, руками, грызлись, как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков, – но они не вернутся; они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума. В голове их все перевернулось, и они ничего не понимают: если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля.

Странные слухи... Странные слухи, которые передают шепотом, бледнея от ужаса и диких предчувствий. Брат, брат, слушай, что рассказывают о красном смехе! Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней, во всем подобных живым. По ночам, когда обезумевшие люди на минуту забываются сном, или в разгаре дневного боя, когда самый ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные люди, пораженные внезапностью, бьются насмерть против призрачного врага, сходят с ума от ужаса, седеют мгновенно и умирают. Призраки исчезают внезапно, как проявились, и наступает тишина, а на земле являются изуродованные трупы – кто их убил? Ты знаешь, брат: кто их убил?

Когда после двух сражений наступает затишье и враги далеко, вдруг, темною ночью, раздается одинокий испуганный выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стреляют долго, целыми часами в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто, страшный, являет им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты знаешь, брат, и я знаю, а люди еще не знают, но уже чувствуют они и спрашивают, бледнея: отчего так много сумасшедших – ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?

– Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших! – говорят они, бледнея, и им хочется верить, что теперь, как прежде, и что это мировое насилие над разумом и не коснется их слабого умишка.

– Ведь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не было такого? Борьба – закон жизни, – говорят они уверенно и спокойно, а сами бледнеют, а сами ищут глазами врача, а сами кричат торопливо: – Воды, скорей стакан воды!

Они охотно стали бы идиотами, эти люди, чтобы только не слышать, как колышется их разум, как в непосильной борьбе с бессмыслицей изнемогает их рассудок. В эти дни, когда там непрестанно из людей делают трупы, я нигде не мог найти покоя и бегал по людям, и много слышал этих разговоров, и много видел этих притворно улыбающихся лиц, уверявших, что война далеко и не касается их. Но еще больше я встретил голого, правдивого ужаса, и безнадежных горьких слез, и исступленных криков отчаяния, когда сам великий разум в

напряжении всех своих сил выкрикивал из человека последнюю мольбу, последнее свое проклятие:

– Когда же кончится эта безумная бойня!

У одних знакомых, где я не был давно, быть может, несколько лет, я неожиданно встретил сумасшедшего офицера, возвращенного с войны. Он был мой товарищ по школе, но я не узнал его; но его не узнала и мать, которая его родила. Если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы более похожим на себя, чем теперь. Он поседел и совсем белый; черты лица его мало изменились, но он молчит и слушает что-то – и от этого на лице его лежит грозная печать такой отдаленности, такой чуждости всему, что с ним страшно заговорить. Как рассказали родным, он сошел с ума так: они стояли в резерве, когда соседний полк пошел в штыковую атаку. Люди бежали и кричали «ура» так громко, что почти заглушали выстрелы, – и вдруг прекратились выстрелы, – и вдруг прекратилось «ура», – и вдруг наступила могильная тишина: это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его рассудок.

Теперь он спокоен, пока при нем говорят, производят шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждет; но стоит наступить минутной тишине – он хватается за голову, бежит на стену, на мебель и бьется в припадке, похожем на падучую. У него много родных, они чередуются вокруг него и окружают его шумом; но остаются ночи, долгие безмолвные ночи, – и тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного

сумасшедший. Он увешал его комнату громко тикающими часами, бьющими почти непрерывно в разное время, и теперь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоровеет, так как ему всего двадцать семь лет, и сейчас у них даже весело. Его одевают очень чисто – не в военное платье, – занимаются его наружностью, и со своими белыми волосами и молодым еще лицом, задумчивый, внимательный, благородный в медленных усталых движениях, он даже красив.

Когда мне рассказали все, я подошел и поцеловал его руку, бледную, вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара, – и никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом так ухаживала за мной, как будто я был ее жених и она любила меня больше всех на свете. Так ухаживала, что я чуть не рассказал ей о своих темных и пустых комнатах, в которых я хуже чем один, – подлое сердце, никогда не теряющее надежды... И устроила так, что мы остались вдвоем.

– Какой вы бледный, и под глазами круги, – сказала она ласково. – Вы больны? Вам жалко своего брата?

– Мне жалко всех. И я нездоров немного.

– Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не поняли. За то, что он сумасшедший, да?

– За то, что он сумасшедший, да.

Она задумалась и стала похожа на брата – только очень молоденькая.

– А мне, – она остановилась и покраснела, но не опустила глаз, – а мне позвольте поцеловать вашу руку?

Я стал перед ней на колени и сказал:

– Благословите меня.

Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами прошептала:

– Я не верю.

– И я также.

На секунду ее руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла.

– Ты знаешь, – сказала она, – я еду туда.

– Поезжай. Но ты не выдержишь.

– Не знаю. Но им нужно, как тебе, как брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня?

– Да. А ты?

– Я буду помнить. Прощай!

– Прощай навсегда!

И я стал спокоен, и мне сделалось легко, как будто я уже пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в первый раз вчера я спокойно, без страха вошел в свой дом, и открыл кабинет брата, и долго сидел за его столом. И когда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услышал скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть не с улыбкой:

«Работай, брат, работай! Твое перо – оно обмакнуто в живую человеческую кровь. Пусть кажутся твои листки пусты-

ми – своей зловещей пустотой они больше говорят о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми. Работай, брат, работай!»

...А сегодня утром я прочел, это сражение продолжается, и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозгу. Оно идет, оно близко – оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне, моя милая девушка: я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых. Тридцать тысяч убитых...

Отрывок семнадцатый

...в городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны...

Отрывок восемнадцатый

Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный список убитых, я встретил знакомую фамилию: убит жених моей сестры, офицер, призванный на военную службу вместе с покойным братом. А через час почтальон отдал мне письмо, адресованное на имя брата, и на конверте я узнал почерк убитого: мертвый писал к мертвому. Но это все же лучше того случая, когда мертвый пишет к живому: мне показывали мать, которая целый месяц получала письма от сына после того, как в газетах прочла о его страшной смерти – он был разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо

его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Он был мертв и каждый день с сатанинской аккуратностью писал о жизни, и мать перестала верить в его смерть – и, когда прошел без письма один, другой и третий день и наступило бесконечное молчание смерти, она взяла обеими руками старый большой револьвер сына и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива – не знаю, не слышал.

Я долго рассматривал конверт и думал: он держал его в руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил куда-то в лавку, он заклеивал его и потом, быть может, сам опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложного механизма, который называется почтой, и письмо поплыло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то последнее утро – а оно плыло; он был убит – а оно плыло; он был брошен в яму и завален трупами и землей – а оно плыло мимо лесов, полей и городов, живой призрак в сером штемпелеванном конверте, и теперь я держу его в руках...

Вот содержание письма. Оно написано карандашом на клочках и не окончено: что-то помешало.

"...Только теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное наслаждение убивать людей – умных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые хищные звери. Вечно отнимать жизнь – это так же хорошо, как играть в лаун-теннис и звездами. Бедный друг, как жаль,

что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным, благородным сердцем. Кровавый пир – в этом несколько избыточном сравнении кроется сама правда. Мы бродим по колена в крови, и голова кружится от этого красного вина, как называют его в шутку мои славные ребята. Пить кровь врага – вовсе не такой глупый обычай, как думаем мы: они знали, что делали...»

«Воронье кричит. Ты слышишь: воронье кричит. Откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх, они провожают нас всюду – и всегда мы под ними, как под черным кружевным зонтиком, как под движущимся деревом с черными листьями. Один подошел к самому лицу моему и хотел клюнуть – он думал, должно быть, что я мертвый. Воронье кричит, и это немного беспокоит меня. Откуда их столько?»

...Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, как на дрохв, мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Как тени, крались мы, и ночь укрывала нас. Я сам снял часового: повалил его и задушил руками, чтобы не было крика. Понимаешь: малейший крик – и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его убивают».

«Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и толь-

ко некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один откусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно придерживал его за голову. Он отгрыз мне палец, а я начисто отвернул ему голову; как ты думаешь, мы квиты? Как они все не проснулись! Слышно было, как хрустят кости и рубится мясо. Потом мы раздели их догола и поделили их ризы между собой. Мой друг, не сердись за шутку. С твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахивает мародерством, но ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на... чем на офицера победоносной армии».

«Кстати: ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно читать такие вещи. Но... ты понимаешь? Женщины. Черт возьми, я молод и жажду любви! Постой, это у тебя была невеста? Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты, все плакал, плакал... Как не стыдно офицеру плакать!»

«Воронье кричит. Ты слышишь, друг: воронье кричит. Чего надо ему?..»

Дальше карандашные строчки стерлись, и подписи нельзя было разобрать.

И странно: ни малейшей жалости не вызвал во мне погибший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все было мягко и нежно, как у женщины: окраска щек, ясность и утренняя свежесть глаз, бородка такая пушистая и нежная, что ею могла бы, кажется, украситься и женщина. Он любил книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал стихи – брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кричащего воронья, ни кровавой резни, ни смерти.

...Воронье кричит...

И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет. Нет ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся беспомощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страшный сон, как в детстве: и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках. Брат жив, и все они сидят за чаем, и слышно, как звенит посуда.

...Воронье кричит...

Нет, это правда. Несчастливая земля, ведь это правда. Воронье кричит. Это не выдумка праздного писателя, ищущего дешевых эффектов, безумца, потерявшего разум. Воронье кричит. Где мой брат? Он был кроткий и благородный и никому не желал зла. Где он? Я вас спрашиваю, проклятые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, проклятые убийцы, воронье, сидящее на падали, несчастные слабо-

умные звери! Вы звери! За что убили вы моего брата? Если бы у вас было лицо, я дал бы вам пощечину, но у вас нет лица, у вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми, но под перчатками я вижу когти, под шляпою – приплюснутый череп зверя; за вашей умной речью я слышу потаенное безумие, бряцающее ржавыми цепями. И всю силу моей скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей я проклинаяю вас, несчастные слабоумные звери!

Отрывок последний

... от вас мы ждем обновления жизни!

Кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в складках крупная надпись: «Долой войну!»

– Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливает глаза. Небо валится на головы, земля расступается под ногами. Добрые люди...

Толпа загадочно гудела, и голос говорившего минутами терялся в этом живом и грозном шуме.

– Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разружьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить... Люди умирают...

Его ударил и сшиб со столбика кто-то высокий; знамя поднялось еще раз и упало. Я не успел рассмотреть лица ударившего, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все задвигалось, завыло; в воздухе понеслись камни, поленья, над головами поднялись кулаки, кого-то бившие. Толпа, как живая ревушая волна, подняла меня, отнесла на несколько шагов и с силою ударила о забор, потом понесла назад и куда-то в сторону и, наконец, притиснула к высокому штабелю дров, наклонившемуся вперед и грозившему завалиться на головы. Что-то сухо и часто затрещало и защелкало по бревнам; мгновенное затишье – и снова рев, огромный, широкозевный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и частая трескотня, и кто-то возле меня упал, и из красной дыры на месте глаза полилась кровь. И тяжелое полено, крутясь в воздухе, концом ударило меня по лицу, я упал и полез куда-то между топочущих ног и выбрался на свободное пространство. Потом я перелезал какие-то заборы, обломав все ногти, взбирался на штабеля дров; один рассыпался подо мною, и я упал вместе с водопадом стучающихся поленьев; из какого-то замкнутого четырехугольника я насилу выбрался – а сзади меня, настигая, все грохотало, ревело, выло и трещало. Где-то звонил колокол; что-то рухнуло, как будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились, не пуская ночи, и в той стороне рев и выстрелы словно окрасились красным светом и отогнали тьму. Спрыгнув с последнего забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переулке, похожем

на коридор между двух глухих стен, и побежал и бежал долго, но переулок оказался без выхода; его перегораживал забор, и за ним снова чернели штабеля дров и леса. И опять я лазил по этим подвижным зыбким громадам, проваливался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырým деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться назад; я и так знал, что делается там, по красноватому смутному налету, легшему на черные бревна и сделавшему их похожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица перестала течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая маска; и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из черных провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я потерял сознание, но не знаю, было ли это действительно, или мне это показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.

Потом я долго метался по незнакомым улицам, на которых не было фонарей, среди черных, точно вымерших домов и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы определить направление, но этого нельзя было сделать: за мною по пятам несея еще далекий, но все настигающий грохот и вой; иногда, на внезапном повороте, он ударял меня в лицо, красный, закутанный в клубы багрового крутящегося дыма, и тогда я поворачивал назад и метался до тех пор, пока он снова не становился за моей спиной. На одном углу я увидел полосу света, погасшего при моем приближении: это поспешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я еще уви-

дел кусочек прилавка и какую-то кадку, и сразу все оделось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от магазина я встретил человека, бежавшего мне навстречу, и в темноте мы чуть не столкнулись и остановилось в двух шагах друг от друга. Не знаю, кто был он: я видел только темный насторожившийся силуэт.

– Ты откуда? – спросил он.

– Оттуда.

– А куда ты бежишь?

– Домой.

– А! Домой?

Он помолчал и внезапно набросился на меня, стараясь повалить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нашупывали мое горло, но путались в одежде. Я укусил его за руку, вырвался и побежал, и он долго гнался за мной по пустынным улицам, громко стуча сапогами. Потом отстал – должно быть, ему было больно от укуса.

Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было фонарей, и дома стояли без одного огня, как мертвые, и я пробежал бы ее, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз и не увидел своего дома. Но я долго колебался: самый дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мертвой улице, будившей печальное и необыкновенное эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезапный бешеный испуг при мысли, что я потерял ключ, падая, и насилу я нашел его, хотя он был тут же, в наружном кармане.

И когда я щелкнул замком, эхо повторило звук так громко и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей улице во всех мертвых домах.

Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался в комнаты. В темноте ощупью я запер все двери и, после некоторого размышления, хотел загородить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страшно громок в пустых комнатах и напугал меня.

«Буду так ждать смерти. Ведь все равно», – решил я.

В умывальнике была еще вода, очень теплая, и я ощупью умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разбито, очень саднило и щипало, и мне захотелось взглянуть на себя в зеркало. Я зажег спичку – и при ее неровном, слабо разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то настолько безобразное и страшное, что я поспешно бросил спичку на пол. Кажется, был переломлен нос.

«Теперь все равно, – подумал я. – Никому это не нужно».

Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами, как будто я был в театре и представлял вора, я отправился к буфету и начал искать остатков пищи. Я ясно сознавал неуместность всех этих ужимок, но мне так нравилось. И ел я все с теми же гримасами, притворяясь, что я очень жаден.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходящую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно, оттого, что езда прекратилась, мне показалось совершенно тихо.

И выстрелов не было. Но я скоро ясно различил отдаленный гул голосов, крики, трески чего-то падающего и хохот. Звук заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мостовая на дворе, и конура собаки были окрашены в тот же красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку:

– Нептун!

Но в конуре ничто не шевельнулось, а возле я рассмотрел в багровом свете поблескивающий обрывок цепи. Отдаленный крик и треск чего-то падающего все росли, и я закрыл форточку.

«Идут сюда!» – подумал я и начал искать, где бы спрятаться. Я открывал печи, щупал камин, отворял шкапы, но все это не годилось. Я обошел все комнаты, кроме кабинета, куда я не хотел заглядывать. Я знал, что он сидит в своем кресле против стола, заваленного книгами, и сейчас это было бы мне неприятно.

Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они почти касались меня, и один раз чье-то дыхание оледенило мой затылок.

– Кто тут? – шепотом спросил я, но никто не ответил.

А когда я снова пошел, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я знал, что это мне кажется оттого, что я болен и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, от которого все тело начинало дрожать, как в

ознобе. Я пощупал голову: она была горячая, как огонь.

«Пойду лучше туда, – подумал я. – Он все-таки свой».

Он сидел в своем кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, но остался. Сквозь опущенные драпри в комнату пробивался красноватый свет, но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики. И они приближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже видел в кресле его: черный, чугунный профиль, очерченный узкой красною полоской.

– Брат! – сказал я.

Но он молчал, неподвижный и черный, как памятник. В соседней комнате хрустнула половица – и вдруг сразу стало так необыкновенно тихо, как бывает только там, где много мертвых. Все звуки замерли, и сам багровый свет приобрел неуловимый оттенок мертвенности и тишины, стал неподвижный и слегка тусклый. Я подумал, что от брата идет такая тишина, и сказал ему об этом.

– Нет, это не от меня, – ответил он. – Посмотри в окно.

Я отдернул драпри и отшатнулся.

– Так вот что! – сказал я.

– Позови мою жену: она этого еще не видала, – приказал брат.

Она сидела в столовой и что-то шила и, увидев мое лицо, послушно поднялась, воткнула иглу в шитье и пошла за

мною. Я отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнату светлее: она осталась так же темна, и только окна неподвижно горели красными большими четырехугольниками.

Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так что мы видели только ступни ног и треугольнички подбородков. И было тихо – очевидно, все умерли, и на бесконечном поле не было забытых.

– Их становится больше, – сказал брат.

Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все, кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, и я узнавал их только по голосу.

– Это кажется, – сказала сестра.

– Нет, правда. Ты посмотри.

Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежащих рядами, голыми ступнями к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым светом.

– Смотрите, им не хватает места, – сказал брат.

Мать ответила:

– Один уже здесь.

Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты.

– Они и в детской, – сказала няня. – Я видела.

– Нужно уйти, – сказала сестра.

– Да ведь нет прохода, – отозвался брат. – Смотрите.

Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевелинулись, и дрогнули, и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху.

– Они нас задушат! – сказал я. – Спасемтесь в окно.

– Туда нельзя! – крикнул брат. – Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.

8 ноября 1904 г.

Рассказ о семи повешенных

Посвящается Л.Н. Толстому

1. В час дня, ваше превосходительство

Так как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасное волнение, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.

– Постойте, – удивился министр, – откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:

– Именно в час дня, ваше превосходительство.

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности – как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасли, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и прозрачный свет электрических фонарей; посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чуждой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужас-

ные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, – громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни.

– Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, – он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму.

Вон в том углу она стоит и не уходит – и не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.

– В час дня, ваше превосходительство! – звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса: то весело – насмешливая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов, и все они, один за другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова:

– В час дня, ваше превосходительство.

В этот завтрашний «час дня», который еще так недавно ничем не отличался от других, был только спокойным движением стрелки по циферблату золотых часов, вдруг приобрел зловещую убедительность, выскочил из циферблата, стал жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то особенное существование.

– Ну? Чего тебе надо? – сквозь зубы сердито спросил министр.

Орали граммофоны:

– В час дня, ваше превосходительство! – и черный столб ухмылялся и кланялся.

Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел, опершись лицом на ладони, – положительно он не мог за-

снуть в эту отвратительную ночь.

И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми надутыми ладонями, он представил себе, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, надевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь... И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь – открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

– Ого! – вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившимся, напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нащупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру обошел чужую незнакомую спальню, нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель со свалившимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож

на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали, – и трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело такое обыкновенное, простое человеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подперев рукою взлохмаченную бороду, и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсил и так взволновался! Так вот почему она стоит в углу, и не уходит, и не может уйти!

– Дураки! – сказал он презрительно и веско.

– Дураки! – повторил он громче и слегка повернул голову к двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А относилось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении.

«Ну конечно, – думал он глубоко, внезапно окрепшею и плавною мыслью, – ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну а потом, конечно, эта смерть – но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не

знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходительство. И думали, дураки, что я буду радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: „В час дня, ваше превосходительство“.»

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. И снова, чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведения тяжелыми мыслями старого, больного, много испытавшего человека. Ничему живому, ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последние распоряжения, – а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так: запутался он в жизни и решил покончить с собой; и револьвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час для самоубийства – а перед самым концом вдруг передумал. И всегда в самое последнее мгновение может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и оттого никто не может про себя сказать, когда он умрет.

«В час дня, ваше превосходительство», – сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа напол-

нило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь и его убьют, но завтра этого не будет – завтра этого не будет, – и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не знали, какой великий закон они свернули с места, какую дыру открыли, когда сказали с этой своей идиотской любезностью: «В час дня, ваше превосходительство».

– Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда. Что?

– Ничего, – ответила тишина. – Ничего.

– Нет, ты говоришь что-то.

– Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.

И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый, черный, выхваченный из циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояла там в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он – огни исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений, окружающих его человеческую жизнь, – а чего-то внезапного и неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напора крови и лопнет, как туго натянутая перчатка на пух-

лых пальцах.

И страшною казалась короткая, толстая шея, и невыносимо было смотреть на заплывшие короткие пальцы, чувствовать, как они коротки, как они полны смертельною влагой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиросу – позвонить кого-нибудь. Нервы напряглись. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытарашенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.

И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под толчком ожил электрический звонок. Маленький металлический язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей чашки, замолкал – и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспыхнули отдельные лампочки – их мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. Всюду появились они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цепляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно было понять, где находились раньше эти бесчисленные уродливые, молчаливые тени, безгласные души безгласных вещей.

Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вызвали и жену его превосходительства.

2. К смертной казни через повешение

Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятую – нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкой которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин – всего девятнадцать. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время.

На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезные и очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали – коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое отказались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И

ко всему, происходившему на суде, обнаружили они то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною, огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие, – и снова продолжали думать с того же места, на каком остановилась мысль.

Первым от судей помещался один из назвавших себя – Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык; и неотступно, щурясь и мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала как предтечу ясный теплый солнечный день или даже один только час, но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь, в верхнее запыленное, с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше – в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все

ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, шурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости – но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева: и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побелевших на кончиках пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее – и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклицании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь и тело прозрачно светится,

как тонкий севрский фарфор. Сидела она, почти не шевелясь, и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым, самым чистым и правдивым – ничего не выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.

Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем – так чуждо бы-

ло платье человеку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потны и холодны были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубаша. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия – отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который начал уже разлагаться. По паспорту же ему было всего 23 года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

– Ничего.

Самое страшное было для него, когда являлось вдруг

нестерпимое желание кричать – без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо:

– Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою улыбку.

«Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик, – думала она про Головина. – А Вася? Что же это, боже мой, боже мой... Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь – еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?»

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем – была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли

склад бомб и динамита; и, как ни странно, – это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синеющее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления; и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

– Ничего, Вася. Кончится все скоро, – сказал Вернер.

– Да я, брат, ничего, – громко, спокойно и даже как будто весело ответил Каширин.

И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

– Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки, – наивно обругался Головин.

– Так и нужно было ожидать, – ответил Вернер спокойно.

– Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе, – сказала Ковальчук, утешая. – До самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

3. Меня не надо вешать

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости; и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими неуверенными шажками, а когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный дробный, полный боли стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но ис-

править не мог и так и бросил.

Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, переждал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузо уходила в сугроб с раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошадедка скакала всеми четырьмя ногами, как угорелая, сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой: не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как не разбился насмерть в одну из таких

диких поездов – оставалось непонятным.

Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и с других мест, но он был дешев и другие работники бывали не лучше, и так оставался он два года. Событий в жизни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным; и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпухой, томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел и был грубо отвергнут и осмеян: был он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного, грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислушивался. Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Что говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один, а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожара: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина

и жену его убили, а дом подожгли.

И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головой и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсона, а причина была в том, что Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке.

– Она меня самого убьет, – сказал Янсон, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:

– Ну и дурак же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими работниками!

И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника услали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кухне, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел к хозяину и быстро, раз за разом, ударил его в спину ножом. Хозяин в беспамятстве свалился, хозяйка заметалась и завопила, а Янсон, оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как

нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом кухарка, выбивая кухонную дверь, и Янсон убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другою тухнувшие спички, совершал покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Янсона, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как и всегда: маленький, щуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен: моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове; и там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами – как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через повешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его.

Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал:

– Она сказала, что меня надо вешать.

– Какая-токая она? – густо, басом, спросил председатель, читавший приговор.

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья, ответил:

– Ты!

– Ну?

Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбувавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека, к приговору совершенно не причастного, и повторил:

– Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать.

– Уведите обвиняемого.

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:

– Меня не надо вешать.

Он так был нелеп со своим маленьким, сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, с своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал ему вполголоса, уводя из зала:

– Ну и дурак же ты, парень.

– Меня не надо вешать, – упрямо повторил Янсон.

– Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь.

– Ну-ну, помалкивай! – сердито окликнул другой конвойный. Но не утерпел сам и добавил: – Тоже грабитель! За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

– Может, помилуют? – сказал первый солдат, которому жалко стало Янсона.

– Как же! Таких миловать... Ну, буде, поговорили.

Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть – с утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много, и важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно:

– Что, брат? Вот и повесили!

– А когда меня будут вешать? – недоверчиво спросил Янсон.

Надзиратель задумался.

– Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не

собыют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем.

– Ну, а когда? – настойчиво спрашивал Янсон.

Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть.

– Когда, когда! – рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый. – Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

– А я не хочу! – вдруг весело сморщился Янсон. – Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся: скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведенному в тюрьме, ее правила признавшему как бы за законы природы, – показалась и она и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший.

– Тьфу, чтоб тебя! – отплюнулся он. – Чего зубы скалишь, тут тебе не кабак!

– А я не хочу – га-га-га! – смеялся Янсон.

– Сатана! – сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.

Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьким, дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще немного – и вот развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет арестантов за ворота: пожалуйста, господа, гуляйте себе по городу, – а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Но Янсон уже перестал смеяться и только шурился лукаво.

– Ну то-то! – сказал надзиратель с неопределенной угрозой и ушел, оглядываясь.

Весь этот вечер Янсон был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу: меня не надо вешать, и она была такою убедительною, мудрою, неопровержимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку. А скоро забыл и об этом.

Каждое утро Янсон спрашивал, когда его будут вешать, и каждое утро надзиратель сердито отвечал:

– Успеешь еще, сатана. Посиди, – и уходил поскорее, пока не успел Янсон рассмеяться.

И от этих однообразно повторяющихся слов, и от того, что каждый день начинался, проходил и кончался, как самый обыкновенный день, Янсон бесповоротно убедился, что никакой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде и целыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном буфете, о чем-то еще более далеком и светлом. В тюрьме его хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней, он пополнил и стал немного важничать.

«Теперь она меня и так бы полюбила, – подумал он как-то про хозяйку. – Теперь я толстый, не хуже хозяина».

И только выпить водки очень хотелось – выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке.

Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы: и на обычный вопрос Янсона надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил.

– Теперь скоро.

Глядел на него спокойно и важно говорил:

– Теперь скоро. Думаю так, что через недельку.

Янсон побледнел и, точно совсем засыпая, так мутен был взгляд его стеклянных глаз, спросил:

– Ты шутишь?

– То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите, а у нас шуток не полагается, – сказал надзиратель с достоинством и ушел.

Уже к вечеру этого дня Янсон похудел. Его растянувш-

ся, на время разгладившаяся кожа вдруг собралась в множество мелких морщинок, кое-где даже обвисла как будто. Глаза сделались совсем сонными, и все движения стали так медленны и вялы, словно каждый поворот головы, движение пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием, которое раньше нужно очень долго обдумать. Ночью он лег на койку, но глаз не закрыл, и так, сонные, до утра они оставались открыты.

– Ага! – сказал надзиратель с удовольствием, увидев его на следующий день. – Тут тебе, голубчик, не кабак.

С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы, внимательно и подробно оглядел осужденного; теперь все пойдет как следует. Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни – и снисходительно, даже жалея искренно, старик осведомился:

– Видеться с кем будешь или нет?

– Зачем видеться?

– Ну, проститься. Мать, например, или брат.

– Меня не надо вешать, – тихо сказал Янсон и искоса поглядел на надзирателя. – Я не хочу.

Надзиратель посмотрел – и молча махнул рукою.

К вечеру Янсон несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор, так обыкновенно, и естественно, и обычно

пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсон ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать, но теперь он почувствовал ее таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обыкновенное: шаги, голоса, свет, щи из кислой капусты, а теперь все было необыкновенное, и эта тишина, и этот мрак и сами по себе были уже как будто смертью.

И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети! И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла на землю свои черные часы, и не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность, впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсона, наполнила его ужасом: еще не смея почувствовать это ясно, он уже сознал неизбежность близкой смерти и мертвеей ногою ступил на первую ступень эшафота.

День опять успокоил его, и ночь опять запугала, и так было до той ночи, когда он и сознал и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда будет вставать солнце.

Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела, – но теперь он почувствовал ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря

руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере.

Но камера была такая маленькая, что, казалось, не острые, а тупые углы в ней и все толкают его на середину. И не за что спрятаться. И дверь заперта. И светло. Несколько раз молча ударился туловищем о стены, раз стукнулся о дверь – глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз, и тут почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, прилипая к полу, прячась лицом в его темный, грязный асфальт, Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола, и посадили на койку, и вылили на голову холодной воды, Янсон все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый, пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать.

Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз лекарственно ударил Янсона по голове. И это ощущение жизни действительно прогнало смерть, и Янсон открыл глаза и остальную часть ночи, с помутившимся мозгом, крепко проспал. Лежал на спине с открытым ртом, и громко, залиvisto храпел; и между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка.

А дальше все в мире, и день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом, повергли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумления. Его слабая мысль не могла связать этих двух представ-

лений, так чудовищно противоречащих одно другому: обычно светлого дня, запаха и вкуса капусты – и того, что через два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части; и стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал спать: или всю ночь, поджав пугливо под себя ноги, сидел на табурете, или тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогуливался по камере. Рот у него все время был полураскрыт, как бы от непрестанного величайшего удивления: и прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво.

И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдавшие за ним в окошечко, перестали обращать на него внимание. Это было обычное для осужденных состояние, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытывавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу.

– Теперь он оглох, теперь он до самой смерти ничего не почувствует, – говорил надзиратель, взглядываясь в него опытными глазами. – Иван, слышишь? А, Иван?

– Меня не надо вешать, – тускло отозвался Янсон, и снова нижняя челюсть его отвисла.

– А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили, – наставительно сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень

важный мужчина в орденах. – А то убить убил, а вешаться не хочешь.

– Захотел человека на дармовщинку убить. Глуп, глуп, а хитер.

– Я не хочу, – сказал Янсон.

– Что ж, милый, не хоти, дело твое, – равнодушно сказал старший. – Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом распорядился – все что-нибудь да есть.

– Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще шапка меховая – франт!

Так прошло время до четверга. А в четверг, в двенадцать часов ночи, в камеру к Янсону вошло много народу, и какой-то господин с погонами сказал:

– Ну-с, собирайтесь. Надо ехать.

Янсон, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куривший папироску, сказал кому-то:

– А какой сегодня теплый день. Совсем весна.

Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул:

– Ну, ну, живее. Заснул!

Вдруг Янсон остановился.

– Я не хочу, – сказал он вяло.

Его взяли под руки и повели, и он покорно зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным

воздухом, и под носиком стало мокро; несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную без фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандармы, Янсон лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф.

4. Мы, орловские

Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда, Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление; а дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств, чувствовались позади его кровь и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, совершенно искренно он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя «экспроприаторами». О последнем преступлении, где запирательство не вело ни к чему, он рассказывал подробно и охотно, на вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал:

– Ищи ветра в поле!

Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид.

– Мы все орловские, проломленные головы, – говорил он степенно и рассудительно. – Орел да Кромы – первые воры. Крачев да Ливны – всем ворах дивны. А Елец – так тот всем ворах отец. Что ж тут толковать!

Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухват-

ки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами желтого пригара на острых татарских скулах; как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким снопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь.

На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал коротко, твердо и даже как будто с удовольствием:

– Верно!

Иногда подчеркивал:

– Вер-р-но!

И совершенно неожиданно, когда речь шла о другом, вскочил и попросил председателя:

– Дозвольте засвистать!

– Это зачем? – удивился тот.

– А как они показывают, что я давал знак товарищам, то вот. Очень интересно.

Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой руки, свирепо выкатил глаза – и мертвый воздух судебной за-

лы прорезал настоящий дикий, разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади и бледнеют невольно человеческие лица. И смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предостережение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество – все было в этом пронзительном и не человеческом и не зверином вопле.

Председатель что-то закричал, потом замахал на Цыганка рукою, и тот послушно смолк. И, как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутствующих.

– Вот разбойник! – сказал один из судей, потирая ухо.

Но другой, с широкой русской бородой и татарскими, как у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх Цыганка, улыбнулся и возразил:

– А ведь действительно интересно.

И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести, судьи вынесли Цыганку смертный приговор.

– Верно! – сказал Цыганок, когда приговор был прочитан. – Во чистом поле да перекладинка. Верно!

И, обратясь к конвойному, молодецки бросил:

– Ну, идем, что ли, кислая шерсть. Да ружье крепче держи – отыму!

Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся

с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху – так, поглощенные преступником, не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.

До казни Мишке Цыганку, как и Янсону, пришлось провести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней пролетели для него так быстро, как один – как одна неугасающая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владевший Цыганком и теперь сдавленный стенами, и решетками, и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и жег мысль Цыганка, как разбросанный по доскам уголь. Точно в пьяном угаре, роились, сшибались и путались яркие, но незаконченные образы, неслись мимо в неодолимом ослепительном вихре, и все устремлялись к одному – к побегу, к воле, к жизни. То раздувая ноздри, как лошадь, Цыганок по целым часам нюхал воздух – ему чудилось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью; то волчком крутился по камере, быстро ощупывая стены, постукивая пальцем, примеряясь, точа взглядом потолок, перепиливая решетки. Своею неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и уже несколько раз, в отчаянии, солдат грозил стрелять; Цыганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончилось мирно, что препирательство скоро переходило в простую, мужицкую, неоскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной.

Ночи свои Цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были сухие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело: точно в грудь клали кусок нетающего льду, от которого по всему телу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты Цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась: точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоянно облизывал губы, чмокал и с шипением, сквозь зубы, сплевывал на пол набегающую слюну. И не договаривал слов: так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их.

Однажды днем в сопровождении конвойного к нему вошел старший надзиратель. Покосился на заплеванный пол и угрюмо сказал:

– Ишь, запакостил!

Цыганок быстро возразил:

– Ты вот, жирная морда, всю землю запакостил, а я тебе ничего. Зачем прилез?

Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал.

– Ай не находится? Ловко! Вот и повесь поди, ха-ха! И шея есть, и веревка есть, а вешать-то некому. Ей-богу, ловко!

– Жив останешься зато.

– Ну еще бы: не мертвый же я тебе вешать-то буду. Сказал,

дурак!

– Так как же? Тебе-то все равно: так или этак.

– А как у вас вешают? Небось втихомолку душат!

– Нет, с музыкой, – огрызнулся надзиратель.

– Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так! – И он запел что-то залихватское.

– Совсем ты, милый, порешился, – сказал надзиратель. –

Ну, так как же, говори толком.

Цыганок оскалился:

– Какой скорый! Еще разок приди, тогда скажу.

И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших Цыганка своею стремительностью, ворвался новый: как хорошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, Цыганок, в красной рубахе разгуливает по нем с топориком. Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды лошадей – то мужики наехали из деревни; а дальше видно поле.

– Ц-ах! – чмокал Цыганок, облизываясь, и сплевывая набегавшую слюну.

И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта: становилось темно и душно, и куском нетающего льду делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь.

Еще раза два заходил надзиратель, и, оскалив зубы, Цы-

ганок говорил:

– Какой скорый. Еще разок зайти.

И, наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул:

– Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!

– Ну и черт с тобой, вешай сам! – огрызнулся Цыганок. И перестал мечтать о палачестве.

Но под конец, ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимой. Цыганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, но крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было: все плыло кругом. И уже стал беспокойным сон: появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир. На воле Цыганок носил одни довольно франтовские усы, а в тюрьме у него отросла короткая, черная, колючая борода, и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами Цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по камере, но все еще ощущивал шершавые штукатуренные стены. И воду пил, как лошадь.

Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, Цыганок стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем. Был он как-то особенно серьезен при этом и выл так, будто делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь воздуха и медленно выпускал его в продолжительном, дро-

жащем вое; и внимательно, зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколько умышленною; и не кричал он бестолково, а выводил тщательно каждую ноту в этом зверином вопле, полном несказанного ужаса и скорби.

Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднимаясь с четверенек, молчал. Вдруг тихонько, в землю, забормотал:

– Голубчики, миленькие... Голубчики, миленькие, пожалейте... Голубчики!.. Миленькие!..

И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово и прислушивается.

Потом вскочил – и целый час, не переводя духа, ругался по матерщине.

– У, такие-сякие, туда-та-та-та! – орал он, выворачивая налившиеся кровью глаза. – Вешать так вешать, а не то... У, такие-сякие...

И белый, как мел, солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в дверь дулом ружья и беспомощно кричал:

– Застрелю! Ей-богу, застрелю! Слышишь!

Но стрелять не смел: в приговоренных к казни, если не было настоящего бунта, никогда не стреляли. А Цыганок скрипел зубами, бранился и плевал – его человеческий мозг, поставленный на чудовищно острую грань между жизнью и смертью, распадался на части, как комок сухой и выветрившейся глины.

Когда явились ночью в камеру, чтобы везти Цыганка на казнь, он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще слаще, и слюна набиралась неудержимо, но щеки немного порозовели, и в глазах заискрилось прежнее, немного дикое лукавство. Одеваясь, он спросил чиновника:

– Кто будет вешать-то? Новый? Поди, еще руку не набил.

– Об этом вам нечего беспокоиться, – сухо ответил чиновник.

– Как же не беспокоиться, ваше благородие, вешать-то будут меня, а не вас. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожалейте.

– Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.

– А то он у вас тут все мыло поел, – указал Цыганок на надзирателя, – ишь как рожа-то лоснится.

– Молчать!

– Уже не пожалейте!

Цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще, и вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он сумел крикнуть:

– Карету графа Бенгальского!

5. Поцелуй – и молчи

Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день подтвержден. Осужденным не сказали, когда будет казнь, но по тому как делалось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или самое позднее, в следующую. И когда им предложили видиться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глуши, в Малороссии, и едва ли даже знали о суде и предстоящей казни; у Муси и Вернера, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, – и только двоим, Сергею Головину и Василию Каширину, предстояло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании, но не решились отказать старикам в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Головин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь был в ужасе – что это будет такое. Самая казнь, во всей ее чудовищной необычности, в поражающем мозг безумии ее – представлялась воображению легче и казалась не такую страшную, как эти несколько минут, коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить –

отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное: взять за руки, поцеловать, сказать: «Здравствуй, отец», – казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бородку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водой. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки и светло и наивно голубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.

Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как будто снежную статую обрядили в человеческое платье; и все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнувший бензином, с новенькими поперечными погонами; и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами. Протянул белую сухую руку и громко сказал:

– Здравствуй, Сергей!

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила:

– Здравствуй, Сереженька!

Поцеловала в губы – и молча села. Не бросилась, не заплакала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего ожидал Сергей, – а поцеловала и молча села. И даже расправила дрожащими руками черное шелковое платье.

Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись в своем кабинете, полковник с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал: «Не отягчить, а облегчить должны мы последнюю минуту нашего сына», – твердо решил полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фразу завтрашнего разговора, каждое движение. Но иногда запутывался, терял и то, что успел приготовить, и горько плакал в углу клеенчатого дивана. А утром объяснял жене, как нужно держать себя на свидании.

– Главное, поцелуй – и молчи! – учил он. – Потом можешь и говорить, несколько спустя, а когда поцелуешь, то молчи. Не говори сразу после поцелуя, понимаешь? – а то скажешь не то, что следует.

– Понимаю, Николай Сергеевич, – отвечала мать плача.

– И не плачь. Избавь тебя господи плакать! Да ты его убьешь, если плакать будешь, старуха!

– А зачем же ты сам плачешь?

– С вами заплачешь! Не должна плакать, слышишь?

– Хорошо, Николай Сергеевич.

На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но позабыл. И так и ехали они молча, согнувшись, оба седые и старые, и думали, а город весело шумел: была масленая неделя, и на улицах было шумно илюдно.

Сели. Полковник стал в приготовленной позе, заложив правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение, встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил.

– Посиди, Сереженька, – попросила мать.

– Сядь, Сергей, – подтвердил отец.

Помолчали. Мать странно улыбалась.

– Как мы хлопотали за тебя, Сереженька.

– Напрасно это, мамочка...

Полковник твердо сказал:

– Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.

Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как будто каждое слово в языке потеряло значение и значило только одно: смерть. Сергей посмотрел на чистенький, пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: «Теперь же денщика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть». И вдруг спросил:

– А как сестра? Здорова?

– Ниночка ничего не знает, – поспешно ответила мать.

Но полковник строго остановил ее:

– Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей

знает, что все... близкие его... в это время... думали и...

Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг лицо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращились, дыхание делалось все чаще и короче и громче.

– Се... Сер... Се... Се... – повторяла она, не сдвигая губ. – Се...

– Мамочка!

Полковник шагнул вперед и, весь трясясь, каждой складкой своего сюртука, каждой морщинкою лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене:

– Молчи! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать! Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и твердил:

– Не мучь!

Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую руку и громко, с выражением усиленного спокойствия, спросил белыми губами:

– Когда?

– Завтра утром, – такими же белыми губами ответил Сергей.

Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и странные слова:

– Ниночка велела поцеловать тебя, Сереженька.

– Поцелуй ее от меня, – сказал Сергей.

– Хорошо. Еще. Хвостовы тебе кланяются.

– Какие Хвостовы? Ах, да!

Полковник перебил:

– Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.

Вдвоем они подняли ослабевшую мать.

– Простись! – приказал полковник. – Перекрести.

Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головою и твердила бессмысленно:

– Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом?

Как же я скажу? Нет, не так.

– Прощай, Сергей! – сказал отец.

Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.

– Ты... – начал Сергей.

– Ну? – отрывисто спросил отец.

– Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу? – твердила мать, покачивая головою. Она уже опять успела сесть и все покачивалась.

– Ты... – опять начал Сергей.

Вдруг лицо его жалко, по-ребячьи, сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же глазами.

– Ты, отец, благородный человек.

– Что ты! Что ты! – испугался полковник.

И вдруг, точно сломавшись, упал головою на плечо к сыну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньким, и пушистая, сухая голова беленьким комочком лежала на плече сына. И оба молча жадно целовали: Сергей – пушистые белые волосы, а он – арестантский халат.

– А я? – вдруг сказал громкий голос.

Оглянулись: мать стояла и, закинув голову, смотрела с гневом, почти с ненавистью.

– Что ты, мать? – крикнул полковник.

– А я? – говорила она, качая головою, с безумной выразительностью. – Вы целуетесь, а я? Мужчины, да? А я? А я?

– Мамочка! – бросился к ней Сергей.

Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать.

Последними словами полковника были:

– Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как офицер.

И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили – и вдруг ушли. Вот здесь сидела мать, вот здесь стоял отец – и вдруг как-то ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на койку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал. Потом устал от слез и крепко уснул.

К Василию Каширину пришла только мать – отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил старуху, шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.

– Не стоило вам, мамаша, приходиться. Только себя и меня

измучите.

– Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!

Старуха заплакала, утираясь кончиками черного шерстяного платка. И с привычкой, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

– Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша! Ничего!

– Ну, ну, хорошо. Что тебе – холодно?

– Холодно... – отрезал Василий и зашагал, искоса, сердито глядя на мать.

– Может, простудился?

– Ах, мамаша, какая тут простуда, когда...

И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: «А наш-то с понедельника велел блины ставить», но испугалась и заголосила:

– Говорила я ему: ведь сын ведь, пойдя, дай отпущение. Нет, уперся, старый козел...

– Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался.

– Васенька, это про отца-то! – Старуха вся укоризненно вытянулась.

– Про отца.

– Про родного отца!

– Какой он мне родной отец!

Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут вырос-

тало что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали, как пустая скорлупа орехов под ногою. И, почти плача – от тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний предсмертный час, дико тарщило свои маленькие глупые глаза, Василий закричал:

– Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!

– А ты бы не трогал людей, тебя бы... – кричала старуха.

– Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не бывает. Сын я вам или нет?

Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем углу. Бессильные хоть на мгновение слиться в чувстве любви и противопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они холодными, не согревающими сердца слезами одиночества. Мать сказала:

– Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я за эти дни совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

– Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

– Разве я не мать? Разве мне не жалко?

Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горячее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась.

Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями и села на мокрой оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос, и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.

– Не могу. Ей же богу, не могу! – отказывалась она, мотая головою, и ползла по ледяному мокрому насту, а ей все лили вино, все лили.

И уж больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса – а ей все лили вино. Все лили.

6. Часы бегут

В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часа вызванивали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный клик перелетных птиц. Днем эта старая и печальная музыка терялась в шуме города, большой и людной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи, чокали копыта лошадей, далеко впереди кричали покачивающиеся автомобили; на масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне, и бубенцы на шее их малорослых лошадемок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял: немного пьяный, веселый масленичный говор; и так шла к разноголосице молодая весенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера. С моря широкими, влажными порывами дул теплый ветер: казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные, свежие частички воздуха и смеются, летя.

Ночью улица затихала в одиноком свете больших электрических солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тишину, чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен ста-

новился бой часов: чуждая земле, медленно и печально рождалась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась, обманывая эхо, звенела жалобно и тихо – обрывалась – снова звенела. Как большие, прозрачные, стеклянные капли с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели.

В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем и ночью приносился только один этот звон. Сквозь крышу, сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тишину, – уходил незаметно, чтобы снова так же незаметно прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его; иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была предназначена тюрьма, особенные в ней были правила, суровые, твердые и жесткие, как угол крепостной стены; и если в жестокости есть благородство, то была благородна глухая, мертвая, торжественно немая тишина, ловящая шорохи и легкое дыхание.

И в этой торжественной тишине, колеблемой печальным звоном убегающих минут, отделенные от всего живого, пять человек, две женщины и трое мужчин, ожидали наступления ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.

7. Смерти нет

Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других и никогда о себе, так и теперь только за других мучилась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она, как нечто мучительное, для Сережи Головина, для Муси, для других, – ее же самой она как бы не касалась совсем.

И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала, как умеют плакать старые женщины, знавшие много горя, или молодые, но очень жалостливые, очень добрые люди. И предположение о том, что у Сережи может не оказаться табаку, а Вернер, может быть, лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдобавок к тому, что они должны умереть, – мучило ее, пожалуй, не меньше, чем самая мысль о казни. Казнь – это что-то неизбежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку, это совсем невыносимо. Вспоминала, перебирала милые подробности совместного житья и замирала от страха, воображая встречу Сергея с родителями.

И особенною жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей казалось, что Муся любит Вернера, и, хотя это была совершенная неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное ко-

лечко, на котором был изображен череп, кость и терновый венец вокруг них; и часто, с болью, смотрела Таня Ковальчук на это кольцо как на символ обреченности, и то шутя, то серьезно упрашивала Мусю снять его.

– Подари его мне, – упрашивала она.

– Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет.

Почему-то, в свою очередь, о ней думали, что она непременно и в скором времени должна выйти замуж, и это обижало ее – никакого мужа она не хотела. И вспоминая эти поллушутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от материнской жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась – как там, в тех камерах, принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти.

А Муся была счастлива. Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неутомимо. Рукава халата были ей длинны, и она отвернула их, и тонкие, почти детские, исхудалые руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала пальцем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.

Муся шагала – и оправдывалась перед людьми, волнуясь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какую умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколебимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как мучаются, как жалеют, – и ей было совестно до красноты. Точно, умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость.

Она уже просила при последнем свидании своего защитника, чтобы он достал ей яду, но вдруг спохватилась: а если и другие подумают, что это она из рисовки или из трусости, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, наделает шуму еще больше? И торопливо добавила:

– Нет, впрочем, не надо.

И теперь она хотела только одного: объяснить людям и доказать им точно, что она не героиня, что умирать вовсе не страшно и чтобы о ней не жалели и не заботились. Объяснить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молоденькую, незначительную, подвергают такой смерти и поднимают из-за нее столько шуму.

Как человек, которого действительно обвиняют, Муся искала оправданий, пыталась найти хоть что-нибудь, что возвысило бы ее жертву, придало бы ей настоящую цену. Рассуждала:

– Конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить. Но...

И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, тусклой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. Нет оправдания.

Но, быть может, то особенное, что она носит в душе – безграничная любовь, безграничная готовность к подвигу, безграничное пренебрежение к себе? Ведь она действительно не виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и хотела, – убили ее на пороге храма, у подножия жертвенника.

Но если это так, если человек ценен не только по тому, что он сделал, а и по тому, что он хотел сделать, – тогда... тогда она достойна мученического венца.

«Неужели? – думает Муся стыдливо. – Неужели я достойна? Дстойна того, чтобы обо мне плакали люди, волновались обо мне, такой маленькой и незначительной?»

И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений, ни колебаний, она принята в лоно, она правомерно вступает в ряды тех светлых, что извека через костер, пытки и казни идут к высокому небу. Ясный мир и покой и безбрежное тихо сияющее счастье. Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете.

«И это – смерть. Какая же это смерть?» – думает Муся блаженно.

И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели, топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет, – они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни?

И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали:

– Смотри! Это ты!

Она посмотрела бы и ответила:

– Нет. Это не я.

И когда ее стали бы убеждать, пугая зловещим видом разложения, что это она – она! – Муся ответила бы с улыбкой:

– Нет. Это вы думаете, что это – я, но это не я. Я та, с которой вы говорите, как же я могу быть этим?

– Но ты умрешь и станешь этим.

– Нет, я не умру.

– Тебя казнят. Вот петля.

– Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я – бессмертна?

И отступили бы ученые, философы и палачи, говоря с содроганием:

– Не касайтесь этого места. Это место – свято.

О чем еще думала Муся? О многом думала она – ибо нить

жизни не обрывалась для нее смертью и плелась спокойно и ровно. Думала о товарищах – и о тех далеких, что с тоскою и болью переживают их казнь, и о тех близких, что вместе взойдут на эшафот. Удивлялась Василию, чего он так испугался, – он всегда был очень храбр и даже мог шутить со смертью. Так, еще утром во вторник, когда они надевали с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через несколько часов должны были взорвать их самих, у Тани Ковальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстранить, а Василий шутил, паясничал, вертелся, был так неосторожен даже, что Вернер строго сказал:

– Не нужно фамильярничать со смертью.

Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем и разыскивать причину, – вдруг отчаянно захотелось увидеть Сережу Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала – и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убедить его. И представляя, что Вернер ходит рядом с нею своею четкой, размеренной, вбивающей каблук в землю походкой, Муся говорила ему:

– Нет, Вернер, голубчик, это все пустяки, это совсем неважно, убил ты или нет. Ты умный, но ты точно в свои шахматы играешь: взять одну фигуру, взять другую, тогда и выиграно. Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть. Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и

нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из «браунинга». Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то, значит, победил этот один. Это правда, Вернер, голубчик.

Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать дальше, – Вернер теперь и сам понял, наверное. А может, и просто не хотелось ее мысли останавливаться на одном – как легко парящей птице, которой видимы безбрежные горизонты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость ласкающей и нежной синевы. Звонили часы непрестанно, колебля глухую тишину; и в этот гармоничный, отдаленно прекрасный звук вливались мысли и тоже начинали звенеть; и музыкою становились плавно скользящие образы. Словно тихою темною ночью ехала куда-то Муся по широкой и ровной дороге, и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы звенели. Отошли все тревоги и волнения, растворилось во тьме усталое тело, и радостно-усталая мысль спокойно творила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем. Вспомнила Муся трех товарищей своих, повешенных недавно: и лица их были ясны, и радостны, и близки – ближе тех уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме своих друзей, куда войдет он вечером с приветом на смеющихся устах.

Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку и продолжала грезить с легко закрытыми глазами. Звонили

часы непрестанно, колебля немую тишину, и в их звенящих берегах тихо плыли светлые поющие образы. Муся думала:

«Неужели это смерть? Боже мой, как она прекрасна! Или это жизнь? Не знаю, не знаю. Буду смотреть и слушать».

Уже давно, с первых дней заключения, начал фантазировать ее слух. Очень музыкальный, он обострялся тишиною и на фоне ее из скудных крупниц действительности, с ее шагами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря, творил целые музыкальные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя, как болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здорова и никакой болезни тут нет, – и стала отдаваться им спокойно.

И теперь – вдруг совершенно ясно и отчетливо она услышала звуки военной музыки. В изумлении она открыла глаза, приподняла голову – за окном стояла ночь, и часы звонили. «Опять значит!» – подумала она спокойно и закрыла глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно слыша, как из-за угла здания, справа, выходят солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! – слышно даже, как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе: совершенно незнакомый, но очень громкий и бодрый праздничный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна ве-

сelyх, ритмичных, дружно разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед – Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка еще красивее и веселее. Еще раз-другой громко и фальшиво-радостно вскрикивает медным голосом труба, и все гаснет. И снова на колокольне вызванивают часы, медленно, печально, еле-еле колебля тишину.

«Ушли!» – думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушедших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших солдатиков, потому что эти старательные, с медными трубами, с поскрипывающими сапогами совсем иные, совсем не те, в кого хотела бы она стрелять из «браунинга».

– Ну, еще! – просит она ласково. И приходят еще. Склоняются над нею, окружают ее прозрачным облаком и поднимают вверх, туда, где несутся перелетные птицы и кричат, как герольды. Направо, налево, вверх и вниз – кричат, как герольды. Зовут, оповещают, далеко возвещают о полете своем. Широко машут крылами, и тьма их держит, как держит их и свет; и на выпуклых грудях, разрезающих воздух, отсвечивает снизу голубым сияющий город. Все ровнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание Муси. Она засыпает. Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так тонки девичьи исхудалые руки, а на устах улыбка. Завтра, когда будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечело-

веческой гримасой, зальется густою кровью мозг, и вылезут из орбит остекленевшие глаза – но сегодня она спит тихо и улыбается в великом бессмертии своем.

Заснула Муся.

А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шепчут. Где-то звякнуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А может быть, и никто не кричал – просто чудится от тишины.

Вот бесшумно отпала форточка в двери – в темном отверстии показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно тарачит на Мусю глаза – и пропадает бесшумно, как явилось.

Звонят и поют куранты – долго, мучительно. Точно на высокую гору ползут к полуночи усталые часы, и все труднее и тяжелее подъем. Обрываются, скользят, летят со стоном вниз – и вновь мучительно ползут к своей черной вершине.

Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впрягают коней в черные без фонарей кареты.

8. Есть и смерть, есть и жизнь

О смерти Сергей Головин никогда не думал как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезает в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность – все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.

И все он делал хорошо: великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в «честное слово». Свои смеялись над ним, что, если сыщик, рожа, заведомый шпион даст ему честное слово, что он не сыщик, – Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях; и обижался, когда смеялись.

– Или вы все ослы, или я осел, – говорил он серьезно и обиженно. И так же серьезно, подумав, все решали:

– Ты осел, по голосу слышно.

Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства.

Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ковальчук, он один как следует, с аппетитом, позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб Вернера и сказал:

– А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.

– Не хочется.

– Ну так я съем. Ладно?

– Ну и аппетит же у тебя, Сережа.

Вместо ответа Сергей, с набитым ртом, глухо и фальшиво запел.

Вихри враждебные веют над нами...

После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал: «Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо, – умереть», – и развеселился. И, как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно про-

делал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:

– Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что надо, – крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим.

Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо всей силы, подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом ощущение забудется – и через несколько часов явится снова, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха.

«Неужели я боюсь? – подумал Сергей с удивлением. – Вот еще глупости!»

Боялся не он – боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений, – тут появлялся этот острый, как

бы чужой страх. Он заметил это и подумал:

«Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!»

И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул:

– Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая. Только для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень хорошо.

И действительно, стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда начал делать так: еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат; это как будто помогло: появилась тупая сонливость, истома.

– Я тебе покажу! – грозил он телу, а сам с грустью, нежно водил рукою по вялым, обмякшим мускулам.

Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова – правда, не такой острый, не такой огневой, но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это оттого, что тянут долго, – подумал Сергей, – хорошо бы все это время, до казни, проспять», и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

«Разве я ее, дьявола, боюсь? – думал он о смерти. – Это

мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что, если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?»

Покачивал головой грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами. Молчание – и продолжительный, глубокий вздох; опять короткое молчание – и снова еще более продолжительный тяжелый вздох.

Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что с жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте и смерть, – стало как-то странно. Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили – не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно.

– Фу ты, черт! – мучительно удивлялся Сергей. – Да что же это такое? Да где же это я? Я... какой я?

Оглядел всего себя внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив руки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом платье, которое ей длинно. Повертел головою – вертится. И это,

несколько страшное почему-то, есть он, Сергей Головин, и этого – не будет.

И все сделалось странно.

Попробовал ходить по камере – странно, что ходит. Попробовал сидеть – странно, что сидит. Попробовал выпить воды – странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что ест пальцы и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: «Как это странно, я кашляю».

«Да что я, с ума, что ли, схожу! – подумал Сергей холодея. – Этого еще недоставало, чтобы черт их побрал!»

Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения – ибо всякая мысль было безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой все, и земли, и жизнь, и люди; и все это видимо одним взглядом, все до самого конца, до загадочного обрыва – смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатственной рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной – но не сделались они и понятными; как истина, начертанная на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу, не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова: «мне страш-

но» – звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разума, опыта и чувств, вдруг увидел самого бога – увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания.

– Вот тебе и Мюллер! – вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головой. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал. – Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный немец! И все-таки – ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер, осел.

Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата – быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений; вытягивая и растягивая свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием:

– Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!

Щеки его покраснелись, из пор выступили капельки горячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.

– Дело в том, Мюллер, – рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей, – дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадцатое упражнение – подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем – Сергея Головина, пеленают его как куклу и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь – приходится.

Перегнулся на правый бок и повторил:

– Приходится, брат Мюллер.

9. Ужасное одиночество

Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий стоить тяжело, как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каширин.

Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распутившимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, останавливался и что-то разыскивал глазами – словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое ушло куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты.

К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был закружен и захлестнут волною бешеного страха. Пока он сам, своею волею, шел на опасность и смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, ему было легко и весело даже: в чувстве безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький,

сморщенный, словно старушечий страшок. Опоясанный адской машиной, он сам как бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную смертоносную мощь. И, идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая, он казался себе пришельцом из иного, неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха.

И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже не идет, куда хочет, а его везут – куда хотят. Он уже не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно: жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят. За мгновение бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образом единственного в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Что бы он ни говорил, слов его не послушают, а если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят; и станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет наземь – его осилят, поднимут, свяжут и связанного поднесут к виселице. И то, что эту машинную работу над ним исполняют люди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный и зловещий вид: не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол

на пружине: берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык и говорят, и не мог – казались немыми; старался вспомнить их речь, смысл слов, которые они употребляют при сношениях, – и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего.

Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы его судить: шкаф, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему между собою, потом повели его вешать: шкаф, стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это остальные вещи.

И все стало казаться игрушечным Василию Каширину, приговоренному к смертной казни через повешение: его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость, и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору, и те другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом пред смертью; скорее смерти он даже хотел: во всей извечной загадочности

и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот так дико и фантастично превратившийся мир. Более того: смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги, обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

Исчез из мира человек.

На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и он снова, на мгновение, увидел людей: сидят и судят его и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают. Но уже на свидании с матерью он, с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке – просто искусно сделанная механическая кукла, вроде тех, которые говорят: «па-па», «ма-ма», но только лучше сделанная. Старался говорить с нею, а сам, вздрагивая, думал:

«Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та кукла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это – кукла Василия Каширина».

Казалось, еще немного, и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое, но при первых же ее словах исчезло, и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.

Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Васи-

лий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть может, в раннем еще детстве, он услышал три слова, и они поразили его трепетным волнением и потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были:

«Всех скорбящих радость».

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: «всех скорбящих радость» – и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо:

– Наша жизнь... да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да разве это жизнь!

А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары: на, бей!

Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей «всех скорбящих радости» и даже сам как будто не знал о ней – так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибрежную лозиночку, – он захотел молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо прошептал:

– Всех скорбящих радость!

И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:

– Всех скорбящих радость, приди ко мне, поддержи Ваську Каширина.

Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступлением в общество, он называл себя хвастливо и жалко: «Васькой Кашириным» – теперь почему-то захотелось назваться так же. Но мертво прозвучали слова:

– Всех скорбящих радость!

Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал чем-то, шашкой не то ружьем, солдат в коридоре и продолжительно, с переходами, зевнул.

– Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?

Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспоминались ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона, и как отец, сгибаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит исподлобья – молится ли Васька, не занялся ли баловством. И стало еще страшнее, чем до молитвы.

Исчезло все.

Безумие тяжело наползало. Сознание погасало, как поту-

хающий разбросанный костер, холодело, как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз, кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия, дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо; что он может биться головою о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может, – и ничего. Будет ничего.

И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело. Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти что покой.

Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит – пора ехать на казнь, а просто увидел людей и испугался, почти по-детски.

– Я не буду! Я не буду! – шептал он неслышно помертвевшими губами и тихо отодвигался в глубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец.

– Надо ехать.

Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыв глаза, покачался – и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться: вдруг попросил у чиновника папиросу.

И тот любезно раскрыл серебряный с декадентским рисунком портсигар.

10. Стены падают

Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми; одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков, мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог, при желании, говорить как настоящий, прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры и один из всей своей братии, без риска быть узанным, смел появляться на великосветских балах.

Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважения к себе; это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что навсегда, казалось, уничтожило в нем желание жить, — было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лжи-

вое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо – вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя, стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно-посторонним. Но из организации, как человек единой, нерасщепленной воли, не ушел и внешне остался тот же – только в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего не сказал.

Обладал он и еще одним редким свойством: как есть люди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал, что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к довольно распространенной болезни, которою сам, однако, ни разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Каширина, он жалел, но это была холодная, почти официальная жалость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из судей.

Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то другое, – но, во всяком случае, решил встретить ее спокойно, как нечто постороннее: жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа. И на суде – и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холодное бесстрашие и надменность, – он думал не о смерти и не о жизни: он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной

внимательностью, разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске.

Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его; и утро последнего дня, который оставался ему на земле, он начал с того, что исправил один вчерашний, не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности; потом встал и начал ходить, размышляя. Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил землю каблуками – даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку – это помогало думать.

Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершенной ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденного?

– Нет, зачем же! – отвечал он холодно и спокойно закрыл

невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какою играл, будто отвечая на строгом экзамене, постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения; осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, считал часы, что остаются до казни, нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами.

– Ну? – ответил он кому-то полувопросом. – Вот и все. Где же страх?

Страха действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему – чувство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном, словно счел он умершим близкого дорогого друга, а друг этот оказался жив и невредим и смеется.

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс: сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный к полу стул и подумал:

«Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни – и как будто ее нет. Посмотрю на стены – как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?»

Начинали дрожать руки – невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове – наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль.

Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последние года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом – перед лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания. Вернер вдруг увидел и жизнь и смерть и поразился великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор.

– Что это! Какое божественное зрелище! – медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа. И уничтожая стены, пространство и время стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни.

И новую предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, запечатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То ма-

ленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно: так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезает сор и грязь тесных улиц покинутого городка и красотою становится безобразное.

Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордый и властный от природы, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы, не поворачивал шеи так, не глядел так – ибо никогда еще не был свободен и властен, как здесь, в тюрьме, на расстоянии нескольких часов от казни и смерти.

И новыми предстали люди, по-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Паря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем завывавшее в лесах; и то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым – как мило в ребенке его неумение ходить походкою взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрами гениальности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы.

– Милые вы мои! – вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти, и скучно немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плоскости двери. И странно: почти внезапно он позабыл то, что увидел только что так выпукло и ясно; и еще страннее – даже и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обычной

сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской, слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произошло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером: вдруг заплакал.

– Милые товарищи мои! – шептал он и плакал горько. – Милые товарищи мои!

Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости? Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и страстное таили в себе его слезы, – не знало и этого его вдруг воскресшее зазеленевшее сердце. Плакал и шептал:

– Милые товарищи мои! Милые вы, товарищи мои!

В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера – ни судьи, ни товарищи, ни он сам.

11. Их везут

Перед тем как рассаживать осужденных по каретам, их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на пустую приемную. И позволили разговаривать между собою.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные как лед и горячие как огонь, – и молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, они как бы совестились того, что каждый из них испытал в одиночестве; и глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою.

Но раз, другой взглянули, улыгнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или же слишком медленно, или же слишком быстро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной – не замечали этого. Все шурились с любопыт-

ством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда.

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

– Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к нему.

Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.

– Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего, брат, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.

Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый, страшно далекий ответ: так на многие зовы могла бы ответить могила:

– Да я ничего. Я держусь.

И повторил:

– Я держусь.

Вернер обрадовался.

– Вот, вот. Молодец. Так, так.

Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою: «От-

куда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал:

– Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.

– И я тебя очень люблю, – ответил, тяжело ворочаясь, язык.

Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:

– Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой... светлый и мягкий? А, что?

– А, что?

И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер сжал Мусину руку:

– Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо, совестно, но я очень люблю.

Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни и бросает на землю тень самое желтое, тяжелое пламя.

– Да, – сказала Муся. – Да, Вернер.

– Да, – ответил он. – Да, Муся, да!

Было понятно нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сергею.

– Сережа!

Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав.

– Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он – гимнастикой занимается!

– По Мюллеру? – улыбнулся Вернер.

Сергей сконфуженно нахмурился:

– Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился...

Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого, думали, что все одни и те же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайной серьезностью сказал Сергею:

– Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав.

– Нет, ты пойми, – обрадовался Головин. – Конечно, мы...

Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассестись парами, как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны.

– Ты, Муся, с ним, – показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно.

– Понимаю, – кивнула Муся головой. – А ты?

– Я? Таня с Сергеем, ты с Васей... Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.

Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг очищающе и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Труд-

но было поверить, что это удивительное – просто ветер весенний, теплый влажный ветер. И настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом – безграничную ширью, зазвенела каплями. Хлопотливо и часто, догоняя друг друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню; но вдруг собьется одна с голоса, и все запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая, строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш стояло бледное зарево от электрических огней.

– У-ах! – широко вздохнул Сергей Головин и задержал дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух.

– Давно такая погода? – осведомился Вернер. – Совсем весна.

– Второй только день, – был предупредительный и вежливый ответ. – А то все больше морозы.

Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко или хлябали по мокрому снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно:

– Тут с вами еще один едет.

Вернер удивился.

– Куда? Куда же он едет? Ах, да! Еще один? Кто же это?

Солдат молчал. Действительно, в углу кареты, в темноте, прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое – при косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено.

– Извините, товарищ.

Тот не ответил. И только, когда тронулась карета, вдруг спросил ломаным русским языком, запинаясь:

– Кто вы?

– Я Вернер, присужден к повешению за покушение на *NN*.
А вы?

– Я – Янсон. Меня не надо вешать.

Они ехали, чтобы через два часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть, – и знакомились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь.

– А что вы сделали, Янсон?

– Я хозяина резал ножом. Деньги крал.

По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсон так же вяло отобрал руку.

– Тебе страшно? – спросил Вернер.

– Я не хочу.

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и креп-

ко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон больше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом лука и дешевого табака. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух, и от этого в маленьком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад, казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет; потом вдруг, после одного поворота, потемнело, и только по этому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к С-скому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое согнутое колено Вернера дружески билось о такое же живое согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь.

– Куда мы едем? – спросил вдруг Янсон.

У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике и слегка тошнило.

Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в

жизни.

– Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:

– Ну, спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?

– Тоже! – неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделать над ними милые, но страшно смешливые люди.

– Жена есть? – спросил Янсон.

– Нету. Какая там жена! Я один.

– Я тоже один. Одна, – поправился Янсон, подумав.

И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но почти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась действительность безумием, и призраки родила смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развевались флаги.

– Вот и приехали! – сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсоном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку – жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку; схватится за угол, за дверь, за высокое колесо – и тотчас же, при слабом усилии

со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон – и отдирался легко и без усилий. Наконец встал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизнен вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо – а скучно огромной, тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся и быстро, несколько раз подряд зевнул и Янсон.

– Хоть бы поскорее! – сказал Вернер устало.

Янсон молчал и ежился.

Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте.

– Ты что говоришь? – спросил Вернер, отвечая также зевотой.

– Фонарь. Лампа в фонаре коптит, – сказал Сергей.

Вернер оглянулся: действительно, в фонаре сильно коптила лампа, и уже почернели вверху стекла.

– Да, коптит.

И вдруг подумал: «А какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда...» То же, очевидно, подумал и Сергей: быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось вести под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы, потом подогнул колени и повис в руках жандармов, ноги его волоклись, как у сильно пьяного, а носки скребли дерево. И в дверь его пропихивали долго, но молча.

Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя движения товарищей, – все делал, как они. Но, всходя на площадку, в вагоне, он остутился, и жандарм взял его за локоть, чтоб поддержать, – Василий затрясся и крикнул пронзительно, отдергивая руку:

– Ай!

– Вася, что с тобою? – рванулся к нему Вернер.

Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил:

– Я хотел их поддержать, а они...

– Пойдем, Вася, я поддержу тебя, – сказал Вернер и хотел взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул:

– Ай!

– Вася, это я, Вернер.

– Я знаю. Не трогай меня. Я сам.

И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия.

– Ну как?

– Плохо, – так же тихо ответила Муся. – Он уже умер. Вернер, скажи мне, разве есть смерть?

– Не знаю, Муся, но думаю, что нет, – ответил Вернер серьезно и вдумчиво.

– Я так и думала. А он? Я измучилась с ним в карете, я точно с мертвецом ехала.

– Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет.

Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули:

– Была, Вернер? Была?

– Была. Теперь нет. Как для тебя.

В дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблуками, громко дыша и отплеываясь, вошел Мишка Цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо.

– Тут местов нету, жандарм! – крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму. – Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут, на фонаре. Карету тоже дали, сукины дети, – разве это карета? Чертова трубуха, а не карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды чер-

ные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением.

– А! Господа! – протянул он. – Вот оно что. Здравствуй, барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее.

– Тоже? А?

– Тоже! – улыбнулся Вернер.

– Да неужто всех?

– Всех.

– Ого! – оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами всех, на мгновение дольше остановился на Мусе и Янсоне. И снова подмигнул Вернеру:

– Министра?

– Министра. А ты?

– Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я, барин, разбойник, вот я кто. Душегуб. Ничего, барин, потеснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете всем места хватит.

Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже с видимым участием. Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке.

– Так-то, барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать,

зеленая дубравушка.

– Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все...

– Верно, – с удовольствием согласился Цыганок. – Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто барин-то, – ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. – Э, а вот энтот-то ваш того, не хуже нашего, – указал он глазами на Василя. – Барин, а барин, боишься, а?

– Ничего, – ответил туго ворочающийся язык.

– Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, как ее вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лопоухий? Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрерывно, с шипением сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер.

– Хозяина зарезал!

– Господи! – удивился Цыганок. – И как таким позволяют людей резать!

Уже давно, искоса, Цыганок приглядывался к Мусе и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился на нее.

– Барышня, а барышня! Вы что же это! И щечки розовенькие, и смеются. Гляди, она вправду смеется, – схватил он Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами. – Гляди, гляди!

Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся также смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза.

Все молчали.

Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам, и старательно зашвистел паровозик – машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым, разумным видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят, а потом будет остановка, как всегда «поезд стоит пять минут».

И тут наступит смерть – вечность – великая тайна.

12. Их привезли

Старательно бежали вагончики.

Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге, часто ездил днем и ночью и знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой – запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездом.

– Теперь скоро, – сказал он, открыв глаза и взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно.

Никто не пошевельнулся, не ответил, и только Цыганок быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слюну. И начал бегать глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат.

– Холодно, – сказал Василий Каширин тугими, точно и вправду замерзшими губами; и вышло у него это слово так: хо-а-дна.

Таня Ковальчук засуетилась.

– На платок, повяжи шею. Платок очень теплый!

– Шею? – неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса.

Но так как и все подумали то же, то никто его не слышал – как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же слово.

– Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет, – посоветовал Вернер, потом обернулся к Янсону и нежно спросил:

– Милый, а тебе не холодно, а?

– Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищ, вы, быть может, хотите курить? – спросила Муся. – У нас есть.

– Хочу!

– Дай ему папиросу, Сережа, – обрадовался Вернер.

Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любовью смотрели, как пальцы Янсона брали папиросу, как горела спичка и изо рта Янсона вышел синий дымок.

– Ну, спасибо, – сказал Янсон. – Хорошо.

– Как странно! – сказал Сергей.

– Что странно? – обернулся Вернер. – Что странно?

– Да вот: папираса.

Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенных живых пальцев и бледный, с удивлением, даже как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой ленточкой бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь, пепел. Потухла.

– Потухла, – сказала Таня.

– Да, потухла.

– Ну и к черту! – сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсона, у которого рука с папиросой висела, как мертвая. Вдруг Цыганок быстро повернулся, близко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал:

– Барин, а что если бы конвойных того... а? Попробовать?

– Не надо, – так же шепотом ответил Вернер. – Выпей до конца.

– А для ча? В драке-то оно все веселее, а? Я ему, он мне, и сам не заметил, как порешили. Будто и не помирал.

– Нет, не надо, – сказал Вернер и обернулся к Янсону: – Милый, отчего не куришь?

Вдруг дряблое лицо Янсона жалко сморщилось: словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины, и все они перекосились. И, как сквозь сон, Янсон захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом:

– Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!

Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки:

– Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился.

– Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное, – сказал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало иссиня-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро сели опять.

– Станция! – сказал Сергей.

Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно – кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом. А глаза смотрели вниз на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса – скользили – опять вертелись – и вдруг стали.

Поезд остановился.

Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страшно, а призрачно, беспмятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсон, и молча выволакивали его из вагона.

Спустились со ступенек.

– Разве пешком? – спросил кто-то почти весело.

– Тут недалеко, – ответил другой кто-то так же весело.

Потом большой, черной, молчаливой толпой шли среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса, от снега перло свежим, крепким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища; и громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал:

– Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут в снегу.

Кто-то виновато оправдывался:

– Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не поделаешь.

Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:

«Действительно, не могли дороги прочистить».

То снова угасало все, и оставалось одно только обоняние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега; то необыкновенно ясно становилось все – и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту повесят. Обрывками мелькал сдержанный, шепотом, разговор:

– Скоро четыре.

– Говорили: рано выезжаем.

– Светает в пять.

– Ну да, в пять. Вот и нужно было...

В темноте, на полянке, остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

– Калошу потерял, – сказал Сергей Головин.

– Ну? – не понял Вернер.

– Калошу потерял. Холодно.

– А где Василий?

– Не знаю. Вон стоит.

Темный и неподвижный стоял Василий.

– А где Муся?

– Я здесь. Это ты, Вернер?

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где

молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фонарики. Налево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер.

– Море, – сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух. – Там море.

Муся звучно отозвалась:

– Мою любовь, широкую, как море!

– Ты что, Муся?

– Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

– Мою любовь, широкую, как море, – подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

– Мою любовь, широкую, как море... – повторил Вернер и вдруг весело удивился: – Муська! Как ты еще молода!

Вдруг близко, у самого уха Вернера, слышался горячий, задыхающийся шепот Цыганка:

– Барин, а барин. Лес-то, а? Господи, что же это! А там это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?

Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томлением.

– Надо проститься... – сказала Таня Ковальчук.

– Погоди, еще приговор будут читать, – ответил Вернер. – А где Янсон?

Янсон лежал на снегу, и возле него с чем-то возились. Вдруг остро запахло нашатырным спиртом.

– Ну что там, доктор? Вы скоро? – спросил кто-то нетерпеливо.

– Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит, можно читать.

Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:

– Господа, может быть, приговора не читать, ведь вы его знаете? Как вы?

– Не читать, – за всех ответил Вернер, и фонарик быстро погас.

От священника также все отказались. И темный широкий силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-видимому, рассвет наступал: снег побелел, потемнели фигуры людей, и лес стал реже, печальнее и проще.

– Господа, идти надо по двое. В пары становитесь как хотите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на ногах, поддерживаемый двумя жандармами:

– Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед.

– Хорошо.

– Мы с тобою, Мусечка? – спросила Ковальчук. – Ну, поцелуемся?

Быстро перецеловались, Цыганок целовал крепко, так что чувствовались зубы; Янсон – мягко и вяло, полураскрытым ртом, – впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Когда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько ша-

гов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим, незнакомым голосом:

– Прощайте, товарищи!

– Прощай, товарищ! – крикнули ему.

Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-нибудь шума – но было тихо там, как и здесь, и неподвижно желтели фонарики.

– Ах боже мой! – дико прохрипел кто-то. Оглянулись: это в предсмертном томлении маялся Цыганок. – Вешают!

Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух:

– Как же это так! Господа, а? Мне-то одному, что ль? В компании-то оно веселее. Господа! Что же это?

Схватил Вернера за руку сжимающими и распадающимися, точно играющими пальцами.

– Барин, милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не откажи!

Вернер, страдая, ответил:

– Не могу, милый. Я с ним.

– Ах ты, боже мой! Одному, значит. Как же это? Господи!

Муся шагнула вперед и тихо сказала:

– Пойдемте со мной.

Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки:

– С тобою?

– Да.

– Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чего там!

– Нет, не боюсь.

Цыганок оскалился.

– Ишь ты! А я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду.

Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к Цыганку и, закинула руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс – и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.

– Идем!

Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно, повернулся круто и, как слепой, зашагал в лес по цельному снегу.

– Куда ты? – испуганно шепнул другой. – Стой!

Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу; должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать.

– Ружье подыми, кислая шерсть! А то я подыму! – грозно сказал Цыганок. – Службы не знаешь!

Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь Вернера и Янсона.

– Прощай, барин! – громко сказал Цыганок. – На том свете знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся. Да во-

дицы когда испить принеси – жарко мне там будет.

– Прощай.

– Я не хочу, – сказал Янсон вяло.

Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец прошел сам; потом видно было – он остановился и упал на снег. Над ним нагнулись, подняли его и понесли, а он слабо барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Вероятно, забыл, что у него есть голос.

И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики.

– А я, значит, Мусечка, одна, – печально сказала Таня Ковальчук. – Вместе жили, и вот...

– Танечка, милая...

Но горячо вступился Цыганок. Держа Мусю за руку, словно боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и деловито:

– Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа, ты куда хочешь, одна можешь. Поняла? А я нет. Яко разбойника... – понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут, лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал, ей-богу! А с нею я как... как со младенцем, понимаешь. Не поняла?

– Поняла. Что же, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусечка.

– Поцелуйтесь, поцелуйтесь, – поощрительно сказал женщинам Цыганок. – Дело ваше такое, нужно проститься хорошо.

Двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осторожно,

оскользаясь и, по привычке, поддерживая юбки; и крепко под руку, остерегая и нащупывая ногою дорогу, вел ее к смерти мужчина.

Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые в бесцветном и тихом свете начинающегося дня.

– Одна я, – вдруг заговорила Таня и вздохнула. – Умер Сережа, умер и Вернер и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики, одна я. Одна...

Над морем всходило солнце.

Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высывался среди губ, орошенных кровавой пеной, – плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу потерянная Сергеем мокрая, стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.

1908 г.

Мысль

Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей.

Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы.

Лист первый

До сих пор, гг. эксперты, я скрывал истину, но теперь обстоятельства вынуждают меня открыть ее. И, узнав ее, вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профанам: или горячая рубашка, или кандалы. Тут есть третье – не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое.

Убитый мною Алексей Константинович Савелов был моим товарищем по гимназии и университету, хотя по специальностям мы разошлись: я, как вам известно, врач, а он окончил курс по юридическому факультету. Нельзя сказать, чтобы я не любил покойного; он всегда был мне симпатичен, и более близких друзей, чем он, я никогда не имел. Но при всех симпатичных свойствах, он не принадлежал к тем людям, которые могут внушить мне уважение. Удивительная мягкость и податливость его натуры, странное непостоянство в области мысли и чувства, резкая крайность и необоснованность его постоянно менявшихся суждений заставляли меня смотреть на него, как на ребенка или женщину. Близкие ему люди, нередко страдавшие от его выходок и вместе с тем, по нелогичности человеческой натуры, очень его любившие, старались найти оправдание его недостаткам и своему чувству и называли его «художником». И действительно, выходило так, будто это ничтожное слово совсем оправды-

вает его и то, что для всякого нормального человека было бы дурным, делает безразличным и даже хорошим. Такова была сила придуманного слова, что даже я одно время поддался общему настроению и охотно извинял Алексею его мелкие недостатки. Мелкие – потому, что к большим, как ко всему крупному, он был неспособен. Об этом достаточно свидетельствуют и его литературные произведения, в которых все мелко и ничтожно, что бы ни говорила близорукая критика, падкая на открытие новых талантов. Красивы и ничтожны были его произведения, красив и ничтожен был он сам.

Когда Алексей умер, ему было тридцать один год, – на один с немногим год моложе меня.

Алексей был женат. Если вы видели его жену, теперь, после его смерти, когда на ней траур, вы не можете составить представления о том, какой красивой была она когда-то: так сильно, сильно она подурнела. Щеки серые, и кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка. И морщинки. Это сейчас морщинки, а еще год пройдет – и это будут глубокие борозды и канавы: ведь она так его любила! И глаза ее теперь уже не сверкают и не смеются, а прежде они всегда смеялись, даже в то время, когда им нужно было плакать. Всего одну минуту видел я ее, случайно столкнувшись с нею у следователя, и был поражен переменой. Даже гневно взглянуть на меня она не могла. Такая жалкая!

Только трое – Алексей, я и Татьяна Николаевна – знали, что пять лет тому назад, за два года до женитьбы Алексея, я

делал Татьяне Николаевне предложение и оно было отвергнуто. Конечно, это только предполагается, что трое, а, наверное, у Татьяны Николаевны есть еще десяток подруг и друзей, подробно осведомленных о том, как однажды доктор Керженцев возмечтал о браке и получил унижительный отказ. Не знаю, помнит ли она, что она тогда засмеялась; вероятно, не помнит – ей так часто приходилось смеяться. И тогда напомним ей: *пятого сентября она засмеялась*. Если она будет отказываться – а она будет отказываться, – то напомним, как это было. Я, этот сильный человек, который никогда не плакал, который никогда ничего не боялся, – я стоял перед нею и дрожал. Я дрожал и видел, как кусает она губы, и уже протянул руку, чтобы обнять ее, когда она подняла глаза, и в них был смех. Рука моя осталась в воздухе, она засмеялась и долго смеялась. Столько, сколько ей хотелось. Но потом она все-таки извинилась.

– Извините, пожалуйста, – сказала она, а глаза ее смеялись.

И я тоже улыбнулся, и если бы я мог простить ей ее смех, то никогда не прощу этой своей улыбки. Это было пятого сентября, в шесть часов вечера, по петербургскому времени. По петербургскому, добавляю я, потому, что мы находились тогда на вокзальной платформе, и я сейчас ясно вижу большой белый циферблат и такое положение черных стрелок: вверх и вниз. Алексей Константинович был убит также ровно в шесть часов. Совпадение странное, но могущее открыть

многое догадливому человеку.

Одним из оснований к тому, чтобы посадить меня сюда, было отсутствие мотива к преступлению. Теперь вы видите, что мотив существовал? Конечно, это не было ревностью. Последняя предполагает в человеке пылкий темперамент и слабость мыслительных способностей, то есть нечто прямо противоположное мне, человеку холодному и рассудочному. Мечь? Да, скорее мечь, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства. Дело в том, что Татьяна Николаевна еще раз заставила меня ошибиться, и это всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, я был уверен, что в браке с ним Татьяна Николаевна будет очень несчастна и пожалеет обо мне, и поэтому я так настаивал, чтобы Алексей, тогда еще просто влюбленный, женился на ней. Еще только за месяц до своей трагической смерти он говорил мне:

– Это тебе я обязан своим счастьем. Правда, Таня?

А она смотрела на меня, говорила: «правда», и глаза ее улыбались. Я тоже улыбался. И потом мы все рассмеялись, когда он обнял Татьяну Николаевну – при мне они не стеснялись – и добавил:

– Да, брат, дал ты маху!

Эта неуместная и нетактичная шутка сократила его жизнь на целую неделю: первоначально я решил убить его восемнадцатого декабря.

Да, брак их оказался счастливым, и счастлива была имен-

но она. Он любил Татьяну Николаевну не сильно, да и вообще он не был способен к глубокой любви. Было у него свое любимое дело – литература, выводившее его интересы за пределы спальни. А она любила только его и только им одним жила. Потом, он был нездоровый человек: частые головные боли, бессонница, и это, конечно, мучило его. А ей даже ухаживать за ним, больным, и выполнять его капризы было счастьем. Ведь когда женщина полюбит, она становится неменяемой.

И вот изо дня в день я видел ее улыбающееся лицо, ее счастливое лицо, молодое, красивое, беззаботное. И думал: это устроил я. Хотел дать ей беспутного мужа и лишить ее себя, а вместо того и мужа дал такого, которого она любит, и сам остался при ней. Вы поймете эту странность: она умнее своего мужа и беседовать любила со мной, а, побеседовав, – спать шла с ним и была счастлива.

Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился. Я знаю, что мне хотелось сделать Татьяну Николаевну несчастной и что сперва я придумывал много других планов, менее гибельных для Алексея, – я всегда был врагом ненужной жестокости. Пользуясь своим влиянием на Алексея, я думал влюбить его в другую женщину или сделать его пьяницей (у него была к этому склонность), но все эти способы не годились. Дело в том, что Татьяна Николаевна ухитрилась бы

остаться счастливой, даже отдавая его другой женщине, слушая его пьяную болтовню или принимая его пьяные ласки. Ей нужно было, чтобы этот человек жил, а она так или иначе служила ему. Бывают такие рабские натуры. И, как рабы, они не могут понять и оценить чужой силы, не силы их господина. Были на свете женщины умные, хорошие и талантливые, но справедливой женщины мир еще не видал и не увидит.

Признаюсь искренно, не для того чтобы добиться ненужного мне снисхождения, а чтобы показать, каким правильным, нормальным путем создавалось мое решение, что мне довольно долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого я осудил на смерть. Жаль его было за предсмертный ужас и те секунды страдания, пока будет проламываться его череп. Жаль было – не знаю, поймете ли вы это – самого черепа. В стройно работающем живом организме есть особенная красота, и смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего – безобразие. Помню, как давно еще, когда я только что кончил университет, мне попала в руки красивая молодая собака с стройными сильными членами, и мне стоило большого усилия над собой содрать с нее кожу, как требовал того опыт. И долго потом было неприятно вспоминать ее.

И если б Алексей не был таким болезненным, хилым, не знаю, быть может, я и не убил бы его. Но красивую его голову мне и до сих пор жаль. Передайте, пожалуйста, Татьяне Николаевне и это. Красивая, красивая была голова. Плохи у

него были одни глаза – бледные, без огня и энергии.

Не убил бы я Алексея и в том случае, если бы критика была права и он действительно был бы таким крупным литературным дарованием. В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценнейший алмаз, как то, что оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков. *Но Алексей не был талантом.*

Здесь не место для критической статьи, но вчитайтесь в наиболее нашумевшие произведения покойного, и вы увидите, что они не были нужны для жизни. Они нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, нуждающихся в развлечении, но не для жизни, но не для нас, пытающихся разгадать ее. В то время как писатель силою своей мысли и таланта должен творить новую жизнь, Савелов только описывал старую, не пытаясь даже разгадать ее сокровенный смысл. Единственный его рассказ, который мне нравится, в котором он близко подходит к области неразведанного, это рассказ «Тайна», но он – исключение. Самое, однако, дурное было то, что Алексей, видимо, начал исписываться и от счастливой жизни растерял последние зубы, которыми нужно впиваться в жизнь и грызть ее. Он сам нередко говорил мне о своих сомнениях, и я видел, что они основательны; я точно и подробно выпытал планы его будущих работ – и пусть утешатся горюющие поклонники: в них не было ничего нового и крупного. Из близких Алексею людей одна же-

на не видела упадка его таланта и никогда не увидела бы. И знаете почему? Она не всегда читала произведения своего мужа. Но, когда я попробовал как-то немного раскрыть ей глаза, она попросту сочла меня за негодяя. И, убедившись, что мы одни, сказала:

– Вы не можете ему простить другого.

– Чего?

– Того, что он мой муж и я люблю его. Если бы Алексей не чувствовал к вам такого пристрастия...

Она запнулась, и я предупредительно закончил ее мысль:

– Вы меня выгнали бы?

В ее глазах блеснул смех. И, невинно улыбаясь, она медленно проговорила:

– Нет. Оставила бы.

А я никогда ведь ни одним словом и жестом не показал, что продолжаю любить ее. Но тут подумал: тем лучше, если она догадывается.

Самый факт отнятия жизни у человека не останавливал меня. Я знал, что это преступление, строго караемое законом, но ведь почти все, что мы делаем, преступление, и только слепой не видит этого. Для тех, кто верит в бога, – преступление перед богом; для других – преступление перед людьми; для таких, как я, – преступление перед самим собой. Было бы большим преступлением, если бы, признав необходимым убить Алексея, я не выполнил этого решения. А то, что люди делят преступления на большие и маленькие

и убийство называют большим преступлением, мне и всегда казалось обычной и жалкой людской ложью перед самим собой, старанием спрятаться от ответа за собственной спиной.

Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест всего тела, воспитанного в известных традициях. Вспомните Раскольников, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных. И я очень долго, очень внимательно останавливался на этом вопросе, представляя себя, каким я буду после убийства. Не скажу, чтобы я пришел к полной уверенности в своем спокойствии, – подобной уверенности не могло создаться у мыслящего человека, предвидящего все случайности. Но, собрав тщательно все данные из своего прошлого, приняв в расчет силу моей воли, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали, я мог питать относительную уверенность в благополучном исходе предприятия. Здесь не лишнее будет рассказать вам один интересный факт из моей жизни.

Когда-то, еще будучи студентом пятого семестра, я украл пятнадцать рублей из доверенных мне товарищеских денег, сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого: тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще студента, и притом человеком со средствами (почему мне и поверили). Вам, ве-

роятно, этот поступок кажется более противным, чем даже совершенное мною убийство друга, – не так ли? А мне, помню, было весело, что я сумел это сделать так хорошо и ловко, и я смотрел в глаза, прямо в глаза тем, кому смело и свободно лгал. Глаза у меня черные, красивые, прямые – и им верили. Но более всего я был горд тем, что совершенно не испытываю угрызений совести, что мне и нужно было самому себе доказать. И до настоящего дня я с особенным удовольствием вспоминаю тепи ненужно-роскошного обеда, который я задал себе на украденные деньги и с аппетитом съел.

И разве теперь я испытываю угрызения совести? Раскаяние в содеянном? Ничуть.

Мне тяжело. Мне безумно тяжело, как ни одному в мире человеку, и волосы мои седеют, – но это другое. *Другое.* Страшное, неожиданное, невероятное в своей ужасной простоте.

Лист второй

Моя задача была такова. Нужно, чтобы я убил Алексея; нужно, чтобы Татьяна Николаевна видела, что это именно я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем законная кара не коснулась меня. Не говоря уже о том, что наказание дало бы Татьяне Николаевне лишний повод посмеяться, я вообще совершенно не хотел каторги. Я очень люблю жизнь.

Я люблю, когда в тонком стакане играет золотистое вино; я люблю, усталый, протянуться в чистой постели; мне нравится весной дышать чистым воздухом, видеть красивый закат, читать интересные и умные книги. Я люблю себя, силу своих мышц, силу своей мысли, ясной и точной. Я люблю то, что я одинок и ни один любопытный взгляд не проник в глубину моей души с ее темными провалами и безднами, на краю которых кружится голова. Никогда я не понимал и не знал, что люди называют скукою жизни. Жизнь интересна, и я люблю ее за ту великую тайну, что в ней заключена, я люблю ее даже за ее жестокости, за свирепую мстительность и сатанински веселую игру людьми и событиями.

Я был единственный человек, которого я уважал, – как же мог я рисковать отправить этого человека в каторгу, где его лишат возможности вести необходимое ему разнообразное, полное и глубокое существование!.. Да и с вашей точки зрения я был прав, желая уклониться от каторги. Я очень удач-

но врачу; не нуждаясь в средствах, я лечу много бедняков. Я полезен. Наверное, полезнее, чем убитый Савелов.

И безнаказанности можно было добиться легко. Существуют тысячи способов незаметно убить человека, и мне, как врачу, было особенно легко прибегнуть к одному из них. И среди придуманных мною и отброшенных планов долгое время занимал меня такой: привить Алексею неизлечимую и отвратительную болезнь. Но неудобства этого плана были очевидны: длительные страдания для самого объекта, нечто некрасивое во всем этом, глубокое и как-то слишком уж... неумное; и наконец, и в болезни мужа Татьяна Николаевна нашла бы для себя радость. Особенно осложнялась моя задача обязательным требованием, чтобы Татьяна Николаевна знала руку, поразившую ее мужа. Но только трусы боятся препятствий; таких, как я, они привлекают.

Случайность, этот великий союзник умных, пришла мне на помощь. И я позволю себе обратить особенное внимание, гг. эксперты, на эту подробность: *именно* случайность, то есть нечто внешнее, не зависящее от меня, послужило основой и поводом для дальнейшего. В одной газете я нашел заметку про кассира, не то приказчика (вырезка из газеты, вероятно, осталась у меня дома или находится у следователя), который симулировал припадок падучей и якобы во время него потерял деньги, а в действительности, конечно, украл. Приказчик оказался трусом и сознался, указав даже место украденных денег, но самая мысль была недурна и

осуществима. Симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления и потом «выздороветь» – вот план, создавшийся у меня в одну минуту, но потребовавший много времени и труда, чтобы принять вполне определенную конкретную форму. С психиатрией я в то время был знаком поверхностно, как всякий врач-неспециалист, и около года ушло у меня на чтение всякого рода источников и размышление. К концу этого времени я убедился, что план мой вполне осуществим.

Первое, на что должны будут устремить внимание эксперты, это наследственные влияния, – и моя наследственность, к великой моей радости, оказалась вполне подходящей. Отец был алкоголиком; один дядя, его брат, кончил свою жизнь в больнице для умалишенных, и, наконец, единственная сестра моя, Анна, уже умершая, страдала эпилепсией. Правда, что со стороны матери у нас в роду все были здоровяки, но ведь достаточно одной капли яда безумия, чтобы отравить целый ряд поколений. По своему мощному здоровью я пошел в род матери, но кое-какие безобидные странности у меня существовали и могли сослужить мне службу. Моя относительная нелюдимость, которая есть просто признак здорового ума, предпочитающего проводить время наедине с самим собою и книгами, чем тратить его на праздную и пустую болтовню, могла сойти за болезненную мизантропию; холодность темперамента, не ищущего грубых чувственных наслаждений, – за выражение дегенерации. Самое упорство в до-

стижении раз поставленных целей – а примеров ему можно найти немало в моей богатой жизни – на языке господ экспертов получило бы страшное название мономании, господства навязчивых идей.

Почва для симуляции была, таким образом, необыкновенно благоприятна: статика безумия была налицо, дело оставалось за динамикой. По ненамеренной подмалевке природы нужно было провести два-три удачных штриха, и картина сумасшествия готова. И я очень ясно представил себе, как это будет, не программными мыслями, а живыми образами: хоть я и не пишу плохих рассказов, но я далеко не лишен художественного чутья и фантазии.

Я увидел, что провести свою роль я буду в состоянии. Наклонность к притворству всегда лежала в моем характере и была одною из форм, в которых стремился я к внутренней свободе. Еще в гимназии я часто симулировал дружбу: ходил по коридору обнявшись, как это делают настоящие друзья, искусно подделывал дружески-откровенную речь и незаметно выпытывал. А когда разнеженный приятель выкладывал всего себя, я отбрасывал от себя его душонку и уходил прочь с гордым сознанием своей силы и внутренней свободы. Тем же двойственником оставался я и дома, среди родных; как в староверческом доме существует особая посуда для чужих, так и у меня было все особое для людей: особая улыбка, особые разговоры и откровенность. Я видел, что люди делают много глупого, вредного для себя и ненужного, и мне каза-

лось, что если я стану говорить правду о себе, то я стану, как и все, и это глупое и ненужное овладеет мною.

Мне всегда нравилось быть почтительным с теми, кого я презирал, и целовать людей, которых я ненавидел, что делало меня свободным и господином над другими. Зато никогда не знал я лжи перед самим собою – этой наиболее распространенной и самой низкой формы порабощения человека жизнью. И чем больше я лгал людям, тем беспощадно-правдивее становился перед самим собой – достоинство, которым немногие могут похвалиться.

Вообще, мне думается, во мне скрывался недюжинный актер, способный сочетать естественность игры, доходившую временами до полного слияния с олицетворяемым лицом, с неослабевающим холодным контролем разума. Даже при обыкновенном книжном чтении я целиком входил в психику изображаемого лица и – поверите ли? – уже взрослый, горькими слезами плакал над «Хижинкой дяди Тома». Какое это дивное свойство гибкого, изощренного культурою ума перевоплощаться! Живешь словно тысячью жизней, то опускаешься в адскую тьму, то поднимаешься на горные светлые высоты, одним взором окидываешь бесконечный мир. Если человеку суждено стать богом, то престолом его будет книга...

Да. Это так. Кстати, я хочу вам пожаловаться на здешние порядки. То меня укладывают спать, когда мне хочется писать, *когда мне нужно писать*. То не закрывают дверей, и я

должен слушать, как орет какой-то сумасшедший. Орет, орет – это прямо нестерпимо. Так действительно можно свести человека с ума и сказать, что он и раньше был сумасшедшим. И неужели у них нет лишней свечки и я должен портить себе глаза электричеством?

Ну вот. И когда-то я подумывал даже о сцене, но бросил эту глупую мысль: притворство, когда все знают, что это притворство, уже теряет свою цену. Да и дешевые лавры присяжного лицедея на казенном жалованье мало привлекали меня. О степени моего искусства можете судить по тому, что многие ослы и до сих пор считают меня искреннейшим и правдивейшим человеком. И что странно: мне всегда удавалось проводить не ослов, – это я так сказал, сгоряча, – а именно умных людей; и наоборот, существуют две категории существ низшего порядка, у которых я никогда не мог добиться доверия: это – женщины и собаки.

Вы знаете, что достопочтенная Татьяна Николаевна никогда не верила моей любви и не верит, я думаю, даже теперь, когда я убил ее мужа? По ее логике выходит так: я ее не любил, а Алексея убил за то, что она его любит. И эта бессмыслица, наверное, кажется ей осмысленной и убедительной. И ведь умная женщина!

Провести роль сумасшедшего мне казалось не очень трудным. Часть необходимых указаний дали мне книги; часть я должен был, как всякий настоящий актер во всякой роли, восполнить собственным творчеством, а остальное вос-

создаст сама публика, давно изощрившая свои чувства книгами и театром, где по двум-трем неясным контурам ее приучили воссоздавать живые лица. Конечно, неминуемо должны были остаться некоторые пробелы – и это было особенно опасно ввиду строгой научной экспертизы, которой меня подвергнут, но и здесь серьезной опасности не предвиделось. Обширная область психопатологии настолько еще мало разработана, в ней так еще много темного и случайного, так велик простор для фантазерства и субъективизма, что я смело вручал свою судьбу в ваши руки, гг. эксперты. Надеюсь, что я не обидел вас. Я не покушаюсь на ваш научный авторитет и уверен, что вы согласитесь со мною, как люди, привыкшие к добросовестному научному мышлению.

...Наконец-таки перестал орать. Это просто нестерпимо.

И еще в то время, когда мой план находился только в проекте, у меня явилась мысль, которая едва ли могла прийти в безумную голову. *Это мысль о грозной опасности моего опыта.* Вы понимаете, о чем я говорю? Сумасшествие – это такой огонь, с которым шутить опасно. Разведя костер в середине порохового погреба, вы можете чувствовать себя в большей безопасности, нежели тогда, если хоть малейшая мысль о безумии закрадется в вашу голову. И я это знал, знал, знал, – но разве опасность значит что-нибудь для храброго человека?

И разве я не чувствовал своей мысли, твердой, светлой, точно выкованной из стали и безусловно мне послушной?

Словно остро отточенная рапира, она извивалась, жалила, кусала, разделяла ткани событий; точно змея, бесшумно вползала в неизведанные и мрачные глубины, что навеки сокрыты от дневного света, а рукоять ее была в моей руке, железной руке искусного и опытного фехтовальщика. Как она была послушна, исполнительна и быстра, моя мысль, и как я любил ее, мою рабу, мою грозную силу, мое единственное сокровище!

...Он опять орет, и я не могу больше писать. Как ужасно, когда человек воет. Я слышал много страшных звуков, но этот всех страшнее, всех ужаснее. Он не похож ни на что другое, этот голос зверя, проходящий через гортань человека. Что-то свирепое и трусливое; свободное и жалкое до подлости. Рот кривится на сторону, мышцы лица напрягаются, как веревки, зубы по-собачьи оскаливаются, и из темного отверстия рта идет этот отвратительный, ревущий, свистящий, хохочущий, воющий звук...

Да. Да. Такова была моя мысль. Кстати, вы обратите, конечно, внимание на мой почерк, и я прошу вас не придавать значения тому, что он иногда дрожит и как будто меняется. Я давно уже не писал, события последнего времени и бессонница сильно ослабили меня, и вот рука иногда вздрагивает. *Это и раньше случалось со мной.*

Лист третий

Теперь вы понимаете, что это за страшный припадок случился со мною на вечере у Каргановых. Это был мой первый опыт, удавшийся даже сверх ожиданий. Точно уже все заранее знали, что так это со мной и будет, точно внезапное сумасшествие вполне здорового человека в их глазах кажется чем-то естественным, таким, чего можно всегда ожидать. Никто не удивился, и все наперебой расцвечивали мою игру игрой собственной фантазии – у редкого гастролера подбирается такая прекрасная труппа, как эти наивные, глупые и доверчивые люди. Рассказывали они вам, как я был бледен и страшен? Как холодный – да, именно холодный пот покрывал мое чело? Каким безумным огнем горели мои черные глаза? Когда они передавали мне все эти свои наблюдения, я был с виду мрачен и подавлен, а вся душа моя трепетала от гордости, счастья и насмешки.

Татьяны Николаевны и ее мужа на вечере не было – не знаю, обратили ли вы на это внимание. И это не было случайностью: я боялся запугать ее или, еще хуже, внушить ей подозрение. Если существовал человек, который мог проникнуть в мою игру, так это только она.

И вообще тут ничего не было случайного. Наоборот, каждая мелочь, самая ничтожная, была строго продумана. Момент припадка – за ужином – я выбрал потому, что все будут

в сборе и будут несколько возбуждены вином. Сел я у края стола, подальше от канделябров со свечами, так как вовсе не хотел устроить пожара или обжечь себе нос. Рядом с собою я посадил Павла Петровича Пospelова, эту жирную свинью, которой мне давно хотелось сделать какую-нибудь неприятность. Особенно противен он, когда ест. Когда первый раз я увидел его за этим занятием, мне пришло в голову, что еда есть дело безнравственное. Тут все это приходилось кстати. И, наверное, ни одна душа не заметила, что тарелка, разлетевшаяся под моим кулаком, была сверху покрыта салфеткой, чтобы не порезать руки.

Самый фокус был поразительно груб, даже глуп, но на это именно я и рассчитывал. Более тонкой шутки они не поняли бы. Сперва я размахивал руками и «возбужденно» разговаривал с Павлом Петровичем, пока тот не начал в удивлении тарашить свои глазенки; потом я впал в «сосредоточенную задумчивость», дождавшись вопроса со стороны обязательной Ирины Павловны:

– Что с вами, Антон Игнатьевич? Отчего вы такой мрачный?

И, когда все взоры обратились на меня, я трагически улыбнулся.

– Вы нездоровы?

– Да. Немного. Кружится голова. Но не беспокойтесь, пожалуйста. Это сейчас пройдет.

Хозяйка успокоилась, а Павел Петрович подозрительно, с

неодобрением покосился на меня. И в следующую минуту, когда он с блаженным видом поднес к губам рюмку портвейна, я – раз! – выбил рюмку из-под самого его носа, два! – трахнул кулаком по тарелке. Осколки летят, Павел Петрович барахтается и хрюкает, барыни визжат, а я, оскалив зубы, тащу со стола скатерть со всем, что на ней есть, – это была преуморительная картина!

Да. Ну вот меня обступили, схватили: кто воды несет, кто усаживает меня в кресло, а я рычу, как тигр в Зоологическом, и глазами выделяю. И все это было так нелепо, и все они были так глупы, что мне, ей-богу, не на шутку захотелось разбить несколько этих морд, пользуясь привилегированностью моего положения. Но я, конечно, воздержался.

Дальше картина медленного успокоения, с бурным вздыманием груди, закатыванием глаз, поскрипыванием зубами и слабыми вопросами:

– Где я? Что со мною?

Даже это нелепо французское: «где я?» – имело успех у этих господ, и не меньше трех дураков немедленно отрапортовали:

– У Каргановых. (Сладким голосом.) Вы знаете, дорогой доктор, кто такая Ирина Павловна Карганова?

Положительно они были слишком мелки для хорошей игры!

Через день – я дал время дойти слухам до Савеловых – разговор с Татьяной Николаевной и Алексеем. Последний

как-то не осмыслил происшедшего и ограничился вопросом:

– Что это ты, брат, натворил у Каргановых?

Повертел своим пиджачком и ушел в кабинет заниматься. Этак, сойди я действительно с ума, он и не поперхнулся бы. Зато особенно многоречиво, бурно и, конечно, неискренно было сочувствие его супруги. И тут... не то чтобы мне стало жаль начатого, а просто явился вопрос: да стоит ли?

– Вы сильно любите мужа? – сказал я Татьяне Николаевне, провожавшей взором Алексея.

Она быстро обернулась.

– Да. А что?

– Да ничего, так, – и после минутного молчания, осторожного, полного невысказанных мыслей, я добавил: – Почему вы не доверяете мне?

Она быстро и прямо посмотрела мне в глаза, но не ответила. И в эту минуту я забыл, что когда-то давно она засмеялась, и не было у меня зла на нее и то, что я делаю, показалось мне ненужным и странным. Это была усталость, естественная после сильного подъема нервов, и длилась она всего одно мгновение.

– А разве вам можно верить? – спросила Татьяна Николаевна после долгого молчания.

– Конечно, нельзя, – шутливо ответил я, а внутри меня уже снова разгорался потухший огонь.

Силу, смелость, ни перед чем не останавливающуюся решимость ощутил я в себе. Гордый уже достигнутым успехом,

я смело решил идти до конца. Борьба – вот радость жизни.

Второй припадок случился через месяц после первого. Здесь не все было так продумано, да это и излишне при существовании общего плана. У меня не было намерения устраивать его именно в этот вечер, но, раз обстоятельства складывались так благоприятно, глупо было бы не воспользоваться ими. И я ясно помню, как все это произошло. Мы сидели в гостиной и болтали, когда мне стало очень грустно. Мне живо представилось – вообще это редко бывает, – как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключенный в эту голову, в эту тюрьму. И тогда все они стали противны мне. И с яростью я ударил кулаком и закричал что-то грубое и с радостью увидел испуг на их побледневших лицах.

– Негодяи! – кричал я. – Поганые, довольные негодяи! Лжецы, лицемеры, ехидны. Ненавижу вас!

И правда, что я боролся с ними, потом с лакеями и кучерами. Но ведь я знал, что борюсь, и знал, что это нарочно. Просто мне было приятно бить их, сказать прямо в глаза правду о том, какие они. Разве всякий, кто говорит правду, сумасшедший? Уверяю вас, гг. эксперты, что я все сознавал, что, ударяя, я чувствовал под рукою живое тело, которому больно. А дома, оставшись один, я смеялся и думал, какой я удивительный, прекрасный актер. Потом я лег спать и на ночь читал книжку; даже могу вам сказать, какую: Гюи де Мопассана; как всегда, наслаждался ею и заснул, как младенец. А разве сумасшедшие читают книги и наслаждаются

ими? Разве они спят, как младенцы?

Сумасшедшие не спят. Они страдают, и в голове у них все мутится. Да. Мутится и падает... И им хочется выть, царапать себя руками. Им хочется стать вот так, на четвереньки, и ползти тихо-тихо, и потом разом вскочить и закричать:

– Ага!

И засмеяться. И выть. Так поднять голову и долго-долго протяжно-протяжно, жалко-жалко.

Да. Да.

А я спал, как младенец. Разве сумасшедшие спят, как младенцы?

Лист четвертый

Вчера вечером сиделка Маша спросила меня:

– Антон Игнатьевич! Вы никогда не молитесь богу?

Она была серьезна и верила, что я отвечу ей искренно и серьезно. И я ответил ей без улыбки, как она хотела:

– Нет, Маша, никогда. Но, если это доставит вам удовольствие, вы можете перекрестить меня.

И все так же серьезно она трижды перекрестила меня, и я был очень рад, что доставил минуту удовольствия этой превосходной женщине. Как все высоко стоящие и свободные люди, вы, гг. эксперты, не обращаете внимания на прислугу, но нам, арестантам и «сумасшедшим», приходится видеть ее близко и подчас совершать удивительные открытия. Так, вам, вероятно, не приходило и в голову, что сиделка Маша, приставленная вами наблюдать за сумасшедшими, – *сама сумасшедшая?* А это так.

Приглядитесь к ее походке, бесшумной, скользкой, немного пугливой и удивительно осторожной и ловкой, точно она ходит между невидимыми обнаженными мечами. Всмотритесь в ее лицо, но сделайте это как-нибудь незаметно для нее, чтобы она не знала о вашем присутствии. Когда приходит кто-нибудь из вас, лицо Маши становится серьезным, важным, но снисходительно улыбающимся – как раз то выражение, которое в этот момент господствует на вашем

лице. Дело в том, что Маша обладает странною и многозначительною способностью произвольно отражать на своем лице выражение всех других лиц. Иногда она смотрит на меня и улыбается. Этакая бледная, отраженная, словно чуждая улыбка. И я догадываюсь, что я улыбался, когда она взглянула на меня. Иногда лицо Маши становится страдальческим, угрюмым, брови сходятся к переносью, углы рта опускаются; все лицо стареет на десяток лет и темнеет, – вероятно, таково же иногда мое лицо. Случается, что я ее пугаю своим взглядом. Вы знаете, как странный и немного страшен взгляд всякого глубоко задумавшегося человека. И глаза Маши расширяются, зрачок темнеет, и, слегка приподняв руки, она бесшумно идет ко мне и что-нибудь со мной делает, дружеское и неожиданное: приглаживает мне волосы или поправляет халат.

– Пояс у вас развяжется! – говорит она, а лицо ее все такое же испуганное.

Но мне случается видеть ее одну. И когда она одна, на лице ее странно отсутствует всякое выражение. Оно бледно, красиво и загадочно, как лицо мертвеца. Крикнешь ей: «Маша!» – она быстро обернется, улыбнется своею нежною и пугливою улыбкою и спросит:

– Вам подать что-нибудь?

Она всегда что-нибудь подает, принимает и, если ей нечего подавать, принимать и убирать, видимо, беспокоится. И всегда она бесшумная. Я ни разу не замечал, чтобы она что-

нибудь уронила или стукнула. Я пробовал говорить с нею о жизни, и она странно равнодушна ко всему, даже к убийствам, пожарам и всякому другому ужасу, который так действует на малоразвитых людей.

– Вы понимаете: их убивают, ранят, и у них остаются маленькие голодные дети, – говорил я ей про войну.

– Да, понимаю, – ответила она и задумчиво спросила: – Вам не дать ли молока, вы сегодня мало кушали?

Я смеюсь, и она отвечает немного испуганным смехом. Она ни разу не была в театре, не знает, что Россия – государство и что есть другие государства; она неграмотна и Евангелие слышала только то, которое отрывками читают в церкви. И каждый вечер она становится на колени и подолгу молится.

Я долго считал ее просто ограниченным, тупым существом, рожденным для рабства, но один случай заставил меня изменить взгляд. Вы, вероятно, знаете, вам, вероятно, сказали, что я пережил здесь одну скверную минуту, которая ничего, конечно, не доказывает, кроме усталости и временного упадка сил. *Это было полотенце.* Конечно, я сильнее Маши и мог убить ее, так как мы были только вдвоем, и если б она крикнула или схватила меня за руку... Но она ничего этого не сделала. Она только сказала:

– Не надо, голубчик.

Я часто потом думал над этим «не надо» и до сих пор не могу понять той удивительной силы, которая в нем заключе-

на и которую я чувствую. Она не в самом слове, бессмысленном и пустом; она где-то в неизвестной мне и недоступной глубине Машиной души. Она знает что-то. Да, она знает, но не может или не хочет сказать. Потом я много раз добивался от Маши объяснения этого «не надо», и она не могла объяснить.

– Вы думаете, что самоубийство – грех? Что его запретил бог?

– Нет.

– Почему же не надо?

– Так. Не надо. – И она улыбается и спрашивает: – Вам не принести чего-нибудь?

Положительно, она сумасшедшая, но тихая и полезная, как многие другие сумасшедшие. И вы не трогайте ее.

Я позволил себе уклониться от повествования, так как вчерашний Машин поступок бросил меня к воспоминаниям о детстве. Матери я не помню, но у меня была тетя Анфиса, которая всегда крестила меня на ночь. Она была молчаливая старая дева, с прыщами на лице, и очень стыдилась, когда отец шутил с ней о женихах. Я был еще маленький, лет одиннадцати, когда она удавилась в маленьком сарайчике, где у нас складывали уголья. Отцу она потом все представлялась, и этот веселый атеист заказывал обедни и панихиды.

Он был очень умный и талантливый, мой отец, и его речи в суде заставляли плакать не только нервных дам, но и серьезных, уравновешенных людей. Только я не плакал, слу-

шая его, потому что знал его и знал, что сам он ничего не понимает из того, что говорит. У него много было знаний, много мыслей и еще больше слов; и слова, и мысли, и знания часто комбинировались очень удачно и красиво, но он сам ничего в этом не понимал. *Я часто сомневался даже, существует ли он,* – до того весь он был вовне, в звуках и жестах, и мне часто казалось, что это не человек, а мелькающий в синематографе образ, соединенный с граммофоном. Он не понимал, что он человек, что сейчас он живет, а потом умрет, и ничего не искал. И когда он ложился в постель, переставал двигаться и засыпал, он, наверное, не видел никаких снов и переставал существовать. Своим языком – он был адвокатом – он зарабатывал тысяч тридцать в год, и ни разу он не удивился и не задумался над этим обстоятельством. Помню, мы поехали с ним в только что купленное имение, и я сказал, указывая на деревья парка:

– Клиенты?

Он улыбнулся, польщенный, и ответил:

– Да, брат, талант – великое дело.

Он много пил, и опьянение выражалось только в том, что все у него начинало быстрее двигаться, а потом сразу останавливалось – это он засыпал. И все считали его необыкновенно даровитым, а он постоянно говорил, что если б он не сделался знаменитым адвокатом, то был бы знаменитым художником или писателем. К сожалению, это правда.

И менее всего понимал он меня. Однажды случилось так,

что нам грозила потеря всего состояния. И для меня это было ужасно. В наши дни, когда только богатство дает свободу, я не знаю, чем бы я стал, если б судьба поставила меня в ряды пролетариата. Я и сейчас без гнева не могу себе представить, что кто-нибудь осмеливается наложить на меня свою руку, заставляет меня делать то, чего я не хочу, покупает за гроши мой труд, мою кровь, мои нервы, мою жизнь. Но этот ужас я испытал только на одну минуту, а в следующую я понял, что такие, как я, никогда не бывают бедны. А отец не понимал этого. Он искренно считал меня тупым юношей и со страхом смотрел на мою мнимую беспомощность.

– Ах, Антон, Антон, что будешь ты делать?.. – говорил он.

Сам он совсем раскис: длинные, нечесанные волосы свисли на лоб, лицо было желто. Я ответил:

– За меня, папаша, не беспокойся. Так как я не талантлив, то я убью Ротшильда или ограблю банк.

Отец рассердился, так как принял мой ответ за неуместную и плоскую шутку. Он видел мое лицо, он слышал мой голос и все-таки принял это за шутку. Жалкий, картонный паяц, по недоразумению считавшийся человеком!

Души моей он не знал, а весь внешний распорядок моей жизни возмущал его, ибо не вкладывался в его понимание. В гимназии я хорошо учился, и это его огорчало. Когда приходили гости – адвокаты, литераторы и художники, – он тыкал в меня пальцем и говорил:

– А сын-то у меня – первый ученик. Чем прогневал я бога?

И все смеялись надо мною, и я смеялся над всеми. Но еще более, чем мои успехи, огорчало его мое поведение и костюм. Он нарочно приходил в мою комнату, с тем чтобы незаметно для меня переложить книги на столе и произвести хоть какой-нибудь беспорядок. Моя аккуратная прическа лишала его аппетита.

– Инспектор приказывает коротко стричься, – говорил я серьезно и почтительно.

Он крупно ругался, а внутри меня все дрожало от презрительного хохота, и не без основания делил я тогда весь мир на инспекторов просто и инспекторов наизнанку. И все они тянулись к моей голове: одни – чтобы остричь ее, другие – чтобы вытянуть из нее волосы.

Хуже всего для отца были мои тетрадки. Иногда, пьяный, он рассматривал их с безнадежным и комическим отчаянием.

– Случалось ли тебе хоть раз поставить кляксу? – спрашивал он.

– Да, случалось, папаша. Третьего дня я капнул на тригонометрию.

– Вылизал?

– То есть как вылизал?

– Ну да, вылизал кляксу?

– Нет, я приложил пропускной бумаги.

Отец пьяным жестом отмахивался рукой и ворчал, поднимаясь:

– Нет, ты не сын мне. Нет, нет!

Среди ненавистных ему тетрадок была одна, которая могла, однако, доставить ему удовольствие. В ней также не было ни одной кривой строчки, ни кляксы, ни помарки. И стояло в ней приблизительно следующее: *«Мой отец – пьяница, вор и трус»*.

Далее следовали некоторые подробности, которые, из уважения к памяти отца, а также и к закону я не считаю нужным передавать.

Здесь мне приходит на память один забытый мною факт, который, как я вижу теперь, не будет лишен для вас, гг. эксперты, крупного интереса. Я очень рад, что вспомнил его, очень, очень рад. Как я мог его забыть?

У нас в доме жила горничная Катя, которая была любовницей отца и одновременно любовницей моею. Отца она любила потому, что он давал ей деньги, а меня за то, что я был молод, имел красивые черные глаза и не давал денег. И в ту ночь, когда труп моего отца стоял в зале, я отправился в комнату Кати. Она была недалеко от зала, и в ней явственно слышно было чтение дьячка.

Думаю, что бессмертный дух моего отца получил полное удовлетворение!

Нет, это действительно интересный факт, и я не понимаю, как мог я забыть его. Вам, гг. эксперты, это может показаться мальчишеством, детской выходкой, не имеющей серьезного значения, но это неправда. Это, гг. эксперты, была жестокая

битва, и победа в ней недешево досталась мне. Ставкой была моя жизнь. Струсь я, поверни назад, окажись неспособным к любви – я убил бы себя. *Это было решено, я помню.*

И то, что я делал, для юноши моих лет было не так-то легко. Теперь я знаю, что я боролся с ветряной мельницей, но тогда все дело представлялось мне в ином свете. Сейчас мне уже трудно воспроизвести в памяти пережитое, но чувство, помнится, у меня было такое, будто одним поступком я нарушаю все законы, божеские и человеческие. И я ужасно трусил, до смешного, но все-таки справился с собою, и когда вошел к Кате, то был готов к поцелуям, как Ромео.

Да, тогда я был еще, как кажется, романтиком. Счастливая пора, как она далека! Помню, гг. эксперты, что, возвращаясь от Кати, я остановился перед трупом, сложил руки на груди, как Наполеон, и с комической гордостью посмотрел на него. И тут же вздрогнул, испугавшись шевельнувшегося покрывала. Счастливая, далекая пора!

Боюсь думать, но, кажется, я никогда не переставал быть романтиком. И чуть ли я не был идеалистом. Я верил в человеческую мысль и в ее безграничную мощь. Вся история человечества представлялась мне шествием одной торжествующей мысли, и это было еще так недавно. И мне страшно подумать, что вся моя жизнь была обманом, что всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актер, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек и каждую из них называл миллионом; он

выпрашивал их у посетителей, крал и таскал их из клозета, и сторожа грубо шутили, а он искренно и глубоко презирал их. Я ему понравился, и на прощание он дал мне миллион.

– Это небольшой миллиончик, – сказал, – но вы меня извините: у меня сейчас такие расходы, такие расходы.

И, отведя меня в сторону, шепотом пояснил:

– Сейчас я присматриваюсь к Италии. Хочу прогнать папу и ввести там новые деньги, вот эти. И потом, в воскресенье, объявлю себя святым. Итальянцы будут рады: они всегда очень радуются, когда им дают нового святого.

Не с этим ли миллионом я жил?

Мне страшно подумать, что мои книги, мои товарищи и друзья, все так же стоят в своих шкапах и молчаливо хранят то, что я считал мудростью земли, ее надеждой и счастьем. Я знаю, гг. эксперты, что сумасшедший ли я, или нет, но с вашей точки зрения, я негодяй, – посмотрели бы вы на этого негодяя, когда он входит в свою библиотеку?!

Сходите, гг. эксперты, осмотрите мою квартиру, – это будет для вас интересно. В левом верхнем ящике письменного стола вы найдете подробный каталог книг, картин и безделушек; там же вы найдете ключи от шкапов. Вы сами – люди науки, и я верю, что вы с должным уважением и аккуратностью отнесетесь к моим вещам. *Также прошу вас следить, чтобы не коптили лампы.* Нет ничего ужаснее этой копоти: она забирается всюду, и потом стоит большого труда удалить ее.

На клочке

Сейчас фельдшер Петров отказался дать мне Chloralamid'у в той дозе, в какой я требую. Прежде всего я врач и знаю, что делаю, и затем, если мне будет отказано, я приму решительные меры. Я две ночи не спал и вовсе не желаю сходить с ума. Я требую, чтобы мне дали хлораламиду. Я этого требую. *Это бесчестно* – сводить с ума.

Лист пятый

После второго припадка меня начали бояться. Во многих домах передо мною поспешно захлопывались двери; при случайной встрече знакомые ежились, подло улыбались и многозначительно спрашивали:

– Ну как, голубчик, здоровье?

Положение было как раз такое, при котором я мог совершить любое беззаконие и не потерять уважения окружающих. Я смотрел на людей и думал: если я захочу, я могу убить этого и этого, и ничего мне за то не будет. И то, что я испытывал при этой мысли, было ново, приятно и немного страшно. Человек перестал быть чем-то строго защищаемым, до чего боязно прикоснуться; словно шелуха какая-то спала с него, он был словно голый, и убить его казалось легко и соблазнительно.

Страх такой плотной стеной ограждал меня от пытливых взоров, что сама собою упразднялась необходимость в третьем подготовительном припадке. Только в этом отношении отступал я от начертанного плана, но в том-то и сила таланта, что он не сковывает себя рамками и в сообразности с изменившимися обстоятельствами меняет и весь ход битвы. Но нужно было еще получить официальное отпущение грехов бывших и разрешение на грехи будущие – научно-медицинское удостоверение моей болезни.

И здесь я дождался такого стечения обстоятельств, при котором мое обращение к психиатру могло казаться случайностью или даже чем-то вынужденным. Это была, быть может, и излишняя тонкость в отделке моей роли. Послали меня к психиатру Татьяна Николаевна и ее муж.

– Пожалуйста, сходите к доктору, дорогой Антон Игнатьевич, – говорила Татьяна Николаевна.

Она никогда раньше не называла меня «дорогим», и нужно мне было прослыть сумасшедшим, чтобы получить эту ничтожную ласку.

– Хорошо, дорогая Татьяна Николаевна, я схожу, – покорно ответил я.

Мы втроем – Алексей был тут же – сидели в кабинете, где впоследствии произошло убийство.

– Да, Антон, обязательно сходи, – авторитетно подтвердил Алексей. – А то наделаешь чего-нибудь такого.

– Но что же я могу «наделать»? – робко оправдывался я перед своим строгим другом.

– Мало ли чего. Голову кому-нибудь прошибешь.

Я поворачивал в руках тяжелое чугунное пресс-папье, смотрел то на него, то на Алексея и спрашивал:

– Голову? Ты говоришь – голову?

– Ну да, голову. Хватишь вот такой штукой, как эта, и готово.

Это становилось интересно. *Именно голову и именно этой штукой намеревался я просадить, а теперь эта самая го-*

лова рассуждала, как это выйdet. Рассуждала и беззаботно улыбалась. А есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих незримых вестников, – какая чепуха!

– Ну, едва ли можно сделать что-нибудь этой вещью, – сказал я. – Она слишком легка.

– Что ты говоришь: легка! – возмутился Алексей, выдернул у меня из рук пресс-папье и, взяв за тонкую ручку, несколько раз взмахнул. – Попробуй!

– Да я же знаю...

– Нет, ты возьми вот так и увидишь.

Нехотя, улыбаясь, я взял тяжелую вещь, но тут вмешалась Татьяна Николаевна. Бледная, с трясущимися губами, она сказала, скорее закричала:

– Алексей, оставь! Алексей, оставь!

– Что ты, Таня? Что с тобой? – изумился он.

– Оставь! Ты знаешь, как я не люблю такие шутки.

Мы рассмеялись, и пресс-папье было поставлено на стол.

У профессора Т. все произошло так, как я и ожидал. Он был очень осторожен, сдержан в выражениях, но серьезен; спрашивал, есть ли у меня родные, уходу которых я могу поручить себя, советовал посидеть дома, поотдохнуть и успокоиться. Опираясь на свое звание врача, я слегка поспорил с ним, и если у него и оставались какие-нибудь сомнения, то тут, когда я осмелился возражать ему, он бесповоротно зачислил меня в сумасшедшие. Конечно, гг. эксперты, вы не

придадите серьезного значения этой безобидной шутке над одним из наших собратьев: как ученый, профессор Т., несомненно, достоин уважения и почета.

Следующие несколько дней были одними из самых счастливых дней моей жизни. Меня жалели, как признанного больного, ко мне делали визиты, со мной говорили каким-то ломаным, нелепым языком, и только один я знал, что я здоров, как никто, и наслаждался отчетливой, могучей работой своей мысли. Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое – это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. Люди поражаются восторгом и изумлением, когда глядят на снежные вершины горных громад; если бы они понимали самих себя, то больше, чем горами, больше, чем всеми чудесами и красотами мира, они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочего о том, как целесообразнее положить один кирпич на другой, – вот величайшее чудо и глубочайшая тайна.

И я наслаждался своею мыслью. Невинная в своей красоте, она отдавалась мне со всей страстью, как любовница, служила мне, как раба, и поддерживала меня, как друг. Не думайте, что все эти дни, проведенные дома в четырех стенах, я размышлял только о своем плане. Нет, там все было ясно и все продумано. Я размышлял обо всем. Я и моя мысль – мы словно играли с жизнью и смертью и высоко-высоко па-

рили над ними. Между прочим, я решил в те дни две очень интересные шахматные задачи, над которыми трудился давно, но безуспешно. Вы знаете, конечно, что три года назад я участвовал в международном шахматном турнире и занял второе место после Ласкера. Если б я не был врагом всякой публичности и продолжал участвовать в состязаниях, *Ласкеру пришлось бы уступить насиженное место.*

И с той минуты, как жизнь Алексея была отдана в мои руки, я почувствовал к нему особенное расположение. Мне приятно было думать, что он живет, пьет, ест и радуется, и все это потому, что я позволяю. Чувство, схожее с чувством отца к сыну. И что меня тревожило, так это его здоровье. При всей своей хилости он непростительно неосторожен: отказывается носить фуфайку и в самую опасную, сырую погоду выходит без калош. Успокоила меня Татьяна Николаевна. Она заехала навестить меня и рассказала, что Алексей совершенно здоров и даже спит хорошо, что с ним редко бывает. Обрадованный, я попросил Татьяну Николаевну передать Алексею книгу – редкий экземпляр, случайно попавший мне в руки и давно нравившийся Алексею. Быть может, с точки зрения моего плана, этот подарок был ошибкой: могли заподозрить в этом преднамеренную подтасовку, но мне так хотелось доставить Алексею удовольствие, что я решил немного рискнуть. Я пренебрег даже тем обстоятельством, что в смысле художественности моей игры подарок был уже шаржем.

С Татьяной Николаевной в этот раз я был очень мил и прост и произвел на нее хорошее впечатление. Ни она, ни Алексей не видели ни одного моего припадка, и им, очевидно, трудно, даже невозможно было представить меня сумасшедшим.

– Заезжайте же к нам, – просила Татьяна Николаевна при прощании.

– Нельзя, – улыбнулся я. – Доктор не велел.

– Ну вот еще пустяки. К нам можно – это все равно что дома. И Алеша скучает без вас.

Я обещал, *и ни одно обещание не давалось с такой уверенностью в исполнении, как это.* Не кажется ли вам, гг. эксперты, когда вы узнаете обо всех этих счастливых совпадениях, не кажется ли вам, что уже не мною только был осужден на смерть Алексей, а и кем-то другим? А в сущности, никакого «другого» нет, и все так просто и логично.

Чугунное пресс-папье стояло на своем месте, когда одиннадцатого декабря, в пять часов вечера, я вошел в кабинет к Алексею. Этот час перед обедом – обедают они в семь часов – и Алексей и Татьяна Николаевна проводят в отдыхе. Моему приходу очень обрадовались.

– Спасибо за книгу, дружище, – сказал Алексей, трясая мою руку. – Я и сам собирался к тебе, да Таня сказала, что ты совсем поправился. Мы нынче в театр – едем с нами?

Начался разговор. В этот день я решил совсем не притворяться; в этом отсутствии притворства было свое тон-

кое притворство, и, находясь под впечатлением пережитого подъема мысли, говорил много и интересно. Если б почитатели таланта Савелова знали, сколько лучших «его» мыслей зародилось и было выношено в голове никому не известного доктора Керженцева!

Я говорил ясно, точно, отделявая фразы; я смотрел в то же время на стрелку часов и думал, что, когда она будет на шести, я стану убийцей. И я говорил что-то смешное, и они смеялись, а я старался запомнить ощущение человека, который еще не убийца, но скоро станет убийцей. Уже не в отвлеченном представлении, а совсем просто понимал я процесс жизни в Алексее, биение его сердца, переливание в висках крови, бесшумную вибрацию мозга и то – как процесс этот прервется, сердце перестанет гнать кровь и замрет мозг.

На какой мысли он замрет?

Никогда ясность моего сознания не достигала такой высоты и силы; никогда не было так полно ощущение многогранного, стройно работающего «я». Точно бог: не видя – я видел, не слушая – я слышал, не думая – я сознавал.

Оставалось семь минут, когда Алексей лениво поднялся с дивана, потянулся и вышел.

– Я сейчас, – сказал он, выходя.

Мне не хотелось смотреть на Татьяну Николаевну, и я отошел к окну, раздвинул драпри и стал. И, не глядя, я почувствовал, как Татьяна Николаевна торопливо прошла комнату и стала рядом со мною. Я слышал ее дыхание, знал, что

она смотрит не в окно, а на меня, и молчал.

– Как славно блестит снег, – сказала Татьяна Николаевна, но я не отозвался. Дыхание ее стало чаще, потом прервалось.

– Антон Игнатьевич! – сказала она и остановилась.

Я молчал.

– Антон Игнатьевич! – повторила она так же нерешительно, и тут я взглянул на нее.

Она быстро отшатнулась, чуть не упала, точно ее отбросило той страшной силой, которая была в моем взгляде. Отшатнулась и бросилась к вошедшему мужу.

– Алексей! – бормотала она. – Алексей... Он...

– Ну, что он?

Не улыбаясь, но голосом оттеняя шутку, я сказал:

– Она думает, что я хочу убить тебя этой штукой.

И совсем спокойно, не скрываясь, я взял пресс-папье, приподнял его в руке и спокойно подошел к Алексею. Он не мигая смотрел на меня своими бледными глазами и повторял:

– Она думает...

– Да, она думает.

Медленно, плавно я стал приподнимать свою руку, и Алексей так же медленно стал приподнимать свою, все не спуская с меня глаз.

– *Погоди!* – строго сказал я.

Рука Алексея остановилась, и, все не спуская с меня глаз, он недоверчиво улыбнулся, бледно, одними губами. Татьяна

на Николаевна что-то страшно крикнула, но было поздно. Я ударил острым концом в висок, ближе к темени, чем к глазу. И когда он упал, я нагнулся и еще два раза ударил его. Следователь говорил мне, что я бил его много раз, потому что голова его вся раздроблена. Но это неправда. Я ударил его всего-навсего три раза: раз, когда он стоял, и два раза потом, на полу.

Правда, что удары были очень сильны, но их было всего три. Это я помню наверно. *Три удара.*

Лист шестой

Не старайтесь разобрать зачеркнутое в конце четвертого листа и вообще не придавайте излишнего значения моим пометкам, как мнимым признакам расстроенного мышления. В том странном положении, в котором я очутился, я должен быть страшно осторожен, чего я не скрываю и что вы прекрасно понимаете.

Ночной мрак всегда сильно действует на утомленную нервную систему, и потому так часто приходят ночью страшные мысли. А в ту ночь, первую за убийством, мои нервы были, конечно, в особенном напряжении. Как я ни владел собою, но убить человека не шутка. За чаем, уже приведя себя в порядок, отмывши ногти и переменяв платье, я позвал посидеть с собою Марью Васильевну. Это моя экономка и отчасти жена. У нее, кажется, есть на стороне любовник, но женщина она красивая, тихая и не жадная, и я легко помирился с этим маленьким недостатком, который почти неизбежен в положении человека, приобретающего любовь за деньги. И вот эта глупая женщина первая нанесла мне удар.

– Поцелуй меня, – сказал я.

Она глупо улыбнулась и застыла на своем месте.

– Ну же!

Она вздрогнула, покраснела и, сделав испуганные глаза, моляще протянулась ко мне через стол, говоря:

– Антон Игнатьевич, душечка, сходите к доктору!

– Чего еще? – рассердился я.

– Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь вас, душечка, ангельчик!

А она ведь ничего не знала ни о моих припадках, ни об убийстве, и я всегда был с нею ласков и ровен. «Значит, было во мне что-то такое, чего нет у других людей и что пугает», – мелькнула у меня мысль и тотчас исчезла, оставив странное ощущение холода в ногах и спине. Я понял, что Марья Васильевна узнала что-нибудь на стороне, от прислуги, или наткнулась на сброшенное мною испорченное платье, и этим совершенно естественно объяснялся ее страх.

– Ступайте, – приказал я.

Потом я лежал на диване в своей библиотеке. Читать не хотелось, во всем теле чувствовалась усталость, и состояние в общем было такое, как у актера после блестяще сыгранной роли. Мне приятно было смотреть на книги и приятно было думать, что когда-нибудь потом я буду их читать. Нравилась мне вся моя квартира, и диван, и Марья Васильевна. Мелькали в голове отрывки фраз из моей роли, мысленно воспроизводились движения, которые я делал, и изредка лениво проползали критические мысли: а вот тут лучше можно было сказать или сделать. Но своим импровизированным «погоди!» я был очень доволен. Действительно, это редкий и для тех, кто не испытал сам, невероятный образчик силы внушения.

– «Погоди!» – повторял я, закрыв глаза, и улыбался.

И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами *моей* мысли: ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она дословно и в третьем, как было почему-то, лице:

«А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сумасшедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Три, четыре раза повторялась эта мысль, а я все еще улыбался, не понимая:

«Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Но когда я понял... Сперва я подумал, что эту фразу сказала Марья Васильевна, потому что как будто был голос, и голос этот как будто был ее. Потом я подумал на Алексея. Да, на Алексея, на убитого. Потом я понял, что это подумал я, – и это был ужас. Взяв себя за волосы, уже стоя почему-то на середине комнаты, я сказал:

– Так. Все кончено. Случилось то, чего я опасался. Я слишком близко подошел к границе, и теперь мне остается впереди только одно – сумасшествие.

Когда приехали арестовать меня, я оказался, по их словам, в ужасном виде – взлохмаченный, в разорванном платье, бледный и страшный. Но господи! Разве пережить такую ночь и все-таки не сойти с ума не значит обладать несо-

крушимым мозгом? А ведь я только платье разорвал и разбил зеркало. Кстати: позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же, как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник. *Завесьте!*

Мне страшно об этом писать. Я боюсь того, что мне нужно вспомнить и сказать. Но дальше откладывать нельзя, и, быть может, полусловами я только увеличиваю ужас.

Этот вечер.

Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота ее еще усилились, а зубы все так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвиняет ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьется клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и в остроте и ядовитости зубов которой я видел спасение свое и защиту.

Единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны. Они кружились в диком танце, а музыкою им был чудовищный голос, гулкий, как труба, и несся он откуда-то из неведомой мне глубины. *Это была безавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке.* Из головы, где я крепко держал ее,

она ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бежавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности.

«Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим. Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев!..»

Так она кричала, и я не знал, откуда исходит ее чудовищный голос. Я даже не знаю, кто это был; я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль. Мысли – те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать.

И самое страшное, что я испытал, – это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое «я» находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. Да, *живут*. Живут какие-то загадочные существа, быть может, люди, быть может, что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же

время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба.

Я подошел к зеркалу... Завесьте зеркала. Завесьте!

Потом я ничего не помню до тех пор, пока пришла судебная власть и полиция. Я спросил, который час, и мне сказали: девять. И я долго не мог понять, что со времени моего возвращения домой прошло только два часа, а с момента убийства Алексея – около трех.

Простите, гг. эксперты, что такой важный для экспертизы момент, как это ужасное состояние после убийства, я описал в таких общих и неопределенных выражениях. Но это все, что я помню и что могу передать человеческим языком. Например, не могу я передать человеческим языком того ужаса, который я все время тогда испытывал. Кроме того, я не могу сказать с положительной уверенностью, что все так слабо мною намеченное было в действительности. Быть может, этого не было, а было что-нибудь другое. Одно только я твердо помню – это мысль, или голос, или еще что-то:

«Доктор Керженцев думал, что он притворяется сумасшедшим, а он действительно сумасшедший».

Сейчас я пробовал свой пульс: 180! Это сейчас, только при одном воспоминании!

Лист седьмой

Прошлый раз я написал много ненужного и жалкого вздора, и, к сожалению, вы теперь уже получили и прочли его. Боюсь, что он даст вам ложное представление о моей личности, а также о действительном состоянии моих умственных способностей. Впрочем, я верю в ваши знания и в ваш ясный ум, гг. эксперты.

Вы понимаете, что только серьезные причины могли заставить меня, доктора Керженцева, открыть всю истину об убийстве Савелова. И вы легко поймете и оцените их, когда я скажу, что я не знаю и сейчас, притворялся ли я сумасшедшим, чтобы безнаказанно убить, или убил потому, что был сумасшедшим; и навсегда, вероятно, лишен возможности узнать это. Кошмар того вечера исчез, но он оставил огненный след. Нет вздорных страхов, но есть ужас человека, который потерял все, есть холодное сознание падения гибели, обмана и неразрешимости.

Вы, ученые, будете спорить обо мне. Одни из вас скажут, что я сумасшедший, другие будут доказывать, что я здоровый, и допустят только некоторые ограничения в пользу дегенерации. Но, со всею вашею ученостью, вы не докажете так ясно ни того, что я сумасшедший, ни того, что я здоровый, как докажу это я. Моя мысль вернулась ко мне, и, как вы убедитесь, ей нельзя отказать ни в силе, ни в остроте. Пре-

восходная, энергичная мысль – ведь и врагам следует отдавать должное!

Я – сумасшедший. Не угодно ли выслушать – почему?

Первою осуждает меня наследственность, та самая наследственность, которой я так обрадовался, обдумывая свой план. Припадки, которые были у меня в детстве... Виноват, господа. Я хотел утаить от вас эту подробность о припадках и писал, что с детства я был здоровяком. Это не значит, что в факте существования каких-то вздорных, скоро кончившихся припадков я видел какую-нибудь опасность для себя. Просто я не хотел загромаждать рассказа неважными подробностями. Теперь эта подробность понадобилась мне для строго логического построения, и, как видите, я, не обвиняясь, передаю ее.

Так вот. Наследственность и припадки свидетельствуют о моем предрасположении к психической болезни. И она началась, незаметно для самого меня, много раньше, чем я придумал план убийства. Но, обладая, как *все сумасшедшие*, бессознательной хитростью и способностью приноравливать безумные поступки к нормам здравого мышления, я стал обманывать, но не других, как я думал, а себя. Увлекаемый чуждой мне силой, я делал вид, что иду сам. Из остального доказательства можно лепить, как из воска. Не так ли?

Ничего не стоит доказать, что Татьяну Николаевну я не любил, что мотива истинного к преступлению не было, а был только выдуманный. В странности моего плана, в хладнокро-

вии, с каким я его осуществлял, в массе мелочей очень легко усмотреть все ту же безумную волю. Даже самая острота и подъем моей мысли перед преступлением доказывают мою ненормальность.

Так, раненный насмерть, я в цирке играл,
Гладиатора смерть представляя...

Ни одной мелочи в своей жизни не оставил я неисследованной. Я проследил всю свою жизнь. К каждому своему шагу, к каждой своей мысли, слову я прилагал мерку безумия, и она подходила к каждому слову, к каждой мысли. Оказалось, и это было самым удивительным, что и до этой ночи мне уже приходила мысль: уж не сумасшедший ли я действительно? Но я как-то отделялся от этой мысли, забывал о ней.

И, доказав, что я сумасшедший, знаете вы, что я увидел? Что *я не сумасшедший* – вот что я увидел. Извольте выслушать.

Самое большое, в чем уличают меня наследственность и припадки, – это дегенерация. Я один из вырождающихся, каких много, какого можно найти, если поискать повнимательнее, даже среди вас, гг. эксперты. Это дает прекрасный ключ ко всему остальному. Мои нравственные воззрения вы можете объяснить не сознательной продуманностью, а дегенерацией. Действительно, нравственные инстинкты заложены так глубоко, что только при некотором уклонении от нор-

мального типа возможно полное от них освобождение. И наука, все еще слишком смелая в своих обобщениях, все такие уклонения относит в область дегенерации, хотя бы физически человек был бы сложен, как Аполлон, и здоров, как последний идиот. Но пусть будет так. Я ничего не имею против дегенерации – она вводит меня в славную компанию.

Не стану я отстаивать и своего мотива к преступлению. Говорю вам совершенно искренно, что Татьяна Николаевна действительно оскорбила меня своим смехом, и обида залегла очень глубоко, как это бывает у таких скрытых, одиноких натур, как я. Но пусть это неправда. Пусть даже любви у меня не было. Но разве нельзя допустить, что убийством Алексея я просто хотел попытаться свои силы? Ведь вы свободно допускаете существование людей, которые взлезают, рискуя жизнью, на неприступные горы только потому, что они неприступны, и не называете их сумасшедшими? Не осмелитесь же вы назвать сумасшедшим Нансена, этого величайшего человека истекающего столетия! В нравственной жизни есть свои полюсы, и одного из них пытался я достичь.

Вас смущает отсутствие ревности, мести, корысти и других нелепых мотивов, которые вы привыкли считать единственно настоящими и здоровыми. Но тогда вы, люди науки, осудите Нансена, осудите его вместе с глупцами и невеждами, которые и его предприятие считают безумием.

Мой план... Он необычен, он оригинален, он смел до дерзости, но разве он не разумен с точки зрения поставлен-

ной мною цели? И именно моя склонность к притворству, вполне разумно вам объясненная, могла подсказать мне этот план. Подъем мысли, – но разве гениальность и вправду умопомешательство? Хладнокровие, – но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и колебаться? Трусы всегда дрожат, даже когда обнимают своих горничных, и храбрость – разве безумие?

А как просто объясняются мои собственные сомнения в том, что я здоровый! Как настоящий художник, артист, я слишком глубоко вошел в роль, временно отождествился с изображаемым лицом и на минуту потерял способность самоотчета. Скажете ли вы, что даже среди присяжных, ежедневно ломающихся лицедеев нет таких, которые, играя Отелло, чувствуют действительную потребность убить?

Довольно убедительно, не правда ли, гг. ученые? Но не чувствуете ли вы одной странной вещи: когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый, а когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего.

Да. Это потому, что вы не верите мне... Но и я не верю себе, ибо *кому* в себе я буду верить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служит всякому? Он годен лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сделал его своим другом, своим богом. Долой с трона, жалкая, бессильная мысль!

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет?

Маша, милая женщина, вы знаете что-то, чего не знаю я. Скажите, кого просить мне о помощи?

Я знаю ваш ответ, Маша. *Нет, это не то.* Вы добрая и славная женщина, Маша, но вы не знаете ни физики, ни химии, вы ни разу не были в театре и даже не подозреваете, что та штука, на которой вы живете, принимая, подавая и убирая, вертится. А она вертится, Маша, вы тупое существо, почти растение, и я очень завидую вам, почти столько же, сколько презираю вас.

Нет, Маша, не вы ответите мне. И вы ничего не знаете, это неправда. В одной из темных каморок вашего нехитрого дома живет кто-то, очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер, тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. *Он умер, Маша, умер – и не воскреснет.*

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет? Простите, что я с такой невежливой настойчивостью привязываюсь к вам с этим вопросом, но ведь вы «люди науки», как называл вас мой отец, когда хотел польстить вам, у вас есть книги, и вы обладаете ясной, точной и непогрешимой человеческой мыслью. Конечно, половина вас останется при одном мнении, другая – при другом, но я вам поверю, гг. ученые, – и первым поверю, и вторым поверю. Скажите же... А в помощь вашему просвещенному уму я приведу интересный, очень интересный фактик.

В один тихий и мирный вечер, проведенный мною среди этих белых стен, на лице Маши, когда оно попадало мне на глаза, я замечал выражение ужаса, растерянности и подчи-

ненности чему-то сильному и страшному. Потом она ушла, а я сел на приготовленной постели и продолжал думать о том, чего мне хочется. А хотелось мне странных вещей. Мне, д-ру Керженцеву, хотелось выть. Не кричать, а именно выть, как вон тот. Хотелось рвать на себе платье и царапать себя ногтями. Взять рубашку у ворота, сперва немного, совсем немного потянуть, а там – раз! – и до самого низа. И хотелось мне, д-ру Керженцеву, стать на четвереньки и ползать. А кругом было тихо, и снег стучал в окна, и где-то неподалеку беззвучно молилась Маша. И я долго обдуманно выбирал, что мне сделать. Если выть, то выйдет громко и получится скандал. Если разодрать рубашку, то завтра заметят. И вполне разумно я выбрал третье: ползать. Никто не услышит, а если увидят, то скажу, что оторвалась пуговица и я ищу ее.

И пока я выбирал и решал, было хорошо, не страшно и даже приятно, так что, помнится, я болтал ногой. Но вот я подумал:

«Да зачем же ползать? Разве я действительно сумасшедший?»

И стало страшно, и сразу захотелось всего: ползать, выть, царапаться. И я обозлился.

– Ты хочешь ползать? – спросил я.

Но оно молчало, оно уже не хотело.

– Нет, ведь ты хочешь ползать? – настаивал я.

И оно молчало.

– Ну, ползай же!

И, засучив рукава, я стал на четвереньки и пополз. И когда я обошел еще только половину комнаты, мне стало так смешно от этой нелепости, что я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал.

С привычной и не угасшей еще верой в то, что можно что-то знать, я думал, что нашел источник своих безумных желаний. Очевидно, желание ползать и другие были результатом самовнушения. Настойчивая мысль о том, что я сумасшедший, вызывала и сумасшедшие желания, а как только я выполнил их, оказалось, что и желаний-то никаких нет и я не безумный. Рассуждение, как видите, весьма простое и логическое. Но...

Но ведь все-таки я ползал? Я ползал? Кто же я – оправдывающийся сумасшедший или здоровый, сводящий себя с ума?

Помогите же мне вы, высокоученые мужи! Пусть ваше авторитетное слово склонит весы в ту или другую сторону и решит этот ужасный, дикий вопрос. Итак, я жду!..

Напрасно я жду. О мои милые головастики – разве вы не я? Разве в ваших лысых головах работает не та же подлая, человеческая мысль, вечно лгущая, изменчивая, призрачная, как у меня? И чем моя хуже вашей? Вы станете доказывать, что я сумасшедший, – я докажу вам, что я здоров; вы станете доказывать, что я здоров, – я докажу вам, что я сумасшедший. Вы скажете, что нельзя красть, убивать и обманывать, потому что это безнравственность и преступление, а я вам

докажу, что можно убивать и грабить и что это очень нравственно. И вы будете мыслить и говорить, и я буду мыслить и говорить, и все мы будем правы, и никто из нас не будет прав. Где судья, который может рассудить нас и найти правду?

У вас есть громадное преимущество, которое дает одним вам знание истины: вы не совершили преступления, не находитесь под судом и приглашены за приличную плату исследовать состояние моей психики. И потому я сумасшедший. А если бы сюда посадили вас, профессор Држембицкий, и меня пригласили бы наблюдать за вами, то сумасшедшим были бы вы, а я был бы важной птицей – экспертом, лгуном, который отличается от других лгунов только тем, что лжет не иначе как под присягой.

Правда, вы никого не убивали, не совершали кражи ради кражи, и когда нанимаете извозчика, то обязательно выторговываете у него гривенник, что доказывает полное ваше душевное здоровье. Вы не сумасшедший. Но может случиться совсем неожиданная вещь...

Вдруг завтра, сейчас, сию минуту, когда вы читаете эти строки, вам пришла ужасно глупая, но неосторожная мысль: а не сумасшедший ли и я? Кем вы будете тогда, г. профессор? Этакая глупая, вздорная мысль – ибо отчего вам сходить с ума? Но попробуйте прогнать ее. Вы пили молоко и думали, что оно цельное, пока кто-то не сказал, что оно смешано с водой. И конечно – нет более цельного молока.

Вы сумасшедший. Не хотите ли проползти на четверень-

ках? Конечно, не хотите, ибо какой же здоровый человек захочет ползать! Ну а все-таки? Не является ли у вас такого легонького желания, совсем легонького, совсем пустячного, над которым смеяться хочется, – соскользнуть со стула и немного, совсем немного, проползти? Конечно, не является, откуда ему явиться у здорового человека, который сейчас только пил чай и разговаривал с женой. Но не почувствуете ли вы ваших ног, хотя раньше вы их не чувствовали, и не кажется ли вам, что в коленях происходит что-то странное: тяжелое онемение борется с желанием согнуть колени, а потом... *Ведь в самом деле: разве кто-нибудь может вас удержать, если вы захотите крошечку проползти?*

Никто.

Но погодите ползать. Вы еще нужны мне. Борьба моя еще не кончена.

Лист восьмой

Одно из проявлений парадоксальности моей натуры: я очень люблю детей, совсем маленьких детей, когда они только что начинают лепетать и бывают похожи на всех маленьких животных: щенят, котят и змеенышей. Даже змеи в детстве бывают привлекательны. И нынешней осенью, в погожий солнечный день, мне довелось видеть такую картинку. Крохотная девочка в ватном пальтеце и капюшоне, из-под которого только и видны были розовые щечки и носик, хотела подойти к совсем уже крохотной собачонке на тонких ножках, с тоненькой мордочкой и трусливо зажатом между ногами хвостом. И вдруг ей стало страшно, она повернулась и, как маленький белый клубочек, покатила к тут же стоявшей няньке и молча, без слез и крика, спрятала лицо у нее в коленях. А крохотная собачонка ласково моргала и пугливо поджимала хвост, и лицо няньки было такое доброе, простое.

– Не бойся, – говорила нянька и улыбалась мне, и лицо у нее было такое доброе, простое.

Не знаю почему, но мне часто вспоминалась эта девочка и на воле, когда я осуществлял план убийства Савелова, и здесь. Тогда же еще, при взгляде на эту милую группу под ясным осенним солнцем, у меня явилось странное чувство, как будто разгадка чего-то, и задуманное мною убийство по-

казалось мне холодной ложью из какого-то другого, совсем особого мира. И то, что обе они, и девочка и собачонка, были такие маленькие и милые, и что они смешно боялись друг друга, и что солнце так тепло светило – все это было так просто и так полно кроткой и глубокой мудростью, будто здесь именно, в этой группе, заключается разгадка бытия. Такое было чувство. И я сказал себе: «Надо об этом как следует подумать», – но так и не подумал.

А теперь я не помню, что же было тогда такое, и мучительно стараюсь понять, но не могу. И я не знаю, зачем я рассказал вам эту смешную, ненужную историйку, когда еще так много нужно мне рассказать серьезного и важного. *Необходимо кончить.*

Оставим в покое мертвецов. Алексей убит, он давно уже начал разлагаться; его нет – черт с ним! В положении мертвецов есть кое-что приятное.

Не будем говорить и о Татьяне Николаевне. Она несчастна, и я охотно присоединяюсь к общим сожалениям, но что значит это несчастье, все несчастья в мире в сравнении с тем, что переживаю сейчас я, д-р Керженцев! Мало ли жен на свете теряют любимых мужей, и мало ли они будут их терять. Оставим их – пусть плачут.

Но вот тут, в этой голове...

Вы понимаете, гг. эксперты, как это ужасно сложилось. Никого в мире не любил я, кроме себя, а в себе я любил не это гнусное тело, которое любят и пошляки, – я любил свою

человеческую мысль, свою свободу. Я ничего не знал и не знаю выше своей мысли, я боготворил ее – и разве она не стоила этого? Разве, как исполин, не боролась она со всем миром и его заблуждениями? На вершину высокой горы взнесла она меня, и я видел, как глубоко внизу копошились людишки с их мелкими животными страстями, с их вечным страхом перед жизнью и смертью, с их церквами, обеднями и молебнами.

Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив? Как средневековый барон, засевший, словно в орлином гнезде, в своем неприступном замке, гордо и властно смотрит на лежащие внизу долины, так непобедим и горд был я в своем замке, за этими черными костями. Царь над самим собой, я был царем и над миром.

И мне изменили. Подло, коварно, как изменяют женщины, холопы и – мысли. Мой замок стал моей тюрьмой. В моем замке напали на меня враги. Где же спасение? В неприступности замка, в толщине его стен – моя гибель. Голос не проходит наружу – и кто сильный спасет меня? Никто. Ибо никого нет сильнее меня, а я – я и есть единственный враг моего «я».

Подлая мысль изменила мне, тому, кто так верил в нее и ее любил. Она не стала хуже: та же светлая, острая, упругая, как рапира, но рукоять ее уже не в моей руке. И меня, ее творца, ее господина, она убивает с тем же тупым равнодушием, как я убивал ею других.

Наступает ночь, и меня охватывает бешеный ужас. Я был тверд на земле, и крепко стояли на ней мои ноги, – а теперь я брошен в пустоту бесконечного пространства. Великое и грозное одиночество, когда я, тот, который живет, чувствует, мыслит, который так дорог и есть единственный, когда я так мал, бесконечно ничтожен и слаб и каждую секунду готов потухнуть. Зловещее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда в самом себе я окружен и задушен угрюмо молчащими, таинственными врагами. Куда ни иду я – я всюду несу их с собою; одинокий в пустоте вселенной, и в самом себе не имею я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокий, когда моими устами, моей мыслью, моим голосом говорят неведомые *они*.

Так жить нельзя. А мир спокойно спит: и мужа целуют своих жен, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копейке. Безумный, счастливый в своем безумии мир, ужасно будет твое пробуждение!

Кто сильный даст мне руку помощи? Никто. Никто. Где найду я то вечное, к чему я мог бы прилепиться со своим жалким, бессильным, до ужаса одиноким «я»? Нигде. Нигде. О, милая, милая девочка, почему к тебе тянутся сейчас мои окровавленные руки – ведь ты также человек, и также ничтожна и одинока, и подвержена смерти. Жалею ли я тебя или хочу, чтобы ты меня пожалела, но, как за щитом, укрылся бы я за твоим беспомощным тельцем от безнадежной пустоты веков и пространства. Но нет, нет, все это ложь!

О большой, громадной услуге я попрошу вас, гг. эксперты, и, если вы чувствуете в себе хоть немного человека, вы не откажете в ней. Надеюсь, мы достаточно поняли друг друга, настолько, чтобы не верить друг другу. И если я попрошу вас сказать на суде, что я человек здоровый, то менее всего поверю вашим словам я. Для себя вы можете решать, но для меня никто не решит этого вопроса:

Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил потому, что был сумасшедшим?

Но судьи поверят вам и дадут мне то, чего я хочу: каторгу. Прошу вас не придавать ложного толкования моим намерениям. Я не раскаиваюсь, что убил Савелова, я не ищу в каре искупления грехов, и если для доказательства, что я здоров, вам понадобится, чтобы я кого-нибудь убил с целью грабежа, – я с удовольствием убью и ограблю. Но в каторге я ищу другого, чего, я не знаю еще и сам.

Меня тянет к этим людям какая-то смутная надежда, что среди них, нарушивших ваши законы, убийц, грабителей, я найду неведомые мне источники жизни и снова стану себе другом. Но пусть это неправда, пусть надежда обманет меня, я все-таки хочу быть с ними. О, я знаю вас! Вы трусы и лицемеры, вы больше всего любите ваш покой, и вы с радостью всякого вора, стащившего калач, запрятали бы в сумасшедший дом, – вы охотнее весь мир и самих себя признаете сумасшедшими, нежели осмелитесь коснуться ваших любимых выдумок. Я знаю вас. Преступник и преступление

– это вечная ваша тревога, это грозный голос неизведанной бездны, это неумолимое осуждение всей вашей разумной и нравственной жизни, и как бы плотно вы ни затыкали ватой уши, оно проходит, оно проходит! И я хочу к ним. Я, доктор Керженцев, стану в ряды этой страшной для вас армии как вечный укор, как тот, кто спрашивает и ждет ответа.

Не униженно прошу я вас, а требую: скажите, что я здоров. Солгите, если не верите этому. Но если вы малодушно умоете ваши ученые руки и посадите меня в сумасшедший дом или отпустите на свободу, дружески предупреждаю вас: я наделаю вам крупных неприятностей.

Для меня нет судьбы, нет закона, нет недозволенного. Все можно. Вы можете себе представить мир, в котором нет законов притяжения, в котором нет верха, низа, в котором все повинуется только прихоти и случаю? Я, доктор Керженцев, этот новый мир. Все можно. И я, доктор Керженцев, докажу вам это. Я притворюсь здоровым. Я добьюсь свободы. И всю остальную жизнь я буду учиться. Я окружу себя вашими книгами, я возьму от вас всю мощь вашего знания, которой вы гордитесь, и найду одну вещь, в которой давно назрела необходимость. *Это будет взрывчатое вещество.* Такое сильное, какого не видали еще люди: сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. Я талантлив, настойчив, и я найду его. *И когда я найду его, я взорву на воздух вашу проклятую землю, у которой так много богов и нет единого вечного бога.*

На суде доктор Керженцев держался очень спокойно и во все время заседания оставался в одной и той же, ничего не говорящей позе. На вопросы он отвечал равнодушно и безучастно, иногда заставляя дважды повторять их. Один раз он насмешил избранную публику, в огромном количестве наполнившую зал суда. Председатель обратился с каким-то приказанием к судебному приставу, и подсудимый, очевидно недослышав или по рассеянности, встал и громко спросил:

– Что? Нужно выходить?

– Куда выходить? – удивился председатель.

– Не знаю. Вы что-то сказали.

В публике засмеялись, и председатель пояснил Керженцеву, в чем дело.

Экспертов-психиатров было вызвано четверо, и мнения их разделились поровну. После речи прокурора председатель обратился к обвиняемому, отказавшемуся от защитника:

– Обвиняемый! Что вы имеете сказать в свое оправдание?

Доктор Керженцев встал. Тусклыми, словно незрячими глазами он медленно обвел судей и взглянул на публику. И те, на кого упал этот тяжелый, невидящий взгляд, испытали странное и мучительное чувство: будто из пустых орбит черепа на них взглянула сама равнодушная и немая смерть.

– Ничего, – ответил обвиняемый.

И еще раз окинул он взором людей, собравшихся судить

его, и повторил:
– Ничего.

Апрель 1902 г.

Жили-были

1

Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а вверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье, с черной меткой «Палата № 8», и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую.

– Уж очень вы велики! – сказала она, выходя из ванной, в которой производилось переодевание больных.

Полуобнаженный Лаврентий Петрович терпеливо и покорно ожидал и, наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую, отвислую, как у старой женщины, грудь и припухший живот, лежавший на коленях. Каждую субботу Лаврентий Петрович бывал в бане и видел там свое тело, но теперь, покрывшееся от холода мурашками, бледное, оно показалось ему новым и, при всей своей видимой силе, очень жалким и больным. И весь он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сня-

ли его привычное платье, и готов был делать все, что прикажут. Вернулась с бельем нянька, и, хотя силы у Лаврентия Петровича оставалось еще настолько, что он мог пришить няньку одним пальцем, он послушно позволил ей одеть себя и неловко просунул голову в рубашку, собранную в виде хомута. С тою же покорною неловкостью он ждал, закинув голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за нею в палату. И ступал он своими медвежьими вывернутыми ногами так нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда ведут старшие, – может быть, для наказания. Рубашка все же оказалась ему узка, тянула при ходьбе плечи и трещала, но он не решился заявить об этом няньке, хотя дома, в Саратове, один его суровый взгляд заставлял судорожно метаться десятки людей.

– Вот ваше место, – указала нянька на высокую чистую постель и стоявший возле нее небольшой столик. Это было очень маленькое место, только угол палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человеку. Торопливо, точно спасаясь от погони, Лаврентий Петрович снял халат, туфли и лег. И с этого момента все, что еще только утром гневило и мучило его, отошло от него, стало чужим и неважным. Память его быстро, в одной молниезарной картине, воспроизвела всю его жизнь за последние годы: неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силы; одиночество среди массы алчных родственников, в атмосфере лжи, ненависти и страха; бегство сюда, в Москву, – и так же вне-

запно потушила эту картину, оставив на душе одну тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и покоя, Лаврентий Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними мелькнули в его полужакрытых глазах снежно-белые стены, луч солнца на одной стене, и потом наступили часы долгого и полного забвения.

На другой день над головою Лаврентия Петровича появилась надпись на черной дощечке: «Купец Лаврентий Кошеверов, 52 л., поступил 25 февраля». Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в восьмой палате; на одной стояло «Дьякон Филипп Сперанский, 50 л.» на другой – «Студент Константин Торбецкий, 23 лет». Белые меловые буквы красиво, но мрачно выделялись на черном фоне, и, когда больной лежал навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нем, приобретала сходство с надмогильными оповещениями, что вот тут, в этой сырой или мерзлой земле, зарыт человек. В тот же день Лаврентия Петровича свешали – оказалось в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил:

– Вы самый тяжелый человек на все клиники.

Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступавший как доктор, так как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в ответ на шутку больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые больные на одобрительные шутки докторов, но Лаврентий Петрович

не улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, были стиснуты, как железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно: он уже давно, между прочим, занимался физиогномикой и по обширной матовой лысине причислил купца к отделу добродушных; теперь приходилось переместить его в отдел злых. Все еще не доверяя своим наблюдениям, фельдшер – звали его Иваном Ивановичем – решил со временем попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сделать более точное определение его душевных свойств.

Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича впервые осматривали доктора; одеты они были в белые балахоны и оттого казались особенно важными и серьезными. И затем каждодневно они осматривали его по разу, по два, иногда один, и чаще в сопровождении студентов. По требованию докторов Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился на постель, возвышаясь на ней огромной мясистой грудой. Доктора стучали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь друг с другом замечаниями и обращая внимание студентов на те или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и много

работал; и при каждом новом «много» Лаврентий Петрович все менее узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам. Странно было думать, что это действительно он, купец Кошеверов, поступал так нехорошо и вредно для себя. И все старые слова: водка, жизнь, здоровье – становились полны нового и глубокого содержания.

Выслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись в отсутствие докторов, и одни коротко и прямо, другие с робкою нерешительностью просили его раздеться, и снова начиналось внимательное и полное интереса рассмотрение его тела. С сознанием важности производимого ими дела они вели дневник его болезни, и Лаврентию Петровичу думалось, что весь он перенесен теперь на страницы записей. С каждым днем он все менее принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для всех и всем подчинено. По приказанию няnek он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за стол, где обедали и пили чай все могущие двигаться больные. Люди ощупывали его со всех сторон, занимались им так, как никто в прежней жизни, и при всем том в продолжение целого дня его не покидало смутное чувство глубокого одиночества. Похоже было на то, что Лаврентий Петрович куда-то очень далеко едет, и все вокруг него носило характер временности, неприспособленности для долгого житья. От белых стен, не имевших ни одного пятна, и высоких потолков веяло холодной отчужденностью; полы были всегда слишком блестящи и чисты, воздух

слишком ровен – в самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утешали, но, когда они отходили от Лаврентия Петровича, у него являлась мысль, что это были возле него служащие, кондуктора на этой неведомой дороге. Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозят, и их разговоры и расспросы были только вопросами о билете. И чем больше занимались они телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души.

– Когда у вас бывают приемные дни? – спросил Лаврентий Петрович няньку. Он говорил коротко, не глядя на того, к кому были обращены слова.

– По воскресеньям и четвергам. Но если попросить доктора, то можно и в другие дни, – словоохотливо ответила нянька.

– А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали?

Нянька удивилась, но ответила, что можно, и этот ответ, видимо, обрадовал угрюмого больного. И весь этот день он был немного веселее и хотя не стал разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что весело, громко и обильно болтал ему больной дьякон.

Приехал дьякон из Тамбовской губернии и в клинику поступил на один день раньше Лаврентия Петровича, но был

уже хорошо знаком с обитателями всех пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при раздевании у него каждое ребро вылеплялось, а живот втягивался, и все его слабосильное тельце, белое и чистое, походило на тело десятилетнего несложившегося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, иссера-седые и на концах желтели и закручивались. Как из большой, не по рисунку, рамки выглядывало из них маленькое, темное лицо с правильными, но миниатюрными чертами. По сходству его с темными и сухими лицами древних образов фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и нетерпимых, но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон, как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей семье, о своих знакомых и так любознательно и наивно расспрашивал о том же других, что никто не мог сердиться и все так же откровенно рассказали. Когда кто-нибудь чихал, о. дьякон издали кричал веселым голосом:

– Исполнение желаний! За милую душу! – и кланялся.

К нему никто не приходил, и он был тяжело болен, но он не чувствовал себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их посетителями, и не скучал. Больным он ежедневно по несколько раз желал выздороветь, здоровым желал, чтобы они в веселье и благополучии проводили время, и всем находил сказать что-нибудь доброе и

приятное. Каждое утро он всех поздравлял: в четверг – с четвергом, в пятницу – с пятницей, и, что бы ни творилось в воздухе, которого он не видел, он постоянно утверждал, что погода сегодня приятная на редкость. При этом он постоянно и радостно смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому животу, хлопал по коленям руками, а иногда даже бил в ладоши. И всех благодарил – иногда трудно было решить, за что. Так, после чая он благодарил угрюмого Лаврентия Петровича за компанию.

– Так это мы с вами хорошо чайку попили – по-небесному! Верно, отец, а? – говорил он, хотя Лаврентий Петрович пил чай отдельно и никому компании составлять не мог.

Он очень гордился своим дьяконским саном, который получил только три года назад, а раньше был псаломщиком. И у всех – и у больных, и у проходящих – он спрашивал, какого роста их жены.

– А у меня жена очень высокая, – с гордостью говорил он после того или иного ответа. – И дети все в нее. Гренадеры, за милую душу!

Все в клиниках – чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в коридоре – вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на икону, он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем и, когда слов не хватало, восклицал:

– За милую душу! Вот как перед богом, за милую душу!
Третьим больным в восьмой палате был черный студент

Торбецкий. Он почти не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная, в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного студента и просиживала от двух ровно до четырех часов, когда, по правилам, кончался прием посетителей и няньки подавали больным чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голос, но случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно было сказать шепотом: «Радость моя!» – «Я люблю тебя»; иногда они подолгу молчали и только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом. Тогда о. дьякон кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а Лаврентий Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прищуренные глаза, как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, и биться оно начинало неровно и сильно, а массивные скулы выдавались буграми и двигались. И с той же холодной отчужденностью смотрели белые стены, и в их безупречной белизне была странная и грустная насмешка.

2

День в палате начинался рано, когда еще только мутно серело от первых лучей рассвета и был длинный, светлый и пустой. В шесть часов больным подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусники, измеряя температуру. Многие, как о. дьякон, впервые узнали о существовании у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным, и измерение ее – делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими черными и красными черточками становилась показательницей жизни, и одна десятая градуса выше или ниже делали больного веселым или печальным. Даже вечно веселый о. дьякон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой, если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной.

– Вот, отец, штука-то. Аз и ферт, – говорил он Лаврентию Петровичу, держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его.

– А ты поддержи еще, поторгуйся, – насмешливо отвечал Лаврентий Петрович.

И о. дьякон торговался и, если ему удавалось добыть еще одну десятую градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за науку. Измерение настраивало мысли на целый день на вопросы о здоровье, и все, что

рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой торжественностью. Особенную торжественность в свои действия вносил о. дьякон и, держа градусник, глотая лекарство или выполняя какое-нибудь отправление, делал лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан. Ему дали, для надобностей анализа, несколько стаканчиков, и он в строжайшем порядке расставил их, а номера – первый, второй, третий... – попросил надписать студента, так как сам писал недостаточно красиво. На тех больных, которые не исполняли предписаний докторов, он сердился и постоянно со строгостью увещевал толстяка Минаева, лежавшего в десятой палате: Минаеву доктора не велели есть мяса, а он потихоньку таскал его у соседей по обеденному столу и, не жуя, глотал.

С семи часов палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные окна, и становилось так светло, как в поле, и белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы – все блестело и сверкало в этом свете. К самым окнам редко кто-нибудь подходил: улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес. Там люди жили; там, полная народа, пробегала конка, проходил серый отряд солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и закрывались двери магазинов – здесь больные люди лежали в постелях, едва имея силы повернуть к свету ослабевшую голову; одетые в серые халаты, вяло бродили по гладким полям; здесь они болели и умирали. Студент получал газету,

но ни он сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь неправильность в отправлении желудка у соседа волновала и трогала больше, чем война и те события, которые потом получают название мировых. Около одиннадцати часов приходили доктора и студенты, и опять начинался внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда спокойно и смотрел в потолок, отвечая односложно и хмуро; о. дьякон волновался и говорил так громко и так невразумительно, с таким желанием всем доставить удовольствие и всем оказать уважение, что его трудно было понять.

О себе он говорил:

– Когда я пожаловал в клинику...

О няньке передавал:

– Они изволили поставить мне клизму...

Он всегда в точности знал, в каком часу и в какую минуту была у него изжога или тошнота, в каком часу ночи он просыпался; благодарил, умилялся и бывал очень доволен собою, если ему удавалось при прощании сделать не один общий поклон всем докторам, а каждому порознь.

– Так это чинно, – радовался он, – по-небесному!

И еще раз показывал молчавшему Лаврентию Петровичу и улыбающемуся студенту, как он сделал поклон сперва доктору Александру Ивановичу и потом доктору Семену Николаевичу.

Он был болен неизлечимо, и дни его были сочтены, но он

этого не знал, с восторгом говорил о путешествии в Троице-Сергиеву лавру, которое он совершит по выздоровлении, и о яблоне в своем саду, которая называлась «белый налив» и с которой нынешним летом он ожидал плодов. И в хороший день, когда стены и паркетный пол палаты щедро заливались солнечными лучами, ни с чем не сравнимыми в своей могучей силе и красоте, когда тени на снежном белье постелей становились прозрачно-синими, совсем летними, о. дьякон напевал трогательную песнь:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавившую нас от клятвы, владычицу мира песнями почитим!...»

Голос его, слабый и нежный тенор, начинал дрожать, и в волнении, которое он старался скрыть от окружающих, о. дьякон подносил к глазам платок и улыбался.

Потом, пройдясь по комнате, он вплотную подходил к окну и вскидывал глаза к глубокому, безоблачному небу: просторное, далекое от земли, безмятежно красивое, оно само казалось величавою божественной песнью. И к ее торжественным звукам робко присоединялся дрожащий человеческий голос, полный трепетной и страстной мольбы:

«От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя: к тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, ты мне помози!...»

В определенный час подавался обед, снова чай и ужин, а в девять часов электрическая лампочка задергивалась синим

матерчатый абажуром, и начиналась такая же длинная и пустая ночь.

Клиники затихали.

Только в освещенном коридоре, куда выходили постоянно открытые двери палат, вязали чулки сиделки и тихо шептались и переругивались, да изредка, громко стуча ногами, проходил кто-нибудь из служителей, и каждый его шаг выделялся отчетливо и замирал в строгой постепенности. К одиннадцати часам замирали и эти последние отголоски минувшего дня, и звонкая, словно стеклянная, тишина, чутко сторожившая каждый легкий звук, передавала из палаты в палату сонное дыхание выздоравливающих, кашель и слабые стоны тяжелых больных. Легки и обманчивы были эти ночные звуки, и часто в них таилась страшная загадка: хрипит ли больной, или же сама смерть уже бродит среди белых постелей и холодных стен.

Кроме первой ночи, в которую Лаврентий Петрович забылся крепким сном, все остальные ночи он не спал, и они полны были новых и жутких мыслей. Закинув волосатые руки за голову, не шевелясь, он пристально смотрел на светившуюся сквозь синий абажур изогнутую проволоку и думал о своей жизни. Он не верил в бога, и не хотел жизни, и не боялся смерти. Все, что было в нем, силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости. Когда он был молод и волосы его кучерявились на голове, он воровал у хозяина; его ловили и жестоко, без пощады били, и он

ненавидел тех, кто его бил. В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей и презирал тех, кто попадался в его руки, и они платили ему жгучей ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь – и стали обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко, без пощады бил их... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькою обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе. Теперь он хотел уйти из жизни, позабыть, но тихая ночь была жестока и безжалостна, и он то смеялся над людской глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивал железные скулы, подавляя долгий стон. С недоверием к тому, что кто-нибудь может любить жизнь, он поворачивал голову к соседней постели, где спал дьякон. Долго и внимательно он рассматривал белый, неопределенный в своих очертаниях бугорок и темное пятно лица и бороды и злорадно шептал:

– Ду-ррак!

Потом он глядел на спящего студента, которого днем целовала девушка, и еще с большим злорадством поправлялся:

– Дура-ки!

А днем душа его замирала, и тело послушно исполняло все, что прикажут, принимало лекарство и ворочалось. Но с каждым днем оно слабело и скоро было оставлено почти в полном покое, неподвижное, громадное и в этой обманчивой громадности кажущееся здоровым и сильным.

Слабел и о. дьякон: меньше ходил по палате, реже смеял-

ся, но когда в палату заглядывало солнце, он начинал болтать весело и обильно, благодарил всех – и солнце и докторов – и вспоминал все чаще о яблоне «белый налив». Потом он пел «Высшую небес», и темное, осунувшееся лицо его становилось более светлым, но также и более важным: сразу видно было, что это поет дьякон, а не псаломщик. Кончив петь, он подходил к Лаврентию Петровичу и рассказывал, какую бумагу ему дали при посвящении.

– Вот такая огромная, – показывал он руками, – и по всей буквы, буквы. Какие черные, какие с золотой тенью. Редкость, ей-богу!

Он крестился на икону и с уважением к себе добавлял:

– А внизу печать архирейская. Огромная, ей-богу, – чисто ватрушка. Одно слово, за милую душу! Верно, отец?

И он закатисто смеялся, скрывая светлеющие глаза в сети тоненьких морщинок. Но солнце пряталось за серой снежной тучей, в палате тускнело, и, вздыхая, о. дьякон ложился в постель.

3

В поле и садах еще лежал снег, но улицы давно были чисты от него, сухи и в местах большой езды даже пыльны. Только из палисадников, обнесенных железными решетками, да со дворов выбегали тоненькие струйки воды и расплывались лужей по ровному асфальту; и от каждой такой лужи в обе стороны тянулись следы мокрых ног, вначале темные и частые, но дальше редкие и мало заметные, – как будто проходившая здесь толпа разом была подхвачена на воздух и опущена только у следующей лужи. Солнце лило в палату целые потоки света и так пригревало, что приходилось от него прятаться, как летом, и не верилось, что за тонкими стеклами окон воздух холоден, свеж и сыр. Сама палата, с ее высокими потолками, казалась при этом свете узким и душным закоулком, в котором нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на стену. Голос улицы не проникал в клинику сквозь двойные рамы, но когда по утрам в палате открывали большую откидную форточку – внезапно, без переходов, врвался в нее пьяно-веселый и шумный крик воробьев. Все остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а он торжествующе разносился по коридорам, подымался по лестницам, дерзко врвался в лабораторию, звонко перебегая по стеклянным колбочкам. Удаленные в коридор больные улыбались наивному, мальчишески-дерзкому крику, а о.

дьякон закрывал глаза, протягивал вперед руки и шептал:

– Воробей! За милую душу, воробей!

Фортка закрывалась, звонкий воробьиный крик умирал так же внезапно, как и родился, но больные точно еще надеялись найти спрятанные отголоски его, торопливо входили в палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали расплывающимися волнами свежего воздуха.

Теперь больные чаще подходили к окнам и подолгу простаивали у них, протирая пальцами и без того чистые стекла; неохотно, с ворчаньем ставили градусники и говорили только о будущем. И у всех будущее это представлялось светлым и хорошим, даже у того мальчика из одиннадцатой палаты, который однажды утром был перенесен сторожами в отдельный номер, а затем неведомо куда исчез – «выписался», как говорили няньки. Многие из больных видели, когда его переносили вместе с постелью в отдельный номер; несли его головою вперед, и он был неподвижен, только темные впавшие глаза переходили с предмета на предмет, и было в них что-то такое безропотно-печальное и жуткое, что никто из больных не выдерживал их взгляда – и отворачивался. И все догадались потом, что мальчик умер, но никого эта смерть не взволновала и не испугала: здесь она была тем обыкновенным и простым, чем кажется она, вероятно, на войне. Умер за это время и другой больной из той же одиннадцатой палаты. Это был низенький и на вид довольно еще свежий старичок, разбитый параличом; ходил он переваливаясь, одним

плечом вперед, и всем больным рассказывал одну и ту же историю: о крещении Руси при Владимире Святом. Что трогало его в этой истории, так и осталось неизвестным, так как говорил он очень тихо и непонятно, закругляя слова и скрадывая окончания, но сам он, видимо, был в восторге, размахивал правой рукой и вращал правым глазом – левая сторона тела была у него парализована. Если настроение его было хорошее, он заканчивал рассказ неожиданно громким и победным возгласом: «С нами бог!», после чего торопливо уходил, сконфуженно смеясь и наивно закрывая рукою лицо. Но чаще он бывал печален и жаловался, что ему не дают теплой ванны, от которой он обязательно должен поправиться. За несколько дней до смерти ему назначили вечером теплую ванну, и он весь тот день восклицал: «С нами бог!» – и смеялся; когда он уже сидел в ванне, проходившие мимо больные слышали торопливое и полное блаженства воркование: это старичок в последний раз передавал наблюдавшему за ним сторожу историю о крещении Руси при Владимире Святом. В положении больных восьмой палаты заметных перемен не произошло: студент Торбецкий поправился, а Лаврентий Петрович и о. дьякон с каждым днем слабели: жизнь и сила выходили из них с такой зловещей беспомощностью, что они и сами почти не догадывались об этом, и казалось, что никогда они и не ходили по палате, а все так же спокойно лежали в постелях.

И все так же регулярно приходили доктора в своих белых

балахонах и студенты, выслушивали и выстукивали и говорили между собою.

В пятницу, на пятой неделе великого поста, о. дьякона водили на лекцию, и вернулся он из аудитории возбужденный и разговорчивый. Он закатисто смеялся, как и в первое время, крестился и благодарил и по временам подносил к глазам платок, после чего глаза становились красными.

– Чего это вы плачете, отец дьякон? – спросил студент.

– Ах, отец, и не говорите, – с умилением отозвался дьякон, – так это хорошо, за милую душу! Посадили меня Семен Николаевич в кресло, сами стали рядом и говорят студентам: «Вот, – говорят, – дьякон...»

Здесь о. дьякон сделал важное лицо, нахмурился, но слезы снова навернулись на его глазах, и, стыдливо отвернувшись, он пояснил:

– Уж очень трогательно читают Семен Николаевич! Так трогательно, что вся душа перевертывается. «Жил, – говорят, – был дьякон...»

Отец дьякон всхлипнул.

– Жил-был дьякон...

Дальше от слез о. дьякон продолжать не мог, но, уже улегшись в постель, из-под одеяла шепнул сдавленным голосом:

– Всю жизнь рассказали. Как это я был псаломщиком, недоедал. Про жену также, спасибо им, упомянули. Так трогательно, так трогательно: будто помер ты, и над тобою читают. «Жил, – говорит... – был, – говорит... – дьякон...»

И пока о. дьякон говорил, всем стало видно, что этот человек умрет, стало видно с такою непреложною и страшною ясностью, как будто сама смерть стояла здесь, между ними. Невидимым страшным холодом и тьмой повеяло от веселого дьякона, и, когда с новым всхлипыванием он скрылся под одеялом, Торбецкий нервно потер похолодевшие руки, а Лаврентий Петрович грубо рассмеялся и закашлялся.

Последние дни Лаврентий Петрович сильно волновался и непрестанно повертывал голову по направлению к сиявшему сквозь окно голубому небу; изменив своей неподвижности, он судорожно ворочался на постели, кряхтел и сердился на няnek. С тем же волнением он встречал доктора при ежедневном осмотре, и тот под конец заметил это. Был он добрый и хороший человек и участливо спросил.

– Что с вами?

– Скучно, – сказал Лаврентий Петрович. И сказал он это таким голосом, как говорят страдающие дети, и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы. А в его «дневнике», среди заметок о том, каковы у больного пульс и дыхание и сколько раз его слабило, появилась новая отметка: «Больной жалуется на скуку».

К студенту по-прежнему приходила девушка, которую он любил, и щеки ее от свежего воздуха горели такой живой и нежной краской, что было приятно и почему-то немного грустно смотреть на них. Наклонясь к самому лицу Торбецкого, она говорила:

– Посмотри, какие горячие щеки.

И он смотрел, но не глазами, а губами, и смотрел долго и очень крепко, так как стал выздоравливать и силы у него прибавилось. Теперь они не стеснялись других больных и целовались открыто; дьякон при этом деликатно отвертывался, а Лаврентий Петрович, не притворяясь уже спящим, с вызовом и насмешливо смотрел на них. И они любили о. дьякона и не любили Лаврентия Петровича.

В субботу о. дьякон получил из дому письмо. Он ждал его уже целую неделю, и все в клинике знали, что о. дьякон ждет письмо, и беспокоились вместе с ним. Приободрившийся и веселый, он встал с постели и медленно бродил по палатам, всюду показывая письмо, принимая поздравления, кланяясь и благодаря. Всем давно уже было известно об очень высоком росте его жены, а теперь он сообщил о ней новую подробность.

– Здорово она у меня храпит. Когда ляжет в кровать, так ты ее хоть оглоблей бей – не подымешь. Храпит, да и все тут. Молодец, ей-богу!

Потом о. дьякон плутовато подмаргивал и восклицал:

– А этакую штуку видел? Отец, а отец?

И он показывал четвертую страницу письма, на которой неумелыми, дрожащими линиями был обведен контур растопыренной детской руки и посередине, как раз на ладони, было написано: «Тосик руку приложил». Перед тем как приложить руку, Тосик, по-видимому, был занят каким-нибудь

делом, связанным с употреблением воды и грязи, так как на тех местах, что приходились против выпуклостей ладони и пальцев, бумага сохраняла явственные следы пятен.

– Внук-то, хорош? Четыре года всего, а умен, так умен, что не могу я вам этого выразить. Руку приложил, а? – В восторге от остроумной шутки, отец дьякон хлопал себя руками по коленям и сгибался от приступа неудержимого, тихого смеха. И лицо его, давно не видевшее воздуха, изжелта-бледное, становилось на минуту лицом здорового человека, дни которого еще не сочтены. И голос его делался крепким и звонким, и бодростью дышали звуки трогательной песни:

«Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавившую нас от клятвы, владычицу мира песнями почитим!...»

В этот же день водили на лекцию Лаврентия Петровича. Пришел он оттуда взволнованный, с дрожащими руками и кривой усмешкой, сердито оттолкнул няньку, помогавшую ему ложиться в постель, и тотчас же закрыл глаза. Но о. дьякон, сам переживший лекцию, дождался момента, когда глаза Лаврентия Петровича приоткрылись, и с участливым любопытством начал допрашивать о подробностях осмотра.

– Как, отец, трогательно, а? Тоже небось и про тебя говорили: «Жил, – говорят, – был купец...»

Лицо Лаврентия Петровича гневно передернулось; обжегши дьякона взглядом, он повернулся к нему спиной и снова решительно закрыл глаза.

– Ничего, отец, ты не беспокойся. Выздоровеешь, да еще как откалывать-то начнешь – по-небесному! – продолжал отец дьякон. Он лежал на спине и мечтательно глядел в потолок, на котором играл неведомо откуда отраженный солнечный луч. Студент ушел курить, и в минуты молчания слышалось только тяжелое и короткое дыхание Лаврентия Петровича.

– Да, отец, – медленно, с спокойной радостью говорил отец дьякон, – если будешь в наших краях, ко мне заезжай. От станции пять верст – тебя всякий мужик довезет. Ей-богу, приезжай, угощу тебя за милую душу. Квас у меня – так это выразить я тебе не могу, до чего сладостен!

Отец дьякон вздохнул и, помолчав, продолжал:

– К Троице я вот схожу. И за твое имя просфору выну. Потом соборы осмотрю. В баню пойду. Как они, отец, прозываются: торговые, что ли?

Лаврентий Петрович не ответил, и о. дьякон решил сам:

– Торговые. А там, за милую душу – домой!

Дьякон блаженно умолк, и в наступившей тишине короткое и прерывистое дыхание Лаврентия Петровича напоминало гневное сопение паровика, удерживаемого на запасном пути. И еще не рассеялась перед глазами дьякона вызванная им картина близкого счастья, когда в ухо его вошли непонятные и ужасные слова. Ужас был в одном их звуке; ужас был в грубом и злобном голосе, одно за одним ронявшем бессмысленные, жесткие слова.

– На Ваганьково кладбище пойдешь – вот куда!

– Что ты говоришь, отец! – не понимал дьякон.

– На Ваганьково, на Ваганьково, говорю, пора, – ответил Лаврентий Петрович. Он повернулся лицом к о. дьякону и даже голову спустил с подушки, чтобы ни одно слово не миновало того, в кого оно было направлено. – А то в анатомический тебя сволокут и так там тебя взрежут – за милую душу!

Лаврентий Петрович рассмеялся.

– Что ты, что ты, бог с тобой! – бормотал отец дьякон.

– Со мною-то ничего, а вот как тут покойника хоронят, так это потеха. Сперва руку отрежут – руку похоронят. Потом ногу отрежут – ногу похоронят. Так иногo-то незадачливого покойника целый год таскают, перетаскать не могут.

Дьякон молчал и остановившимся взглядом смотрел на Лаврентия Петровича, а тот продолжал говорить. И было что-то отвратительное и жалкое в бесстыдной прямоте его речи.

– Смотрю я на тебя, отец дьякон, и думаю: старый ты человек, а глуп, прямо сказать, до святости. Ну и чего ты ерепенишься: «К Троице поеду, в баню пойду». Или вот тоже про яблоню «белый налив». Жить тебе всего неделю, а ты...

– Неделя?

– Ну да, неделя. Не я говорю – доктора говорят. Лежал я намедни, будто спал, а тебя в палате не было. Вот студенты и говорят: а скоро, говорят, нашему дьякону и того. Недельку

протянет.

– Про-тя-не-ет?

– А ты думаешь, она помилует? – Слово «она» Лаврентий Петрович выговорил с страшной выразительностью. Затем он поднял кверху свой огромный бугроватый кулак и, печально полюбовавшись его массивными очертаниями, продолжал: – Вот, глянь-ка! Приложу кого, так тут ему аз и хворт и будет. А тоже... Ну да, тоже. Эх, дьякон пустоголовый: «К Троице, в баню пойду». Получше тебя люди жили, да и те помирали.

Лицо о. дьякона было желто, как шафран; ни говорить, ни плакать он не мог, ни даже стонать. Молча и медленно он опустил на подушку и старательно, убегая от света и от слов Лаврентия Петровича, завернулся в одеяло и притих. Но тот не мог не говорить: каждым словом, которым он поражал дьякона, он приносил себе отраду и облегчение. И с притворным добродушием он повторял:

– Так-то, отче. Через недельку. Как ты говоришь: аз и хворт? Вот тебе аз и хворт. А ты в баню – чудасия! Разве вот на том свете нас с тобой горячими вениками попарят – это, отчего же, очень возможно.

Но тут вошел студент, и Лаврентий Петрович неохотно умолк. Он попробовал закрыться одеялом, как и о. дьякон, но скоро высунул голову из тьмы и насмешливо поглядел на студента.

– А сестрица-то ваша сегодня, вижу, опять не придут? –

спросил он студента с тем же притворным добродушием и нехорошей улыбкой.

– Да, нездорова, – коротко от окна бросил студент хмурый ответ.

– Какая жалость! – покачал головой Лаврентий Петрович. – Что же такое с ними?

Но студент не ответил: кажется, он не слышал вопроса. Уже три раза девушка, которую он любил, пропускала часы свиданий; не придет она и сегодня. Торбецкий делал вид, что смотрит в окно на улицу так, от безделия, но в действительности старался заглянуть влево, где находился невидимый подъезд, и прижимался лбом к самому стеклу. И так между окном и часами, глядя то на одно, то на другое, провел он время обычного приема посетителей, от двух до четырех часов. Усталый и побледневший, он неохотно выпил стакан чаю и лег на постель, не заметив ни странной молчаливости о. дьякона, ни такой же странной разговорчивости Лаврентия Петровича.

– Не пришли сестрица! – говорил Лаврентий Петрович и улыбался нехорошей улыбкой.

В эту ночь, томительно-долгую и пустую, так же горела лампочка под синим абажуром, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по палатам тихие стоны, храп и сонное дыхание больных. Где-то упала на камень чайная ложка, и звук получился чистый, как от колокольчика, и долго еще жил в тихом и неподвижном воздухе. В палате № 8 никто не спал в эту ночь, но все лежали тихо и походили на спящих. Один Торбецкий, не думавший о присутствии в палате посторонних людей, беспокойно ворочался, ложась то на спину, то ниц, густо вздыхал и поправлял сползавшее одело. Раза два он ходил курить и, наконец, заснул, так как поздоровевший организм брал свое. И сон его был крепок, и грудь поднималась ровно и легко. Должно быть, и сны пришли к нему хорошие; на губах у него появилась улыбка и долго не сходила, странная и трогательная при глубокой неподвижности тела и закрытых глазах.

Далеко, в темной и пустынной аудитории, пробило три часа, когда в ухо начавшего дремать Лаврентия Петровича вошел тихий, дрожащий и загадочный звук. Он родился тотчас за музыкальным боем часов и в первую секунду показался нежным и красивым, как далекая печальная песня. Лаврентий Петрович прислушался: звук ширился и рос и, все такой же мелодичный, походил теперь на тихий плач ребен-

ка, которого заперли в темную комнату, и он боится тьмы и боится тех, кто его запер, и сдерживает бьющиеся в груди рыдания и вздохи. В следующую секунду Лаврентий Петрович проснулся совсем и разом понял загадку; плакал кто-то взрослый, плакал некрасиво, давясь слезами, задыхаясь.

– Кто это? – испуганно спросил Лаврентий Петрович, но не получил ответа.

Плач замер, и от этого в палате стало еще печальнее и тоскливее. Белые стены были неподвижны и холодны, и не было никого живого, кому можно было бы пожаловаться на одиночество и страх и просить защиты.

– Кто это плачет? – повторил Лаврентий Петрович. – Дьякон, это ты?

Рыдание словно пряталось где-то тут же, возле Лаврентия Петровича, и теперь, ничем не сдерживаемое, вырвалось на свободу. Одеяло, укрывавшее о. дьякона, заколыхалось, и металлическая дощечка дребезжащим стуком ударилась об железку.

– Что ты! Что ты! – бормотал Лаврентий Петрович, сел на постель, задумался и потом медленно спустил на пол затекшие ноги. Когда он встал на них, в голову ему ударило чем-то теплым и шумящим – словно целый десяток жерновов завертелся и загрохотал в его мозгу, – дыхание прервалось, и потолок быстро поплыл куда-то вниз. С трудом удержавшись на ногах от приступа головокружения, ощущая толчки сердца так ясно, как будто изнутри груди кто-то бил молотком,

Лаврентий Петрович отдышался и решительно перешагнул пространство, отделявшее его от постели о. дьякона, – полтора шага. Здесь ему снова пришлось передохнуть. Прерывисто и тяжело сопя носом, он положил руку на вздрагивающий бугорок, пододвинувшийся, чтобы дать ему место на постели, и просительно сказал:

– Не плачь. Ну, чего плакать? Боишься умирать?

Отец дьякон порывисто сдернул одеяло с головы и жалобно вскрикнул:

– Ах, отец!

– Ну, что? Боишься?

– Нет, отец, не боюсь, – тем же жалобным поющим голосом ответил дьякон и энергично покачал головой. – Нет, не боюсь, – повторил он и, снова повернувшись на бок, застонал и дрогнул от рыданий.

– Ты на меня не сердись, что я тебе давеча сказал, – попросил Лаврентий Петрович. – Глупо, брат, сердиться.

– Да я не сержусь. Чего я буду сердиться? Разве это ты смерть накликал? Сама приходит... – И отец дьякон вздохнул высоким, все подымающимся звуком.

– Чего же ты плачешь? – все так же медленно и недоуменно спрашивал Лаврентий Петрович.

Жалость к о. дьякону начала проходить и сменилась мучительным недоумением. Он вопросительно переводил глазами с темного дьяконова лица на его седенькую бороденку, чувствовал под рукою бессильное трепыхание худенько-

го тельца и недоумевал.

– Чего же ты ревешь? – настойчиво спрашивал он.

Отец дьякон охватил руками лицо и, раскачивая головой, произнес высоким, поющим голосом:

– Ах, отец, отец! Солнышка жалко. Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии, светит. За ми... за милую душу!

– Какое солнце? – Лаврентий Петрович не понял и рассердился на дьякона. Но тут же он вспомнил тот поток горячего света, что днем вливался в окно и золотил пол, вспомнил, как светило солнце в Саратовской губернии на Волгу, на лес, на пыльную тропинку и поле, – и всплеснул руками, и ударил ими себя в грудь, и с хриплым рыданием упал вниз на подушку, бок о бок с головой дьякона. Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне «белый налив», которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти. Звонкая тишина подхватывала их рыдания и вздохи и разносила по палатам, смешивая их с здоровым храпом сиделок, утомленных за день, со стонами и кашлем тяжелых больных и легким дыханием выздоравливающих. Студент спал, но улыбка исчезла с его уст, и синие мертвые тени лежали на его лице, неподвижном и в неподвижности своей грустном и страдающем. Немигающим, безжизненным светом горела электрическая лампочка, и белые высокие стены смотрели равнодушно и тупо.

Умер Лаврентий Петрович в следующую ночь, в пять часов утра. С вечера он крепко уснул, проснулся с сознанием, что он умирает и что ему нужно что-то сделать: позвать на помощь, крикнуть или перекреститься, – и потерял сознание. Высоко поднялась и опустилась грудь, дрогнули и разошлись ноги, свисла с подушки отяжелевшая голова, и размашисто скатился с груди массивный кулак. Отец дьякон услышал сквозь сон скрип постели и, не открывая глаз, спросил:

– Ты что, отец?

Но никто не ответил ему, и он снова уснул. Днем доктора уверили его, что он будет жить, и он поверил им и был счастлив: кланялся с постели одной головой, благодарил и поздравлял всех с праздником.

Счастлив был и студент и спал крепко, как здоровый. В этот день девушка приходила к нему, горячо целовала его и просидела дольше назначенного часа ровно на двадцать минут.

Солнце всходило.

5–16 февраля 1901 г.

Так было

1

Стояла на площади огромная черна башня с толстыми крепостными стенами и редкими окнами-бойницами. Построили ее для себя рыцари-разбойники, но время унесло их, и стала она наполовину тюрьмой для опасных и важных преступников, наполовину жилищем. Каждое столетие к ней пристраивали новые здания, прислоняя их к толстой стене и друг к другу; и мало-помалу превратилась она в целый городок на скале, с неровным лесом труб, башенок и острых крыш. Когда на западе светлело зеленоватое небо и в окнах кое-где, то высоко, то низко, зажигались огоньки, вся черная громада башни приобретала причудливые и фантастические очертания, и почему-то казалось, что у подножия ее не обыкновенная мостовая, а море, соленый безбрежный океан. И думалось о старом, давно умершем и забытом.

На башне были огромные старые часы, видимые издалека. Их сложный механизм занимал целый этаж, и наблюдал за ним одноглазый человек, которому было удобно смотреть в лупу. От этого он сделался часовщиком и долго возился с маленькими часами, прежде чем ему отдали большие. Тут он почувствовал себя хорошо и часто без надобности, днем и

ночью, заходил в комнату, где медленно двигались зубчатые колеса и рычаги и широкими плавными взмахами рассекал воздух маятник. Достигая вершины своего качания, маятник говорил:

– Так было.

Падал, поднимался к новой вершине и добавлял:

– Так будет. Так было – так будет. Так было – так будет. Такими словами передавал одноглазый часовщик однообразный и таинственный звук маятника; от близости с большими часами он сделался философом, как тогда говорили.

Над древним городом, где стояла башня, и над всею страню высоко поднимался один человек, загадочный владыка города и страны, и его таинственная власть – одного над миллионами – была так же стара, как и город. Назывался он королем и прозвище носил «Двадцатый», по числу своих одноименных предшественников, но это ничего не объясняло. Как никто не знал начала города, так не знал никто и начала этой странной власти, и, насколько хватало человеческой памяти, – в самом глубоком прошлом вырисовывался все тот же загадочный образ: одного, который повелевает миллионами. Была немая древность, над которой уже не имела власти человеческая память; но и она изредка раскрывала уста: роняла камень, маленькую плитку, исчерченную какими-то знаками, обломок колонны, кирпич из разрушенной стены – и в этих знаках уже была начерчена повесть об одном, который повелевает миллионами. Менялись титулы,

имена и прозвища, но образ оставался неизменным, как будто бессмертным. По тому, что король родился и умирал, как и все, по его виду, присущему всем людям, он был человеком; но когда представляли себе ту неизмеримую громаду власти и могущества, какими он обладал, то легче становилось думать, что он бог. Тем более что и бог всегда изображался похожим на человека, и это не нарушало его совсем особой, непостижимой сущности.

Двадцатый был король. Это значило, что он мог сделать человека счастливым и несчастным; мог отнять имущество, здоровье, свободу, самую жизнь; по его слову десятки тысяч людей шли на войну, убивать и умирать; во имя его творилось справедливое и несправедливое, доброе и злое, жестокое и милосердное. И его законы были не менее повелительны, чем законы самого бога; и еще тем он был велик, что бог никогда не меняет своих законов, а он мог менять свои постоянно. Далекий или близкий, он всегда стоял над жизнью; рождаясь – человек вместе с природою, городами и книгами находил короля; умирая – с природою, городами и книгами оставлял короля.

История страны, изустная и письменная, являла примеры королей великодушных, справедливых и добрых, и хотя на земле всегда существовали люди лучшие, чем они, все же казалось понятным, почему они повелевают. Но чаще случалось, что король был худшим на земле, лишенным добродетелей, жестоким, несправедливым, даже безумным, – но

и тогда оставался он загадочным, одним, который повелевает миллионами, и власть его возрастала вместе с преступлениями. Его все ненавидели и проклинали, а он один повелевал всеми ненавидящими и проклинаящими, – и эта дикая власть становилась загадкой, и к страху человека перед человеком присоединялся мистический ужас неведомого. И от этого происходило, что мудрость, добродетель и человечность ослабляли власть и делали ее спорной, а тирания, безумие и злость укрепляли ее. И от этого происходило, что творчество и добро бывали не под силу самому могущественному из этих загадочных владык, а в разрушении и зле самый слабый из них превосходил дьявола и все адские силы. Жизни он дать не мог, а смерть давал постоянно – этот таинственный ставленник безумия, смерти и зла; и тем выше бывал трон, чем больше костей клалось в основу его.

И в других соседних странах так же сидели на тронах владыки, и власть их терялась в бесконечности времен. Бывали годы и столетия, когда в каком-нибудь из государств исчезал таинственный владыка; но никогда еще не случалось, чтобы вся земля была свободна от них. А потом проходили столетия, и снова неведомо откуда появлялся в государстве трон, и снова сидел на нем некто загадочный, непостижимый в слиянии бессилия и бессмертного могущества. И загадочностью своею он очаровывал людей; во все времена встречались среди них такие, и их было много, которые любили его больше себя, больше, чем жен своих и детей, и покорно, как

из руки самого бога, без ропота и сожаления принимали от него и во имя его самую жестокую и позорную смерть.

Двадцатый и его предшественники редко показывались народу, и видели их немногие; но все они любили оделять народ своими изображениями, оставляя его на монетах, высекая из камня, запечатлевая на бесчисленных полотнах и всюду украшая его и совершенствуя художественным вымыслом. Нельзя было сделать шага, чтобы не увидеть лица – одного и того же, простого и загадочного лица, множественностью своею насильственно вторгавшегося в память, покрывшего воображение, приобретающего мнимое вездусущее, как уже было приобретено бессмертие. И от этого люди, плохо помнившие своего деда, совсем не знающие лица прадеда, хорошо знали лицо владыки, бывшего сто, двести, тысячу лет назад. И от этого, как ни просто, бывало лицо одного, повелевающего миллионами, на нем всегда лежала печать тайны и страшной загадки: так кажется всегда загадочным и значительным лицо мертвого, ибо сквозь его привычные знакомые черты глядит сама таинственная и могущественная смерть.

Так высоко стоял над жизнью король. Люди умирали, и в земле исчезали целые роды, а у него только менялись прозвища, как кожа у змеи; за одиннадцатым шел двенадцатый, потом пятнадцатый, потом снова первый, пятый, второй, и в этих холодных числах звучала неизбежность, как в движении маятника, отмечающего минуты:

– Так было – так будет.

2

И случилось, что в обширном королевстве, владыкою которого был Двадцатый, произошла революция – столь же таинственное восстание миллионов, как таинственна была власть одного. Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно, – как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы. Все тот же был трон и дворец, все тот же Двадцатый – а власть незаметно умерла, и никто не знал часа ее смерти, и все думали, что она только больна. Народ потерял привычку повиноваться, и только, – и сразу из множества отдельных, маленьких, незаметных сопротивлений выросло огромное, непобедимое движение. И как только перестал он повиноваться, сразу открылись все его старые, многовековые язвы, и с гневом он почувствовал голод, несправедливость и гнет. И закричал о них. И потребовал справедливости. И вдруг стал на дыбы – огромный взъерошенный зверь, одною минутою свободного гнева мстящий укротителю за все годы унижений и пыток.

Как не уговаривались миллионы, чтобы подчиняться, так не уговаривались они и для того, чтобы восстать; и сразу отовсюду потекло ко дворцу восстание. Удивляясь самим себе и своим делам, позабывая пройденный путь, люди все бли-

же подбирались к трону – уже ощупывали руками его резьбу и позолоту, уже заглядывали в королевскую спальню и пробовали сидеть на королевских стульях. Король кланялся, и королева улыбалась, и многие из народа умиленно плакали, глядя так близко на Двадцатого; женщины гладили осторожными пальцами бархат кафтана и шелк королевского платья; мужчины с добродушной суровостью забавляли королевского ребенка.

Король кланялся, бледная королева улыбалась, а из соседнего покоя вползала из-под дверей черная струйка крови заколовшегося дворянина: он не вынес зрелища, когда к кафтану короля прикоснулись чьи-то грязные пальцы, и убил себя. И, расходясь, кричали:

– Да здравствует Двадцатый!

Кое-кто морщился; но было так весело, что и он забывал досаду и со смехом, как на карнавале, когда венчают на царство пестрого шута, начинал вопить:

– Да здравствует Двадцатый!

Смеялись. А к вечеру – сумрачные лица и подозрительность во взорах: как могли они поверить тому, кто уже тысячи лет с дьявольской хитростью обманывает свой доверчивый и добрый народ? Во дворце темно; огромные окна блещут фальшиво и смотрят мрачно: там задумывают что-то. Там колдуют. Там заклинают тьму и вызывают из нее палачей на голову народа; там брезгливо вытирают рот после предательских поцелуев и моют ребенка, которого осквернил сво-

им прикосновением народ. Быть может, там нет никого. Быть может, в огромных и черных залах только заколовшийся дворянин – и пустота: они исчезли. Нужно кричать, нужно вызывать его сюда, если только там есть кто-нибудь живой.

– Да здравствует Двадцатый!

Бледное, смятенное небо вечера смотрит на бледные лица, подтянутые кверху; торопливо бегут, распластавшись, испуганные облака, и фальшиво, загадочно-мертвым светом блистают огромные окна.

– Да здравствует Двадцатый!

Смятый часовой колышется в толпе; он потерял ружье и улыбается; как в лихорадке, звякает прерывисто замок на железных дверях; на высоких железных прутьях ограды выросли черные чудовищные плоды, скорченные туловища, протянутые руки, что-то бледное от неба и черное от земли. Несется груда облаков, заглядывающих вниз. Крики. Кто-то зажег факел, и окна дворца затуманились, налились кровью и придвинулись к толпе. Что-то заползало по стенам и уходит на крышу. Замок молчит. Решетка вся обросла людьми и вдруг исчезла, и стало ровно – народ движется.

– Да здравствует Двадцатый!

За окнами забегали бледные огни. Чье-то уродливое лицо прижалось к стеклу и пропало. Все светлеет. Огни растут, множатся, движутся назад и вперед, похоже на странную пляску или процессию. Потом огни теснятся, кланяются – и на балкон выходят король и королева. Сзади их свет, но лица

темны, и, может быть, это не они.

– Огня! Двадцатый, огня! Тебя не видно!

Брызнули огнем факелы по бокам, и в дымной пещере выступили два багровых колеблющихся лица. Вопли в дальних рядах:

– Это не они! Король бежал!

Но ближайšie уже кричат с радостью минувшего испуга:

– Да здравствует Двадцатый!

Багровые лица медленно движутся вверх и вниз, то озаряясь ярким красным огнем, то расплываясь в тенях; это они кланяются народу. Это кланяются народу девятнадцатый, четвертый, второй; это кланяются в багровом дыму те загадочные существа, у которых так много непонятной, почти божеской власти, и за ними в глубину такого же багрово-дымного прошлого уходят убийства, казни, величие, страх. Нужно, чтобы он заговорил, нужен человеческий голос; когда он молит и кланяется своим огненным лицом, на него страшно смотреть, как на вызванного из преисподней дьявола.

– Говори, Двадцатый! Говори!

Станный жест рукою, призывающий к молчанию, – странный, повелительный жест, такой древний, как сама власть; и тихий незнакомый голос, роняющий в толпу древние, странные слова:

– Я рад видеть мой добрый народ.

И только? Но разве этого мало? Он рад! Двадцатый рад.

Не сердись на нас, Двадцатый. Мы любим тебя. Двадцатый, люби и ты нас. Если ты нас не будешь любить, мы снова придем к тебе в кабинет, где ты работаешь, в столовую, где ты ешь, в спальню, где ты спишь, и заставим полюбить себя.

– Да здравствует Двадцатый! Да здравствует король! Да здравствует господин!

– Рабы!

Кто сказал: рабы? Тухнут факелы. Они уходят. Обрато движутся бледные огни, и окна темнеют, туманятся, наливаются кровью и кого-то ищут в толпе. Бегут, озираясь, облака. Был он здесь, или это только пригрезилось? Нужно бы пощупать его, коснуться руками его одежды, его лица: пусть бы он закричал от испуга или от боли.

Расходятся молча, теряя отдельные вскрики в нестройном топоте ног, полные темных воспоминаний, предчувствий и ужаса. И всю ночь реют над городом страшные сны.

3

Он уже пробовал бежать. Он очаровал одних, он усыпил других, и уже близок он был к своей дьявольской свободе, когда верный сын родины узнал его под личиною грязного слуги. Не доверяя памяти, он взглянул на монету с изображением того – и зазвонили тревожно колокола, и дома выбросили испуганных, бледных людей: это он! Теперь он в башне, огромной черной башне, у которой толстые стены и маленькие оконца; и стерегут его верные сыны народа, недоступные подкупу, лести и очарованию. Чтобы не было страшно, стражи пьют, и смеются, и пускают дым из трубок прямо ему в лицо, когда со своим отродьем выходит он на тюремную прогулку; чтобы он не мог очаровать проходящих, они толстыми досками закрыли снизу окна, обвели верх башни, по которому он изредка гуляет, и только бродячие облака, озираясь, заглядывают ему в лицо. Но он сильнее. Свободный смех он превращает в раболепные слезы; сквозь толстые стены она сеет измену и предательство, и черными цветами они всходят в народе, пятная золотой покров свободы, как шкуру хищного зверя. Всюду изменники и враги. К границам, сползшие со своих тронов, собираются такие же могущественные владыки и приводят орды диких, одураченных людей, матереубийц, пришедших убивать мать свою, свободу. В домах, на улицах, в загадочной дали лесов и деревень, в

горных чертогах народного собрания – всюду шипит измена и черною тенью скользит предательство. Горе народу! Ему изменили те, кто первый поднял знамя восстания, и их мерзкий прах уже выброшен из обманутых гробниц, и их черная кровь уже напитала землю. Горе народу! Ему изменили те, кому он отдал душу; ему изменяют избранники, у которых честные лица, неподкупно-строгие речи и карманы, полные чьего-то золота.

Уже обыскивали город. Предписано было, чтобы к двенадцати часам дня все находились в своих жилищах; и, когда в назначенный час зазвонил колокол, его зловещие звуки гулко покатались по опустевшим безмолвным улицам. С тех пор как стоял город, не бывало в нем такой тишины; безлюдие у фонтанов, закрыты магазины, по всей улице от одного конца ее до другого – ни одного прохожего, ни одного экипажа. Скользят у молчаливых стен встревоженные, изумленные кошки: они не понимают – день это или ночь; и так тихо, что, кажется, слышен бархатный стук их перебегающих лапок. Редкие удары колокола проносятся вдоль улиц, как невидимые черные метлы, и точно выметают город. Скрылись и кошки, испуганные чем-то. Безлюдье, тишина.

И на всех улицах показываются одновременно небольшие кучки вооруженных людей. Они разговаривают громко и свободно топают ногами, и хотя их мало, кажется, что от них больше идет беспокойного шума, чем производит его весь город, когда движутся в нем сотни тысяч людей и эки-

пажей. Каждый дом поочередно проглатывает их и снова выбрасывает, и вместе с ними выбрасывает одного-двух бледных от злости или красных от гнева людей. Они идут, презрительно заложив руки в карманы, – в эти странные дни никто не боялся смерти, даже изменники, – и пропадают в черной глубине тюрем. Десять тысяч изменников нашли верные сыны народа; десять тысяч предателей нашли они и ввергли в тюрьмы. Теперь на тюрьмы приятно и страшно взглянуть: так полны они, снизу доверху, измены и гнусного предательства. Того и гляди, не выдержат и развалятся стены.

И в этот вечер было в городе ликование. Опустели снова дома, и снова наполнились улицы, и черная безграничная толпа закопошилась в странном, одуряющем танце, сплетении резких и неожиданных движений. Танцевали с одного конца города до другого. У редких фонарей, как пенный прибой у скалы, светились отдельные всплески, переплетшиеся руки, лица, горящие смехом, большие глаза – все кружащееся, исчезающее, меняющееся; а дальше, в глубине, неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздельное, то крутящееся, как водоворот, то бегущее стремительно, как течение. На одном из фонарей болтался кто-то повешенный, какой-то изменник, которому не удалось дойти до тюрьмы. Его вытянутых ног, жадно стремящихся к земле, касались головы танцующих, и от этого казалось, что он сам танцует, что он и есть главный дирижер, управляющий танцами.

Потом ходили к черной башне и, задрав головы, кричали в толстые стены:

– Смерть Двадцатому! Смерть!

В бойницах светились теплые огоньки: то верные сыны народа сторожили тирана. И успокоенные, уверенные, что он здесь и не может убежать, кричали больше в шутку, чтобы напугать:

– Смерть Двадцатому!

И уходили, давая место новым крикунам. А ночью снова реяли над городом страшные сны, и, как проглоченный и не исторгнутый яд, жгли его внутренность черные башни и тюрьмы, распертые изменою и предательством.

И уже убивали изменников. Наточили сабель, топоров и кос; набрали толстых поленьев и тяжелых камней и двое суток работали в тюрьмах, изнемогая от усталости. Тут же и спали, где придется; тут же пили и ели. Земля уже не принимала жирной крови, и пришлось набросать соломы, но и она промокла, превратилась в коричневый навоз. Семь тысяч было убито. Семь тысяч изменников ушли в землю, чтобы очистить город и дать жизнь молодой свободе.

Опять ходили к Двадцатому и носили ему напоказ отрубленные головы и вырванные из груди сердца. И он смотрел на них. А в народном собрании царили смятение и ужас: искали приказавшего убивать и не находили его. Но кто-то приказал. Не ты? Не ты? Но кто же смеет приказывать там, где властью пользуется одно лишь народное собрание? Некото-

рые улыбаются – они что-то знают.

– Убийцы!

– Нет! Но мы жалеем родину, а вы жалеете изменников.

Но покой не приходит, и измена растет, и множится, и забирается в самое сердце народа. Столько принято страданий, столько пролито крови – и все напрасно! Сквозь толстые стены он, таинственный владыка, продолжает сеять измену и очарование. Горе свободе! С запада приходят страшные вести о страшных раздорах – о битвах, об отколовшейся части безумного народа, с оружием поднявшегося на мать свою свободу. С юга несутся угрозы; с севера и востока все ближе подступают сползшие с тронов своих загадочные владыки и их дикие орды. Откуда бы ни шли облака, они напитаны дыханием врагов и изменников; откуда бы ни дул ветер, с севера или с юга, с радостью отдается в ухе того, кто заключен в башне, и погребальным звоном в ушах граждан. Горе народу! Горе свободе! Луна по ночам ярка и блестяща, как над развалинами, а солнце каждый вечер заходит в туман, и его душат черные наплывающие тучи, горбатые, уродливые, чудовищные. Наседают, душат и вместе, одной багровой грудой, проваливаются за горизонт. Недавно ему удалось на минуту прорваться сквозь тучи – и какой это был печальный, и страшный, и испуганный луч! Торопливый и нежный, он прижался к вершинам деревьев, домов и церквей, взглянул большими яркими и страшными глазами – потемнел, растаял, угас, и точно горный взьерошенный хребет опрокинулась

туча в далекий океан, унося с собою солнце. Горе народу!
Горе свободе!

А на башне одноглазый часовщик, которому так удобно смотреть в лупу, ходит между колесами и колесиками, между рычажками и канатами и, склонив голову набок, смотрит на движение огромного маятника.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

Однажды, когда он был еще молод, часы испортились и остановились на целых двое суток. И это было так страшно: как будто все время сразу начало падать куда-то, всею незримую массу. А когда часы поправили, стало опять хорошо: теперь время плывет сквозь пальцы, падает по капельке; режется на маленькие кусочки, отпадает по вершочку. Медный огромный диск тускло поблескивает при движении, мелькая желтым в прищуренном глазу, и голубь воркует где-то на карнизе.

– Так было – так будет. Так было – так будет.

Уже была низвергнута тысячелетняя монархия. Поименного голосования не нужно было: поднялись все, кто был в народном собрании, и сверху донизу оно наполнялось стоящими, как будто выросшими людьми. Поднялся и тот большой депутат, которого принесли в кресле: поддерживаемый друзьями, он выпрямил старые, разбитые параличом ноги и встал, похожий на высокий высохший пенёк, поддерживаемый двумя молодыми деревцами.

– Республика принята единогласно, – говорит кто-то звонким голосом, ликование которого он напрасно старается сдержать.

Но все стоят. Проходит минута, другая; уже на площади, полной ожидающего народа, поднялся громоподобный, радостный рев – а здесь молчание и тишина, как в церкви, и суровые, величаво-серьезные люди, застывшие в позе гордого почтения. Перед кем стоят они? Короля уже нет; нет и бога, этого короля и тирана неба, – уже давно низвергнут и он с своего небесного престола. Они стоят перед свободой. Старый депутат, у которого много лет старческой дрожью дрожала голова, теперь держит ее молодо и гордо; вот легким движением руки он отстранил друзей – он стоит один, – свобода совершила чудо! Уже давно отвыкли плакать эти люди, живущие среди бурь мятежа и крови, а теперь они плачут.

Жестокие орлиные глаза, спокойно, не мигая смотревшие на кровавое солнце революции, не выдержали мягкого блеска свободы – и плачут.

Молчание в зале. Гул за окнами. Вырастая в силе и обширности, он теряет остроту; ровный и могучий, он напоминает гул безбрежного океана. Теперь все эти люди свободны. Свободен умирающий, свободен рождающийся, свободен живущий. Рухнула таинственная власть одного, тысячу лет державшего в оковах миллионы, распались черные своды тюрьмы – и ясное небо над головою.

– Свобода! – шепчет кто-то тихо и нежно, как имя возлюбленной.

– Свобода! – говорит кто-то, задыхаясь от безмерной радости, весь стремление, весь вдохновение и полет.

– Свобода! – звучит железо.

– Свобода! – поют струны.

– Свобода! – грохочет многоголосый океан. Он умер, старый депутат. Не выдержало сердце его безмерной радости и остановилось, и последним биением его было: свобода. Счастливейший из людей! В могильную таинственную сень он унесет с собой бесконечный сон о молодой свободе.

Ожидали в городе безумств, но их не было. Дыхание свободы облагородило людей, и они стали кротки, и нежны, и целомудренны в проявлениях радости, как девушки. Даже не плясали. Даже не пели почти. Только глядели друг на друга, только ласкали друг друга осторожным прикосновением

рук: так приятно ласкать свободного человека и глядеть в его глаза! И никого не повесили. Нашелся безумец, который крикнул в толпе: «Да здравствует Двадцатый!» – закрутил усы и приготовился к короткой борьбе и длительной агонии в смертоносных объятиях расвирепевшего народа. И некоторые уже нахмурились, но другие, большинство, только удивились и с любопытством начали разглядывать крикнувшего, как на пристани толпа зевак рассматривает привезенную из Бразилии обезьяну.

И отпустили его.

О Двадцатом вспомнили только поздней ночью. Кучка граждан, никак не могших расстаться с этим великим днем и решивших бродить до рассвета, случайно вспомнила о Двадцатом и направилась к башне. Черная, она почти сливалась с небом и в тот момент, когда подошли граждане, глотала какую-то звезду. Маленькая, яркая звездочка подошла близко, сверкнула – и пропала в темном пространстве. Довольно низко над землею тепло светились два маленьких оконца: то бодрствовали стражи.

Пробило два часа.

– Знает он или нет? – сказал один из пришедших, тщетно всматриваясь в черную громаду и пытаясь разгадать ее. От стены отделился какой-то темный силуэт, и вялый, утомленный голос ответил:

– Он спит, граждане.

– Кто вы, гражданин? Вы испугали меня: вы ходите тихо,

как кошка.

С разных сторон придвинулись еще несколько темных силуэтов и молча остановились перед пришедшими.

– Что же вы не отвечаете? Если вы призрак, то поскорее проваливайтесь: собрание отменило привидения.

Так же вяло неизвестный ответил:

– Мы сторожим тирана.

– Вас назначила коммуна?

– Нет. Мы сами. Нас здесь тридцать шесть человек. Было тридцать семь, но один умер. Мы сторожим тирана. Два месяца, может быть, больше, мы живем у этих стен. Мы устали.

– Нация благодарит вас. Вы знаете, что произошло сегодня?

– Да, мы слышали что-то. Мы сторожим тирана.

– Что теперь республика – свобода?

– Да. Мы сторожим тирана. Мы устали.

– Поцелуемтесь, братья!

Холодные губы вяло прикоснулись к горячим устам.

– Мы устали. Он так лукав и опасен. Мы день и ночь смотрим во все окна и двери. Я смотрю вон в то окно: вы его сейчас не найдете. Так вы говорите: свобода? Это хорошо. Но нам нужно идти на свои места. Будьте спокойны, граждане: он спит. Мы получаем сведения через каждые полчаса. Он спит.

Силуэты закачались – отодвинулись – пропали, точно ушли в стену. Черная башня стала как будто еще выше, и от

левого зубца к городу протянулась такая же темная бесформенная туча. Казалось, что башня растет и протягивает руки. В сплошном мраке стены вдруг вспыхнул огонь и погас – что-то похожее на сигнал. Туча протянулась над городом и пожелтела от зарева огней; заморосил дождь. Было тихо и беспокойно.

Вправду ли он спит?

Прошло еще несколько дней в новых и сладостных ощущениях свободы – и снова, как черные жилы в белый мрамор, всюду протянулись темные нити недоверия и страха. С подозрительным спокойствием тиран принял весть о своем низложении – как может быть спокоен человек, лишаемый царства, если только не задумал он чего-то страшного? И как может быть спокоен народ, если в среде его живет некто загадочный, одаренный пагубной силой очарования? Низверженный, он продолжает быть страшным; заключенный, он свободно проявляет свою дьявольскую власть, возрастающую на расстоянии. Так земля, темная вблизи, кажется яркою звездой, если смотреть на нее из глубины синего пространства. Да и вблизи – над его страданиями плачут. Видели женщину, целовавшую руку у королевы; видели стража, смахнувшего с глаз слезу, слышали оратора, призывавшего к милосердию. Как будто даже теперь он не счастливее тысяч людей, которые никогда не видали света и которых снова и снова хотят принести ему в жертву. Кто поручится, что завтра же стража не вернется к старому безумию и на коленях не поползет умолять его о прощении и снова не воздвигнет трона, разрушенного с таким трудом, с такою болью!

Ощетинившись от ярости страха, многомиллионный народ прислушивается к речам народного собрания. Странные

речи, пугающие слова! О его неприкосновенности говорят – о том, что он неприкосновенен, что его нельзя судить, как судят всех, что его нельзя наказывать, как наказывают всех, что его нельзя умертвить, потому что он король. Следовательно, короли еще существуют! И говорят это, клянясь в любви к народу и свободе, говорят люди испытанной честности, ненавистники тирании, сыны народа, вышедшие из глубины недр его, истерзанных беспощадною и святотатственною властью королей. Зловещая слепота!

Уже большинство склоняется на сторону низложенного: словно желтый туман, идущий от башни, ворвался в святые чертоги народного разума, и слепит ясные очи, и душит молодую свободу – молодую невесту в белых цветах, обретшую смерть в час брачного торжества. Тоска и отчаяние закрадываются в сердца, и много рук судорожно нащупывают оружие: лучше умереть вместе с Брутом, чем жить с Октавианом.

Последние возгласы, полные смертельного негодования:

– Вы хотите, чтобы в стране был только один человек и тридцать пять миллионов скотов!

Да, они хотят. Они молчат, потупив глаза, они устали бороться, устали желать – и в их утомлении, в их потягиваниях и зевках, в их бесцветных, но магически действующих холодных речах уже чудятся очертания трона. Отдельные возгласы – тусклые речи – и слепое молчание единогодушного предательства. Гибнет свобода, бедная невеста в белых цве-

тах, обретшая гибель в час брачного торжества.

Но – чу! Слышен топот. Идут. Словно десятки гигантских барабанов отбивают густую тревожную дробь. Трам-трам-трам. Идут предместья. Трам-трам-трам. Идут защищать свободу! Рам-рам-рам. Горе изменникам. Трам-трам-трам. Горе предателям!

– Народ просит разрешения пройти перед собранием.

Но разве можно удержать падающую лавину? Кто осмелится сказать землетрясению: досюда земля твоя, а дальше не трогай!

Распахиваются двери: вот они, предместья! Землистые лица. Обнаженные груди. Бесконечная фантастика разноцветного тряпья, заменяющего одежду. Восторг порывистых, несдержанных движений. Зловещая стройность беспорядка; марширующий хаос. Трам-трам-трам. Глаза, горящие огнем. Пики, косы, трезубцы. Колья из ограда. Мужчины, женщины и дети. Трам-трам-трам.

– Да здравствуют представители народа! Да здравствует свобода! Смерть изменникам!

Депутаты улыбаются, хмурятся, приветливо кланяются. Голова кружится от этого пестрого бесконечного движения: как будто стремительная река пробегает в пещере. Все лица становятся похожи на одно; все крики сливаются в один сплошной однообразный гул; топот ног делается похож на стук дождя по крыше – усыпляющий, парализующий волю, внедряющийся в сознание. Гигантская крыша, гигантские

капли.

– Там-там-там.

Идут час, идут два и три. По-видимому, уже наступила ночь. Чадят багрово-красные огни. Оба отверстия – и то, откуда народ вливается, и то, откуда он пропадает, – черны, как две раскрытые пасти: словно черная, отливающая медью и железом лента продергивается из одной в другую. Утомленные глаза рисуют миражи. То бесконечный ремень; то огромный, распухший, волосатый червяк; тем, кто сидит над дверью, кажется, что они на мосту и они начинают плыть. Минутами ясное и необыкновенное живое сознание: так это народ! И гордость, и чувство силы, и жажда великой, еще не виданной свободы. Свободный народ – какое счастье!

– Трам-трам-трам!

Уже восемь часов идут они, и еще не видно конца. С обеих сторон – и с той, откуда народ является, и с той, куда он пропадает, – гремит революционная песня. Слова едва слышны; отчетливо выделяются только музыкальные такты, падения и подъемы, мгновенная тишина и грозные взрывы. К оружию, граждане! Собирайтесь в батальоны! Идем – идем!

Идут.

Голосования не нужно. Еще раз спасена свобода.

Настал великий день суда над королем. Таинственная власть, древняя, как мир, должна дать ответ народу, который она поработала тысячи лет, миру, который она позорила, как торжествующая бессмыслица. Лишенная шутовских погрешек и золоченого трона, лишенная громких титулов и всех этих странных символов власти – обнаженная, предстанет она перед народом и даст ясный ответ: почему она была властью, что дало ему силу и право повелевать миллионами и, в лице одного, безнаказанно творить зло и насилие, лишать свободы, причинять смерть и поранения? Двадцатый осужден заранее совестью всего народа; пощады ему нет и не может быть – но пусть перед казнью он откроет свою таинственную душу, пусть ознакомит людей не с делами своими – они всем известны, – но с мыслями и чувствами царей. Мифический дракон, пожиривший девушек и в ужасе державший страну, связан цепями, притащен на городскую площадь, и сейчас увидят люди его чешуйчатую спину, его раздвоенный язык, его жестокую пасть, дышащую огнем.

Чего-то боялись. Уже с ночи по тихим улицам двигались в разные стороны войска, заливая площади, подъезды, одевая весь путь короля щетиной штыков, стеною сумрачных торжественно-строгих лиц. Над черными силуэтами зданий и церковей, острых, квадратных, странно неопределенных в

предутреннем сумраке, слабо засветилось желтоватое облачное небо, холодное городское небо, старое, как дома, покрытые копотью и ржавчиной. Точно гравюра в одной из темных зал старого рыцарского замка.

Город спал в суровом ожидании великого и страшного дня, а по улицам, сдерживая грузный топот ног, тихо двигались стройные массы граждан, превращенных в солдат, с наглым грохотом, опустив подбородки к земле, проползали пушки, и у каждой мерцал красноватый огонек фитиля. Командовали отрывисто, вполголоса, почти шепотом – точно боялись разбудить кого-то, кто спит ненадежно и чутко. Боялись ли за короля, за его безопасность, или боялись самого короля – этого не знал никто: но все знали, что нужно подготовиться, нужно вызвать и собрать всю силу, какая есть у народа.

Долго не разгорался день; желтые сплошные облака, пушистые, грязные, точно смазанные мокрой тряпкой, угрюмо висели над колокольнями; и только в тот момент, когда король выходил из башни, в голубом прорыве вспыхнуло солнце. Счастлирое предзнаменование для народа, грозное предостережение тирану.

Везли его так: в узком коридоре из сплошной неразрывной линии войск двигались вооруженные отряды: один, другой, десятый – нельзя сосчитать; потом пушки: грохочут, грохочут; потом в тесных объятиях ружей, сабель и штыков еле движется темная карета. И снова пушки и отряды. И

на всем многоверстном пути, и впереди кареты, и сзади, и вокруг нее – тишина. В одном месте на площади раздался неуверенный крик нескольких голосов:

– Смерть Двадцатому!

Но, не подхваченный толпою, разрозненно смолк. Так в облаве на кабана тьявкают только шавки, а не те, кто будет терзать и будет растерзан, накапливая ненависть и силу.

В собрании сдержанный шум и разговоры. Уже несколько часов ждут они так медленно ползущего тирана и в возбуждении расхаживают по коридорам, ежеминутно меняют места, смеются без повода, болтают оживленно о чем-то. Но многие сидят неподвижно, в позе каменных изваяний – на камень они похожи и лицами своими. Молодые лица, но старые глубокие морщины, точно порубленные топором; жесткие волосы; глаза, то зловеще ушедшие в глубину черепа, то напряженно выдвинутые вперед, широкие, многообъемлющие, как будто лишённые ресниц – факелы в черных нишах тюремной ограды. Нет в мире страшного, на что не могли бы бестрепетно взглянуть эти глаза; нет в мире жестокого, печального, призрачно-смутного, перед чем дрогнул бы этот взор, добела раскаленный в горниле революции. Те, кто первый начал это великое движение, давно умерли, рассеяны по земле, забыты; забыты их мысли, чаяния и мечты. Бывалый гром их речей кажется побрякушкой в руках ребенка; их великая свобода, о которой они мечтали, кажется постелью для детей с тонким пологом от мух и яркого света

дня. Маленькие, странные люди, пигмеи, подточившие гору. А эти – взрощенные среди бурь и живые в бурях; любимые дети грозных дней – окровавленных голов, которые носят на пиках, как тыквы: мясистых, губчатых сердец, из которых выжимают кровь; могучих, титанических речей, где слово острее кинжала и мысль беспощадней, чем порох. Покорные только воле державного народа, они вызвали призрак таинственной власти – и сейчас, холодные, как ученые-анатомы, как суды, как палачи, они исследуют его голубое сияние, пугающее невежд и суеверцев, разнимут его призрачные члены, найдут черный яд тирании и предадут его последней казни.

Вот стихает шум за стенами, и тишина становится глубокой и черной, как ночное небо; вот громыауют, приближаясь, пушки. Смолкают. У входа легкое движение. Все сидят – они должны встретить тирана сидя. Стараются казаться равнодушными. Грузный топот распределяемых по зданию отрядов, тихое бряцание оружия. За стенами догромыаивают последние пушки. Железным кольцом облегают они здание, жерлами наружу, навстречу всему миру – западу и востоку, северу и югу.

Вошло что-то маленькое.

С верхних, отдаленных скамей – это толстенький, низенький человечек с быстрыми, но неуверенными движениями. Вблизи – это среднего роста толстяк с большим, побагровевшим от холода носом, обвисшею кожею на щеках, маленьки-

ми тусклыми глазками – выразительная смесь добродушия, ничтожества и глупости. Он ворочает головою, не зная, кланяться ему или нет, и слегка кланяется; стоит нерешительно на раздвинутых ногах, не зная, можно ему сесть или нет. Все молчат, но сзади стоит стул, по-видимому, для него, и он садится сперва немного, потом больше, потом принимает величественную позу. По-видимому, у него насморк. Торопливо вытаскивает платок и с наслаждением сморкается в два приема, каждый раз издавая носом резкий трубный звук. Оправляется, прячет платок и величественно замирает. Он готов.

Это и был Двадцатый.

Ожидали короля, а явился шут. Ожидали дракона, а пришел носатый буржуа с носовым платком. Смешно, и странно, и немного жутко. Уж не произошло ли подмены?

– Это я – король, – говорит Двадцатый.

Да, это он: какой смешной! Вот так король! Улыбались, пожимали плечами, еле сдерживая смех, и посылали друг другу с конца в конец насмешливые улыбки и приветливые жесты, и точно спрашивали:

– Хорош?

Депутаты – те были очень серьезны, ужасно серьезны, даже бледны; вероятно, их подавляла ответственность, но народ тихо веселился. Как удалось ему пробраться в собрание? Так же, как проходит вода: он просочился – в высокие окна, в какие-то щели, чуть ли не в замочные скважины. Сотни оборванных, пестро и фантастических одетых, но чрезвычайно приветливых и вежливых незнакомцев. Тесня депутата, они спрашивают:

– Я не помешаю вам, гражданин?

Очень вежливы. Целыми темными гнездами, как птицы, они лепятся на подоконниках, загораживая свет, и что-то телеграфируют руками вниз, на площадь. По-видимому, что-то смешное.

Но депутаты были серьезны, очень серьезны, даже блед-

ны. Как увеличительные стекла, они наводят свои выпуклые глаза на Двадцатого, смотрят долго и странно – и хмуро отворачиваются. Некоторые совсем закрыли глаза: видимо, им противно смотреть на тирана.

– Гражданин депутат! – с веселым ужасом шепчет один из приветливых незнакомцев. – Вы посмотрите, как горят глаза у тирана.

Не поднимая опущенных век:

– Да.

– Как он упился нашей кровью!

– Да.

– Однако вы не из болтливых, гражданин!

Молчание. А внизу уже бормочет что-то Двадцатый. Он не понимает, в чем можно его обвинить. Он всегда любил свой народ, и народ любил его. И теперь он любит народ, несмотря на все оскорбления, и если думают, что народу лучше республика, то пусть республика: он ничего против этого не имеет.

– Но зачем же тогда ты призвал других тиранов?

– Я их не звал, они сами пришли.

Ответ лживый: найдены в тайнике документы, устанавливающие факт переговоров. Но он запирается – грубо и глупо, как первый попавшийся пройдоха, уличенный в мошенничестве. Он даже обижается: в сущности, он всегда думал только о народе. Неправда, что он жесток, – он всегда миловал кого можно было помиловать; неправда, что он разо-

рил государство, – он тратил на себя так мало, как всякий небогатый гражданин. Он никогда не был ни развратником, ни мотом. Он любит греческих и латинских классиков и столярное мастерство; в его рабочем кабинете вся мебель сделана его руками.

Это правда. Да если всмотреться, то и вид он имеет скромного буржуа: таких толстяков с большими носами, издающими трубный звук, много можно встретить по праздникам на реке, где они целыми часами ловят рыбу. Ничтожные, смешные люди с большими носами.

Но ведь он же был король! Что же это значит? Тогда всякий может быть королем; тогда безграничным повелителем над людьми может стать и горилла? И ей воздвигнут золоченый трон, и ей будут воздавать божеские почести, и она будет устанавливать законы жизни для людей – горилла с волосатым телом, жалкий пережиток, шатающийся по лесам.

Уже кончается короткий осенний день, и народ начинает выражать нетерпение: зачем так долго возятся с тираном? Уж не новая ли измена? В полутемной комнате, где тихо, встречаются два представителя, ушедших из собрания. Они присматриваются, узнают друг друга и молча ходят рядом, почему-то избегая прикосновений. Ходят.

– Но где же тиран? – внезапно вспыхивает один и схватывает другого за плечо. – Скажи мне, где тиран?

– Не знаю. Мне стыдно идти туда.

– Ужасные мысли! Неужели ничтожество и есть тирания?

Неужели ничтожные и есть тираны?

– Не знаю. Мне стыдно.

Было тихо в маленькой комнате, но отовсюду – со стороны собрания, с площади, где толпился народ, – приносился ровный гул. Быть может, каждый говорил тихо, а вместе получался стихийный грохот, подобный грохоту далекого океана. На стенах забегали красные полосы и пятна – по-видимому, внизу, за окнами зажгли факелы. Где-то поблизости послышался грозный топот ног и тихое бряцание оружия: сменяли караулы. Кого они караулят: неужели этого?

– Его нужно выбросить из страны.

– Нет. Народ не позволит. Его нужно убить.

– Но ведь это же будет новый обман.

Багровые пятна прыгают по стене, ползут и мечутся смутные дымчатые тени: словно в неясном сне проходят кровавые дни прошлого и настоящего – и нет им конца. Гул на площади растет; уже чудятся отдельные вскрики.

– Первый раз в жизни я почувствовал сегодня страх.

– И отчаяние. И стыд.

– И отчаяние. Дай мне руку, брат. Какая холодная!.. Здесь, перед лицом неведомой опасности, в минуту великого стыда поклянемся, что не мы предадим несчастную свободу. Мы погибнем, я это почувствовал сегодня, но погибая, крикнем: «Свобода! Свобода, братья!» Так крикнем, чтобы весь мир рабов содрогнулся от ужаса. Крепче жми руку, брат!

Было тихо, и багровые пятна вспыхивали на стенах, и

дымные молчаливые тени двигались куда-то, а за окнами все яростнее грохотала бездна. Словно сорвался страшный ветер – с севера и юга, с запада и востока – и поднял страхом трепещущую массу. Обрывки песен – вой, – и в хаосе звуков огромными зубчатыми черными линиями выведенное слово.

– Смерть!.. Смерть тирану!

Они стояли, и слушали, и думали о чем-то. Время уходило, а они все стояли, неподвижные среди беснующихся теней огня и дыма, и казалось, что уже тысячи лет стоят они. Тысячи прозрачных лет окружали их великим и грозным молчанием вечности, а тени бесновались, а крики поднимались, и падали, и подходили к окнам, как вздыбившаяся вода. Минутами ясно можно было уловить загадочный и жуткий ритм волны и грохот обрушивающегося прибоя.

– Смерть! Смерть тирану!

Шевельнулись.

– Что же, пойдём туда.

– Пойдем. Глупец! Я думал, что сегодняшней день кончит борьбу с тиранией.

Она только еще начинается. Идем!

Темные коридоры, ступени каменных лестниц, какие-то совсем безмолвные, прохладные залы, глухие, как погреб, – и внезапно блеснул свет, пахнуло жаром, как из раскаленного горна, застучал в уши частый говор, бессвязный и общий, как будто сотни попугаев в клетках наперебой говорили каждый свое. Еще одна раскрытая низенькая дверь – и

под ногами огромная яма, пестро унизанная головами, полутемная, чадная: задыхающиеся без воздуха красные язычки света. Где-то говорят, рукоплескания; по-видимому, кончил.

На дне провала, среди двух оплывающих свеч – фигурка Двадцатого. Он вытирает лоб платком, низко нагибается над столом и что-то невнятно бубнит – это он читает свою первую защитительную речь. Как ему жарко! Да ну же, Двадцатый! Ведь ты король. Возвысь свой голос, облагородь топор и палача!

Нет. Бормочет что-то – глупец, трагически-серьезный.

На казнь короля многие смотрели с крыш; но и на крышах не хватало места для всех желающих, и некоторым так и не пришлось увидеть, как казнят королей. А высокие узкие дома, с этими странными, черными, шевелящимися волосами вместо крыш, стали как живые; и раскрытые окна у них похожи были на черные мигающие глаза. За домами торчали в небе тупые и острые колокольни, как будто обыкновенные, — но если взглядеться, то некоторые линии у них, поперечные, были слишком черны и словно шевелились. Это тоже был народ. Оттуда уже совсем ничего не видно было, но они — смотрели.

С крыш эшафот казался маленьким, как детская игрушка, — что-то вроде опрокинутой детской тачки со сломанными ручками. Отдельные люди около эшафота — единственные отдельные люди, которые были видны на всей площади, так как остальное слилось в одну неразрывную, слитную массу, похожую на своеобразный черный газон, — отдельные люди смешно напоминали муравьев, поднявшихся на задние ножки. Все казалось плоским, а они медленно и трудно взбирались на какие-то невидимые ступени и суетились. И так странно было, что рядом, на крыше, стоят с большими головами, ртом, носами.

Били барабаны.

Подплыла к эшафоту маленькая черная каретка, и долго ничего нельзя было разобрать. Потом отделилась кучка и очень медленно поднялась на невидимые ступени. Разбилась на части, расползлась, и посредине остался один маленький.

Били барабаны. Сердце замирало. Вдруг хрипло оборванной линией замолкла барабанная дробь. Стало тихо. Одинокая фигурка подняла ручку, опустила, опять подняла. Должно быть, говорит, но ничего не слышно. Что он говорит? Что он говорит? Рванулись барабаны, затрещали, рассыпались, разорвали воздух на миллиарды дрожащих частиц, мешающих смотреть.

На эшафоте какое-то движение. Маленькая фигурка исчезла. Казнят. Трещат барабаны и вдруг сразу, той же хриплой, рассыпающейся линией смолкают. Тихо. На том месте, где только что стоял Двадцатый, новая фигурка с протянутой рукой. А в руке что-то крохотное, светлое с одной стороны, темное – с другой, как булавоочная головка, окрашенная в две краски. Это и была голова короля. Наконец-то...

...Куда-то умчали, гикая и давя людей, гроб с телом короля и головою: боялись, что ярость народа не пощадит и останков тирана. А народ был страшен. Проникнутый старым рабым страхом, он все еще не верил, что это могло случиться, что неприкосновенный, недосягаемый, могущественный владыка сложил голову под топором палача, – отчаянно и слепо ломился он к эшафоту: глаза часто обманывают, и слух часто лжет, – нужно пощупать эшафот, нуж-

но вдохнуть запах королевской крови, по локоть омочить в ней руки. Дрались, душили, падали и визжали. Что-то мягкое, как сверток тряпья, упрямо перекачивается под ногами. Задавленный. Еще и еще. Добравшись до груды обломков, оставшихся от эшафота, дрожащими руками отламывали кусочки, отдирали ногтями, ломая их, жадно и слабо хватали целые бревна и тут же в нескольких шагах падали под их тяжестью. И толпа смыкалась над головою упавших, а бревно, как живое, выныривало наверх, плыло по какому-то течению, снова ныряло, выставляя наружу иззубренный конец, и где-то пропадало. Находили лужицу еще не всосавшейся и не растоптанной крови и макали в нее платки, одежду; многие мазали кровью губы и ставили на лбу какие-то странные значки – кровью короля совершали помазание на новое царство свободы.

Опьянели от дикой радости. Без пения, без слов кружились, задыхаясь в танце; бежали куда-то, поднимая к небу окровавленные тряпки, разливались по городу, неся с собою крики, гул и неодолимый странный хохот. Пробовали петь, но песня была слишком медленна, слишком плавна и ритмична, и снова переходили к хохоту и крику. Ходили благодарить собрание за освобождение отечества от тирана, но по дороге увлеклись преследованием какого-то изменника, крикнувшего: «Король умер – да здравствует кроль! Да здравствует Двадцать Первый!» И разбежались. Кого-то повесили.

Многие из тех, кто продолжал тайно любить короля, не выдержали мысли, что он казнен, и сошли с ума; многие, даже трусы, убили себя. До последней минуты они чего-то ждали, на что-то надеялись и верили в успех своих молитв; а когда казнь совершилась, они впали в отчаяние и – одни угрюмо и тускло, другие яростно, с богохульством – пронизали себя ножами. Были такие, что в дикой жажде мученичества выбегали на улицу, навстречу несущейся лавине народа, и бешено кричали: «Да здравствует Двадцать Первый!» – и погибали.

Кончался день, и подступала к городу ночь – суровая и правдивая ночь, ибо нет у нее глаз на видимое. В городе было еще светло от огней, а река под мостом была черна, как растворенная сажа; и только там, на повороте, где за широкой тупой башней умирал бледный и холодный закат, тускло блестела она холодными отсветами полированного металла. На мосту стояли двое и, облокотившись на камень, смотрели в загадочную и темную глубину.

– Ты веришь, что сегодня наступила свобода? – спросил один, спросил тихо, потому что в городе еще горели огни, а река под мостом чернела.

– Посмотри, вон плывет труп, – сказал другой, сказал тихо, потому что труп был близко и смотрел вверх синим пятном широкого лица.

– Их много теперь плывет по реке. Они плывут в море.

– Я не верю в ихнюю свободу. Они слишком радуются смерти Ничтожного.

Из города, где горели еще огни, пронесся гул голосов, смеха и песен. Там еще было весело.

– Нужно убить власть, – сказал первый.

– Нужно убить рабов. Власти нет – есть только рабство. Вон еще труп и еще. Как их много! Откуда они выплывают? Они так внезапно появляются под мостом.

– Но ведь они любят свободу.

– Нет, они только боятся бича. Когда они полюбят свободу, они станут свободны.

– Пойдем отсюда. Меня тошнит от вида трупов.

И они повернулись, чтобы идти, и тут – когда в городе еще горели огни, а река была черна, как разведенная сажа, они увидели нечто тяжелое и смутное, рожденное тьмою и светом. Со стороны, противоположной закату, где река терялась в черных берегах и густая тьма копошилась, как живая, подымалось что-то огромное, бесформенное, слепое. Поднялось и остановилось неподвижно, и, хотя у него не было глаз, оно смотрело, и, хотя у него не было рук, оно протягивало их к городу, и, хотя оно было мертво, оно жило и дышало. Было страшно.

– Это туман над рекою, – сказал один.

– Нет, это облако, – сказал другой.

Это было и облако и туман.

– Оно как будто смотрит!

Оно смотрело.

– Оно как будто слышит!

Оно слышало.

– Оно идет сюда!

Нет, оно стояло неподвижно. Оно стояло неподвижно, огромное, бесформенное, слепое, и на странных выпуклостях его краснели отблески городских огней, а внизу у его ног терялась в черных берегах черная река, и тьма копошилась, как живая. Угрюмо покачиваясь, плыли туда трупы и пропадали в темноте, и новые безмолвно приходили на их место и, покачиваясь, уходили – бесчисленные, тихо думающие о чем-то своем, таком же черном и холодном, как уносящая их вода.

А на высокой башне, откуда рано утром увезли короля, крепко спал под маятником одноглазый часовщик. В этот день он был доволен тишиною башни и даже пел – одноглазый пел! – и до самой темноты любовно прохаживался между колесами и рычагами. Потрогал канаты, посидел на лесенке, болтая ногами и мурлыча, а на маятник глядеть не стал, так как делал вид, что сердится на него. А потом искоса взглянул и рассмеялся – и хохотом ответил обрадованный маятник. Качался, улыбался широко своею медною рожеею и хохотал:

– Так было – так будет!

– Ну-ну? – поощрял одноглазый, покатываясь со смеху.

– Так было – так будет!

А когда наступила темнота, одноглазый тут же лег спать и

крепко заснул; но маятник не спал и всю ночь носился над его головою, навевая странные сны.

Баргамот и Гараська

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Баргамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как баргамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людисками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, око-

лоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительской, для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городских, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя даже было крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забирававшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и

самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще молодой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкирной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресенье, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только

к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов; хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднималось в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав сигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговленья.

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубаш, в длинных, с бесконечным количеством оборок, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности,

ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуетя. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-вот разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему подарил все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой – его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тай-

ну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со середины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до середины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. –

Вот, вот! – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, за здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртной запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его

не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно, служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удалство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевков.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань Баргамота устремила к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собой легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городской, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету нализался.

– А у Михаила-архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну, воскрес...

– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор впол-оборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из рук засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнику.

Гараська воеет! Баргамот изумился. «Новую штуку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.

Воеет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руки вверх. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к

чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормотал городской, стараясь со всей неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, того... в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну, – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в... участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал

не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – наострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как будто поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городских, то снова возвра-

щался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддержал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать. Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убраным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, обрванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

– Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы –

но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим... как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол, прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его снова вырывается тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимания на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миною смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл.

1898 г.

Петька на даче

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

– Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

– Вот, погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. «Так их и следует», – думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа

большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два других, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этой местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бы-

вали редко, и Николка важничал и держался как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть крупную драку, и, когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайла читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, – и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, не охлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они

тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбрелось по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчичьей пролетки и везли, и свесившаяся голова

ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место. Очень хотелось бы. Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа – «молния». И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слышал резкого крика: «Мальчик, воды», и все худел,

а на стриженной голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он не мог ничего сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын – и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял

тут же и старался с обычной дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосую сутолкою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету, – впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был в первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно было видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и

колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

– Впервой по чугунке едет – интересуется...

– Угу!.. – пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки на случай болезни или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от кона, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькиного пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой же страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее и, когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, – конфузливо улыбался и отвечал:

– Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное со-

глашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые – так выжгло их солнце. Он ловил в пруду рыбу, когда Петька увидел его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови вверх, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, лялскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

– Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! – радовалась

Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обглаживает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей – на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господ: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже к вечеру. Петька на заднем дворе играл сам с

собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

– Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!» – подумал барин.

– Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

– Надобно ехать, сынок!

– Куда? – удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, – уже найдено.

– К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло и язык двигался с трудом, когда он спросил:

– А как же завтра рыбу ловить? Удочка – вот она...

– Что поделаешь!.. Требуется. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит – он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт – удочка, с другой – призрак – Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и

произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если был бы способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные – он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

– Вот видишь, перестал – детское горе непродолжительно.

– Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой ти-

хонький и скромный, и ручонки его были благонаравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

– Ты удочку спрячь! – сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

– Вот черти! Чтоб им повылазило!

– Кто черти?

– Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным гроыханием за-

глушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

Сентябрь 1899 г.

Полет

1

День полета начался при счастливых предзнаменованиях. Их было два: луч раннего солнца, проникший в темную комнату, где спал с женой Юрий Михайлович, и необыкновенно светлый, полный таинственных и радостных намеков, волнующий сон, который приснился ему перед самым пробуждением.

Юрий Михайлович Пушкарев был опытный офицер-пилот; это значило, что в течение полутора лет он уже двадцать восемь раз – ровно столько, сколько было ему лет, – поднимался на воздух и все еще был жив, не разбился, не переломал себе ног и рук, как другие. Лучше, чем все, чем даже жена его, он знал цену этой смешной и маленькой опытности, обманчивому спокойствию, которое после каждого счастливого возвращения на землю точно отнимало память о прежних чужих несчастьях и делало близких людей излишне уверенными, излишне спокойными, – пожалуй, даже жестокими немного; но был он человек мужественный и не хотел думать о том, что расслабляет волю и у короткой жизни отнимает последний ее смысл. «Упаду так упаду, – думал он, – что ж с этим поделаешь; а может быть, до тех пор и машину сделают

такой, что падать не надо, вот я и обману смерть, проживу до старости, как другие. О чем же гадать?»

И, думая это про себя, он улыбался той своей спокойной улыбкой, за которую так любили его и уважали товарищи. Но жил в его теле кто-то еще, кто не поддавался увещаниям, твердо знал свое, был не то мудр, не то совсем без разума, как зверь, – и этот другой страшился страхом трепетным и темным, и после удачного полета этот другой становился глупо счастлив, самоуверен и даже нагл, а перед полетом каждый раз мучил душу, наполнял ее вздохами и дрожью. Так же было и в этот раз, накануне июльского полета.

Вечером, перед сном, Юрий Михайлович нежно и тихо погулял с женой по окраинным темным и зеленым улицам маленького городка, где они временно жили; и уже в половине одиннадцатого, когда в доме еще возились, лег в постель и сразу уснул. Он слышал смутно, как через час или полтора пришла жена, разделась тихо и легла, даже не скрипнув кроватью; потом, долго или коротко спустя, что-то широкое заходило над головою и спокойным, из края в край переливающимся гулом раздвинуло пределы узкого, темного комнатного сна. Он догадался, что это зашла ночная гроза, но совсем не проснулся, а только скинул с себя то тяжелое, как узы, тупое и мертвое оцепенение, каким страх боролся против мыслей и неизбежного. Вдруг задышалось глубоко и сладко: как будто следило дыхание за переливами грома в высоте и шло за ним из края в край; и стало казаться в долгой грезе, что

он – не человек спящий, а сама морская волна, которая, то падая, то поднимаясь, дыша ровно и глубоко, вольно катится по безбрежному простору. И вдруг открылся тот радостный смысл, что есть в беге волны по безбрежному простору, когда, то падая, то поднимаясь, идет она в глубокую беспредельность. И уже долго он был волной, и уже разгадал все таинственные смыслы жизни, когда зашумел частый дождь по крыше и тихим плеском окропил грудь, поцеловал сомкнутые уста, приник тепло к глазам и принес кроткое забвение. А потом, долго или коротко спустя – уже птицы звенели за окном – привиделся и тот радостный, волнующий сон, который уже третий раз в жизни посещал его и был каждый раз счастливым предзнаменованием.

Будто проснулся он на рассвете в темной комнате, где спал почему-то один, без жены: и хотя жены не было и комната была незнакома, но была она в то же время своей, настоящей, той, в которой он всегда жил и живет. Проснулся он будто от тревожного и страшного сна, с темным взглядом и стесненной грудью: было тяжело и печально. Тогда поднялся он и вышел в соседнюю комнату, где было уже светлее, так как только на одной стороне ставни были закрыты, а на другой уже пробивался в окна мягкий, розовый, спокойный свет. «Как хорошо и спокойно: все спят», – подумал он, успокаиваясь; и тут внезапно – так всегда было в этом чудесном сне, – внезапно вспомнил, что, кроме этих хороших комнат, у него есть другие, прекраснейшие, в которых он почему-то

давно не был, даже совсем забыл о них. С радостным ожиданием он открыл очень высокую белую дверь и тихо, босыми ногами, вступил на гладкий и теплый пол забытых прекрасных комнат. Их было много, и они были тех огромных и торжественных размеров, какими бывают комнаты и залы только во дворце; и всюду, во всех углах, стоял тот же неяркий, но спокойный и радостный розово-утренний свет. «Как хорошо! И как я мог забыть!» – думал он, тихо скользя вперед, в тишину и высь все новых и прекраснейших зал, полных света и умиленной радости; и так дошел он до двери, за которой слышались голоса. Он осторожно заглянул и увидел, что сидят на полу два маляра, что-то делают и тихонько поют.

Тут Юрий Михайлович проснулся, но еще с минуту, радостно и глубоко волнуясь, не мог понять, где кончается сон и начинается настоящее. На ночь окна в их спальне закрывались ставнями, и теперь прямо в глаза ему что-то ослепительно ярко блистало: он отодвинул голову и увидел острый и прямой луч, идущий от круглого отверстия в ставне, где вывалился сучок, увидел круглое пятно на подушке и розовый сумрак, наполнявший комнату. Потом увидел сбоку от себя темное пятно волос, голую руку, услышал тихое дыхание – и сразу все вспомнил и все понял: и что сегодня ему лететь, и что это милое, что так тихо дышит, есть его жена, и что июльское солнце, поднявшись, стоит против окон и, вероятно, весь мир заливает светом. Попробовал себя, не

страшно ли ему лететь, но вместо обычного крепко сдерживаемого страха было глубокое и радостное волнение: как будто ждет его сегодня необыкновенное и великое счастье. «Сегодня я полечу!» – впервые со всей чистотой восторга, радости неомрачаемой подумал он о небесном великом просторе, предчувствиями которого всю ночь жила его душа.

Если бы не этот луч солнца, Юрий Михайлович поспал бы еще час или полтора; но теперь невозможно было ни спать, ни оставаться в темноте, душной и тяжелой; и, осторожно сойдя с постели, стараясь даже не глядеть на жену, чтобы не разбудить ее взглядом, он наскоро оделся. Но та спала крепко; с вечера ей долго не давали уснуть беспокойство и нежная любовь, а потом чем-то страшным измучила гроза – иные были сны у женщины. И теперь она отдыхала. Захватив папирос и все так же не глядя на жену, Юрий Михайлович вышел из спальни в тихий свет пустых и неубранных комнат, еще хранивших в углах ночные тени.

В кухне уже возился над самоваром и колол лучину сонный денщик, каждый движением своим перегоняя с места на место тучу ленивых, тяжелых от ночи мух; но на дворе, и в садике, и на улице, обсаженной тополями, как аллея, было безлюдно и тихо. И хотя давно уже звенели птицы, и по двору прошла кошка, старательно выбирая сухие места и избегая холодной и сырой тени от дома, и даже проехал на станцию извозчик – казалось, что никто еще не пробуждался к жизни, а живет во всем мире одно только солнце, и только

одно оно есть живое. Так оно было ласково и так грело глаза и усы, что Юрий Михайлович сделал невинное лицо и надолго притих; потом совсем по-детски подумал, что с солнцем можно говорить: правда, ответа не услышишь, но самому говорить можно, и в этом будет не меньший смысл, чем в разговоре с человеком.

И вспомнил он – все еще сохраняя невинное лицо и не торопясь открыть согревшиеся глаза, – как все детство свое он мечтал о полете. Вспомнил, как он подпрыгивал и снова падал на землю, оскорбленный, негодующий, не понимающий, почему же он не полетел; как уже небольшой прыжок с высоты давал робкое впечатление полета и как до слез почти, до настоящей душевной боли хотелось все отдать, всем пожертвовать, от всего отказаться только за то, чтобы перелететь через соседский дом. И именно этот соседский дом, одноэтажный мещанский домишко с прогнившей деревянной крышей, приобрел такую значительность, что при первом настоящем полете, за тысячу верст от родины, когда от волнения ни о чем не думалось и не вспоминалось, он вдруг вспомнился Юрию Михайловичу.

Но неужели он действительно уже летал и сегодня полетит?

На небе не виделось ни единого облака, и там, где грохотал ночью гром и откуда падал дождь на землю, теперь раскидывалась ясная и бездонная синева. По книгам это называлось воздухом, атмосферой, но по чувству человеческому

это было и вечно оставалось небом – извечную целью всех стремлений, всех поисков и надежд. «Всякий человек боится смерти, и кто захотел бы лететь, если бы это было только воздухом каким-то?» – подумал Юрий Михайлович, не отводя глаз от бездонной, таинственно сияющей синевы и на фоне ее рисуя памятью знакомые загорелые близкие и почему-то очень дорогие лица товарищей, офицеров-летчиков. Правда, разговор их пуст и смешно деловит: так же, вероятно, разговаривает и он сам о своих полетах; но кто же не знает, что иногда совсем не нужно слушать разговора людей, которым они невинно и хитро лгут, а надо видеть лица, глубину глаз, чистоту белых, неиспорченных зубов. И от этих мыслей, ясных, простых и чистых, как чисто было утреннее солнце, еще не увеличилось то радостное волнение, с которым он проснулся; и идя к дому, Юрий Михайлович зачем-то еще раз поклялся себе, что всегда будет любить своих товарищей и будет неизменным другом своим друзьям. Но тот, кто умеет не слышать пустого разговора и мыслей, а смотрит в глубину глаз, на чистоту молодых неиспорченных зубов, тот иной смысл открыл бы за этой наивной и ненужной клятвой. И тот и сам бы не сказал ненужного, а молча и крепко поцеловал бы в уста веселого, легкой походкой идущего к дому человека, у которого улыбка так приветлива и спокойна, а в глазах мерцает уже далекий свет.

Войдя в спальню, Юрий Михайлович тихим поцелуем разбудил все еще крепко спавшую жену.

Был у Юрия Михайлович один несомненный дар: он умел молчать легко и приятно, и это делало разговор с ним всегда интересным и значительным. Прямых, определенных и в своей определенности всегда немного резких «да» и «нет» он не любил в разговоре и заменял их спокойной и ласковой улыбкой, свое мнение высказывал осторожно и нехотя и больше предпочитал слушать других. Казалось бы, что при этом качестве своем он должен был представляться товарищам загадочной натурой, человеком скрытным, ушедшим в свои сокровенные переживания, а выходило почему-то наоборот: все в полку, кончая молоденькими, только что произведенными подпоручиками, были убеждены, что знают его насквозь, знают гораздо лучше, чем самих себя. Ибо каждый для самого себя был только путаницей сложных, меняющихся настроений, неожиданных мыслей, внезапных переходов, изломов и скачков, а Юрий Михайлович всегда оставался ровен, спокоен и ясен; и так же ясна, проста и понятна была его жизнь с красивой, любившей его молоденькой женой. Когда какой-нибудь поручик проигрывал в карты или в пьяном виде устраивал дебош, после которого стыдно смотреть даже в зеркало, он непременно шел к Пушкареву – посидеть и образоваться; и, сидя и образуясь понемногу, уже начиная видеть возможность новой жизни, он с некоторым великодуш-

ным сожалением смотрел на Юрия Михайловича, сравнивал бездны своей души с его ясной плоскостью и думал: экий ты, брат, ясный! И один шутник пустил было удачную кличку: «Наш разъясненный»; но, как ни удачна была кличка, долго держаться, при уважении товарищей к Юрию Михайловичу, она не могла, вскоре перестала возбуждать смех и позабылась.

И в это солнечное утро Юрий Михайлович был приятно молчалив и ясен по обыкновению, разве только особенным светом глаз выдавал свое радостное, все растущее волнение; и, как всегда это случалось, его видимое и ровное спокойствие передалось жене, Татьяне Алексеевне, ровным светом зажгло и ее красивые черные, слишком блестящие глаза, немного по-азиатски приподнятые к вискам. Еще только недавно она была полна ночного ужаса, ужасных предчувствий и видений, а теперь, наливая мужу чай и поглядывая через открытое окно на синее праздничное небо, она никак не могла ни понять, ни вспомнить, что страшного было в этой сияющей, обращенной кверху, знакомой глубине. «Глупости, нелепые сны!» – думала она, передавая стакан и с любовью глядя, чтобы не обжечь, на смуглые, твердые, никогда не дрожащие пальцы мужа; и вдруг засмеялась, сперва весело, потом даже сердито немного.

– Ты, Юра, просто обманщик, гипнотизер!

Он улыбнулся.

– Почему?

– Просто фальшивый человек – не смейся! Когда я с тобой, мне кажется тогда, что ничего не может случиться, а ведь это же неправда, ведь всегда что-нибудь может случиться! Разве можно быть такой спокойной, как я сейчас, ведь это же неправда, а делаешь это ты. Я вовсе не хочу быть спокойной, это просто глупо!

И, уже стараясь взволновать себя, вернуться к потерянным ощущениям страха и беспокойства, она стала припоминать и рассказывать, немного сочиняя, свои темные сны, но страх не возвращался, и чем глубже было спокойное внимание Юрия Михайловича, тем явно несообразнее, просто глупее становились убедительные сны. Точно ребенок, который долго рассказывает взрослому вздорную, самим сочиненную сказку – и вдруг видит толстые волосы на бороде, большие, ласковые, внимательные, но безнадежно умные глаза, сразу обрывает: не хочу больше рассказывать!

– Нет, Юра, ты сегодня еще хуже, чем всегда!

Но еще не отзвучали ласковые слова, как всю ее залило чувство совсем необыкновенного, острого, почти мучительного счастья. Покраснев до самых плеч, белевших в вырезе платья, она закрыла лицо руками и склонилась к столу – ни взглянуть, ни слова промолвить она не могла бы теперь ни за что в мире. А сердце билось все сильнее и томительнее в ожидании первого слова, которое произнесет он, и это будет невыносимо: первое слово! Но он, необыкновенный, как ее счастье, не сказал ничего и только осторожным и тихим по-

целуем прикоснулся к ее снова побелевшей шее.

Потом время побежало быстро. Пошли сборы, одевание; Юрий Михайлович сам, как всегда, своими твердыми смуглыми пальцами застегнул ей блузочку на спине, он же ее и расстегнет, когда вернутся. Но что бы ни делалось вокруг, чувство необыкновенного счастья не оставляло Татьяну Алексеевну, укрепилось твердо, стало чувством самой жизни; и что бы ни случилось теперь, – упади Юрий Михайлович на самых ее глазах, увидь она его труп, – и тут бы она не поверила ни в смерть, ни в печаль, ни в роковое одиночество свое. Утверждением вечной жизни и отрицанием смерти было счастье, и не бывает счастье другим.

И, как всегда, уходя из дому, Юрий Михайлович забыл зайти проститься с ребенком, и, как всегда, жена напомнила с упреком и повела в детскую. Каждая дружная молодая семья создает свой домашний язык; и на их языке мальчик Миша, имевший от роду год и два месяца, назывался Тон-Тоном и пренебрежительно: Тончиком. Никаким отцом Юрий Михайлович себя не чувствовал, и ребенок с своими короткими ножками, беспричинным восторгом и гениальностью вызвал в нем только снисходительное удивление. И вес его был ничтожный, также удивительный. Теперь Тон-Тон был заправлен в конусообразное креслице на колесах, с круглым отверстием посередине, куда его вставляли; когда Тон-Тон падал в какую-нибудь сторону, кресло катилось и не давало ему упасть – и это называлось: он ходит. Носило его по всей ком-

нате, но иногда ему удавалось наметить свою цель и даже достигнуть ее.

Юрий Михайлович засмеялся; засмеялась и жена, но сейчас же обиженно сказала:

– Тебе смешно, а ему это нисколько не легче, чем твоя авиация. И ты летишь только потому, что все время падаешь, чем же он хуже?

– Правда, – согласился Юрий Михайлович. – Нисколько не хуже.

Но нельзя было не смеяться, глядя на Тон-Тона, и Юрий Михайлович сказал:

– А что, Таня, если бы нашим пьяным по выходе из Собранин давать такое же кресло; понимаешь, нельзя ни упасть, ни заснуть – ужасное положение!

Но Татьяна Алексеевна не нашла ничего смешного в этой мысли и коротко ответила:

– Не люблю пьяных. Возьми же его на руки и поцелуй. И ты напрасно презираешь его и думаешь, что он ничтожество, любит только твои пуговицы: он все понимает.

3

Когда Юрий Михайлович с женой подъезжали на извозчике к аэродрому, голубая пустыня неба ожила своею жизнью: от горизонта поднимались и, развертываясь, точно ставя все новые паруса, медленно проплывали в зените округлые, сверкающие белизной, торжественные облака. Будто ярче засверкало солнце, углубилась синева, и очарованием недосыгаемости манили ее пролеты, бездны синие и наиглубочайшие всех темных бездн морских; и похоже было минутами на великолепный смотр: будто вышла из гавани целая флотилия судов и, распустив сияющие паруса, гордясь, красуясь и затаив восторг, медленно проходит перед высочайшими взорами.

Татьяна Алексеевна заволновалась:

– Не зашла бы гроза, как вчера, тогда как же?

– Нет, – уверенно ответил Юрий Михайлович, – смотри, у них края точеные. Это смотр, они скоро разойдутся.

– Тебе жаль, тебе хочется подняться выше их?

Он внимательно и немного странно – так ей уже потом казалось – посмотрел ей в лицо и глаза и ответил с своей спокойной улыбкой:

– Я тебя люблю ужасно.

На аэродроме уже был народ, и оживленно готовились к полету летчики, выдвигали машины из ангаров, проверяли,

подтягивали металлические тросы; кто-то яростно бранился в сарае, что опять привезли не того бензину; у капитана Кострецова забастовал, по неведомой причине, мотор, и он сам, ругаясь и торопясь, презирая смущенного монтера, развинчивал гайки и уже до самых глаз успел замазаться машинным маслом и нагаром. Но в общем все обстояло благополучно, даже хорошо, и волновались, и высказывали недовольство только для того, чтобы оградиться от судьбы, не показаться ей слишком благополучными, умиловать маленькими неприятностями для избежания большой и страшной. И для той же цели никто не хотел даже сознаваться, на какую высоту сегодня он рассчитывает, уверял лживо, что немножко; и только про Пушкарева все знали, что, уже взявший несколько призов за точность спуска, нынче он намерен побить рекорд высоты. И что это удастся ему, никто из товарищей не сомневался; и самое чувство Рока, грозной случайности, зловеще таящейся в прозрачном воздухе, стало слабее в присутствии ясного и твердого человека, не скрывающего своих намерений, спокойно говорящего о них.

Заговорили громче и веселей и толпою окружили Пушкарева; некоторые, здороваясь, целовались с ним, по – дружески открытым и крепким поцелуем в губы. С женою, Татьяной Алексеевной, здоровались так же приветливо и дружески, целовали ей руку, но видно было, что для всех она – второй человек, и постепенно ее отесняли от мужа. В другое, обычное время около нее всегда кто-нибудь оставался

– из вежливости или любви к женскому обществу и разговору; а теперь она стояла одна на зеленой примятой траве и улыбалась с мягкой женской насмешливостью: было так естественно и все же немного смешно, что она, такая красивая женщина, стоит совсем одна, заброшенная, и никто в ней не нуждается, и никому она не интересна, а они собрались своей кучкой загорелых и сильных людей, смеются, сверкая белыми зубами, дружелюбно касаются локтей и плеч и ведут свой особенный мужской, серьезный и значительный разговор. «Как они любят Юрия!» – подумала она и вдруг перестала улыбаться: снова до самого дна колыхнулась душа ощущением великого счастья, неизъяснимой радости, сердечной благодарности к тем, кто так его любит. Но ведь они еще не совсем знают, какой он благородный, какой прекрасный и необыкновенно милый человек, а если бы знали!..

И когда подошел к ней полковник Пряхин, старый любезник, и стал говорить любезности, она уже сама послала его к мужу:

– Пойдите к Юрию.

– Я уже виделся с Юрием Михайловичем, – ответил полковник и догадался. – Что-нибудь прикажете передать?

– Нет, – она смотрела в глаза полковнику и улыбалась, – пойдите к Юрию.

И тут, глядя в блестящие влажные глаза, полковник Пряхин понял, что перед ним сумасшедшая от любви, от гордости и от счастья женщина, – и ему сделалось страшно, и

единственный раз за всю свою жизнь он почувствовал обманчивую призрачность солнца, земли, на которой так твердо стоят его ноги, всего, что окружает и в чем живет человек. «Странно!» – пробормотал он, отходя, и весь тот день, до самого его темного конца, бормотал это слово, не имея других, чтобы выразить всю необыкновенность представившегося ему мира: «Странно, странно!»

Уже разошлись все и начались полеты, когда Юрий Михайлович подошел к жене и взял ее за руку выше локтя.

– Прости, Танечка, я совсем оставил тебя.

– Ничего, – ответила она, улыбаясь, – я рада.

– Но не забыл!

– Ничего, я рада. О чем вы смеялись?

– Я рассказал им о кресле, помнишь, после Собрания – для пьяных. Ты забыла?

Но ей не понравилось это, и она сказала:

– А я думала о другом, Юра! Они очень любят тебя.

– И я их люблю. Смотри, Таня, Рымба идет сюда, сегодня с ним творится что-то ужасное.

– Поговори с ним, Юра.

– А ты? Мне ведь сейчас...

– Ничего, я рада. Поговори с ним, Юра.

Но Рымба – пожилой пухлый офицер с рябым безволосым, блестящим от пота, но бледным лицом – уже сам звал Юрия Михайловича:

– Юра, на одну минуту!

– Ты что, брат, – спросил Юрий Михайлович, отходя с офицером в сторону, – волнуешься?

Рымба первый раз участвовал в состязаниях, и никто не мог понять, зачем он это делает и зачем вообще учится летать: был он человек рыхлый, слабый, бабьего складу и каждый раз, поднимаясь, испытывал невыносимый страх. И теперь в глубоких рябинках его широкого лица, как в лужицах после дождя, блестела вода, капельки мучительного холодного пота, а блеклые, в редких ресницах, остановившиеся глаза с глубокой верой и трагической серьезностью смотрели на Пушкарева.

– Юра! Нет, Юра, скажи серьезно, как честный человек: ничего? А? Нет, ты серьезно, как честный человек. Юра?

Юрий Михайлович что-то обдумал, заглянул куда-то и серьезно, с твердой убежденностью ответил:

– Ничего, все хорошо. Лети.

Рымба помолчал и с той же серьезностью сказал:

– Спасибо.

И трижды, крепко, словно христосуясь, поцеловал Юрия Михайловича в губы и коротко, но выразительно потряс руку. А когда Рымба проходил мимо Татьяны Алексеевны и кланялся ей – она счастливо улыбалась, а он смотрел на нее как на союзницу и в ответ на ее улыбку тихо, продолжительно и приятно вздохнул: так-то, видите, какое дело! Мятые голенища его высоких офицерских сапог были слишком широки и сползали, сползали и брюки из-под короткой серой

тужурки, висели сзади мешком – и уж какой он был авиатор! Татьяна Алексеевна смотрела ему вслед и почему-то не обернулась, когда сбоку подошел и молча встал Юрий Михайлович. И, не оборачиваясь, продолжала улыбаться далеко шагнувшему, нескладному Рымбе, она поняла и почувствовала, что муж внимательно, упорно и близко смотрит на ее щеку, на профиль черных ресниц, на улыбающиеся губы; и почувствовал теплый ветер, свежо и мягко прошедший по глазам; и это было счастье.

– Я люблю тебя ужасно, – сказал Юрий Михайлович и осторожно коснулся ее руки выше локтя, где она была горячая и под тонким шелком совсем близкая; и рука в этом месте стала счастливая. Но и тут не обернулась Татьяна Алексеевна, как будто ничего не слыхала; и только улыбка тихо сошла с лица, и стало оно покорным, робким и для самой себя милым: любовью мужа любила себя в эту минуту Татьяна Алексеевна и так чувствовала себя всю, как будто есть она величайшая драгоценность, но страшно хрупкая, но чужая – надо очень беречь! И трава зеленела, прекрасная земная трава, и ветер веял, обвевал свежо и мягко обнаженную шею. И совсем далеко шагал нескладный Рымба. И трепыхались цветистые флаги на трибуне; хотели оторваться от древка, взвивались и мягко падали.

– Ветер, кажется, – сказала Татьяна Алексеевна и обернулась к мужу: он смотрел на нее. И глаза его сияли.

Прощаться пришлось при народе, и прикосновение губ

было легко, как паутина; но самый крепкий поцелуй не ложится так неизгладимо на лицо, как эта тончайшая паутинка любви: не забыть ее долгими годами, не забыть ее никогда. И вот еще чего нельзя забыть: розоватого шрамика на лбу у Юрия Михайловича, около виска, – когда-то, маленький, играя, он ударился о железо, и с тех пор на его чистом лбу остался этот маленький, углубленный шрамик. И его не забыть никогда.

Вдруг явно и немного страшно опустела земля – это значило, что Юрий Михайлович поднялся с земли на своем «Ньюпоре». Но странно! – даже не дрогнуло сердце, не сделало лишнего удара: так непоколебимо было величие счастья. Вот с шумом он пронесся над самой ее головою: делал первый круг, поднимаясь, но и тут не забилося сильнее ее сердце. Обратив лицо вверх, как и все на земле, она смотрела на восходящие круги аэроплана и только тихонько, с усмешкой, вздохнула: «Ну конечно, теперь он меня не видит! Высоко!»

Там, откуда ночью лил дождь и где перекачивался гром, освещая свой ночной путь среди туч и хаоса, теперь было тихо, лазурно и по-небесному просторно. Безмолвно и широко плыли редкие облака по своим невидимым путям, солнце одиноко царило, и не было ни шума, ни голосов земных и ни единого знака земного, который обозначал бы преграду.

При первых кругах Юрий Михайлович еще смотрел вниз: на зеленую с песочком карту аэродрома, на неподвижную чернь толпы, похожей на чернильное разбрызганное пятно, – все еще считался с землею и привычно ожидал от нее какой-нибудь внезапности, мгновенного препятствия. Но на пятом кругу, вместо того чтобы плавно очерчивать поворот, сделал прямую и решительно вынесся за пределы аэродрома; и уже над лесом, в просторе и тишине, стал подниматься выше. «Хорошо бы теперь погулять в лесу», – подумал он снисходительно и ласково и вдруг ощутил с необыкновенной ясностью знакомый с детства, приятный, сырой запах леса, почувствовал под ногами траву и землю, даже как будто заметил низенький гриб под темной старою листвою. И тут только понял, что лес далеко, а он летит – не идет, как всю жизнь шел на свинцовых подошвах, а летит по воздуху, ни на что не опирается, со всех сторон объемлется прозрачной и светлой пустотою. Только кратчайшее мгновение прошло,

как отделился Юрий Михайлович от земли, а уже находится он в мире ином, в иной стихии, легкой и безграничной, как сама мечта; и с ужасающей силой, почти с болью снова почувствовал он то волнующее счастье, что, как жидкость золотая и прозрачная, всю ночь и весь день переливалась в его душе и в его теле. Даже дыхание захватило от счастья и слезы подступили к глазам – с той, с другой, с невидимой стороны глаз, где слезы знают только самим человеком. «Что же такое милое я видел? – подумал он. – Что же такое милое я чувствую? Такое милое, такое милое».

И с этой минуты он почти перестал смотреть на землю: она ушла вниз и далеко, со своими зелеными лесами, знакомыми с детства, низкорослою травой и цветами, со всей своей радостью и робкой, ненадежной земной любовью: и ее трудно понять, и ее трудно, даже невозможно, вспомнить – крепок и ясен жгучий воздух высот, равнодушен к земному. Даже улыбаться здесь не пристало – пусть с той, с другой, с невидимой, стороны, как и слезы, подходит к устам счастливая и скромная улыбка, – но нельзя ее показывать, пусть строго и серьезно остается лицо. «Уже высоко, – подумал Юрий Михайлович. – Уже высоко, но надо еще выше: ведь здесь такой простор, что можно и вперед и вверх, и назад и вниз; можно, как я хочу: все – моя дорога». И на долгое, как ему показалось, время он шел в серьезную и важную работу, весь сосредоточился в радости управления.

Даже на свинцовых подошвах земли он любил всякое

произвольное движение, свободные повороты, неожиданные скачки в сторону: оттого и не терпел с самого детства ни улиц, ни тропинок, ни самых широких дорог, где наследственно предначертан путь – как в извилинах мозга стоит, застывши, умершая чужая мысль. Здесь же не было наезженных путей, и в вольном беге божественно свободной сознала себя воля, сама окрылилась широкими крылами. Теперь он и его крылатая машина были одно, и руки его были такими же твердыми и как будто нетелесными, как и дерево рулевого колеса, на котором они лежали, с которыми соединились в железном союзе единой направляющей воли. И если переливалась живая кровь в горячих венах рук, то переливалась она и в дереве и в железе; на конце крыльев были его нервы, тянулись до последней точки, и концом своих крыльев осязал он сладкую свежесть стремящегося воздуха, трепетание солнечных лучей. Он хотел лететь вправо – и вправо летела машина; хотел он влево, вниз или вверх – и влево, вниз или вверх летела машина; и он даже не мог бы сказать, как это делается им: просто делалось так, как он хотел. И в этом торжестве воли хотящей была суровая и мужественная радость – та, что со стороны кажется печалью и делает загадочным лицо воина и триумфатора.

Глубоко внизу дымилась чаша земли, как котел: кажется, то облако внизу проходило; но о земле не хотелось думать и не думалось. И чтобы сильнее почувствовать свою волю, Юрий Михайлович закрыл глаза: на мгновение, как в зерка-

ле, он увидел свое побледневшее светящееся лицо; и дальше ему почудилось, что от головы его стелются назад светлые ленты лучей, отвешаются назад и веют перья блестящего шлема, — будто стоит он на колеснице, крепко зажав в окаменевшей руке стальные вожжи, и уносят его ввысь огненные небесные кони. И дальше показалось ему, что он вовсе и не человек, а сгусток яростного огня, несущийся в пространстве: отлетают назад искры и пламя, и светится по небу горящий след звезды, вуаль голубая. Так долго летел он вверх — странная человеческая звезда, от земли уносящаяся в небо.

В это время он поднялся уже высоко, пропадал из глаз, и долго надо было скитаться взорами по небесному океану, слепнуть от солнечных лучей, искать и разыскивать среди огромных редких облаков, чтобы найти и увидеть высоко летящего. И как ни редки были крупные округлогрудые, постепенно уходящие облака, снизу казалось, что от них на небе тесно; и мнилось минутами, что летящий скользит и ищет прохода между облаками, как ищет между островами прохода мореплаватель: никто не знал внизу, как там просторно, как широки арчатые ворота и безбрежны голубые проливы, как царственно великолепен, широк и свободен небесный архипелаг. Но таяли облака, уходили по склону, синими сфинксами на подвернутых лапах сторожили горизонт, и видимо даже для глаз, смотрящих исподнизу, креп, густел и разливался беспредельно великий небесный простор, пустынный океан.

Юрий Михайлович открыл глаза и взглянул вниз, на землю. И подумал, поднимая глаза от дымящейся земли:

«Вот и сбылся мой счастливый сон, вот уже я и в святом жилище моем, хожу среди моих высоких зал, и нет со мною никого, только свет один. Но что же милое я вижу? Я один ведь. Но что же такое милое я чувствую? Такое милое, такое, такое. Счастье мое, моя душа, мое счастье. Я люблю тебя ужасно».

И снова с ужасающей силой, трижды с силой, с болью открытой крови и текущих слез почувствовалось волнующее счастье, трепет блаженнейших предчувствий, блаженство рокового. Далеко, совсем далеко, как последний звук спетой песни для уходящего, неясное слово земной любви, вспомнилось милое лицо, профиль черных ресниц, матово-розовая щека, томящаяся неслышным криком нежности; вспомнилось, как спала она тихо возле, как дышала тихо – совсем возле; и как будто нашлось объяснение восторгу и любви. «Милая, – подумал он нежно и дрогнул сердцем, – милая, я люблю тебя ужасно!» Так подумал он и в следующее мгновение забыл – совсем и навсегда забыл, забыл о любимой. Иному предалось его сердце и в суровой нежности своей на иную встало стражу.

Что думал он в эти последние свои минуты, когда, снова закрыв глаза, он летел безбрежно, не чувствуя и не зная ни единого знака, который означал бы преграду? Чем был в сознании своем? Человеческой звездой, вероятно; стран-

ной человеческой звездой, стремящейся от земли, сеющей искры и свет на своем огненном и страшном пути; вот чем был он и его мысли в эти последние минуты.

Колыхалась машина в высоте, как ладья на волнах воздушного моря; на крутых поворотах она кренилась дико, умножая бешеную скорость падением, оглушала себя рокотом и звоном винта, взвизгами и всплесками рассеяемого воздуха; разошлись облака, оголив холодеющую лазурь, и солнце одиноко царило. Одиноко царило солнце, и был между ним и землею только один предмет и один человек; и озаряло оно, не грея, то светлые тонкие крылья, то смуглое побледневшее лицо; играло искрами на металле. И в одну из этих минут, когда солнце близко и огненно блеснуло ему в глаза, всего его, до самого сердца, наливши легким поднимающим светом, – Юрий Михайлович громко и странно выговорил:

– Нет!

Слов его не слышно было бы другому за шумом машины, но он слышал себя; и громко он сказал то, что еще в снах ночных волнующих, в тяжелом видении сонного денщика, колющего лучину, в образе милых лиц и милых глаз опозналось взволнованной душой как необыкновенное счастье. Он сказал:

– Нет! На землю я больше не вернусь.

Он сказал эти странные слова, обрекавшие его на смерть, и спокойно замолчал: и здесь он сохранил любовь к молча-

нию, свой дар приятный. И спокойно продолжал свой бешеный бег в пространстве. Если бы он мог, он увеличил бы быстроту и увеличивал бы ее безгранично: но этого не допускала машина, и он стал делать другое, по виду безумное; и так его и поняли с земли. Он стал резать пространство кривыми линиями, ломаными и причудливыми, неожиданными и прекрасными, как полет ночной птицы, опьяненной лунным сиянием: вверх и вниз, назад и вперед, круто вбок – до ужаса влево и вниз. Задыхаясь от восторга, стиснув белые зубы, чтобы как-нибудь нечаянно не закричать, не петь глупостей, он широкими размахами пронизывал воздух, хотел убедиться, что не таит в себе невидимых и коварных преград светлое пространство: нет, режется мягко и всюду, не таит в себе преград, есть единая светлая бесконечность. Раз чуть не упал – было одно такое мгновение! – но выправился и понесся куда-то вглубь.

Но даже и в игре неприятным казалось терять высоту; и решительно взмыл он вверх, перестал кружиться, громовиствующей ракетой понесся прямо ввысь, к своей высокой последней цели. Он уже давно забыл про себя, кто он и как попал он в воздух, а теперь он снова стал звездой, сгустком яростного огня, несущимся в пространстве, отвевающим назад искры и голубое пламя. Вдруг ему чудилось, что волосы его горят огненными прядями, волнуясь стекают вниз к земле; и вдруг понял он, что это есть прямая дорога из одной бесконечности в другую, увидел ясно, что так и влетит он,

стремящийся из этой вечности в другую, где широко открытыми стоят и ждут его высокие двери его святого тайного жилища. «И как же я могу вернуться на землю? – пела его душа в блаженном забытьи. – Я вижу милое, такое милое, такое. Счастье мое, моя душа, мое счастье. Я люблю тебя ужасно.

Я был маленький мальчик, и мне хотелось перелететь через крышу: совсем невысокая, смешная, ужасно низкая зеленая крыша, прогнившая. Это моя радость поет о том, что я был маленький мальчик и мама звала меня Юрой, Юрочкой. Были у меня отец и мама, и оба умерли; потом много было еще чего-то прекрасного, как печаль: кого-то я люблю ужасно. Это печаль поет во мне: кого-то я люблю ужасно. Милое дитя мое, дорогой мой мальчик, душа моя. Я буду подниматься все выше. Тело мое отлетит от меня и упадет, а я пойду выше, дорогой мой мальчик, любимое дитя мое, – я пойду выше. Я иду выше. Я иду. Волнуется моя душа, стремится из тела, стремится к горнему и дальнему полету, – я иду выше и без конца. Волнуется моя душа, – о дорогой мой мальчик, о дитя мое любимое, волнуется, волнуется моя душа!»

По лицу его текли слезы, он не знал о них. Нежно белели зубы среди полуоткрытых уст, и глаза, расширенные зрением вечности, неотступно смотрели ввысь, туда, где за синими аркадами неба сияла даль – воистину безбрежная. Слезы текли по его лицу.

– О какое волнение, – какое!

5

На землю он больше не вернулся. То, что, крутясь, низверглось с высоты и тяжестью раздробленных костей и мяса вдавилось в землю, уже не было ни он, ни человек – никто. Тяготение земное, мертвый закон тяжести сдернул его с неба, сорвал и бросил оземь, но то, что упало, вернулось маленьким комочком, разбилось, легло тихо и мертвенно-плоско, – то уже не было Юрием Михайловичем Пушкаревым.

На землю он больше не вернулся.

Мельком

По одному неприятному и скучному делу я был вызван из Москвы и освободился только к десяти часам вечера, развинченный и злой. Другого дела у меня не было, но я торопливо шел на станцию, по привычке человека, у которого лежит в боковом кармане записная книжка, а в ней против каждого дня отмечены десятки мест, куда нужно поспеть, и ругал, ругал... право, не знаю кого. Весь свет ругал: и тех, кто вызвал меня по этому глупому делу, и себя за то, что поехал, и собак, существование которых в этой местности я предполагал, и дождливое лето, и ночной мрак, который уже царил всюду, особенно сгущаясь в узеньких путаных переулках, пролежавших между дачами. Посередине еще светлела дорога, но по краям, где под тенью высоких деревьев проходила пешеходная тропинка, было так же темно, как и у меня на душе. По времени свету полагалось больше – это происходило в последних числах июня, – но перед тем только что пронеслась сильная гроза, с проливным дождем и ветром, и посеревшие тучи еще не успели рассеяться, точно им было так же трудно и неприятно двигаться в теплом и сыром воздухе, как и мне. Минутами они спохватывались, как пьяница, который вспоминает, что в одном из карманов у него еще завалился непропитый пятак, и, возвратившись, с треском бросает его удивленному целовальнику, – и посылали

на землю редкие, запоздавшие капли, лениво ударявшиеся о листья и траву и наполнявшие окрестность тихим шуршанием. Деревья не шевелились, и только, когда я с усиленной бранью налетал плечом на темный ствол сосны или задевал ногой кустарник, на меня сыпались частые теплые брызги. У меня уже начинала являться противная догадка о том, что вместо станции я иду к черту на кулички, когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и в нескольких шагах на просветлевшем пространстве тускло блеснули мокрые рельсы.

Маленькая крытая платформочка, задавленная окружающим лесом и ежеминутно пугаемая громяющими поездами, робко прижималась к земле. На ней не было даже кассы, и в продолжительной агонии кончался холостяк-фонарь, не только не рассеивая тьмы, но скорее увеличивая ее. На стене висело большое, оборванное по краям и никогда не читаемое расписание каких-то поездов с мудренными линиями и черными ободами, а в углу стояла единственная лавка, на которую я плотно уселся. До поезда оставалось еще более часу, и я приготовился терпеливо ждать. Для этих случаев у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно, да и не хотелось. Эти чужие и выдуманные люди, о которых будет говорить газета или книга, давно уже вызывали во мне скуку и зависть. Что мне до того, что там где-то гремят витии, кипит жизнью шумная толпа и крики победы и яростные вопли побежденных поднимаются к небу, – когда

вокруг меня спит самый воздух, и сам я кисну и буду киснуть в этой неподвижной духоте? А в книге еще хуже: сочиненные Петры будут любить и целовать выдуманных Марий, во имя проклятого реализма порок будет торжествовать, а слюнявая добродетель нить и киснуть, киснуть и нить! Да и не все ли равно, быстро или медленно пройдет время? За этим часом пойдут другие, и их тоже нужно будет убивать – так пусть они умирают сами, а я буду только подсчитывать трупы.

Увлеченный нитьем, я не заметил, как на платформу вышли из разных концов две пары. Первую составляли два подвыпивших господина. Один из них был высокий худощавый старик с желтым лицом и реденькой седой бороденкой, от тонкого и широкого рта спускавшейся клочками на гусиную шею. Из-под котелка, оставлявшего в тени верхнюю часть лица, спускался тонкий и длинный нос, на конце острый, как у покойника. Спутник его обладал широким и красным лицом, подобным ломтю зрелого арбуза – причем роль зерен выполняли маленькие черные глазки, – стриженной круглой головой, на которой торчал белый картуз. Над пухлыми губами чернели маленькие усики. От всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимым блаженством и какой-то обидной кротостью. Старик уселся возле меня и заговорил высоким, хриплым фальцетом, которому он старался придать язвительность и иронию:

– Будьте, Семен Семеныч, солидарнее! Вас немного намочило, вы и починаяйтесь.

– Но чем же я почиюсь, Василь Игнатыч? Буфета нет.

– Это дело ваше. Толцйте и отверзется.

– Чему отверзаться-то? Стена.

Молодой человек в подтверждение своих слов стукнул кулаком в тонкую стену, издавшую звук пустого пространства, и откачнулся назад, но сделав при этом такой вид, как будто ему давно уже хотелось откачнуться и он только пользуется удобным случаем.

– Но зачем утруждаете вы меня вашими гнусными воплями? – спросил старик.

Весь он был преисполнен вежливости, иронии и яда, которым особую силу придавали частые знаки препинания.

– Сердце у меня золотое, с хорошим человеком поговорить желательно. Покурим, старина?

– Это дело ваше. А только я не старина, я – Василь Игнатыч и всякой пьяной свинье не товарищ.

– А сами-то вы не пили? – оскорбился тот.

– Это дело наше.

Другая пара стояла между тем в нерешимости.

– Уйдем, Саша, тут пьяные.

– Ничего, они тихие, сядем вон там в углу.

Высокая женская фигура в сером клеенчатом плаще медленно тронулась, и за ней последовал тот, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свет упал на красивое женское лицо и юношу с длинными волосами и в синей с косым воротом рубашке. Видом своим он напоминал интел-

лигентного рабочего или студента, снявшего форму. Девушка держалась спокойно и говорила решительно, мало придавая значения тому, что ее услышат. Голос ее – чистый и мягкий – звучал лаской в самом простом слове. Такие женщины, с ласковым голосом и уверенными движениями, особенно хорошо ухаживают за больными.

Разостлав на полу клеенчатый плащ, они уселись, тесно прижавшись друг к другу, и из-за лохматой головы на плечо легла тонкая белая рука.

– Милый, тебе не холодно?

– Конечно, нет, – ответил он с тем пренебрежением, каким мужчины отвечают на женскую заботливость.

А мне уже становилось холодно, и я зябко ежился в своем одиноком и жестком углу.

– А как нас знатно вымочило! – продолжал тот же ласковый голос со скрытым смехом. – И как страшно в лесу, когда гроза.

– Ну, что там страшного. Скорее – приятно. А твои там, дома, не будут беспокоиться о тебе? Запропала неведомо куда.

– Пусть их, – ответила девушка и счастливо рассмеялась, но тотчас же перешла в серьезный тон: – А странно, правда, что время так долго тянется без тебя. Ты когда был здесь?

– Вчера.

– Вчера? – протянул голос. – И то ведь вчера. Вот потеха-то! Я думала, что они врут.

– Кто они?

– Да вот те, что романы пишут.

– Кстати, кончила ты Каутского? У меня просили его.

Ответа я не слышал. Уже давно доносился издали гул, тихий и неотзывчивый в сером воздухе, поглощающем звуки. То шел не то пассажирский, не то курьерский поезд, не останавливающийся на этой платформе. Постепенно гул возрастал, и из-за стены, закрывавшей от меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, как вихрь, с громом и лязгом, таща за собой тяжелые вагоны. Освещенные окна сливались в одну блестящую полосу с мелькающими силуэтами голов. С низенькой платформы, стоявшей почти на одном уровне с рельсами, видно было, как торопливо вертятся колеса, кажущиеся легкими и прозрачными.

Наступила минутная тишина, нарушенная блаженным молодым человеком, в котором этот пронесшийся ураган, видимо, пробудил новые силы. Отчаянно фальшивым голосом он запел:

Бледный месяц... плывет над ре-е-кою...

– Врешь, – комментировал старик с язвительностью. – Возьмите глаза в зубы, и вы увидите тучи.

...Все в а-объятьях... ночной тишины...

– Хороша тишина! Орет как пришпандоренный.

...Ничего мне на свете... не нада-о-о...

– И опять врете. Полбутылки надо.

...Только видеть... тебя одное!..

– Эту рожу-то? Тьфу! – с омерзением плюнул старик.

– Послушайте! Почему вы говорите, что у нее рожа? Вы сами видели, какая у нее прелестная личность.

– К вашей пьяной роже никакая личность не подойдет.

Молодой человек задумался и решительно произнес:

– За эти слова я больше с вами незнаком.

– Дело ваше.

С другой стороны слышалось:

– Ты понюхай, Саша, как хорошо пахнет: листьями и еще чем-то.

– Да уж нюхал.

– Нет, пожалуйста, еще.

Юноша с шипением потянул воздух, и оба рассмеялись.

На блаженного молодого человека молчание действовало удручающе, и он заговорил, подражая ироническому тону старика:

– А вот с каким поездом мы поедем?

– Ни с каким.

– Н-ну? – изумился молодой человек и икнул. – Почему

же это, хотел бы я знать?

– Потому что не пустят. Скажут: куда, пьяная морда, лезешь?

– Это кто же морда-то? Скажем: две пьяные морды.

– Да еще по шее наладут, – ехидничал старик.

– О?

– Да протокол составят.

– О? – все больше тарасились глаза молодого человека.

– Да в титы. Посиди, голубчик, охладись, а то чувствителен больно.

Молодой человек задумался и торжественно провозгласил:

– Я с вами больше незнаком, потому что вы вредный человек.

Несмотря на то что эту торжественную формулу он заключил новой звучной икотой, видно было, что он огорчился и весь как-то потускнел, точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понял теперь и причину этого омраченного блаженства: оно было тем отпечатком, который накладывают на человека ласки и поцелуи любимой женщины. Но на что злился старик?

– Какой мрачный господин, – сказала шепотом девушка, очевидно, намекая на меня.

Мне было приятно, что я замечен и что, главное, замечена моя мрачность. Пусть хоть пожалеют меня эти милые люди – меня, у которого нет любви.

– Бабушку схоронил, – предположил юноша.

Это предположение было поразительно глупо. Кто бывает так мрачен, схоронив бабушку, и почему именно бабушку, а не дедушку?

– Ха-ха-ха! – звонко рассмеялась девушка, но сейчас же, со своим обычным переходом к милой серьезности, добавила раскaiвающимся голосом: – Быть может, он болен, а мы смеемся.

Это была эпитафия, с которой меня снова опустили в пучину небытия, откуда извлекли на одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттенила их светлое счастье. И снова повелся ими серьезный, деловой разговор о загранице, о медицинском институте, о правилах приема в него, о книжках прочитанных и тех, которые нужно еще прочесть, а в этот разговор врывалась шаловливым лучом милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно белая пена на поверхности золотистого крепкого вина. Весь мир казался им пустяком, и каждый пустяк был целым миром. Чувствовалось то благоговейное внимание, с которым эта высокая, красивая девушка ловила каждое слово, которое скупно, как драгоценность, выпускал длинноволосый юноша. Каким благодарным смехом отвечала она, когда это слово оказывалось умным и острым! Рассыпь сейчас перед ней Цицерон все самые пышные цветы из своего неувядаемого венка, блистай перед ней Гейне всеми перлами язвительной насмешки и мистически-страстной нежности, плачь и хмурься перед нею Данте, соберись

тут наконец все великие умы и сердца и положи к ногам ее дары свои, она, эта красивая девушка, не обернула бы к ним головы и жадным ухом ловила бы каждое слово длинноволосого молодца. Она смеется, счастливая и благодарная, точно все это: и ее возлюбленный, и смешные пьяные, и сумрачный господин, схоронивший свою бабушку, существуют лишь для полноты ее счастья. Мы не были живые люди, мы были лишь тени, картинки.

– Как быстро бежит время! – жаловалась она.

А я не знал, как убить это время!

– Может быть, мои часы спешат?

Маленькие золотые часики сблизились с большими серебряными часами, и обе головы склонились над ними. Но, вероятно, кроме часов, сблизилось что-нибудь другое, потому что слишком уж долго не определялся настоящий час.

– Кажется, верно? – смущенно сказал женский голос с легкой дрожью.

– Верно! – авторитетно сказал юноша.

Верно! Как слепы эти счастливые люди. Неверно! Тысячу раз неверно! И проклянете тот день, когда ваши часы пойдут так правильно, что ни в одной убитой минуте вы не ошибетесь, и маленькие часики далеко от вас будут отбивать такие же грустные и пустые секунды!

Тучи уже проходили, и на западе, прямо против платформы, светлой полосой проступило чистое, прозрачное небо. На нем чернели, как вырезанные из плотной бумаги, силу-

эты разбросанных деревьев. Свежее и суше стал воздух, на ближайшей даче глухо зарокотал рояль, и к нему присоединились согласные, стройные голоса.

– Пойдем слушать, – быстро вскочила девушка и потащила за рукав неуклюже поднимавшегося юношу.

Пойдём и мы – пусть до конца оттаивает застывшее сердце. Пели хорошо, как редко поют на дачах, где каждая безголосая собака считает себя обязанной к вытью. И песня была грустная и нежная. Мягкий, красивый баритон гудел сдержанно и взволнованно, как будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокий и звучный тенор. А жаловался он на то, что дни и ночи думает все о ней одной.

– Об одной тебе думу думаю, – плакал тенор.

– Думу думаю, – грустно соглашался баритон.

– Об одной тебе, моя душечка, – звенел слезами тенор.

– Душечка, – мягко подтверждал баритон.

– И умру я, жизнь проклинаячи, об одной тебе вспоминаючи...

– Об одной тебе вспоминаючи, – с глубокою тоскою подтвердил баритон, и все стихло.

Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка и, когда песня кончилась, разом вздохнула – и поцеловалась. Я отправился на платформу, откуда слышался отчаянно фальшивый голос, беззаботно обходившийся всего двумя нотами, одинаково скверными: простым криком и диким криком. Молодой человек с золотым сердцем не мог остатъ-

ся нечувствительным к любовному призыву и отвечал как умел...

Ничего мне... на свете... не нада-а.

Только видеть тебя одное...

– Врете! – шипел старик, пытаясь заглушить кричащего. – Дубину хорошую надо!

Бедный старик! Теперь я понял, почему он так злился. Он завидовал, как и я.

Затрещал звонок, извещающий о выходе поезда, и вскоре послышался тот же ровный и тихий гул. Сейчас поезд унесет меня отсюда, и навеки исчезнет для меня эта низенькая и темная платформочка, и только в воспоминании увижу я милую девушку. Как песчинка, скроется она от меня в море человеческих жизней и пойдет своею далекой дорогой к жизни и счастью.

Снова из-за стены вырвалось черное чудовище и, сдержанное могучей властью, остановило, вздрагивая, свой стремительный бег. Находя друг на друга и треща и скрипя тормозами, проползали вагоны и остановились с глухим стуком. Стало тихо, и только шипел воздух, выходя из тормозных труб.

Пьяных действительно на поезд не пустили, и старик с злорадством говорил:

– Что? Поехали?

– Нич-чево. Поедем на следующем.

– А на следующем и по шее накладывают.

Я стоял на площадке вагона, против длинноволосого юноши, пристально смотревшего на высокую, стройную фигуру, таким же продолжительным взглядом впившуюся в него. Поезд дернулся и плавно пошел, отрывисто стуча и покачиваясь на стыках рельсов.

– До свиданья, Саша, – сказала девушка.

– До свиданья, – ответил он.

– Прощай, – тихо молвил я, склоняя голову.

– До завтра! – донеслось уже издали и глухо.

– До завтра! – крикнул он.

«Навсегда», – ответил тихо я. «Навсегда», – прощались со мной черные силуэты деревьев и убегали назад. «Навсегда», – сказала платформа и скрылась за поворотом.

Однако пойти в вагон, а то становится холодновато: мечты мечтами, а насморк насморком. Да заглянуть заодно и в записную книжку: куда и куда бежать мне завтра спозаранку.

У окна

Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Наискосок, в потемневшем кривом домике, отвязалась ставня и с тупым упорством захлопывала половинку окна, таща за собой мокрую веревку, и снова со стуком ударялась о гнилые бревна. И оставшаяся открытой другая половинка, со стоявшей на ней бутылкой желтого масла и сапожной колодкой, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом.

За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйского помещения, послышался голос, глухо и неторопливо бурчавший:

– Дело вот в чем – две копейки потерял.

– Да брось ты их, Федор Иванович, – умолял женский голос.

– Не могу.

Под тяжелыми шагами закрипели половицы, и стукнула упавшая табуретка. Хозяин Андрея Николаевича, пекарь,

когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки, и Андрей Николаевич сомневался, были ли они когда-нибудь в действительности. Жена давала ему свои две копейки, говоря, что это потерянные, но Федор Иванович не верил, и приходилось перерывать всю комнату.

Вздохнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице. Прямо против окна, на противоположной стороне, высился красивый барский дом. Деревянная вычурная резьба покрывала будто кружевом весь фасад, начинаясь от высокого темно-красного фундамента и доходя до конька железной крыши со стоящим на ней таким же вычурным шпилем. Даже в эту погоду, когда кругом все стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными, точно для них никогда не умирала весна и сами они обладали тайной вечнойзеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображал, как живут там. Смеющиеся красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью, и все там красиво, уютно и чисто.

В пять или шесть часов приезжает обыкновенно со службы сам владелец богатого дома, красивый высокий брюнет с энергичным выражением лица и белыми зубами, делаю-

щими его улыбку яркой и самоуверенно – веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходят они на каменные ступени крыльца и, смеясь, скрываются за дубовой дверью, а толстый и сердитый кучер делает крутой поворот и въезжает на мощный двор, в отдаленном конце которого видны капитальные службы и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич представляет себе, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшенный зеленеющим хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются. Однажды он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрызгивая резиновыми шинами мелкий щебень. Андрей Николаевич поклонился, и он весело и любезно ответил, но лицо его не выразило ни малейшего удивления по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господин в фуражке с бархатным околышем и кокардой, и он не задумался о причине этого. Но причины не знал и сам Андрей Николаевич.

– Вот в чем дело, – говорил за перегородкой хозяин, раздумчиво и вразумительно, – это не те две копейки. Те две копейки щербатые.

– Господи, да когда же ты приберешь меня?

Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью. Время застывало для него в эти минуты,

и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли пронестись года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы в омертвевшей душе.

Вот распахнулись ворота богатого дома, выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя на руках вожжи. «Это барыня сейчас поедет», – подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина и с нею сын, семилетний пузырь, с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного драпового пальто, маленький человечек благосклонно смотрел на вороного жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами, и с тем же видом величавого покоя и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рук из карманов, позволил горничной поднять себя и посадить в пролетку. Этого мальчика Андрей Николаевич называл про себя «вашим превосходительством» и искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, рождаются тем же простым способом, как и другие дети? И, когда обе женщины рассмеялись на маленького генерала, с задумчивым удивлением посмотревшего на их непонятную веселость, худенький чиновник, притаившийся у своего окна, невольно и с почтением улыбнулся. Лошадь рванула с места и ровной, крупной рысью понесла подпрыгивающий экипаж. Спрятав под передник красные руки, горничная повертелась на крыльце, сделала гримасу и скрылась за дверью. Снова опустела и за-

тихла мокрая улица, и только отвязавшаяся ставня хлопала с таким безнадежным видом, точно просила, чтобы кто-нибудь вышел и привязал ее. Но покривившийся домик точно вымер. Раз только за его окном мелькнуло бледное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человека.

Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, как они. Давно уже, целых шесть лет, он следил за красивым домом и так сжился с ним, что, сгори дом – он не знал бы, что ему делать. Он изучил все привычки его обитателей, и, когда в прошлом году, весной, пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевич все свое свободное время проводил у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжие маляры, тонкими голосками поющие какие-то глупые песенки, обязательно испортят дом. И хотя он вовсе не был испорчен и еще ярче засиял, обмытый и помолодевший, Андрею Николаевичу было жаль старого дома, в котором он знал всякую трещину. Там, где откос крыши сходил со стенами, в треугольничке находилось место, которое он особенно любил за его уютность, и ему сделалось особенно тяжело, когда плотники оторвали старую резьбу, и уютный уголок, обнаженный, сверкающий белым тесом от свежих ран, выступил на свет, и вся улица могла смотреть на него. И только раз или два Андрею Николаевичу приходила мысль о том, что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая

жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнате, и стены и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему, и не заговорит с ним, и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто лежит на илистом дне глубокого моря и тяжелая, темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ничем не защищенный, стоит он посередине, словно на площади, по которой он так не любит ходить. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали бы и их было больше, о жене, о фабрике и о множестве странных вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать приказания, а если они не послушаются и станут спорить, то кричать и топтать ногами. Надо быть страшным для других и сильным, очень сильным, – и при этой мысли Андрей Николаевич чувствует, что все тело его, руки, ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кости. Это чувство является у него всякий раз, когда ему приходится делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное.

В своей канцелярии он чувствует себя хорошо. Стол его,

все один и тот же за пятнадцать лет, – крытый клеенкой стол притиснут в самый угол, и, когда проходит советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же в эти минуты ему жутко, и лишь после того, как советник пройдет и согнутые спины распрямятся, словно колосья ржи после промчавшегося ветра, Андрей Николаевич сознает себя в полной безопасности. И только помощник секретаря, который берет у него переписанные бумаги и дает новые, знает, что существует на свете очень исполнительный и скромный чиновник, пишущий «д» с большим росчерком и «р», похожее на скрипичный знак, и что зовут его Андреем Николаевичем, товарищи дразнят его «Сусли-Мысли», а фамилия известна одному казначею. В свою очередь, чиновник этот знает, что он будет делать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встретится на пути. Пять лет тому назад его назначили старшим чиновником – и что это за страшные были дни!

Надвинулась туча, и в комнатке Андрея Николаевича потемнело. Он смотрел в окно, как ветер пригибает к крыше ракиту, бессильную в своем трепетном сопротивлении, и старался думать о том, переломится ли дерево или нет и чувствуются ли ветер этот и туча в богатом доме. Но размышления шли вяло, и картина жизни в богатом доме оставалась тусклой. В созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживался от жизни, есть слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожидан-

но появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделаться с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко. Вот сейчас, когда он только что обрадовался неслышному движению времени, незаметно подкрались враги, и он уже не в силах бороться с ними. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотрит на сияющий блик его лысины. Так медленно проползает секунда, две. Подошвы совсем прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы дюжина лошадей.

– Ну, что еще? – замечает его советник, уже отдавший все необходимые приказания.

Голос его гремит, как труба на страшном суде, и ноги Андрея Николаевича сейчас же сдвигаются, но не идут к двери, где спасение, а танцуют на одном месте. Язык, однако, еще не отклеился, и оторвать его можно только щипцами.

– Н-ну? – протянула труба.

– А... если Агапов к двум часам не перепишет?

– Да... – задумался начальник. – Ну, дайте тогда на дом. Что еще? Ясно?

– Ясно, – отвечает Андрей Николаевич в тон вопросу, резко и отрывисто. Он плохо понимает, что ему говорят, потому

что новый и страшный вопрос возникает в его мозгу.

– Так... чего же вам еще? – рычит труба.

– А... если у него есть другая спешная работа?

Это была правда. У Агапова могла быть другая спешная работа, и советник об этом не подумал. Снова, с неудовольствием оторвавшись от бумаги, он обратил на Андрея Николаевича нетерпеливый взгляд и ничего не мог придумать.

– Ну, дайте кому-нибудь еще.

– А если...

– Что-с? – рванул советник. Глаза его стали огромные и круглые, как кегельные шары.

Андрей Николаевич обомлел от страха.

– Нет, нет, не то, – скороговоркой проговорил он и из невольного подражания закричал на начальника так же громко, как и тот на него, – похоже было на разговор людей, разделенных широким оврагом. – Я вам говорю, если мы на сегодняшнюю почту опоздаем, тогда что?

Остальное представляется Андрею Николаевичу в виде одного звука: ф-фа! Через неделю советник говорил секретарю:

– Откуда вы достали этого господина, который по горло заряжен всякими «если»? Все, что он предполагает, может случиться, хотя мне это и в голову не приходило. Но ведь и дом этот может провалиться! – вдруг рассердился он. – Ведь может?

– Казенной постройке, – пошутил секретарь и серьезно

добавил: – Никак не полагал: он такой исполнительный. . .

– Дерзкий еще такой, кричит. Уберите его на старое место.

И Андрея Николаевича убрали, а у него целую еще неделю руки и ноги были мягкими, как у дешевой куклы, набитой отрубями.

На улице слышались гнусавые и резкие звуки гармоники. По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и картузы, у которых поля были острые, как ножи. Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах желтело. Когда уличные ребятишки, подражая взрослым, играли в пьяных и вместо гармоник держали в руках чурки, они изображали этот мотив так:

– Ган-на-нидар, ган-на-нидар – ган-на-нидар, най-на.

Против красивого дома на мостовой было единственное сравнительно сухое место на всей улице, и один из пьяных выделился вперед и стал плясать, пристукивая каблуками и изгибаясь всем телом. Лицо его, молодое, дерзкое, с небольшими светлыми усиками, осталось таким же серьезным и даже печальным, как будто давным-давно ему наскучило быть пьяным и плясать на грязной мостовой под этот трескучий, невеселый мотив. Остальные смотрели на него так же рав-

нодушно и вяло, не выражая ни одобрения, ни порицания, и чем-то беспросветно тоскливым веяло от этого странно-го веселья под хмурым осенним небом среди покосившихся домишек.

«Ванька Гусаренок! – подумал Андрей Николаевич. – Пляшет – значит, будет сегодня жену бить».

Когда пьяные прошли, уныло-задорные звуки гармоники стихли, из покосившегося домика с хлопающей ставней вышла женщина, жена Гусаренка, и остановилась на крылечке, глядя вслед за прошедшими. На ней была красная ситцевая блуза, запачканная сажей и лоснившаяся на том месте, где округло выступала молодая, почти девическая грудь. Ветер трепал грязное платье и обвивал его вокруг ног, обрисовывая их контуры, и вся она, с босых маленьких ножек до гордо повернутой головки, походила на античную статую, жестокой волей судьбы брошенную в грязь провинциального захолустья. Правильное, красивое лицо с крутым подбородком было бледно, и синие круги увеличивали и без того большие черные глаза. В них странно сочетались гнев и боязнь, тоска и презрение. Долго еще стояла на крылечке Наташа и так пристально смотрела вслед мужу, идущему из одного кабака в другой, точно всей своей силой воли хотела вернуть его обратно. Рука, которой она держалась за косяк двери, замерла; волосы от ветра шевелились на голове, а давно отвязавшаяся ставня упорно продолжала хлопать, с каждым разом повторяя: нет, нет, нет.

«Вот баба-то! – ужаснулся Андрей Николаевич, когда Наташа ушла, не бросив взгляда на окно, за которым он прятался. – И слава богу, что я на ней не женился».

Андрей Николаевич даже рассмеялся от удовольствия, но оно было непродолжительно. Еще не разгладились морщинки, образовавшиеся от смеха, как в потаенную калиточку ворвались враги. Образ Наташи, еще не сошедший с сетчатки его глаза, вырос перед ним яркий и живой, а рядом выступила другая картинка, без всякого предупреждения, внезапно. Стены раздвинулись и исчезли, на него пахнуло полем и запахом скошенного сена. Над черным краем земли неподвижно висел багрово-красный диск луны, и все кругом было так загадочно, тихо и странно.

«Господи, – сказал Андрей Николаевич с мольбой, – разве мало того, что это было когда-то, нужно еще, чтобы оно постоянно являлось. Мне совсем этого не нужно, я не хочу этого».

Желтыми от табаку пальцами он оторвал кусок толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, достал из жестянки щепотку мелкого табаку и свернул папироску, склеивая концы бумаги языком. За перегородкой, задыхаясь и сопя, храпел Федор Иванович. Обессиленный водкой и поисками двух копеек, он заснул и проснется только вечером, когда стемнеет. Воздух изнутри с силой поднимался к горлу спящего, ища себе выхода, и с легким шипением выходил наружу, отравляя комнату запахом перегорелой водки.

Проснувшись, Федор Иванович будет долго и мучительно кашлять выворачивающим все внутренности кашлем, выпьет квасу и потом водки, и снова начнутся мучения его жены. Так бывало каждый праздник. Андрею Николаевичу стало досадно на этого толстого, рыхлого человека, который всю неделю томится от жара у раскаленной печи, а в праздник задыхается от водки.

Он обратился к улице. Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и скудным, желтым светом озарило мокрую и печальную улицу. Только противоположный дом стоял все таким же гордым и веселым, и окна его сияли. Но Андрей Николаевич не видел его. Он видел то, что было когда-то и что так упорно продолжало являться назло всем стенам и запорам.

Наташа никогда не была веселой, даже и в то время, когда она была еще девушкой, красивой и свободной, и любви ее добивались многие. При первой встрече с ней Андрей Николаевич испытал неприятное чувство стеснения и робости. Он с тревогой следил за ее резкими и неожиданными движениями, и ему казалось, что сейчас Наташа скажет или сделает что-нибудь такое, от чего всем присутствующим на вечеринке станет совестно. Вместе с другими девушками она пела песни, но не старалась кричать вместе с ними как можно выше и громче, а шла в одиночку со своим низким и несколько грубоватым контральто и как будто пела для одной себя. Когда Гусаренок, также бывший на этой вечеринке и по

обыкновенно несколько пьяный, игриво обнял ее за талию, она грубо оттолкнула его и, покраснев, сказала что-то, от чего его светлые усики запрыгали и глаза стали жесткими и вызывающими. С дерзким смехом, не оборачиваясь, он показал пальцем на Андрея Николаевича – Наташа молча повернула голову, и ее черные глаза устремились на него, не то спрашивая, не то приказывая сделать что-то сейчас, немедленно. И он хотел отвести от них свои глаза и не мог, и испытывал то же состояние безволия, порабощения, как и в ту минуту, когда он глядел не отрываясь на блестящую лысину начальника. Лица Наташи видно не было, и только ее глаза, страшно большие и страшно черные, сверкали перед ним, как черные алмазы. И, все продолжая смотреть на него, Наташа поднялась с места, быстрой, уверенной походкой прошла комнату и села с ним рядом так просто и свободно, точно он звал ее, и заговорила, как старая знакомая.

– Мы вам попомним это, Наталья Антоновна, – сказал, проходя, Гусаренок.

На Андрея Николаевича он не взглянул, но в его вздрагивающих усиках чувствовалась угроза.

– Счастливо оставаться, век не расставаться, – проговорил Гусаренок, не получая от Наташи ответа, и вышел, заливчатски заломив картуз.

Через секунду под окнами послышалась гармоника и высокий приятный тенор:

Она, моя милая,
Сердце мое вынула,
Сердце мое вынула,
В окно с сором кинула...

– Он вас побьет, вы берегитесь, – сказала Наташа.

– Не смеет, я чиновник, – возразил Андрей Николаевич и действительно несколько не боялся. На него точно просветление какое нашло. Он не только отвечал на вопросы Наташи, но говорил и сам, и даже спрашивал ее, и не удивлялся, что говорит так складно и хорошо, как будто всю жизнь только этим делом и занимался. И, думая и говоря, он в то же время с особенной отчетливостью видел все окружающее, и грязный пол, усыпанный шелухой от подсолнухов, и хихикающих девушек, и небольшую прихотливую морщинку на низком лбу Наташи.

Но как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать: идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или остаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам.

Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но, когда за перегородкой, у хозяйки, он услышал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомо-

мой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит «ура!»... Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса. Но, едва Андрею Николаевичу метнулись в глаза два черных алмаза, страх тотчас пропал, и стало легко и спокойно.

Промчалось невидных два месяца, и вышло так, что Наташа и Андрей Николаевич любят друг друга. Это видно было из того, что он целовал Наташу в щеки и в эти черные страшные глаза, щекотавшие губы своими ресницами. При этом Наташа подтверждала существование любви, говоря:

– Не нужно целовать в глаза – примета нехорошая.

– Какая же такая примета? – смеялся Андрей Николаевич и чувствовал, насколько он, человек образованный, прошедший два класса реального училища, выше этой темной девушки, верящей во всякие приметы.

– Такая. Разлюбите меня, вот что.

Раз есть возможность разлюбить – значит, любовь существует. Но откуда же она взялась? И куда она девалась на то время, когда Андрей Николаевич не видел Наташи? Тогда девушка эта казалась ему совершенно чуждой и далекой от него, и в поцелуи ее так же трудно верилось, как если бы он стал думать о поцелуях той богатой барыни, что живет напротив. В самом слове «Наташа» звучало для него что-то странное, чужое, точно он до сих пор не слышал этого име-

ни и не встречал подобного сочетания звуков. Наташа... Он ничего не знал о Наташе и о ее прошлой жизни, о которой она не любила говорить.

– Жила, как и люди живут, – говорила она. – Вы лучше о себе расскажите.

Эта просьба всегда затрудняла Андрея Николаевича, потому что рассказывать было не о чем. Ему тридцать четыре года, а в памяти от этих лет нет ничего, так, серенький туман какой-то да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит серая, непроницаемая стена. Был у него отец, маленький рыженький чиновник в больших калошах и с огромным свертком бумаг под мышкой; была мать, худая, длинная и рано умершая вместе со вторым ребенком. Потом, с шестнадцати лет, Андрей Николаевич стал также чиновником и ходил вместе с отцом на службу, и под мышкой у него был также большой сверток бумаг, а на ногах старые отцовские калоши. Отец умер от холеры, и он стал ходить на службу один. В молодости он очень любил играть на бильярде, играл на гитаре и ухаживал за барышнями. Пытался он тогда переменить свою участь, бросить казенную службу, но как-то все не удавалось. Раз уже ему обещали хорошее место, да пришел кто-то другой и сел на это место, так он ни при чем и остался. Да, может быть, это и к лучшему было, потому что тот, похититель, и года не просидел на своем месте, а он вот до сих пор – ничего, служит.

– И только? – спрашивала с недоверием Наташа.

– И только. Чего же еще?

– А я не так думала. Я думала, у вас другая жизнь, не так, как у нас. Книжки читаете и все говорите так тихо, благо-родно, и все о хорошем, чувствительном.

– Читал я и книжки, да что в них толку? Все выдумка одна.

– А божественное?

– Кто же теперь читает божественное? Купцы одни, как нахапают побольше, так божественное читают. А у нас и без того грехов мало.

– И не скучно вам так-то, все одному да одному?

– Чего же скучать? Сыт, одет, обут, у начальства на хоро-шем счету. Секретарь прямо говорит: примерный вы, гово-рит, чиновник, Андрей Николаевич. Кто губернатору докла-ды переписывает – я небось!

– Да вам же скучно без людей?

– Да что в них, в людях? Свара одна да неприятности. Не так скажешь, не так сядешь. Один-то я сам себе господин, а с ними надо... А то пьянство, картеж, да еще начальству до-несут, а я люблю, чтобы все было тихо, скромно. Тоже ведь не кто-нибудь я, а коллежский регистратор – вон какая пти-ца, тебе и не выговорить. Другие вон и благодарность при-нимают, а я не могу. Еще попадешься грешным делом.

Но Наташа не удовлетворялась. Она хотела знать, как жи-вут у них, у чиновников, жены, дочери и дети. Пьют ли му-жья водку, а если пьют, то что делают пьяные и не бьют ли

жен, и что делают последние, когда мужья бывают на службе. И по мере того, как Андрей Николаевич рассказывал, лицо Наташи застывало, и только прихотливая морщинка на низком лбу двигалась с выражением упорной мысли и тяжелого недоумения.

– Прощайте, – тихо говорила Наташа и уходила. А он целовал ее холодную, неподвижную щеку, думал: «Чего ей надо? Только тоску на людей нагоняет».

Раз летом они долго сидели в хозяйском саду и потом вышли на берег. Солнце зашло в облака, и только узкая багрово-красная полоска горела на горизонте, обещая назавтра ветер. Вода была неподвижна, и им сверху казалось, что они смотрят не в реку, а в небо. На том берегу на много верст тянулись бакши, и соломенный шалаш сторожа чуть белел на земле, казавшейся черной от контраста со светлым небом. Недалеко от шалаша горел костер, и пламя его поднималось вверх прямым и тонким лезвием, как от восковой свечи. Со стороны садов пахло лежалыми яблоками и свежескошенным сеном. На улице ударил в колотушку сторож, вышедший на ночное дежурство, и галки, облепившие высокие ракиты, зашумели листьями и подняли долгий, несмолкающий крик. И снова настала тишина.

– В каком ухе звенит? – спросила Наташа и наклонила голову, боясь потерять этот тоненький, звенящий голосок.

– В левом, – невнимательно ответил Андрей Николаевич и не угадал. Но он и не старался об этом – тихий вечер рас-

положил его к такой же тихой грусти и размышлениям о жизни. Следя прищуренными глазами за костром, он ощупью достал портсигар и закурил, и дым легкими колечками поднимался и таял в воздухе, полном прозрачной мглы. Не торопясь, прерывая себя долгими минутами молчания, Андрей Николаевич стал говорить о том, какая это и странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданно и непонятного. Живут люди, и умирают, и не знают нынче о том, что завтра умрут. Шел чиновник в погребок за пивом, а на него сзади карета наехала и задавила, и вместо пива к ожидавшим приятелям принесли еще не остывший труп. Получил чиновник награду, пошла его жена бога благодарить, а в церкви деньги у нее и вытащили. И куда ни сунься, всё люди грубые, шумные, смелые, так и прут вперед и все побольше захватить хотят. Жестокосердые, неумолимые, они идут напролом со свистом и гоготом и топчут других, слабых людей. Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога!

В голосе Андрея Николаевича звучал ужас, и весь он казался таким маленьким и придавленным. Spина согнулась, выставив острые лопатки, тонкие, худые пальцы, не знающие грубого труда, бессильно лежали на коленях. Точно все груды бумаг, переписанных на своем веку и им, и его отцом, легли на него и давили своей многопудовой тяжестью.

– Так вот всю жизнь и проживешь, – сказал он после долгой паузы, продолжая какую-то свою мысль.

– Вы бы... ушли куда-нибудь.

– Куда идти-то?

Наташа помолчала и вдруг обхватила рукой шею Андрея Николаевича и прижала его голову к своей груди.

– Голубчик ты мой!

Первый раз говорила она Андрею Николаевичу «ты». При порывистом движении Наташи фуражка с бархатным околышем свалилась с головы и теперь катилась вниз, подсакивая на неровностях обрыва. Твердая рука Наташи крепко прижимала голову Андрея Николаевича к упругой груди, и ему было тепло и ничего не страшно, только до боли жаль себя. Он хотел сказать что-нибудь сильное, хорошее и такое жалостливое, чтобы Наташа заплакала, но таких слов не находилось на его языке, и он молчал. Согнутой шее становилось больно от неудобного положения, и Андрей Николаевич попытался высвободить свою голову, но твердая рука только сильнее прижала ее к горячей груди. Вдыхая запах молодого здорового тела, он скосил глаза и из-под руки Наташи увидел очистившееся и потемневшее небо со слабо мерцавшими звездами. Немного ниже, там, где черный край земли сливался со смутно-черным небом, неподвижно висел красный диск луны, казавшийся близким и страшным. Безмолвный, угрюмый, он не издавал лучей и висел над землей как испанская угроза каким-то близким, но неведомым бедствием. В немом ужасе застыли река, и болтливый тростник, и черная даль. Костер на том берегу давно уже потух, и ни один

звук не нарушал грозной тишины.

Наташа вздрогнула и выпустила голову Андрея Николаевича.

– Ну, пойдёмте.

Охваченный свежим воздухом, он поднялся и, сделав шаг к Наташе, приготовился сказать ей то важное и значительное, для чего у него не находилось слов.

– Наташа... – начал он нерешительно, приподняв брови и выпятив губы.

Гладко прилизанная голова его была на этот раз всклокочена, и редкие волосики стояли, как у дикобраза.

– Ну?

– Наташа... – повторил он, забыв, что хотел сказать. – Наташа, дело вот в чем...

– Две копейки потеряли? Какой вы смешной! – И Наташа рассмеялась. Смеялась она неприятно, каким-то чужим и неестественным голосом.

Андрей Николаевич обиделся и молча достал фуражку, а дорогой домой выговаривал Наташе за ее смех и упрекал за неумение держаться в приличном обществе.

Андрей Николаевич сидел у окна и настойчиво смотрел на улицу, но она была все так же безлюдна и хмура, и в покосившемся домике продолжала ударять о стену отвязавшаяся ставня, точно загоняя гвозди в чей-то свежий гроб. «Привязать не может!» – подумал Андрей Николаевич с гневом на Наташу и, взглянув на часы, убедился, что ему время обе-

дать и даже прошло уже лишних пять минут. После обеда он лег отдохнуть, но сон долго не приходил, и вообще праздник был испорчен. А за перегородкой, точно назло, храпел Федор Иванович, и воздух бурлил в его горле и с шипением выходил наружу.

После вечера на берегу, на другой же день, начался разлад, и был так же малопонятен, как и начало любви. У Андрея Николаевича давно уже явилась неприятная догадка и к этому времени перешла в уверенность: Наташа хочет выйти замуж и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говорит: «теперича», «поемши»; она по ремеслу папиросница, и часто, когда она делает папиросы на дому, ей приходится терпеть наглые любезности и заигрывания. И вот она ищет мужа с положением, образованного, который мог бы быть ей покровителем и защитником, а таких на всей улице только один и есть он, Андрей Николаевич Николаев. Как женщина умная и хитрая, она скрывает свои планы и делает вид, что любит бескорыстно. А так как до сих пор эта тактика ни к чему не привела и Андрей Николаевич оставался тверд как гранит, Наташа начала прибегать к другому средству, которым опытного человека, в молодости ухаживавшего за барышнями, никак не проведешь: делает вид, что ни на грош не любит Андрея Николаевича, и нарочно расхваливает Гусаренка за его силу и молодчество. А этого Гусаренка на днях вели в участок; рубашка его была разорвана сверху донизу, и по белому как мел лицу текла красная струйка

крови. Сзади бежали и улюлюкали мальчишки, а один из городских, такой же бледный, как и Гусаренок, методически ударял его кулаком, и белая голова откачивалась. И такого-то она может полюбить!

Для Андрея Николаевича начались страшные терзания и появились вопросы, от которых он обмякал по нескольку раз в день. Когда он смотрел на Наташу и прикасался к ней, ему хотелось жениться, и эта женитьба казалась легкой, но в остальное время мысль о браке нагоняла страх. Он был человеком, который заболевает от перемены квартиры, а тут являлось столько нового, что он мог умереть. Идти к священнику, искать шаферов, которые могут не явиться, и тогда за ними надо ехать, а с извозчиком торговаться; потом идти или ехать в церковь, которая может быть заперта, а сторож потерял ключ, и народ смеется. А там нужно искать новую квартиру и переходить в нее, и все пойдет по-новому. И обо всем необходимо думать, заботиться, говорить. А если дети пойдут? И притом, не дай бог, двоешки, и все девочки, которым нужно приданое. А если новая квартира будет сырая и угарная? И Андрей Николаевич отчаянным жестом ворошил волосы и готов был завтра же сказать Наташе все, если бы не боязнь, что она убьет себя или пожалуется дикарю Гусаренку, и тот изувечит Андрея Николаевича или просто посмотрит на него так, что хуже всякого увечья. Люди, которые женятся, начали казаться Андрею Николаевичу героями, и он с уважением смотрел на Федора Ивановича и хо-

зьяйку, которые сумели жениться и остались живы. Раз даже он написал Наташе:

«Милостивая государыня,
Наталия Антониевна!

Сим письмом от 22 августа текущего года имею честь поставить вас, милостивая государыня, в известность о том, что по слабости здоровья, изможденного трудами и бдением на пользу престола и отечества, будучи чиновником тринадцатого класса и похоронив родителей, папеньку Николая Андреевича и маменьку Дарью Прохоровну, во блаженном успении вечный покой...»

Но так как Наташа была неграмотна, то он письма не послал, но несколько раз перебелил его для себя и прибавлял новые пункты. По счастью, никаких объяснений не понадобилось: Наташа перехитрила самое себя. Сперва не позволила себя целовать – Андрей Николаевич ни гу-гу. Потом раза два не пришла на свидание. Андрею Николаевичу было обидно, но он даже и виду не показал, а держался развязно, с достоинством, и только слегка дал ей понять о неприличии ее поведения. Потом совсем перестала ходить, и однажды хозяйка принесла радостную весть, что Наташа выходит замуж за Гусаренка.

– Этакого гуся выбрала! – негодовала хозяйка и сочувственно смотрела на Андрея Николаевича, думая: «Вишь,

гордец какой: нарочно веселость из себя изображает». А чиновники, глупые люди, смотрели на него в этот день с изумлением; думали, что он женится, поздравляли его и говорили:

– Ай да Сусли-Мысли: какую штуку выкинул!

А он именно не женился!

На Красной горке была Наташина свадьба. Это был второй радостный день, когда Андрей Николаевич сидел по обыкновению у окна и видел, как трясется от топота пляшущих покосившийся домик, и слушал доносившийся оттуда веселый гомон и визг гармоники. Подумать только, что он мог быть центром этого буйного сборища! И с особенной радостью он услышал, уже поздно ночью, как в покосившемся домике зазвенели разбиваемые стекла, понеслись дикие крики и визгливые женские вопли. Мимо его окна, громко топоча ногами, пробежал кто-то, и вслед за этим послышались звуки борьбы, тяжелое дыхание и падение тела.

– Стой, не уйдешь! – хрипел с натугой голос, чередуясь со шлепками ударами по чему-то мягкому и мокрому. И чуть ли голос тот не принадлежал герою торжества – Гусаренку.

– Караул!

Точно проснувшись, испуганно затрещала колотушка сторожа, и ей завторил журчащий свисток городского Баргамонта. Словно эхом ответили ему вдали другие свистки.

«Вот так первая ночь новобрачного – в участке, – со злорадством усмехнулся Андрей Николаевич, не торопясь, с ле-

нивым комфортом повернулся в своей одинокой и свободной кровати на другой бок и заключил так: – Вы там себе деритесь, а я – засну!»

И это «засну», ехидное, шипящее, вырвалось из его груди как крик победного торжества и было последним гвоздем, который вбил он в крышку своего гроба. Улица продолжала шуметь, и Андрей Николаевич накрыл голову подушкой. Стало тихо как в могиле.

На следующий день Андрей Николаевич узнал причину ссоры на свадьбе Наташи: Сергей Козюля, когда напился пьян, сказал, что Наташа имела любовника – Андрея Николаевича, который получил с нее что нужно и потом бросил ее. За эти слова Гусаренок побил Козюлю и других, вступившихся за него, потом был побит сам и действительно ночевал в участке. Узнав все это, Андрей Николаевич обрадовался, что его в какой бы то ни было форме, но вспомнили, и что Наташа будет теперь знать, как отказываться от любящего человека ради одного женского вероломства; к этому времени совсем как-то забылось, что не Наташа, а он главным образом хотел разрыва.

Андрей Николаевич ворочался на кровати и думал:

«Как нехорошо это устроено, что не может человек думать о том, о чем он хочет, а приходят к нему мысли ненужные, глупые и весьма досадные. Прошло четыре года с того вечера, как я сидел с Наташей на берегу, а я об этом вечере думаю, и мне неприятно, и особенно неприятно оттого, что я

вполне явственно вижу красную луну. При чем здесь эта луна? А если бы я стал думать о том, сколько „барин“ получает денег в год, потом в час и минуту, мне стало бы хорошо, и я бы заснул, но я не могу».

Но вскоре веки начали тяжелеть, и красная луна внезапно превратилась в красную рожу швейцара Егора. «В каком ухе звенит?» – спрашивает он, наклонясь и нагло тараща выпуклые глаза. Андрей Николаевич хотел дать ему гривенник, но деньги не находились, и это доставляло особенное удовольствие Гусаренку, который сидел тут же, заложив ногу за ногу, и играл на гармонике. «Ты, Егор, подожди, мы лучше зарежем его, как поросенка», – сказал он и вытащил из кармана большой, блестящий и острый как бритва нож. Андрей Николаевич бросился бежать. Ему нужно было пробежать все комнаты правления, и этих комнат было ужасно много, и все они были пусты, так как чиновники ушли и все столы вынесли. Хотя Андрею Николаевичу бежать было легко и ноги его скользили по полу, но он задыхался. А сзади, за несколько комнат, гнался, не отставая, Гусаренок, и шаги его, ровные, тяжелые, гулко отдавались под сводами. Внезапно пол под Андреем Николаевичем провалился, и он летел, все приближаясь к своей постели, и наконец проснулся на ней. Сердце билось сильно и неровно.

В комнатке было темно, и только неясно желтел четверугольник окна, в которое падал свет от фонаря, стоявшего у богатого дома. На хозяйской половине также горел огонь, так

как от узенькой щели в перегородке на пол ложилась светлая полоса, опоясывая кончик стоптанной туфли. Успокоившись от страшного сна, Андрей Николаевич услышал за стеной тихий шепот и узнал голос хозяйки. В нем сквозило сострадание и боязнь, что ее услышит тот, о ком она говорила, хотя он был отделен от нее расстоянием улицы и толстыми стенами.

– Ах, кровопивец, ах, аспид! – шептала хозяйка. – Ушла бы ты от него совсем, ну его к ляду!

Наташа ответила, и ее низкий голос звучал громко и размеренно, и слабое трепетание в нем не было замечено ни хозяйкой, ни притихшим за перегородкой жильцом.

– Куда уйти-то?

«Ага, нашла коса на камень! – подумал Андрей Николаевич, вспоминая свой сон. – Он тебе спуску не даст, не то что я».

– И вправду, куда идти? – с готовностью согласилась хозяйка. – Вот и мой тоже. Пропasti нет на эту водку.

Хозяйка оборвала речь, и в жутко молчащую комнату с двумя бледными женщинами как будто вползло что-то бесформенное, чудовищное и страшное и повеяло безумием и смертью. И это страшное была водка, господствующая над бедными людьми, и не видно было границ ее ужасной власти.

– Отравлю его, – сказала Наташа так же громко и размеренно.

– Что ты, что ты! – забормотала хозяйка. – Не для себя терпишь, а для ребенка – его-то куда денешь? Ты оставай-

ся ночевать у нас, я тебе в кухне постелю, а то мой опять будет колобродить. А к глазу, на вот, ты пятак приложи – ишь ведь как изуродовал, разбойник... Постой, кажись, жилец проснулся...

– Эта кикимора-то? – спросила Наташа громко, точно желая, чтоб ее слышали за перегородкой.

– И впрямь кикимора, – шепотом согласилась хозяйка. – Пойду самовар ставить и тебе в чайнике заварю. Ах, разбойник, что наделал-то!

«То Сусли-Мысли, то кикимора – вот дурачье-то, – рассердился Андрей Николаевич. – Вот пожалуюсь Федору Ивановичу, он тебе покажет кикимору. Дура полосатая!»

Он подошел к окну и открыл половинку. В комнату ворвался теплый ветер, пахнувший сыростью и гниющими листьями, и зашелестел бумагой на столе. Слышно стало, как скрипит дерево о железную крышу и шуршит мокрая зелень. К богатому дому подъезжали один за другим экипажи, и из них выходили мужчины в цилиндрах и дамы в широких ротондах и с белыми платками на головах. Подбирая шумящее платье, они входили на крыльцо. Массивная дверь широко распахивалась и выпускала на улицу столб белого света, зажигавшего блески на металлических частях экипажа и упряжи. Дом стоял безмолвный и темный, но чудилось, как сквозь тяжелые ставни, закрывающие высокие окна, сияют зеркальные стекла и вечно живые цветы радуются свету, движению и жизни. Несколько экипажей остались ждать господ,

и кучера, раскормленные, важные, с презрением смотрели с высоты своих козел на темные покосившиеся домишки.

Напившись чаю и четким, красивым почерком переписав казенную бумагу, Андрей Николаевич начал готовиться к новому сну, для чего перестлал постель и взбил подушки. За перегородкой Федор Иванович бурчал сокрушенно и раздумчиво:

– Дело вот в чем: двух копеек я так-таки и не разыскал.

– О господи!..

Нужно было закрыть ставню, и Андрей Николаевич прошел на улицу. Экипажи еще стояли, и кучера грузными и сонными массаами темнели на козлах. В большом доме глухо рокотали ритмические звуки рояля и минутами стихали, относимые порывом ветра. И этот же ветер приносил на крыльях своих новые звуки, явственно слышные, когда переставало скрипеть дерево. То были печальные и странные мелодические звуки, и не руками живых людей вызывались они в эту черную ночь. Легкие, как само дуновение ветра, они то нежно молили и плакали и умолкали с жалобным стоном, то гневно ропщущие, поднимались к небу с угрозой и гневом. Словно чья-то страдающая душа молила о спасении и жизни и гневно роптала.

«Противная штука!» – рассердился Андрей Николаевич. В одном этом отношении он не разделял вкусов владельца большого дома, и когда тот поставил на крышу арфу и ветер начал играть свои печальные песни, он никак не мог понять,

зачем нужны эти песни человеку с белыми зубами и яркой улыбкой.

«Ужасно противная штука! – повторил Андрей Николаевич и, понизив голос, добавил: – Чего только полиция смотрит?»

С чувством человека, спасающегося от погони, он с силой захлопнул за собой дверь кухни и увидел Наташу, неподвижно сидевшую на широкой лавке, в ногах у своего сынишки, который по самое горло был укутан рваной шубкой, и только его большие и черные, как и у матери, глаза с беспокойством таращились на нее. Голова ее была опущена, и сквозь располосованную красную кофту белела высокая грудь, но Наташа точно не чувствовала стыда и не закрывала ее, хотя глаза ее были обращены прямо на вошедшего.

– Сколько лет, сколько зим! – проговорил Андрей Николаевич, бегая глазами по комнате и совершенно размякнув, точно из него вынули все мускулы и кости. – Как поживаете?

Наташа молчала и смотрела на него.

– Я ничего, слава богу.

Наташа молчала. Андрей Николаевич хотел передать поклон супругу, к чему его обязывало чувство вежливости, но сейчас это было неудобно. Наташа, очевидно, нуждалась в утешении, и потому он сказал:

– Какой у вас хорошенький мальчик. Ваня, кажется? Иван Иванович, значит. У нас тоже есть чиновник, которого зовут Иван Иванович. И вообще, знаете ли, милые ссорятся, толь-

ко тешатся, а перемелется, все мука будет.

Наташа молчала, а мальчик, смотря с недоверием на неловкую фигуру чиновника, затаил ноющим голосом:

– Мамка-а, боюсь.

– Убирайтесь вон! – сказала Андрею Николаевичу Наташа и, когда он быстро прошмыгнул, подбирая полы халата, добавила вслед: – Тоже лезет, кикимора!

«Почему именно кикимора? – размышлял Андрей Николаевич, располагаясь спать и опуская огонь в лампе. – Это такое глупое слово, ничего не обозначает. И как непостоянны женщины: то милый, неоцененный, а то – кикимора! Да, с норовом баба, недаром учит ее Гусаренок. Спокойной ночи, маркиза Прю-Фрю».

Так развеселял он себя и иронически кривил бескровные губы. Но лишь только мигнула в последний раз лампа и комната окунулась в густой мрак, невидимой силой раздвинуло стены, сорвало потолок и бросило Андрея Николаевича в чистое поле. Огненные, искрящиеся круги прорезывали темноту; светлые, веселые огоньки вспыхивали и плясали, и всюду, то далеко, то совсем надвигаясь на него, показывались и бледное лицо Гусаренка с красной полоской крови, и страшный диск месяца, и лицо Наташи, прежнее милое лицо. Жалость к себе и обида охватили Андрея Николаевича.

«Как нехорошо все это устроено, – стонал он. – Не нужно мне Наташи, ну ее к черту, эту Наташу! Так и знайте – к черту!»

Энергичным жестом Андрей Николаевич надвинул на голову толстую подушку и почти сразу успокоился. И образы и звуки исчезли, и стало тихо как в могиле.

С улицы проникал слабый свет фонаря. Экипажи еще стояли, и сонные кучера с презрением смотрели с высоты своих козел на низкие покосившиеся домишки и лениво зевали, двигая бородами. Непривязанная ставня продолжала хлопать, и в минуты, когда переставало скрипеть дерево, неслись жалобные звуки и роптали, и плакали, и молили о жизни.

8 июня 1899 г.

Большой шлем

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой – существо-

вал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле, – а в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылая в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнером совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой брильянтовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды

случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

– Но почему же вы не играли большого шлема? – вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

– Я никогда не играю больше четырех, – сухо ответил старичок и наставительно заметил: – Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнувший свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

– Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготавливал мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю.

– Да, вероятно, – погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портъерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденский чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а летом говорил:

– Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо – летом они играли на террасе – и, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

– Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич – легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно беспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

– А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

– Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович, но партнер не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

– Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Ев-

практики Васильевны временами как будто что-то находило, он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

– Играли бы четыре – и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнеров с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем, однако, к игре относились серьезно и вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не

любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и, когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестерки и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет боль-

шой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом – опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестерки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постоянно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и с разрешения домовладельца был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он еще один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и

интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Николаю Дмитриевичу они были по-прежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

– Ну и везет вам сегодня, – мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идет такое же большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три

раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

– Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек со смущенным видом – и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение – не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдет что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся – у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от туза до десятки и бубновый туз с королем. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

– Два без козыря, – начал он, с трудом справляясь с голосом.

– Три пики, – ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нее находились почти все

пики, начиная от короля.

– Четыре черви, – сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнес:

– Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крикнул:

– Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве

сапога, черной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки. Карточный стол еще не был убран, и на нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые сыграл покойный, и кончая этим беспрерывным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот Николай Дмитриевич умер – умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

– Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, – и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось и он не знает и никогда не узнает.

– Ни-ког-да, – медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшное и бессмысленно-жестокое будет и с ним, и со все-

ми. Он плакал – и играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

– Вы здесь, Яков Иванович? – сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и заплакала. – Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, холодный, тяжелый и немой.

– Вы послали сказать? – спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

– Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру – ведь мы адреса не знаем.

– А разве он не на той же квартире, что в прошлом году? – рассеянно спросил Яков Иванович.

– Нет, переменял. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

– Найдут через полицию, – успокоил старичок. – У него ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и

сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

– А где же мы возьмем теперь четвертого?

Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

– А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?

1899 г.

Случай

Левой рукой доктор прижимал к груди купленную лампу, а в правой нес тоненькую трость и весело помахивал ею. Походка у него была размашистая, свободная, как у всех людей, которые уверены в себе и своем счастье; голову он держал закинутой назад, и глаза его улыбались. Случалось, что доктор толкал локтем кого-нибудь из прохожих, которых было много на этой людной улице, и тогда он особенно явственно и особенно ласково произносил:

– Извините, пожалуйста!

Прохожий, которого толкнул доктор, часто не слышал извинения или не обращал на него должного внимания, но самому доктору оно было очень приятно и всякий раз вызывало любимую мысль о том, как выгодно быть добрым, любезным и никого не обижать. Извиниться ничего не стоит, а есть люди, которые совершают невежливости и никогда не извиняются, и их никто не любит. И с приятным сознанием, что он добрый и поэтому его любят все: жена, знакомые и пациенты, доктор шагал еще легче и еще крепче прижимал к груди покупку, в которую также была заключена частица его доброты.

Лампа стоила недорого, всего двенадцать с полтиной, но жена давно уже мечтала о ней и теперь, сидя дома, и не подозревала, что мечта ее осуществлена. И попалась лампа хоть и

дешевая, но очень хорошая: доктор мысленно сравнивал ее со всеми другими лампами, какие приходилось ему видеть у своих знакомых и у пациентов, и те лампы были хуже. В них не было ни изящества, ни той особенной симпатичности и привлекательности, какими отличалась эта, двенадцатирублевая. Очень красивая лампа имелась у Ивановых – на высоком хрустальном стержне, с роскошным абажуром, – но та стоила шестьдесят, а за такие деньги в деревне можно купить пару хороших лошадей, не только что лампу. Были две хорошие лампы у Потаниных...

– Ох! – воскликнул доктор от толчка и торопливо добавил: – Извините, пожалуйста!

Толчок был так силен, что доктор немного пошатнулся, но улыбка не сошла с его уст и даже тогда, когда он вполне разглядел толкнувшего: это была простая баба, невысокая, худая и страшно суетливая. Бежала она словно на пожар, и Александр Павлович остановился посмотреть, как она разбрасывает на ходу прохожих.

– Ай да баба! – похвалил он ее вслух, но потом вспомнил, что баба могла выбить у него из рук лампу и разбить ее, и рассердился.

– Сумасшедшая! На людей бежит... Но, может быть, у нее кто-нибудь болен?

От последней мысли Александру Павловичу стало жаль бабу, и он снова развеселился, но сделался осторожнее и внимательнее и говорил уже не «извините, пожалуйста», а

просто «извините».

«Довольно с них и этого», – думал он.

Уже надвигались осенние ранние сумерки, и, как это всегда бывает в сумерках, ближайшие предметы виделись с большей отчетливостью, глаз легко различал всякую подробность и мелочь, но вдали все сливалось в черные и серые пятна. Дождя не было, не было и ветра, и сор в углублениях мостовой лежал неподвижно и тихо; возле самой панели валялась пустая коробка от папирос, ярко белея своими боками и вызывая странные мысли о том, кто был человек, выкуривший ее, и где он теперь. Кое-где в магазинах засветились огни, улица стала неприветливой и холодной, и в неумолкающем грохоте ее слышались нотки усталости и беспокойной жалобы.

Доктор крупно набавил шагу, молча толкая сам и молча принимая толчки. Лицо его стало серьезнее, но в голове у него проходили все те же радостные мысли: о жене и ребенке, о том времени, когда в кабинете у него будет камин и он будет сидеть и греться у камина. Толково и основательно доктор перечислил все, что было приобретено для дома в последний год. Приобретено много. Заново обставлен весь кабинет: письменный стол, кушетка и книжный шкаф. Куплена гостиная мебель, куплена она дешево, по случаю, но выглядит как новая и дорогая. Выписан, кроме того, журнал «Врач» и другой толстый журнал, так как Александр Павлович всегда интересовался литературой и признавал за ней

значение воспитательное. Для жены сделано новое осеннее пальто с золотым галуном, а для ребенка нанята нянька. А вот теперь лампа – очень дешевая, но красивая лампа.

До дому оставалось уже недалеко, когда на противоположной стороне улицы сильнее закопошилось черное пятно прохожих и из него послышались неясные крики. Люди толкались, казалось, на одном месте, двигали беспорядочно руками и что-то кричали. За грохотом улицы слов разобрать было невозможно, но в повышенном тоне голосов звучало беспокойство и странная злоба – странная потому, что в ней чувствовалась радость. На улице все становятся любопытны, и доктор остановился, напряженно вглядываясь в колышущуюся и быстро нарастающую массу.

– Что бы это такое было? – догадывался он.

Внезапно черное пятно яростно завозило, загрохотало громче, чем улица, и все разом быстро тронулось в одну сторону, расплываясь и выкидывая из себя отдельных бегущих людей. И ясно выделилась одна громкая и отчетливая фраза:

– Вор! Держите вора!

Впереди всех, не особенно быстро, как показалось Александру Павловичу, бежал невысокий человек, ловко и спокойно лавируя между встречных, – по-видимому, вор.

«Если он будет бежать все так же вдоль улицы, то его поймут. Ему бы свернуть сюда, в переулок», – подумал доктор про длинный и глубокий переулок, открывавшийся в нескольких шагах от него. И когда вор, точно услышав его

мысль, свернул с панели и бросился через улицу, напрямик на доктора, он обрадовался – и тотчас же болезненно сморщил лицо. Поверх голосов преследующей толпы выделился и словно пронзил воздух острый, высокий свист. Непрерывный, резкий, проходил он сквозь темную стаю звуков как длинное сверкающее лезвие, и было страшно его слушать, и холодной, неумолимой жестокостью веяло от него. В самую глубину души проходил он, и хотелось бежать самому, махать руками, кричать, что-то делать безумное и злое. И еще свист, и еще; целый десяток ртов выпускал острые, змеящиеся стрелы, и жадно взывала разноголосая толпа:

– Держите вора!

Вытянув шею и быстро двигая головой, как ищущая собака, доктор прикованным взглядом следил за вором, то теряя его за экипажами, то вновь охватывая одним взглядом все его, от быстро перебегающих ног до непокрытой головы, при каждом прыжке словно распухавшей от разметавшихся волос.

– Держите вора! – вопила толпа, и острый свист, еще более разросшийся, сверлил и терзал мозг. Преследуемый уже подбежал к доктору, и, хотя это была всего одна секунда, доктор успел с поразительной ясностью рассмотреть его лицо. Оно было молодое, с тоненькими светлыми усиками, и такое простое и обыкновенное в своем выражении, как будто человек этот вовсе не спасался от погони, а делал какое-то простое и неважное дело. Вместо бороды у вора были редкие желтень-

кие пушинки, и выглядывали они со своего места просто, смиренно и даже немного скучно, напоминая о чем-то далеком от улицы с ее жестоким свистом и беспощадной травлей.

Нерешительно, как человек, который еще сам в точности не знает, как он намеревается поступить, Александр Павлович сделал полшага навстречу бегущему и слегка приподнял и растопырил руки, в одной из которых осталась завернутая в бумагу лампа. С разбегу вор ударился о его грудь, охнул всем нутром, вышиб из рук лампу и, отбросив в сторону самого доктора, побежал дальше. Но уже в следующую секунду в ворот его впиалась железная рука.

– Стой, каналья! Не уйдешь! – проговорил сквозь зубы доктор и сильно встряхнул его. Вор попробовал рвануться, но тотчас понял бесполезность попытки: он был невысокий, тщедушный, почти юноша, а доктор высокий, сильный и, как показалось вору, свирепый. И он сразу успокоился. Дышал он часто, коротенькими и неглубокими вздохами, и тихо попросил:

– Пустите!

– Как бы не так! – ответил доктор и сильнее закрутил ворот.

Лицо юноши краснело, ворот, видимо, душил его, и, шевельнув болезненно плечами, он хрипло сказал:

– Ведь больно же! Пустите!

Александр Павлович немного отпустил, и так молча стояли они и рассматривали друг друга с необыкновенным лю-

бопытством, прямым, спокойным и властным. Быть может, когда-нибудь они встречались в толпе и проходили мимо, не видя друг друга, но теперь один из них был пойманный вор, а другой – человек, который поймал его, и это крепко и странно соединило их. Доктору казалось, что первый раз в жизни видит он человеческую физиономию и впервые понимает, что такое глаза, нос и губы. И когда он понял, что такое глаза, нос и губы, они представились ему такими милыми, простыми и жалкими в своих потребностях видеть, дышать и целовать, что ему захотелось ласково погладить их рукой. И пушинки на подбородке желтели все так же мирно, подомашнему, и при взгляде на них доктору сделалось бесконечно грустно и еще более жалко, – и в ту же минуту с загадочной и непередаваемой ясностью почувствовал он, как чужую, свою правую руку, которою держал вора. От плеча до стиснутых пальцев чувствовал он ее и мучился желанием снять, но она была как деревянная и с виду все так же спокойно лежала на шее человека с пушинками.

– Что же ты молчишь? – просительно сказал доктор.

Вор, не отрываясь взглядом, быстро ответил:

– А что же я буду говорить?

И опять они замолчали. И уже не только руку, но всего себя почувствовал доктор: почувствовал глаза, как они глядят, почувствовал платье, облегающее тело, и папиросы в левом кармане пальто. Как будто мозг его расплылся по всему телу, и всякая частица тела стала глазами и умом, и не нужно бы-

ло глядеть и думать, чтобы от головы до ног увидеть себя и почувствовать. И не только себя, но и вора почувствовал он так же ясно и странно, словно оба они, и доктор и вор, были ему посторонние, и словно оба они были он. Не глядя, видел он вора с опущенными руками и себя с широко расставленными ногами и протянутой рукой, и эта поза была проста и дика до ужаса: человек держал другого человека.

– Послушай! – начал доктор, но кончить ему не удалось.

Грохочущей волной налетели преследователи, закружили и разъединили их, затопили криком, говором и торжествующим смехом, ослепили сверканием зубов и возбужденных глаз и шумным, болтливым потоком тронулись в участок. И тогда все стало опять просто и понятно, и доктор медленно стал припоминать лампу, извлекая представление о ней из какой-то глубокой дали, пока оно не сделалось ясным, живым, почти осязаемым.

«Разбилась! – с горем подумал Александр Павлович. – А я даже кусков не посмотрел».

Он обернулся назад и в последний раз взглянул в том направлении, где осталась разбитая лампа. И опять ему стало жаль вора, а потом лампу, и так поочередно он жалел то человека, то вещь. И пока он жалел одно, другое вызывало в нем злобу, и так дошел он до участка.

– Это вы его схватили? – спросил его околоточный надзиратель.

– Я, – ответил Александр Павлович и обернулся: все гла-

за глядели на него, и лица обидно улыбались. И поспешно, запинаясь, доктор оправдывался: – Сам не знаю, как это вышло. Он бежал, а я... Так это неприятно.

– Нет, почему же? Это даже очень приятно, – утешил его околоточный надзиратель.

И когда доктор вновь оглянулся на окружающих, все они были серьезны и смотрели на него ласково и поощрительно. Потом человека с пушинками заперли в грязную камеру вместе с другими ворами, пьяницами и проститутками, а доктора околоточный надзиратель вежливо проводил до дверей, благовоспитанно говоря:

– Очень приятно познакомиться с образованным человеком. Такая, знаете, грандиозная масса жуликов, что очень, очень приятно...

Хотя новая лампа была разбита, но в квартире Александра Павловича и без нее света было достаточно: в кабинете горела большая «министерская» лампа, приобретенная еще в то время, когда доктору впервые пришла мысль о диссертации; в столовой бросала яркий свет висячая лампа; были лампы и в гостиной, и в двух других комнатах, и вся квартира выглядывала оттого веселой и приветливой. Особенно заметно становилось это, когда взгляд падал на полузадернутое окно: там была тьма и шумел начавшийся дождь.

– Так это неприятно, – говорил Александр Павлович, качая головой.

– И никак нельзя было бы починить ее? – отвечала жена

его, Варвара Григорьевна.

Она тоже была огорчена, но старалась скрывать это от мужа: она очень любила его.

– Не в том дело. Зачем я схватил его!

– Не ты, так другой. Вот пустяки. Пойдем посидеть в гостиной.

Они очень любили свою гостиную и освещали ее даже в те вечера, когда никого не было посторонних. Вначале им больше нравился кабинет, но теперь с новой мебелью и цветами гостиная стала уютнее и приятнее.

– Вообрази, как хорошо было бы с новой лампой, – сказала Варвара Григорьевна.

Она сидела на диване, и голова ее лежала на плече мужа.

– Да, хорошо бы, – вообразил доктор и вздохнул.

– Мне бы только посмотреть, как бы это было. А там пусть бьется! – размышляла Варвара Григорьевна.

Александр Павлович засмеялся, поцеловал жену в щеку и спросил:

– Ты счастлива?

– А ты?

– И я. Знаешь, мне все этого жалко. Вора. Ужасно жалко!

– Ну вот! Ты уж очень добр. И потому ему, наверно, в тюрьме лучше. Ты слышишь, какой дождь. Брр... скверно. И Ивановы, должно быть, не придут.

Доктор ясно увидел тюрьму и человека с пушинками, как он там сидит. Темно, так как горит только маленькая, сквер-

ная лампочка; ползают клопы, и на двери висит большой железный замок. И, запертый, сидит человек с пушинками и о чем-нибудь думает, может быть, о человеке, который его схватил.

– Главное, зачем я его схватил? – раздумчиво говорит Александр Павлович. – Как это нелепо! Выйди я из магазина на пять минут раньше, и ничего бы этого не случилось.

– Никогда не нужно вмешиваться в эти уличные истории, – замечает жена поучительным тоном. – Когда я жила у тети, к нам тоже залез вор, и его судили... Ты замечаешь, Саша, как за последний год мы обставились?

– Я уже думал. И ведь совсем молодой парень этот вор. И лицо истощенное!

– Нужно еще хороший книжный шкаф, – продолжала Варвара Григорьевна. – Твой мал. Ты записываешь книги, которые у тебя берут?

– Ну, кто там берет?

– Нет, все-таки. А то и не заметишь, как ни одной книги не останется.

Оба задумались и, тепло прижавшись друг к другу, рассеянно обводили глазами светлую и красивую комнату. Варвара Григорьевна вспоминала о том, сколько книг было у ее тети и как все они распропали. Доктор старался припомнить вора с его особенными глазами, носом и ртом и не мог. Ясно представлялись многие лица, знакомые и совсем чужие, а этого лица, нужного для жалости, не появлялось. Тогда док-

тор попытался вообразить тюрьму с ее мраком и грязью и тоже не мог.

– А знаешь, чего я тебе купила закусить? – спросила Варвара Григорьевна, разглаживая рукой волосы мужа.

– Чего?

Доктору уже хотелось есть, и он начал угадывать, но не угадал.

– Омаров! – с гордостью воскликнула Варвара Григорьевна и пояснила: – Я думала, придут Ивановы, но тем лучше – ты сам съешь.

И они несколько раз поцеловались. Потом они пили чай, и доктор ел омары, а после чаю они перешли в кабинет, и доктор читал жене вслух. Дождь ровно и еще слышно сквозь толстые стекла шумел за окном, ровно и успокоительно звучали фразы романа, и было так светло от большой «министерской» лампы.

– Довольно. Спать пора! – решительно сказала Варвара Григорьевна и захлопнула в руках доктора книгу.

Лениво поднявшись с дивана, она закинула руки за голову и потянулась, извиваясь всем телом и выставляя вперед грудь. Не давая опустить рук, Александр Павлович обнял ее и поцеловал в шею.

– А все-таки жалко... – сказал он.

– Ну, оставь. Купим новую.

Доктор говорил о человеке, но после слов жены подумал, что говорит о лампе. И, обнявшись, они пошли в спальню.

Город

Это был огромный город, в котором жили они: чиновник коммерческого банка Петров и тот, другой, без имени и фамилии.

Встречались они раз в год – на Пасху, когда оба делали визит в один и тот же дом господ Василевских. Петров делал визиты и на Рождество, но, вероятно, тот, другой, с которым он встречался, приезжал на Рождество не в те часы, и они не видели друг друга. Первые два-три раза Петров не замечал его среди других гостей, но на четвертый год лицо его показалось ему уже знакомым, и они поздоровались с улыбкой, – а на пятый год Петров предложил ему чокнуться.

– За ваше здоровье! – сказал он приветливо и протянул рюмку.

– За ваше здоровье! – ответил, улыбаясь, тот и протянул свою рюмку.

Но имени его Петров не подумал узнать, а когда вышел на улицу, то совсем забыл о его существовании и весь год не вспоминал о нем. Каждый день он ходил в банк, где служил уже десять лет, зимой изредка бывал в театре, а летом ездил к знакомым на дачу, и два раза был болен инфлюэнцей – второй раз перед самой Пасхой. И, уже всходя по лестнице к Василевским, во фраке и с складным цилиндром под мышкой, он вспомнил, что увидит там того, другого, и очень удивил-

ся, что совсем не может представить себе его лица и фигуры. Сам Петров был низенького роста, немного сутулый, так что многие принимали его за горбатого, и глаза у него были большие и черные, с желтоватыми белками. В остальном он не отличался от всех других, которые два раза в год бывали с визитом у господ Василевских, и когда они забывали его фамилию, то называли его просто «горбатенький».

Тот, другой, был уже там и собирался уезжать, но, увидев Петрова, улыбнулся приветливо и остался. Он тоже был во фраке и тоже с складным цилиндром, и больше ничего не успел рассмотреть Петров, так как занялся разговором, едой и чаем. Но выходили они вместе, помогали друг другу одеваться, как друзья; вежливо уступали дорогу и оба дали швейцару по полтиннику. На улице они немного остановились, и тот, другой, сказал:

– Дань! Ничего не поделаешь.

– Ничего не поделаешь, – ответил Петров, – дань!

И так как говорить было больше не о чем, они ласково улыбнулись, и Петров спросил:

– Вам куда?

– Мне налево. А вам?

– Мне направо.

На извозчике Петров вспомнил, что он опять не успел ни спросить об имени, ни рассмотреть его. Он обернулся: взад и вперед двигались экипажи, тротуары чернели от идущего народа, и в этой сплошной движущейся массе того, другого,

нельзя было найти, как нельзя найти песчинку среди других песчинок. И опять Петров забыл его и весь год не вспоминал.

Жил он много лет в одних и тех же меблированных комнатах, и там его очень не любили, так как он был угрюм и раздражителен, и тоже называли «горбачом». Он часто сидел у себя в номере один и неизвестно, что делал, потому что ни книжку, ни письмо коридорный Федот не считал за дело. По ночам Петров иногда выходил гулять, и швейцар Иван не понимал этих прогулок, так как возвращался Петров всегда трезвый и всегда один – без женщины.

А Петров ходил гулять ночью потому, что очень боялся города, в котором жил, и больше всего боялся его днем, когда улицы полны народа.

Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобедимое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял, и улицы между домами были узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И казалось, что все они охвачены паническим страхом и от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти дороги, и путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадежном отчаянии устремляются назад. Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замершим в страшной судороге, и все не выйти из линии толстых каменных домов. Высокие и низкие, то краснеющие холодной и жидкой

кровью свежего кирпича, то окрашенные темной и светлой краской, они с непоколебимой твердостью стояли по сторонам, равнодушно встречали и провожали, теснились густой толпой и впереди и сзади, теряли физиономию и делались похожи один на другой – и идущему человеку становилось страшно: будто он замер неподвижно на одном месте, а дома идут мимо него бесконечной и грозной вереницей.

Однажды Петров шел спокойно по улице – и вдруг почувствовал, какая толща каменных домов отделяет его от широкого, свободного поля, где легко дышит под солнцем свободная земля и далеко окрест видит человеческий глаз. И ему почудилось, что он задыхается и слепнет, и захотелось бежать, чтобы вырваться из каменных объятий, – и было страшно подумать, что, как бы скоро он ни бежал, его будут провожать по сторонам все дома, дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город. Петров спрятался в первый ресторан, какой попался ему по дороге, но и там ему долго еще казалось, что он задыхается, и он пил холодную воду и протирал платком глаза.

Но всего ужаснее было то, что во всех домах жили люди. Их было множество, и все они были незнакомые и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жизнью, непрерывно рождались и умирали – и не было начала и конца этому потоку. Когда Петров шел на службу или гулять, он видел уже знакомые и приглядевшиеся дома, и все представлялось ему знакомым и простым; но стоило, хотя бы на

миг, остановить внимание на каком-нибудь лице – и все резко и грозно менялось. С чувством страха и бессилия Петров вглядывался во все лица и понимал, что видит их первый раз, что вчера он видел других людей, а завтра увидит третьих, и так всегда, каждый день, каждую минуту он видит новые и незнакомые лица. Вон толстый господин, на которого глядел Петров, скрылся за углом – и никогда больше Петров не увидит его. Никогда. И если захочет найти его, то может искать всю жизнь и не найдет.

И Петров боялся огромного, равнодушного города. В этот год у Петрова опять была инфлюэнца, очень сильная, с осложнением, и очень часто являлся насморк. Кроме того, доктор нашел у него катар желудка, и, когда наступила новая Пасха и Петров поехал к господам Василевским, он думал дорогой о том, что он будет там есть. И, увидев того, другого, обрадовался и сообщил ему:

– А у меня, батенька, катар.

Тот, другой, с жалостью покачал головой и ответил:

– Скажите пожалуйста!

И опять Петров не знал, как его зовут, но начал считать его хорошим своим знакомым и с приятным чувством вспоминал о нем. «Тот» – называл он его, но когда хотел вспомнить его лицо, то ему представлялись только фрак, белый жилет и улыбка, и так как лицо совсем не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фрак и жилет. Летом Петров очень часто ездил на одну дачу, носил красный галстук, фаб-

рил усики и говорил Федоту, что с осени переедет на другую квартиру, а потом перестал ездить на дачу и на целый месяц запил. Пил он нелепо, со слезами и скандалами: раз выбил у себя в номере стекло, а другой раз напугал какую-то даму – вошел к ней вечером в номер, стал на колени и предложил быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и сперва внимательно слушала его и даже смеялась, но, когда он заговорил о своем одиночестве и заплакал, приняла его за сумасшедшего и начала визжать от страха. Петрова вывели; он упирался, дергал Федота за волосы и кричал:

– Все мы люди! Все братья!

Его уже решили выселить, но он перестал пить, и снова по ночам швейцар ругался, отворяя и затворяя за ним дверь. К Новому году Петрову прибавили жалованья: 100 рублей в год, и он переселился в соседний номер, который был на пять рублей дороже и выходил окнами во двор. Петров думал, что здесь он не будет слышать грохота уличной езды и может хоть забывать о том, какое множество незнакомых и чужих людей окружает его и живет возле своей особенной жизнью.

И зимой было в номере тихо, но, когда наступила весна и с улиц скололи снег, опять начался грохот езды, и двойные стены не спасали от него. Днем, пока Петров был чем-нибудь занят, сам двигался и шумел, он не замечал грохота, хотя тот не прекращался ни на минуту; но приходила ночь, в доме все успокаивалось, и грохочущая улица властно вривалась

в темную комнату и отнимала у нее покой и уединенность. Слышны были дребезжанье и разбитый стук отдельных экипажей; негромкий и жидкий стук зарождался где-то далеко, разрастался все ярче и громче и постепенно затихал, а на смену ему являлся новый, и так без перерыва. Иногда четко и в такт стучали одни подковы лошадей и не слышно было колес – это проезжала коляска на резиновых шинах, и часто стук отдельных экипажей сливался в мощный и страшный грохот, от которого начинали подергиваться слабой дрожью каменные стены и звякали склянки в шкапу. И все это были люди. Они сидели в пролетках и экипажах, ехали неизвестно откуда и куда, исчезали в неведомой глубине огромного города, и на смену им являлись новые, другие люди, и не было конца этому непрерывному и страшному в своей непрерывности движению. И каждый проехавший человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной радостью и горем, – и каждый был как призрак, который являлся на миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал. И чем больше было людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каждого. И в эти черные, грохочущие ночи Петрову часто хотелось закричать от страха, забиться куда-нибудь в глубокий подвал и быть там совсем одному. Тогда можно думать только о тех, кого знаешь, и не чувствовать себя таким беспредельно одиноким среди множества чужих людей.

На Пасху того, другого, у Василевских не было, и Петров

заметил это только к концу визита, когда начал прощаться и не встретил знакомой улыбки. И сердцу его стало беспокойно, и ему вдруг до боли захотелось увидеть того, другого, и что-то сказать ему о своем одиночестве и о своих ночах. Но он помнил очень мало о человеке, которого искал: только то, что он средних лет, кажется, блондин и всегда одет во фрак, и по этим признакам господина Василевские не могли догадаться, о ком идет речь.

– У нас на праздники бывает так много народу, что мы не всех знаем по фамилиям, – сказала Василевская. – Впрочем... не Семенов ли это?

И она по пальцам перечислила несколько фамилий: Смирнов, Антонов, Никифоров; потом без фамилий: лысый, который служит где-то, кажется, в почтамте; белокуренький; совсем седой. И все они были не тем, про которого спрашивал Петров, но могли быть и тем. Так его и не нашли.

В этот год в жизни Петрова ничего не произошло, и только глаза стали портиться, так что пришлось носить очки. По ночам, если была хорошая погода, он ходил гулять и выбирал для прогулки тихие и пустынные переулки. Но и там встречались люди, которых он раньше не видал, а потом никогда не увидит, а по бокам глухой стеной высились дома, и внутри их все было полно незнакомыми чужими людьми, которые спали, разговаривали, ссорились. Кто-нибудь умирал за этими стенами, а рядом с ним новый человек рождался на свет, чтобы затеряться на время в его движущейся бесконечности,

а потом навсегда умереть. Чтобы утешить себя, Петров перечислял всех своих знакомых, и их близкие, изученные лица были как стена, которая отделяет его от бесконечности. Он старался припомнить всех знакомых швейцаров, лавочников и извозчиков, даже случайно запомнившихся прохожих, и вначале ему казалось, что он знает очень много людей, но когда начал считать, то выходило ужасно мало: за всю жизнь он узнал всего двести пятьдесят человек, включая сюда и того, другого. И это было все, что было близкого и знакомого ему в мире. Быть может, существовали еще люди, которых он знал, но он их забыл, и это было все равно, как будто их нет совсем.

Тот, другой, очень обрадовался, когда увидел на Пасху Петрова. На нем был новый фрак и новые сапоги со скрипом, и он сказал, пожимая Петрову руку:

– А я, знаете, чуть не умер. Схватил воспаление легких, и теперь тут, – он постучал себя в бок, – в верхушке не совсем, кажется, ладно.

– Да что вы? – искренно огорчился Петров.

Они разговорились о разных болезнях, и каждый говорил о своих, и когда расставались, то долго пожимали руки, но об имени спросить забыли. А на следующую Пасху Петров не явился к Василевским, и тот, другой, очень беспокоился и расспрашивал г-жу Василевскую, кто такой горбатенький, который бывает у них.

– Как же, знаю, – сказала она. – Его фамилия Петров.

– А зовут как?

Госпожа Василевская хотела сказать, как зовут, но оказалось, что не знала, и очень удивилась этому. Не знала она и того, где Петров служит: не то в почтамте, не то в какой-то банкирской конторе.

Потом не явился тот, другой, а потом пришли оба, но в разные часы, и не встретились. А потом они перестали являться совсем, и господа Василевские никогда больше не видели их, но не думали об этом, так как у них бывает много народу и они не могут всех запомнить.

Огромный город стал еще больше, и там, где широко расстиралось поле, неудержимо протягиваются новые улицы, и по бокам их толстые, распертые каменные дома грузно давят землю, на которой стоят. И к семи бывшим в городе кладбищам прибавилось новое. На нем совсем нет зелени, и пока на нем хоронят только бедняков.

И когда наступает длинная осенняя ночь, на кладбище становится тихо, и только далекими отголосками приносится грохот уличной езды, которая не прекращается ни днем, ни ночью.

1902 г.

Нет прощения

Курсистка. Молоденькая, такая молоденькая – совсем еще девочка. Нос тонкий, красивый, но по-детски еще незаконченный: не то он прямой, не то с горбинкой, не то просто вздернутый; и такие же незаконченные, пухлые губы, от которых как будто пахнет шоколадными конфетами и красной карамелью. И так щедр, так пышны тонкие волосы, густой и ласковой волной окутавшие голову, что при взгляде на них приходят мысли обо всем самом хорошем и светлом, что есть на земле: о золотом утре на голубом море, о весенних жаворонках, о ландышах и пахучей разросшейся сирени. Безоблачное небо и сирень, огромные, бесконечные кусты сирени и жаворонки над ними. Или вот еще вспоминается что. Когда в майский полдень проходишь под цветущими яблонями, то с них падают бело-розовые лепестки и нежно ложатся на плечо, на шляпу, на черный рукав – бело-розовые нежные лепестки.

И глаза у нее были молодые, яркие, наивно-бесстрастные – и, только приглядевшись, можно было заметить на лице легкие тени усталости, недоедания, бессонных поздних вечеров за разговорами в накуренных тесных комнатках, под иссушающим огнем ламп. Быть может, и слезы бывали на этих щеках – какие-то особенные, не детские, ядовитые слезы, и сдержанной тревожностью дышали движения: лицо бы-

ло весело и чуть-чуть улыбалось, а нога в маленькой, забрызганной грязью калоше нетерпеливо притоптывала – как будто торопила медленную конку и гнала ее вперед, быстрее, быстрее.

Все это успел рассмотреть наблюдательный Митрофан Васильевич Крылов, пока прошла полстанции тягучая конка. Он также стоял на площадке, против девушки, и от нечего делать рассматривал ее, слегка брезгливо и враждебно, как очень простую и знакомую алгебраическую формулу, которая выведена мелом на черной доске и настойчиво лезет в глаза. Вначале ему стало весело, как и всякому, кто взглядывал на девушку, но ненадолго: были причины, убивавшие всякое веселье. Возвращался он из своей гимназии, после пятого урока, был утомлен и очень голоден, а вагон был набит битком и негде было присесть и почитать газету. И погода была скверная, ноябрьская, и город был надоевший, скверный, и дешевая жизнь – как коночный билет с надорванным углом. От дома до гимназии и обратно: все дни можно сосчитать по билетам, а сама жизнь похожа на клубок, из которого грязные пальцы вытягивают бумажную ленту и отрывают по билету – по дню. И уже скоро девушка опротивела ему, и он с радостью перестал бы на нее смотреть, но некуда было девать глаза.

«Недавно из провинции, – сурово отметил он. – И какого они черта лезут сюда, я бы вот с радостью удрал в Чухлому, к дьяволу на рога. И тоже, конечно, всякие разговоры,

убеждения, а тесемки на юбке подшить не может. До того ли! Обидно, главное, что такая хорошенькая».

Девушка заметила косой взгляд и смутилась – смутилась больше, чем полагается, из глаз ее исчезла улыбка, на молоденьком лице явилось выражение детского страха и растерянности, и левая рука быстро потянулась к груди и остановилась там, что-то придерживая.

«Ишь ты! – удивился Митрофан Васильевич, отводя глаза и делая равнодушное учительское лицо. – Это она моих синих очков испугалась. Думает, сыщик: под кофточкой-то, должно быть, бумажонки какие-нибудь. Прежде любовные записки на груди носили, а теперь какие-то там бюллетени. И название-то нелепое: бюллетени».

Он снова бросил осторожный взгляд, чтобы проверить впечатление, и отвернулся: курсистка во все глаза, как очарованная, глядела на него и крепко прижимала руку к левому боку. Крылов рассердился:

«Вот дурища! Раз очки синие, так непременно шпион. А что у человека от занятий глаза могут болеть, этого она не понимает. И этакая наивность, вся на виду: пожалуйста. Тоже ведь дело берутся делать, отечество спасают. Соску ей надо, а не отечество. Нет, не дозрели мы. Лассаль, например, – вот это голова! А то тоже: всякая козявка. Уравнения с двумя неизвестными решить не умеет, а туда же: финансы, политика, бумажки. Попугать бы тебя как следует – тогда узнала бы, как надо!»

И еще не успел он окончить своей мысли, как внезапно вдохновение осенило его. От ноябрьского темного неба, с мокрых и грязных камней мостовой, из пустоты голодного и злого желудка пришло оно – это внезапное повелительное вдохновение. Каким-то чрезвычайно подлым жестом втянув голову в плечи, Митрофан Васильевич придал своей физиономии то особенное, хитро-пакостное выражение, какое, по его мнению, должно быть у настоящего шпиона, и бросил такой косой взгляд, что чуть не вывернул глаза. И доволен остался: девушка вздрогнула и затрепетала неуловимым трепетом страха, и глаза ее тревожно забегали.

«Да, вот именно: а бежать-то и некуда! – толковал ее движения Митрофан Васильевич. – Попрыгай, попрыгай, голубушка, а мы еще жарку поддадим».

И, вдохновляясь все более и более, забывая о голоде и скверной погоде от творческой горделивой радости, он так искусно начал изображать шпиона, как будто настоящим был актером или действительно служил в сыщиках. Тело неуловимо извивалось скользкими змеиными изгибами, глаза сияли предательством, и правая рука, опущенная в карман, сжимала надорванный билет так энергично и сурово, точно это был не кусок бумаги, а револьвер, заряженный шестью пулями, или агентская книжка. И уже не одна девушка, а и многие другие обратили на него внимание: толстый рыжий купец, один занимавший треть площадки, как-то незаметно сжался, точно сразу похудел, и отвернулся. Высокий малый в фарту-

ке поверх драпового пальто поморгал на Митрофана Васильевича кроличьими глазами и внезапно, толкнув девушку, соскочил и завертелся среди экипажей.

«Отлично!» – похвалил себя Митрофан Васильевич, радуясь глубоко и сосредоточенно, скрытной и злой радостью желчного человека. В отрешении от своей личности, в том, что он притворился именно такой гадостью, как шпион, и люди боялись и ненавидели его, было что-то острое, приятно-тревожное и захватывающее. В серой пелене обыденщины открывались какие-то темные, жуткие провалы, полные намеков и бесшумно реющих теней. Он вспомнил свой класс, опротивевшие физиономии учеников, их синие тетради, закапанные, грязные, исчерканные, полные нелепых, идиотских ошибок, от которых скучно становится жить и перестаешь любить математику, – и подумал:

«А в сущности, очень, должно быть, интересное это дело – шпионское. Шпион-то ведь тоже рискует, да еще как. Ой-ой как! Одного шпиона даже убили, рассказывал кто-то. Так и зарезали, как свинью».

На минуту ему стало, страшно и захотелось перестать быть шпионом, но та учительская шкура, в которую подлежало вернуться, была так голодна, скучна, противна, что он внутренне махнул на нее рукой, даже плюнул, и дал лицу самое пакостное выражение, какое только мог. Курсистка уже не смотрела на него, но вся ее молодая фигурка, кончик красного уха, выглядывавший из-под выющихся волос,

слегка наклонившийся вперед корпус и медленно и глубоко работающая грудь выражали страшное напряжение и одну сверлящую мысль о побеге. О крыльях, вероятно, мечтала она – о крыльях. Раза два она нерешительно переступала ногами, положила руку на столбик и слегка повела головой к Митрофану Васильевичу, – но сбоку покрасневшей щекою почувствовала его пронизывающий взгляд и замерла. И рука ее так и осталась лежать на перилах, и черная перчатка, прорвавшаяся на среднем пальце, слегка дрожала. И стыдно было, что все видят прорванную перчатку и высунувшийся палец, такой маленький, такой сиротливый и робкий, но снять руку не было силы.

«Ага! – думал Митрофан Васильевич. – То-то вот! Уйти-то некуда. Вперед наука: будешь знать, как дела делать. А то словно на бал собралась; нет, брат, шалишь, не все тебе одни удовольствия. Попрыгай-ка теперь, да!»

Он представил себе жизнь преследуемой девушки – и она была такая же интересная, такая же полная и разнообразная, как и у шпиона. И было в ней еще что – то, чего не хватало в жизни сыщика, какая-то обидная гордость, какая-то стройная гармония борьбы, тайны, быстрого ужаса и быстрой мужественной радости. За ней гонятся – а разве нет в этом особенной, огневой радости, когда кто-то злой, враждебный и опасный простирает к горлу хищные руки, нить за нитью вьет убийственную веревку? Как бьется сердце, как ярка жизнь, как хочется жить!

Брезгливо, боком, Митрофан Васильевич оглядел свое поношенное, потертое на рукавах пальто, вспомнил пуговицу, внизу вырванную с мясом, представил себе свое желтое, кислое лицо, которое он так не любит, что бреет только раз в месяц, синие очки – и с ядовитой радостью нашел, что он действительно похож на шпиона. Особенно пуговица: у шпионов некому пришивать пуговиц, и у каждого из них обязательно должна быть одна такая надорванная, уныло обвисшая пуговица, на которую нельзя застегивать. И шевельнулось глухое чувство какого-то особенного, жуткого, шпионского одиночества, и грустно стало, и все – и небо, и люди, и жизнь – расцветилось черными, суровыми красками, стало глубоко, загадочно и содержательно.

Теперь он смотрел на все одними глазами с девушкой, и ново было все. Ни разу в жизни он не задумывался над тем, что такое вечер и ночь – эта таинственная ночь, родящая мрак, прячущая людей, безмолвная, неотвратимая, – теперь он видел ее молчаливое шествие, удивлялся загорающим фонарям, что-то прозревал в этой борьбе света с мраком и поражался спокойствием снующей по тротуарам толпы – неужели они не видят ночи? Девушка жадно смотрела в пробегающие черные отверстия еще не освещенных переулков – и он смотрел теми же глазами, и были красноречивы зовущие во тьму коридоры. Она с тоской глядела на высокие дома, камнем отгородившие себя от улицы и бесприютных людей, – и новыми казались эти тесные громады, эти злые

крепости.

На остановке, где кончалась станция, Митрофану Васильевичу нужно было сойти, но девушка ехала дальше, и он громко сказал кондуктору:

– Позвольте мне билет и на эту станцию.

И очень был доволен, что удалось найти в кошельке пятак: почему-то казалось ему, что у шпионов бывает только медь и старые, засаленные и даже склеенные бумажки – хорошими, красивыми деньгами нельзя платить шпионам, иначе они похожи будут на обыкновенных людей. И молчаливый кондуктор тоже понимал это: так гадливо-почтительно взял монету, что к удовольствию у Митрофана Васильевича прибавилось чувство обиды и возмущения.

«Брезгуешь, мерзавец! – подумал он, наводя синие очки, как пушки, на лицо кондуктора и медленно принимая билет. – А сам небось здорово поворовываешь. Знаю я вас! Жалованьишко-то маленькое, ну а контролер тоже небось не дурак. Рука руку моет, да».

И он замечтался о том, как он выследит кондуктора и контролера, соберет точные данные, и в один прекрасный день – пожалуйста в управление. Вы воровать, а? Вот изумится-то! А он будет продолжать выслеживать других кондукторов, будет искоренять воровство...

«Где же эта, молоденькая? Слава богу, еще тут... Хорош шпион! – добродушно упрекает себя Митрофан Васильевич. – Немножко бы – и выпустил птичку».

Пользуясь рассеянностью учителя, курсистка сняла с перил руку в разорванной перчатке – это сделало ее смелее, – и на углу большой улицы, где пересекались коночные пути, она соскочила. Тут слезало и садилось много публики, и какая-то худощавая женщина с огромным узлом загородила Митрофану Васильевичу выход. Он говорил: «Позвольте», – и пробовал пролезать, но застревал и бросался к другой стороне. Но там закрывали дорогу кондуктор и давешний рыжий купец. Последний даже взялся обеими руками за поручни и точно не слышал, как учитель сперва двумя пальцами, потом всей рукой теребил его за рукав.

– Да пустите же! – крикнул Митрофан Васильевич. – Кондуктор, что за безобразие! Я жаловаться буду!

– Они не слышали, – кротко заступился кондуктор. – Господин, позвольте им пройти.

Купец, не оглядываясь, нехотя разжал пухлую руку, но не подвинулся, и Митрофану Васильевичу, с трудом пробиравшемуся в узкое отверстие, почувствовалось даже, что купец нарочно стискивает его и душит. Задыхаясь, он высвободился, прыгнул так неловко, что чуть не свалился, и погрозил кулаком вслед удаляющемуся красному огню.

Девушку Митрофан Васильевич настиг в маленьком глухом переулке, куда он завернул по догадке. Она быстро шла и оглядывалась, и когда увидела преследователя, почти побежала, наивно открывая полную свою беспомощность. Побежал за ней и Митрофан Васильевич, и теперь в темном

незнакомом переулке, где были они только двое, бегущие, он почувствовал себя совсем необычно, как-то уже слишком по-шпионски, даже страшно немного стало. «Нужно поскорее кончить», – подумал он, быстро перебирая ногами и задыхаясь от этой неестественной рыси, но не решаясь почему-то на крупный шаг.

У подъезда многоэтажного дома курсистка остановилась, и, пока дергала за ручку тяжелой двери, Митрофан Васильевич нагнал ее и с великодушной улыбкой заглянул в лицо, чтобы показать ей, что шутка кончилась и все благополучно. И, тяжело дыша, еле продираясь в полуотворенную дверь, она бросила в улыбающееся лицо:

– Подлец!

И скрылась. Сквозь стекло на площадке мелькнул еще ее силуэт – и все исчезло. Все еще великодушно улыбаясь, Митрофан Васильевич с любопытством потрогал холодную ручку, попробовал приотворить, но в глубине подъезда, под лестницей, блеснул галун швейцара, и он медленно отошел. В нескольких шагах остановился и минуты две без мыслей пожимал плечами. С достоинством поправил очки, закинул голову назад и подумал:

«Как это глупо! Не дала слова сказать, и сейчас же ругаться. Девчонка, дрянь. Не могла понять, что это шутка. Для нее стараешься, и... Очень она мне нужна со своими бумажонками. Сделайте милость, ломайте шею сколько хотите. Теперь сидит небось и разным там студентам и лохматым рас-

сказывает, как за ней шпион гнался. А они охают. Идиоты! Я сам университет окончил и тоже не хуже вас. Да. Не хуже».

После быстрой ходьбы ему стало жарко, и он распахнулся. Но вспомнил, что может простудиться, и застегнулся, с ненавистью дернув надорванную пуговицу.

«У, дьявол!.. Да, не хуже-с. А может быть, лучше. Поди-ка повози на шее восемь душ, да еще глухую бабку, черта-кочерыжку. Конечно, так оставить нельзя, нужно объяснить ей, что я окончил университет и тоже – против всего этого. Да где ее взять? Не до свету же тут шататься? Слуга покорный. Я еще не обедал».

Он потоптался на месте, безнадежно окинул глазами ряды освещенных и темных окон и продолжал:

«А лохматые небось и рады и верят. Дурачье. Я ведь тоже студентом лохматым был – вот какие волосищи носил. Я и теперь стричься бы не стал, если бы не лезли волосы. Лезут, удивительно лезут, скоро лысый буду. Не могу же я, сами посудите, вытягивать волосы, когда их нет. *Ex nihilo nihil fieri potest*¹. Не парик же мне носить, как... шпиону».

Он закурил папироску и чувствовал, что это уже лишняя папироска: так горек и неприятен был ее дым.

«Войти и сказать: господа, это была шутка, просто шутка. Да нет, не поверят. Господи! Еще побьют».

Митрофан Васильевич быстро отошел шагов на двадцать и остановился. Делалось холодно. Пожимаясь в негреющем

¹ Из ничего ничего не получится (*лат.*).

пальто, он почувствовал в боковом кармане газету – и стало так горько, так обидно, что захотелось плакать. От чего он отказался? Пришел бы домой, пообедал бы, чайку бы выпил, потом лег бы на диван и почитал газетку – на душе так мирно, безоблачно; тетрадки поправлены, завтра, в субботу, у инспектора винт. А там в своей комнатке сидит глухая бабушка и чулки вяжет – милая старушка, добрая, внимательная, ему две пары носков связала. «И лампадка небось у нее горит – я еще за масло ругался. – А тут? Какой-то переулочек. Какой-то дом. Какие-то лохматые студенты... Господи, этого еще недоставало!»

Из освещенного подъезда, громко хлопнув дверью, вышли два студента и решительно направились в сторону Митрофана Васильевича. Дальше – туман, обрывки улиц, фонари, какие-то темные фигуры, настойчиво загораживающие путь, длинный обоз, морда лошади над самым ухом и одно повелительное, невыносимое чувство страха. Опамятовался он где-то на бульваре и долго не мог узнать местности. Было пустынно и тихо. Накрапывал дождь. Студентов не было.

Он выкурил две папиросы, одну за другой, и руки его, когда он зажигал спичку, дрожали.

«До чего добегался? Недостает только воспаление легких схватить, а потом чахотку. Слава богу, что не догнали. А славно, кажется, гнались. Кто-то все время кричал: „Стой“. И как страшно было, господи!»

На бульвар, шлепая калошами, вошли три студента. Мит-

рофан Васильевич выкатил на них помутившиеся от страха глаза и куда-то зашагал. И, только пройдя бульвар и зарывшись в темноту кривого и горбатого переулка, сообразил, что тех студентов было двое, что нельзя же бегать от всех студентов, какие встречаются на улице. Покружил по незнакомым переулкам, снова вышел на бульвар и долго разыскивал скамью, на которой сидел. Нужно было почему-то сесть именно на эту скамью. Тут, он думал, что-то очень утешительное.

«Нужно успокоиться и смотреть на дело трезво, – думал он. – Дело вовсе не так плохо. Черт с ней, с девчонкой! Думает, что шпион, ну и пусть думает. Знать-то она меня не знает. Да и те двое меня не видели. Воротник-то я – не дурак – поднял!»

Он было засмеялся от радости и даже рот раскрыл – и замер от ужасной мысли.

«Господи! А она-то видела! Ведь я нарочно целый час свою рожу демонстрировал. Встретит теперь где-нибудь...»

И Митрофану Васильевичу представился целый ряд ужасных возможностей: он человек интеллигентный, любит науки и искусства, бывает в театре, на всяких собраниях и лекциях, три раза был в университете на защите магистерской диссертации, – и везде он может встретиться с девушкой! Она, наверное, никогда не бывает одна, такие девушки никогда не бывают одни, а всегда с целой компанией таких же курсисток и дерзких студентов, – и что может произойти,

когда она покажет на него пальцем: вот шпион! – подумать страшно.

«Необходимо снять очки и обриться, – думает Митрофан Васильевич. – Черт с ними, с глазами, да, может быть, доктор еще врет. Но разве что-нибудь изменится, если снять такую бороду? Разве это борода?»

Он почесал пальцем реденькую бородку и везде пощупал тело.

«Даже борода как у людей не растет! – подумал он с отвращением и тоской. – Но все это вздор. И то, что она может узнать, тоже вздор. Нужно доказать. Нужно спокойно и логично доказать, как доказывают теоремы».

Ему представлялось собрание лохматых, и он перед ними твердо и спокойно доказывает. Буквы ясны и круглы, одно выражение идет за другим, везде спокойные, торжествующие знаки равенства. «Таким образом, вы видите... что...»

Митрофан Васильевич с достоинством, строгим жестом поправляет очки и презрительно усмехается. Потом начинает доказывать – и убеждается с холодным ужасом, что все эти буквы, и логика, и равенства – одно, а жизнь его – другое, и в этой жизни нет логики, нет равенства, нет никаких доказательств, что он, Митрофан Васильевич Крылов, – не шпион. Пусть кто-нибудь, та же девушка, обвинит его в шпионстве, – найдется в его жизни что-нибудь определенное, яркое, убедительное, что мог бы он противопоставить этому гнусному обвинению? Вот смотрит она наивно-бесстрашными глаза-

ми, – говорит: «Шпион», – и от этого прямого взгляда, от этого жестокого слова тают, как от огня, лживые призраки убеждений, порядочности. Пустота. Митрофан Васильевич молчит, но душа его полна криком отчаяния и ужаса. Что это значит? Куда ушло все? На что опереться, чтобы не упасть в эту черную и страшную пропасть?

– Мои убеждения, – бормочет он. – Мои убеждения. Все знают. Мои убеждения. Вот, например...

Он ищет. Он ловит в памяти обрывки разговоров, ищет чего-нибудь яркого, сильного, доказательного – и не находит ничего. Попадаются нелепые фразы: «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу у Сироткина». Но разве это убеждения? Пробегают отрывки газетных статей, чьи-то речи, как будто и убедительные, – но где то, что говорил он сам, что думал он сам? Нету. Говорил, как все, думал, как все: и найти его собственные слова, его собственные мысли так же невозможно, как в куче зерен найти такое же ничем не отмеченное зерно. С другими счастливыми людьми случается, что они или нечаянно, не подумавши, или спяну скажут что-нибудь такое резкое, что надолго останется в памяти у других; как-то несколько лет тому назад ихний учитель чистописания, скромный старичок, на обеде у директора после акта напился пьян и закричал: «Требую реформы средней школы!» И произвел скандал. И до сих пор все помнят этот случай и при встрече обязательно спрашивают у старичка: «Ну как насчет реформы?» – и искренно считают его скрытым радикалом.

А он? – когда выпьет, тотчас же засыпает или плачет и лезет целоваться; раз даже со швейцаром поцеловался; заговариваться не заговаривается и никогда ничего не требует. Другой человек бывает религиозный или не религиозный, а он...

– Постой, а есть бог или нет? Не знаю, ничего не знаю. А я кто – учитель? Да и существую ли я?

Руки и ноги у Митрофана Васильевича холодеют. И на этот счет, существует он или не существует, у него нет твердых убеждений. Сидит кто-то на бульваре и курит папиросу. Какие-то деревья, мокрые, скользкие. Какой-то дождь. Какой-то фонарь мигает, и по стеклу бегут капли. Пусто, непонятно, страшно.

Митрофан Васильевич вскакивает и идет.

– Вздор, вздор! Нервы просто развинтились. Да и что такое убеждения? Одно слово. Вычитал слово, вот тебе и убеждения. Катет, логарифм! Поступки, вот главное. Хорош шпион, который...

Но и поступков нету. Есть действия – служебные, семейные и безразличные, а поступков нету. Кто-то неумолимо и настойчиво требует: скажите, что вы сделали?.. И он ищет с отчаянием, с тоской. Как по клавишам, пробегает по всем прожитым годам, и каждый год издает один и тот же пустой и деревянный звук – б-я-а... Ни содержания, ни смысла. «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу у Сироткина». Не то, не то.

– Послушайте, послушайте же, сударыня... – бормочет

Митрофан Васильевич, опустив голову и умеренно и прилично жестикулируя. – Как глупо, извините, думать, что я шпион. Я – шпион! Какой вздор! Позвольте, я докажу. Итак, мы видим...

Пустота. Куда девалось все? Он знает, что он делал что-то, – но что? Все домашние и знакомые считают его умным, добрым и справедливым человеком – ведь есть же у них основания! Ах да, бабушке ситцу на платье купил, и жена еще сказала: «Слишком уж ты добр, Митрофан Васильевич». Но ведь и шпионам свойственна любовь к бабушкам, и они покупают бабушкам ситцу, – наверное, такого же черного с крапинками, дрянного ситцу. А еще что? В баню ходил, мозоли срезывал. Нет, не то. Карпову вместо двойки тройку поставил. «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу...» Вздор, вздор!

Бессознательно Митрофан Васильевич проделывает обратный путь от бульвара к дому, где скрылась курсистка, но не замечает этого. Чувствует только, что поздно, что он устал и ему хочется плакать, как Иванову, уличенному в списывании.

Митрофан Васильевич останавливается перед многоэтажным домом и с неприятным недоумением смотрит на него. – Какой неприятный дом? Ах да. Тот самый.

Он быстро отходит от дома, как от начиненной бомбы, останавливается и что-то соображает.

«Лучше всего написать. Спокойно обдумать и написать.

Имени, конечно, называть не буду. Просто: „Некий человек, которого вы, сударыня, приняли за шпиона...“ По пунктам. Так и так, так и так. Дура будет, если не поверит, да».

Потоптавшись у подъезда, потрогав несколько раз холодную ручку, Митрофан Васильевич с усилием в два приема открыл тяжелую дверь и с решительным, суровым видом вошел. Под лестницей из дверей каморки показался швейцар, и лицо его выражало услужливость.

– Послушайте, дружище, тут недавно девушка-курсистка... в какой номер она прошла?

– А вам на что?

Митрофан Васильевич стрельнул очками, и швейцар понял: как-то особенно мотнул головою и протянул руку для пожатия.

«Хам!» – с ненавистью подумал Митрофан Васильевич и крепко пожал руку, прямую и твердую, как доска.

– Пойдем ко мне, – позвал швейцар.

– Зачем же?.. Мне только...

Но швейцар уже повернул к своей каморке, и Митрофан Васильевич, поскрипывая зубами, покорно последовал за ним. «Поверил! Сразу поверил! Мерзавец!»

В каморке было тесно, стоял один стул, и швейцар спокойно занял его.

«Хам! Хам! Даже сесть не предлагает», – с тоской думал Митрофан Васильевич, хоть в обычном состоянии сидеть не только в чужой швейцарской, но и в собственной кухне счи-

тал ниже своего достоинства.

«Хам!» – повторил он и добродушно спросил:

– Холостой?

Но швейцар не счел нужным ответить. Окинув учителя с ног до головы равнодушно-нахальным взглядом, равнодушно помолчал и спросил:

– Тут тоже третьего дня один из ваших был. Блондинчик с усами. Знаете?

– Как же, знаю. Этакий... блондин.

– А много, должно быть, вашего брата шатается, – равнодушно заметил швейцар.

– Послушайте, – возмутился Митрофан Васильевич. – Я вовсе не желаю. Мне нужно...

Но швейцар не обратил внимания и продолжал:

– А жалованья вам много идет? Блондинчик сказывал пятьдесят. Маловато.

– Двести, – соврал Митрофан Васильевич и с злорадством увидел на лице швейцара выражение восторга.

«То-то, голубчик», – подумал он.

– Ну? Двести. Это я понимаю. Папироску не желаете?

Митрофан Васильевич с благодарностью принял из пальцев швейцара папиросу и с тоской вспомнил о своем японском ящичке с папиросами, о кабинете, о синих милых тетрадках. Тошнило. Табак был едкий, вонючий, шпионский. Тошнило.

– А бьют вас часто?

– Послушайте...

– Блондинчик сказывал, что его ни разу не били. Да, поди, врет. Как можно, чтобы не били. Но ежели редко и с осторожностью, чтобы без членовредительства, так оно ничего. Деньги немалые. Верно, ваше благородие?

Швейцар дружески улыбнулся.

– Мне нужно...

– Способности только надо иметь и чтобы лицо подходящее. Без примет. А то видел я одного, вся рожа на стороне и глаза нету. Разве такой годится, сами посудите! Всю рожу так и свернуло, как от ветру, и глаза нет, одна дырка. Вот у вас...

– Да послушайте! – тихо закричал Митрофан Васильевич. – Мне некогда. Мне еще нужно!

Неохотно оставляя интересную тему, швейцар подробно расспросил, какова на вид девушка, и сказал:

– Знаю. Часто ходит. № 7. Иванова. Зачем папиросу на пол бросаешь? Вон печка. Мети тут за вами.

И последнее, что доносилось до слуха учителя, было:

– Шантрапа, понимаешь?

«Хам!» – мысленно ответил Митрофан Васильевич и быстро зашагал по переулку, отыскивая глазами извозчика. Домой, скорее домой! Господи, как он раньше об этом не вспомнил, – что значит растерянность. Ведь у него есть дневник, а в дневнике давно когда-то, еще студентом первого курса, он записал что-то очень либеральное, очень смелое, и свободное, и даже красивое. Он живо помнит и вечер тот, и

свою комнатку, и рассыпанный табак на столе, и то чувство гордости, упоения, восторга, с каким набрасывал он энергичные, твердые строки. Вырвать странички и послать – и все тут. Она увидит, она поймет, она умная и благородная девушка. Как хорошо!.. Как хочется есть!

В передней Митрофана Васильевича встретила обеспокоенная жена:

– Где ты был? Что с тобой? Отчего ты такой?

И, поспешно сбрасывая пальто на ходу, он кричал:

– С вами не такой будешь! Полон дом народу, а пуговицу пришить некому. Черт вас знает, что вы тут делаете! Сто раз говорил: пришить. Безобразие, распущенность!

И зашагал в кабинет.

– А обедать?

– Потом. Не лезь! Не ходи за мной.

Было много книг, много тетрадей, но дневник не попался. Попалась связка ученических тетрадей за первый год его учительства, сохраненная как воспоминание, – к черту! Сидя на полу, он выкидывал из нижнего отделения шкапа бумаги, книги, тетради, отчаивался и вздыхал, сердился на застывшие тугие пальцы – и наконец! Вот он, голубенький, немного засаленный переплет, еще не установившийся старательный почерк, засохшие цветы, старый кисловатый запах духов – как он был молод!

Митрофан Васильевич сел к столу и долго перелистывал дневник, но желаемое место не находилось. Посереди-

не между страницами был перерыв, и торчали коротенькие тщательные обрезки. И он вспомнил: пять лет тому назад, когда у Антона Антоныча был обыск, он очень испугался, вырезал из дневника все компрометирующие его страницы и сжег. Нечего искать – их нет – они сгорели.

Понурился, закрыв лицо руками, он долго, без движения, сидел над опустошенным дневником. Горела одна только свеча – лампы он не успел зажечь, – в комнате было непривычно темно, и от черных бесформенных кресел веяло холодом, заброшенностью, скукой. Далеко, в тех комнатах, играли дети, кричали и смеялись; в столовой звенели чайной посудой, ходили, разговаривали – а тут было безмолвно, как на кладбище. Если бы заглянул сюда художник, почувствовал бы эту холодную, угрюмую темноту, увидел бы на полу груды разбросанных бумаг и книг, темную фигуру человека с закрытым лицом, в безнадежной тоске склонившегося над столом, – он написал бы картину и назвал бы ее «Самоубийца».

«Но ведь можно вспомнить, – с мольбой думает Митрофан Васильевич. – Можно вспомнить. Пусть сгорела бумага, но ведь то, что было, оно осталось где-то. Оно есть, оно существует, нужно только вспомнить».

И он вспоминает все ненужное: и формат страницы, и почерк, и даже запятые и точки, но то нужное и дорогое, то любимое, светлое, оправдывающее, – оно погибло навсегда. Оно жило и умерло, как умирают люди, как умирает все. Бес-

следно исчезло оно в огромной пустоте, и никто не знает о нем, никто о нем не помнит, и ни в чьей душе не осталось от него следа. Если бы он стал на колени, плакал, умолял вернуть его к жизни, грозил, скрежетал зубами, – огромная, безначальная пустота осталась бы безгласной, ибо никогда не отдаст она того, что раз попало в ее руки. Разве когда –нибудь слезы и рыдания могли вернуть к жизни умершего, убитого? Нет прощения, нет пощады, нет возврата – таков закон жестокой смерти.

Оно умерло, оно убито. Подлый убийца! Сам своими руками сжег лучшие цветы, что, быть может, раз в жизни в тихую святую ночь распустились в бесплодной, нищенской душе. К кому пойти, если сам себе не друг? Бедные погибшие цветы! Быть может, не яркие были они и не было в них силы и красоты творческой мысли, но они были лучшим, что родила душа, и теперь их нет, и никогда не зацветут они снова. Нет прощения, нет пощады, нет возврата – таков закон жестокой смерти.

– Что же это? Позвольте, – шепчет бессмысленно Митрофан Васильевич. – Я убедился, что вы, Иванов, списали... Нет. Вздор. Нужно жену. Маша! Маша!

Пришла Марья Ивановна. Лицо у нее круглое, доброе; не завитые, по-домашнему, волосы кажутся жидкими и бесцветными. В руках у нее работа – детское платьице.

– Что, Митроша, обедать сказать? Перестоялось все.

– Нет, погоди. Мне нужно поговорить.

Марья Ивановна обеспокоенно откладывает работу и заглядывает мужу в лицо. Тот отворачивается и говорит:

– Сядь.

Марья Ивановна села, оправила платье, сложила руки на коленях и приготовилась слушать. И как всегда бывало в этих случаях, еще со школьной скамьи, лицо ее сразу приняло выражение бестолковости и готовности все перепутать.

– Я слушаю, – сказала она и еще раз оправила платье.

Но Митрофан Васильевич молчал и изумленно вглядывался в лицо жены. Чужое оно было и незнакомое, как лицо нового ученика, поступившего в класс; и странно было думать, что эта женщина – его жена, какая-то Марья Ивановна, Маша. И новая мысль ворвалась в его взбудораженный мозг, и шепотом, дрогнувшим голосом, он сказал:

– Ты знаешь, Маша? Я – шпион.

– Что?

– Шпион, понимаешь, да.

Марья Ивановна вся как-то оседает, как проколотое тесто, и, всплеснув тихо руками, произносит:

– Так я и знала, несчастная, господи ты боже мой!

Подскочив к жене, Митрофан Васильевич машет кулаком у самого ее лица, с трудом удерживается от желания ударить и кричит так громко, что в столовой перестает звенеть посуда и во всем доме становится тихо...

– Дура! Дурища! Так и знала. Господи! Да как же ты могла знать? Двенадцать лет! Двенадцать лет! Господи! Жена-друг,

все мысли, деньги, все...

Становится к печке и плачет. Марья Ивановна еще не сообразила, отчего он плачет: оттого ли, что он шпион, или оттого, что не шпион, но ей жалко мужа и обидно за ругань, она плачет сама и говорит:

– Ну вот. Сейчас же и ругаться. Всегда я виновата. Если дура, так зачем женился на дуре, брал бы умную.

Не оборачиваясь, прильнув лбом к холодной кафле, Митрофан Васильевич шепчет, захлебываясь:

– Так и знала! Господи! Двенадцать лет! Уже если и жена и та так, значит, и вправду шпион. Так и знала! Дура, дурища!

– Да что ты в самом деле, я только и слышу: дура, дура, – рассердилась Марья Ивановна. – Сами выкидывают, а тут за них отвечай.

Митрофан Васильевич яростно обернулся:

– Что выкидывают? Что же, я шпион? Ну! Говори, шпион я или нет?

– А я почему знаю? Может, и шпион.

Горя ненавистью и гневом, оба обиженные, оба несчастные, они долго и бессмысленно бранились, в чем-то друг друга упрекали, плакали, призывали бога, пока не охватила обоих глухая, тяжелая усталость и равнодушие. И тогда с полным спокойствием, совершенно забыв только что разыгравшуюся ссору, они сели рядом и заговорили, и снова зазвенела в столовой чайная посуда, и снова забегали и зашумели дети. Конфузясь и избегая некоторых подробностей, Митро-

фан Васильевич передал жене историю с курсисткой и свои опасения насчет случайной встречи.

– Эка! – беззаботно воскликнула Марья Ивановна. – А я думала, что. Стоит беспокоиться. Обрился, снял очки, вот тебе и все. А в гимназии на уроке можно и очки надевать.

– Ты думаешь? Да разве это борода?

– Ну уж это ты оставь. Говори что хочешь, а бороду оставь. Всегда говорила, что хорошая, и сейчас скажу.

Митрофан Васильевич вспомнил, что гимназисты зовут его «козлом», и совсем развеселился. Если бы не было хорошей бороды, не звали бы «козлом», это верно. И в радости крепко поцеловал жену и даже, шутя, пощекотал за ухом бородой.

Часов в двенадцать, когда весь дом угомонился и жена легла спать, Митрофан Васильевич принес в кабинет зеркало, теплой воды и мыльницу и сел бриться. Пришлось, кроме лампы, зажечь две свечи, и было немного стыдно и от яркого света беспокойно, но он смотрел только на ту часть лица, которой касалась бритва, и полбороды снял благополучно. Но потом нечаянно взглянул себе в глаза и остановился. И прежде было тихо, а теперь наступила такая глухая и мертвая тишина, как будто раньше вся комната полна была крику и разговоров. Когда ночью человек один остается перед зеркалом, ему всегда бывает немножко жутко и странно от мысли, что он видит себя. И Митрофану Васильевичу стало жутко, и с суровым любопытством, как посторонний, он по-

думал: «Так вот ты какой!»

Дряблое лицо уже пожилого человека с морщинами, следами сошедших угрей и белой сухой кожей. На переносье красная полоска от очков, бесцветные, моргающие глаза; одна щека обрита и блестит лоснящейся кожей, другая покрыта мыльной пеной – так, вероятно, и шпионы совершают свой туалет, когда идут на работу. Что-то безнадежно – плоское, серое, застывшее – не лицо живого человека, а маска, снятая с покойника. Ни шпион, ни тот, кого шпионы преследуют.

– Так вот ты какой! – бормочет Митрофан Васильевич, и то лицо, в зеркале, странно шевелит губами и принимает выражение кислоты, растерянности и трусливой злобы. Кто дал ему это лицо? Кто смел дать такое лицо?

По щеке, бороздя мыльную пену, скатывается слеза. Стиснув зубы, Митрофан Васильевич бреет щеку, потом задумывается, намыливает усы – и снимает их. И снова глядит. Завтра над этим лицом будут смеяться. А когда-то, давно, другим оно было.

Решительно сжав бритву, Митрофан Васильевич запрокидывает голову – и осторожно тупой стороной бритвы два раза проводит по шее. Хорошо бы убить себя – да разве он может?

– Трус, подлец! – говорит он громко и равнодушно. Но лицо в зеркале шевелит губами и остается плоским и серым. Да, его можно ударить, можно наплевать в него, а оно останется все такое же, и только глаза заморгают чаще. Завтра

над ним будут смеяться – товарищи, ученики. И жена – она тоже будет смеяться.

Ему хочется прийти в отчаяние, заплакать, ударить зеркало, что-нибудь сделать, – но на душе пусто и мертво, и хочется спать. «Должно быть, от того, что долго на воздухе был», – думает он и зевает. И тот, в зеркале, тоже зевает.

Убирает бритвенный прибор, тушит лампу и свечи и, шаркая туфлями, идет в спальню. И скоро засыпает, уткнувшись в подушку бритым лицом, над которым завтра будут смеяться все: товарищи, жена и он сам.

1904 г.

Христиане

За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было тепло, оживленно и весело для тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать в нее все то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы – они так и назывались «судебные драмы», – и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество, и много вкусных закусок стояло на стойке. Пили, разговаривали, ели. Если встречались пасмурные лица, то и это было хорошо: так нужно в жизни и особенно там, где изо дня в день разыгрываются «судебные драмы». Вон в той комнате застрелился как-то подсудимый; вот солдат с ружьем; где-то бренчат кандалы. Весело, тепло, уютно.

Во втором уголовном отделении много публики – слушается большое дело. Все уже на своих местах, присяжные заседатели, защитники, судьи; репортер, пока один, приготовил бумагу, узенькие листки, и всем любуется. Председатель, обрюзгший, толстый человек с седыми усами, быстро, привычным голосом перекликает свидетелей:

– Ефимов! Как ваше имя, отчество?

– Ефим Петрович Ефимов.

– Согласны принять присягу?

– Согласен.

– Отойдите к стороне! Карасев!

– Андрей Егорыч... Согласен.

– Отойдите к... Блументаль!..

Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами догадливо отходят к стороне; других вопрос застаёт врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия или тут есть другой человек с такой же фамилией. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали полно, не торопясь, обдуманно; к стороне они отходили лишь после приказания председателя и с другими не смешивались.

Подсудимый, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он оборачивался, брезгливо оглядывал вызванного и снова с удвоенной торопливостью крутил усы и соображал. Защитник, тоже еще молодой человек, зевал в руку и гибко потягивался, с удовольствием глядя в окно, за которым вяло опускались большие мокрые хлопья. Он хорошо выспался сегодня и только что позавтракал в буфете горячей ветчиной с горошком.

Оставалось только человек шесть не вызванных, когда председатель с разбега наткнулся на неожиданность:

– Согласны принять присягу? Отойдите...

– Нет.

Как человек, в темноте набежавший на дерево и сильно ударившийся лбом, председатель на миг потерял нить своих вопросов и остановился. В кучке свидетелей он попытался найти ответившую так определенно и резко – голос был женский, – но все женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и готовно глядели на него. Посмотрел список:

– Пелагея Васильевна Караулова! Вы согласны принять присягу? – повторил он вопрос и выжидательно уставился на женщин.

– Нет.

Теперь он видит ее. Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая, стоит сзади других. Несмотря на шляпу и модное платье с грушеобразными рукавами и большим, нелепым напуском на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. В ушах у нее цыганские серьги большими дутыми кольцами; в руках, сложенных на животе, она держит небольшую сумочку. Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой остаются неподвижны.

– Да вы православная?

– Православная.

– Отчего же вы не хотите присягать?

Свидетельница смотрит ему в глаза и молчит. Стоявшие впереди ее расступились, и теперь вся она на виду со своей

сумочкой и тонкими желтоватыми руками.

– Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите, – вам ничего за это не будет. Суд примет во внимание ваши объяснения.

– Нет.

– Не сектантка?

– Нет.

– Так вот что, свидетельница: вы, может, опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо неприятное... неудобное для вас лично, – понимаете? Так на такие вопросы, по закону, вы имеете право не отвечать – понимаете? Теперь согласны?

– Нет.

Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он хорош в пении. Пожав плечами, председатель взглядом призывает ближе к себе члена суда с левой стороны и шепчется с ним. Тот отвечает также шепотом:

– Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

– Ну, уж скажете... При чем тут беременность? Да и незаметно совсем... Свидетельница Караулова! Суд желает знать, на каком основании вы отказываетесь принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас от присяги. Отвечайте! Вы слышите или нет?

Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то коротко отвечает, но так тихо, что ничего нельзя разобрать.

– Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..

Свидетельница откашливается и очень громко говорит:

– Я проститутка...

Защитник, тихонько постукивавший ногой в такт ка-ким-то своим мыслям, останавливается и пристально глядит на свидетельницу. «Нужно бы зажечь электричество»... – думает он, и, точно догадавшись о его желании, судебный пристав нажимает одну кнопку, другую. Публика, присяжные заседатели и свидетели поднимают головы и смотрят на вспыхнувшие лампочки; только судьи, привыкшие к эффекту внезапного освещения, остаются равнодушны. Теперь совсем приятно: светло, и снег за окнами потемнел. Уютно. Один из присяжных заседателей, старик, оглядывает Караулову и говорит соседу:

– С сумочкой...

Тот молча кивает головой.

– Ну так что же, что проститутка? – говорит председатель и слово «проститутка» произносит так же привычно, как произносит он другие не совсем обыкновенные слова: «убийца», «грабитель», «жертва». – Ведь вы же христианка?

– Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.

Положение получается довольно нелепое. Нахмурившись, председатель совещается с членом суда налево и хочет говорить; но вспоминает про существование члена суда направо, который все время улыбается, и спрашивает его согласия. Та

же улыбка и кивок головы.

– Свидетельница Караулова! Суд постановил разъяснить вам вашу ошибку. На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует нас закон. Но это ошибка – вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятия, это дело вашей совести, и мы в это дело мешаться не можем; а на принадлежность вашу к известному религиозному культу они влиять не могут. Вы понимаете? Можно даже быть разбойником или грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот все мы здесь, товарищ прокурора, господа присяжные заседатели, занимаемся разным делом: кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами.

Член суда с левой стороны шепчет:

– Теперь вы хватили... Разбойник – а потом товарищ прокурора! И потом, торгует – кто торгует? Точно тут лавочка, а не суд. Нельзя, неловко!..

– Так вот, – говорит протяжно председатель, отворачиваясь от члена, – свидетельница Караулова, занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные религиозные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?

– Нет.

– Нет? Почему же?

– Как же я такая пойду в церковь?

– Но у исповеди и у святого причастия бываете?

– Нет.

Свидетельница отвечает не громко, но внятно. Руки ее с сумочкой застыли на животе, и в ушах еле заметно колышутся золотые кольца. От света ли электричества или от волнения она слегка порозовела и кажется моложе. При каждом новом «нет» в публике с улыбкой переглядываются; один в задних рядах, по виду ремесленник, худой, с общипанной бородкой и кадыком на вытянутой тонкой шее, радостно шепчет для всеобщего сведения:

– Вот так загвоздила!

– Ну а богу-то вы молитесь, конечно?

– Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.

Член суда настойчиво шепчет:

– Да вы свидетельниц спросите! Они ведь тоже из таких...

Спросите, согласны они?

Председатель неохотно берет список и говорит:

– Свидетельница Пустошкина! Ваши занятия, если не ошибаюсь...

– Проститутка!.. – быстро, почти весело отвечает свидетельница, молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье.

Ей тоже нравится в суде, и раза два она уже переглянулась с защитником; тот подумал: «Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала...»

– Вы согласны принять присягу?

– Согласна.

– Ну вот видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидетельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?

– Согласна! – густым контральто, почти басом, отвечает толстая, с двумя подбородками, Кравченко.

– Ну вот, видите, и еще!.. Все согласны. Ну так как же? Караулова молчит.

– Не согласны?

– Нет.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвечает легкой улыбкой и снова становится серьезна. Суд совещается, и председатель, сделав любезное, несколько религиозное лицо, обращается к священнику, который наготове, в ожидании присяги, стоит у аналоя и молча слушает.

– Батюшка! Ввиду упрямства свидетельницы не возьмете ли на себя труд убедить ее, что она христианка? Свидетельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рук с живота, делает два шага вперед. Священнику неловко: покраснев, он шепчет что-то председателю.

– Нет уж, батюшка, нельзя ли тут?.. А то я боюсь, как бы и те не заартачились.

Поправив наперсный крест и покраснев еще больше, священник очень тихо говорит:

– Сударыня, ваши чувства делают вам честь, но едва ли христианские чувства...

– Я и говорю: какая я христианка?

Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит:

– Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит.

– Все мы, сударыня, грешны перед господом, кто мыслью, кто словом, а кто и делом, и ему, многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. Смиренно, с кротостью, подобно богоизбраннику Иову, должны мы принимать все испытания, какие возлагает на нас господь, памятуя, что без воли его ни один волос не упадет с головы нашей. Как бы ни велик был ваш грех, сударыня, самоосуждение, самовольное отлучение себя от церкви составляет грех еще более тяжкий, как покусительство на применение воли божией. Быть может, грех ваш послан вам во испытание, как посылает господь болезни и потерю имущества; вы же в гордыне вашей...

– Ну уж какая, батюшка, гордыня при нашем-то деле!

– ...Предрешаете суд Христов и дерзновенно отрекаетесь от общения со святой православной церковью. Вы знаете символ веры?

– Нет.

– Но вы веруете в господя нашего Иисуса Христа?

– Как же, верую.

– Всякий истинно верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...

– Свидетельница! Вы понимаете: нужно только верить во Христа... – подтверждает председатель.

– Нет! – решительно отвечает Караулова. – Так что же из того, что я верю, когда я такая? Когда б я была христианка, я не была бы такая... Я и богу-то не молюсь.

– Это правда... – подтвердила свидетельница Пустошкина. – Она никогда не молится. К нам в дом – дом у нас хороший, пятнадцатирублевый – икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы как ее уговаривали, так нет. Уж такая она, извините! Ей самой, господин судья, от характера своего не легко.

– Господь наш Иисус Христос, – продолжал священник, взглянув на председателя, – простил блудницу, когда она покалялась...

– Так она покалялась; а я разве каялась?

– Но наступит час душевного просветления, и вы покаетесь.

– Нет. Разве когда старая буду и помирать начну, тогда покаюсь – да уж это какое покаяние? Грешила-грешила, а потом взяла да в одну минуту и покалялась. Нет уж, дело конченное.

– Какое уже тогда покаяние! – басом подтвердила внимательно слушавшая Кравченко. – Пела-пела песни, да пиво пила, да мужчин принимала, а там – хватъ, и покалялась. Кому такое покаяние нужно? Нет уж, дело конченное.

Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла с плеча Карауловой ниточку; та не пошевелинулась.

«Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом, – поду-

мал защитник, – у этой грудь, как кузнечные мехи, с тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню».

Председатель развел руками и, снова сделав любезное и религиозное лицо, отпустил священника:

– Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побеспокоили.

Священник поклонился и стал на свое место, у аналая, и руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали. В публике шептались, и ремесленник, у которого борода за это время как будто еще более поредела, тянул шею всюду, где шепчутся, и счастливо улыбался.

– Вот так загвоздила! – шептал он, встретив чей-нибудь взгляд.

Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрел на Караулову, поспешно крутил усики и что-то соображал.

Суд совещался.

– Ну что же делать? Ведь это же идиотка! – гневно говорил председатель. – Ее люди в царство небесное тащат, а она...

– По моему мнению, – сказал член суда, – нужно было освидетельствовать ее умственные способности. В средние века суд приговаривал к сожжению женщин, которые, в сущности, были истеричками, а не ведьмами.

– Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора: вы посмотрите, что он выделяет!

Товарищ прокурора, молодой человек в высоком воротничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемо-

го, уже давно старался привлечь на себя внимание суда. Он ерзал на стуле, привставал, почти ложился грудью на пюпитр, качал головою, улыбался и всем телом подавался вперед, к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Очевидно было, что он что-то знает и нетерпеливо хочет сказать.

– Вам что угодно, господин прокурор? Только, пожалуйста, покороче!

– Позвольте мне...

И, не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно спросил Караулову:

– Обвиняемая, – виноват, свидетельница, – как вас зовут?

– Груша.

– Это будет... это будет Аграфена, Агриппина. Имя христианское. Следовательно, вас крестили. И когда крестили, назвали Аграфеной. Следовательно...

– Нет. Когда крестили, так назвали Пелагеей.

– Но вы же сейчас при свидетелях сказали, что вас зовут Грушей?

– Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.

– Но вы же...

Председатель перебил:

– Господин прокурор! Она и в списке значится Пелагеей.

Вы поглядите!

– Тогда я ничего не имею...

Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, бросив

строгий взгляд на обвиняемого и защитника.

Караулова ждала. Получалось что – то нелепое. В публике говор становился громче, и судебный пристав уже несколько раз строго оглядывался на залу и поднимал палец. Не то падал престиж суда, не то просто становилось весело.

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин пристав! Если кто будет разговаривать, то удалите его из залы.

Поднялся присяжный заседатель, высокий костлявый старик, в долгополом сюртуке, по виду старообрядец, и обратился к председателю:

– Можно мне ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудом?

– Восемь лет.

– А до того чем занимались?

– В горничных служила.

– А кто обольстил? Сынок или хозяин?

– Хозяин.

– А много дал?

– Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру на платье. У них свой магазин в рядах.

– Стоило из-за этого идти!

– Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.

– Дети были?

– Один был.

– Куда девала?

– В воспитательном помер.

– А больна была?

– Была.

Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:

– И впрямь, какая ты христианка! За десять рублей душу дьяволу продала, тело опоганила.

– Бывают старички и больше дают! – вступилась за подругу Пустошкина. – Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде как вы...

В публике засмеялись.

– Свидетельница, молчите, вас не спрашивают! – строго остановил председатель. – Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель? Тоже спросить?

– Да уж позвольте и мне слово вставить, когда на то дело пошло... – тонким, почти детским голоском сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь состоящий из шаров и полушарий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона, щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы. – Вот что, Караулова, или как тебя там, ты с богом считайся как хочешь, а на земле свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать: «не христианка я», а завтра воровать по этой же причине пойдешь либо кого из гостей сонным зельем опоишь – вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то церкви поставлены, а от веры не отступайся, потому что ежели ваш брат да еще от веры отступится, тогда хуть на свете не живи.

– Что ж, может, и красть буду... Сказано, что не христи-

анка.

Купец качнул головой, сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:

– Вот попадетя такая баба, так все руки об нее обломаешь, а с места не сдвинешь...

– Они и толстые которые, господин судья, не все честные бывают... – вступилась Пустошкина. – Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил, набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти – спасибо, застрял. «Я, – говорит, – воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святыя деньги на такое поганое дело ишли», а сам-то пьян-распьянехонек. А по – моему...

– Молчите, свидетельница!

– Просто они жулик, больше ничего. Вот тебе и толстые!

– Молчите, свидетельница, а то я прикажу вас вывести.

Вам что еще угодно, господин прокурор?

– Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, что это у вас кличка Груша, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас крестили по установленному обряду, то вы христианка, как это и значит-ся, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения...

Прокурор, овладевая темой, становился все строже.

– Сейчас заговорит о паспорте... – шепнул председатель и перебил прокурора: – Свидетельница, вы понимаете: раз вас

крестили, вы, значит, христианка. Вы согласны?

– Нет.

– Ну вот видите, прокурор, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится. И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и говорит: «Вот я тебя гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!» Сосед, не глядя, отвечает: «А тебе бы, братец, все кулаком; ты ей докажи!» – «Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от господа дан». – «А бороду где выщипали?» – «Где бы ни выщипали, а выщипали»... Судебный пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.

– Послушайте, Лев Аркадьич, ведь это бог знает что такое! – возмущается член суда. – Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что мы судим ее, что ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!

– Да вы-то что? Что ж я нарочно, по-вашему? – покраснел председатель. – Вы смотрите на эту, на толстую, на Кравченко, – ведь она глазами ее ест. Ведь они тут новую ересь объ-

вдят, а я отписывайся! Благодарю вас покорнейше! И не могу же я отказывать, раз уж позволили... Вам угодно что-нибудь сказать, господин присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче – мы и так потеряли уже полчаса.

Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида; волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с Карауловой он страдальчески морщился, и теперь в тихом голосе его слышится страдание.

– Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но поймите же, что нельзя так умалять сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости с богом...

– Виноват... – перебил председатель. – Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

– Нет.

– Господин присяжный заседатель! Она не понимает слова «мистический». Выразайтесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот – вот эмбрион всех сфинксов...

– Господин присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

– Проще я не могу... – грустно сказал заседатель. – Мистическое требует особого языка... Одним словом – нужна близость к богу.

– Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к богу – и больше ничего.

– Нет. Какая уж тут близость при таком деле! Я и лампадки в комнате не держу. Другие держат, а я не держу.

– Намедни, – басом сказала Кравченко, – гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: «Сукин ты сын, а еще лысый». А он говорит: «Молчи, говорит, мурзик, – свет Христов и во тьме сияет». Так и сказал.

– Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно, свидетель?

Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.

– Ваше превосходительство! Разрешите мне уединиться со свидетельницей.

– Это зачем еще?

– Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где ихний дом... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчас примет.

– Нет, – сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава.

Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:

– Нет, примете!

– Нет.

– Посмотрим...

– Посмотрите...

– Довольно, довольно!.. – сердито крикнул председатель. – А вы, господин пристав, идите на свое место: мы пока в ваших услугах не нуждаемся.

Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публике угрюмый шепот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на сторону Карауловой, говорит: «Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистят – как самовар заблестят». – «Ну это вы слишком!» – «Слишком? Молчите, господин: вы этого дела не понимаете, а я вот как понимаю!» – «Бороду-то где выщипали?» – «Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут буфет для третьего класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы божьей Палагеи».

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин судебный пристав! Примите меры!

Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают, и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он предвидит, что цензура ни в каком случае не пропустит написанного.

– Как хотите, а нужно кончить! – говорит член суда. – Получается скандал.

– Пожалуй что... Ну что еще вам нужно, господин защитник? Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:

– Но раз было предоставлено слово господину товарищу прокурора...

– Так и вам нужно? – с безнадежной иронией покачал головой председатель. – Ну хорошо, говорите, если так уж хочется, только, пожалуйста, покороче!

Защитник поворачивается к присяжным заседателям:

– Остроумные упражнения господина товарища прокурора и частного пристава в богословии... – начинает он медленно.

– Господин защитник! – строго перебивает председатель. – Прошу без личностей!

Защитник поворачивается к суду и кланяется:

– Слушаю-с.

Затем снова поворачивается к присяжным, окидывает их светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову. Обе руки его подняты на высоту груди, глаза крепко закрыты, брови сморщены, и весь он имеет вид не то смертельно влюбленного, не то собирающегося чихнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, что из этого может выйти, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит

очень медленно, по частям: сперва упали бессильно руки, потом слегка приоткрылись глаза, потом медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его воли, из уст выпали проникновенные слова:

– Господа судьи и господа присяжные заседатели!

И дальше он говорит совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии, смотрит на кого-нибудь из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не отведет глаз.

– Господа судьи и господа присяжные заседатели! Вы слышали только сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и господином частным приставом, и значение его для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша администрация, и с другой стороны – ее неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...

– Господин защитник, что же это такое! – возмущается председатель. – Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленные законом власти. Я лишу вас слова.

Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:

– Я просил бы занести слова господина защитника в протокол.

– Слушаю-с. Я хотел только сказать, господа присяжные заседатели, что госпожа Караулова, насколько я ее понимаю,

не отступится от своих взглядов даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром или инквизиционными пытками. В лице госпожи Карауловой мы видим, господа присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрекается от Христа, говоря «нет», в сущности говорит «да»!

Какой-то большой и красивый образ смутно и пристально блеснул в голове адвоката; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:

– Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это, господа присяжные заседатели! Показания свидетельниц госпож Пустошкиной и Кравченко и признания самой Карауловой нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может, только что оторванная от деревни, от ее невинных радостей, она попадает в руки грязного сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она...

– Нельзя ли покороче, господин защитник! Нам известно с самого начала, что госпожа Караулова занимается проституцией. Господа присяжные заседатели не дети и сами прекрасно знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом, она не крестьянка, а мещанка города Воронежа.

– Слушаю-с, господин председатель, хотя я думаю, что и у

мещан есть свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей госпожа Караулова носит идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же – с ее благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с ее пьяным угаром, оскорблениями, быть может, побоями – разрушает и оскверняет этот чистый образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части душа госпожи Карауловой. Господа присяжные заседатели! Вы видели ее здесь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это исстрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию – в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грезах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием, чувствуя себя недостойной войти в святилище... И это не христианка! Кто же тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

– Нет! – перебила Караулова. – Неправда это! И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и ме-

лочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. Одна монетка соскользнула с руки, покружилась по бетонному, на-тертому полу и легла возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.

– За что вот я эти деньги получила? За это за самое. А платье вот это, а шляпка, а серьги – все за это за самое. Раздень меня до самого голого тела, так ничего моего не найдешь. Да и тело-то не мое – на три года вперед продано, а то, может, и на всю жизнь – жизнь-то наша короткая. А в животе у меня что? Портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал, – выходит, что и живот не мой. Нет у меня ни стыда, ни совести: прикажете голой раздеться – разденусь; прикажете на крест наплевать – наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нее не точились, а бежали быстрыми, нарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было щекотно.

– А то вот третьего дня меня с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов над головой ночные вазы держали, вместо свечек пивные бутылки доньшками кверху, за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она, – Караулова показала на плачущую Кравченко, – за мать мне была, плакала, разливалась, как будто всерьез. Она поплакать-то любит. А я смеялась – ведь и правда очень смешно было. И к церкви я равнодушна, и даже мимо стараюсь не ходить, не люблю. Вот тоже говорили тут: «Мо-

литься», – а у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то что мужчины; а настоящих не знаю. Да о чем и молиться-то? Того света я не боюсь, – хуже не будет; а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать, – родила. Молилась, чтобы ребенок при мне жил, – а пришлось в воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил, – он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда поглупее была, да спасибо добрым людям – отучили. Студент отучил. Вот тоже, как вы, начала говорить и о моем детстве, и о прочем, и до того меня довел, что заплакала я и взмолилась: господи, да унеси ты меня отсюда! А студент говорит: «Вот теперь ты человеком стала, и могу я теперь с тобою любовное занятие иметь». Отучил. Конечно, я на него не сержусь: каждому приятнее с честною целоваться, чем с такой, как я или вот она, но только мне-то от молитвы да от слез прибыли никакой. Нет уж, какая я христианка, господи судьи, зачем пустое говорить? Есть я Груша-цыганка, такую меня и берите.

Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:

– Двугривенный я тут уронила, поднять можно?

Все молчали и глядели, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету со скользкого пола.

– Ну а вы-то, – с горечью обратился председатель к Пуштошкиной и Кравченко, – вы-то согласны принять присягу?

– Мы-то согласны... – ответила Кравченко, плача. – А она нет!

– Господин председатель! – поднялся прокурор, строгий и величественный. – Ввиду того, что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кощунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы знать, не помнит ли она имен?..

– Ну, какое там кощунство! – ответила Караулова. – Просто пьяны были. Да и не помню я – разве всех упомнишь?

Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: «Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги».

Остальные свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где ждет их облачившийся священник с крестом.

Пристав громко говорит:

– Прошу встать!

Все встают и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны одни только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.

Священник говорит:

– Поднимите руки!

Все подняли руки.

– Повторяйте за мною, – говорит он одним голосом и другим продолжает: – Обещаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное

слез, контралято Кравченко.

– Обещаюсь и клянусь...

– Перед всемогущим богом и святым его Евангелием...

– Перед всемогущим богом... и святым... его Евангелием...

Все наладилось и идет как следует: стройно, легко, приятно. Во все время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну точку: в спину председателя.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой.

– Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?

– Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.

– Ну что же нам с вами делать? – разводит руками председатель. – Ну, правду-то понимаете, правду говорить будете?

– Скажу что знаю.

Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и бесстрастным лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый дает продолжительные и очень подробные объяснения. Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взглядывает на потолок.

– ... Что же касается квитанции из городского ломбарда на

заложенный велосипед, то происхождение ее таково. 13-го марта прошлого года я зашел в велосипедный магазин Мархлевского...

— ...Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и того, будто я разменивал там сторублевую бумажку, то был я там всего четыре раза: 21-го декабря, 7-го января, 25-го того же января и 1-го февраля, и три раза деньги платил за меня мой товарищ, Протасов. Относительно же четвертого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения представить суду потребованный мною тогда же счет, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...

Горит электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.

1905 г.

Иван Иванович

1

На Иване Ивановиче было новое пальто – совершенно новое, великолепного сукна, серого, с нежным серебристым оттенком. Ему не советовали брать такой цвет – марок и вообще непрактичен, но он был молодой человек и желал быть красивым. И он был красив, и на душе было радостно и гордо; и если нельзя было вообразить себя генералом или гвардейским офицером, то во всяком случае ясно чувствовалось, что он лучший из всех околоточных надзирателей, какие есть в Москве и, быть может, даже в других городах. Сзади, в двух шагах за Иваном Ивановичем, шли трое городских в черных шинелях, башлыках и с ружьями. Ружей они не умели держать, они им мешали и только нагоняли страх; и лица были у них мрачные, недовольные, а шаги они делали короткие, точно сберегали пространство и старались сохранить запас его позади себя. Они боялись дружинников. Но Иван Иванович не боялся и шел молодцевато, с легким вывертом. В городе уже стреляли, но в ихнем участке было тихо, и только в двух-трех местах достраивали запоздалые баррикады. И на нем было новое пальто.

Из-за угла показалась чья-то голова и скрылась; и вдруг

сразу высыпала черная кучка народу, и из середины ее кто-то выстрелил прямо в Ивана Ивановича – как будто вся черная кучка сказала ему: ах! Городовые убежали, Иван Иванович тоже повернулся, чтобы бежать, но сзади крикнули:

– Стой! Застрелим!

Ноги от страху онемели, затряслись, и он остановился. От всего себя он чувствовал одну только спину, неподвижную, серую, широкую, как глухой забор, мимо которого не пролетит ни одна пуля. И повернуть ее он не мог, так спиной и встретил дружинников, которые сзади несколькими парами рук схватили его за плечи, за руки и даже за шиворот. Повернули.

– Как фамилия? – спросил один. В руке у него был револьвер «браунинг».

– Товарищи! – сказал Иван Иванович.

– Ну-ну! – грозно окрикнул кто-то.

– Граждане, – поправился Иван Иванович. Некоторые засмеялись, но тот суровый, что окрикнул, так же сурово и с отрицанием сказал:

– Дай ему по харе, чтобы не брехал. Дурак!

Иван Иванович закрыл глаза, но его не ударили, а снова спросили о фамилии.

– Авдеев, – солгал он.

Дружинники переглянулись: такого, с такой фамилией не знали, – ничем не был замечателен. Обыскали его, но ничего не нашли в новеньких, чистых карманах – ни бумаг, ни

писем; только в одном нашли гребешочек и зеркальце и без сожаления бросили их в снег. Иван Иванович приободрился и сам помогал вывертывать карманы, а вначале не мог.

– А револьвер-то? – сказал кто-то. – Забыли?

– Давай револьвер. Живее!

Околоточный торопливо начал отстегивать кобуру, исподлбья дружелюбно оглядел дружинников и улыбнулся.

– Сделайте одолжение. Но только разве это оружие? Вот у вас револьверы настоящие, а у нас что, казенные, в двух шагах собаку не застрелишь. Честное слово! Извольте! Да шашку-то, шашку не забудьте, или как она называется – се-ледку.

Но шашка была свежеотпущена, остра, и на шутку Ивана Ивановича никто не отозвался. Один из дружинников, молодой, краснощекий, сияющий, схватил шашку и перепоясал ее через плечо.

– Вот так!

– Оставь, Василий! Зачем на глаза лезть!

– Ну вот! Пригодится.

Иван Иванович тоже покачал головой и скромно спросил:

– Можно идти теперь?

– Что?! – удивился тот, суровый. И удивление его было так тяжело, зловеще и страшно, что снова смертельный ужас охватил околоточного, и снег перед его глазами точно почернел, а вокруг черных фигур появились какие-то странные, светлые ореолы. И все закачалось.

– Неужели? – нелепо сказал он, и рот его чему-то смеялся, а побелевшие глаза вылезли из-под лба и дико таращились.

– Не стоит, – сказал первый, тот, что допрашивал Ивана Ивановича. Но суровый настаивал.

– А по-моему, стоит. Всех их стоит. А если вам уж так его жалко, так давайте я. Ну-ка, ты, пойдем, поговорим!

– Не стоит! – поддержали другие. – Ну его! Оставьте его, Петров.

Петров сердито пожал плечами, посмотрел прямо в вытаращенные глаза околоточного и отошел в сторону.

– Делайте как хотите, – равнодушно сказал он.

– Господи! – сказал Иван Иванович, провожая его глазами, и перекрестился. Посмотрел на всех и еще раз перекрестился. – Ну и человек. Вот так человек!

Дружинники собрались в кружок и стали советоваться, как поступить с околоточным. Это был первый их пленный, и они не знали, что с ним делать. И молодой, сияющий, с шашкой через плечо, засмеялся, хлопнул Ивана Ивановича по плечу и предложил:

– Пусть-ка идет строить баррикаду. Народу у нас мало, а он парень здоровый. Верно? – И он подмигнул Ивану Ивановичу.

– Как же это? – удивился тот. – В моем положении, и вдруг...

– Вы, быть может, предпочитаете поговорить с товарищем? – вежливо осведомился первый дружинник, указывая

на Петрова.

– Нет уж, бог с ним! – отмахнулся рукою околоточный; дружинник засмеялся, и только Петров нахмурился еще больше и отвернулся. – Я ведь, собственно, ничего не имею. Помочь так помочь, с большим удовольствием. Вот только костюм у меня неподходящий...

– Мы вас не уговариваем...

– Да нет же, господа, я с большим удовольствием. Пальто вот действительно жалко, вы сами понимаете, – а я что же!

Он говорил развязно и с большим достоинством, но страх не покидал его и маленькой мышкой бегал по телу, а минутами воздух точно застревал в груди и земля уходила из-под ног. Хотелось скорее к баррикаде, казалось, что, когда он возьмется за работу, никто уже не посмеет его тронуть. Дорогою – нужно было пройти с четверть версты – он старался быть дальше от Петрова и ближе к молодому, сияющему, и даже вступил с последним в беседу:

– Вот, говорят, полицейский, такой-сякой, крючок и прочее. А только как же без полиции, сами рассудите. Когда господь бог изгнал из рая Адама и Еву, кого он у дверей поставил?.. Вот оно откуда еще началось!

– Товарищ, вы слышите? – смеясь, окликнул молодой Петрова.

Петров остановился и, не глядя на товарища, сказал околоточному:

– Ты свое остроумие оставь. Они тебя помиловали, а я

тебя не миловал. Услышу твой голос, видишь, – он показал «браунинг», – так в голову и всажу. Гадина!

Иван Иванович обиженно замолчал и всю дорогу шел молча, скучный и подавленный. Оглядываться он боялся, и на себя поглядеть как следует боялся, и было страшно и за себя и за пальто, которое он разорвет или испачкает. Так и шел, стараясь только не ускорять и не замедлять шага против остальных, а они шли неровно, то быстро, то тихо, как нарочно. Один раз молодой, сияющий, потихоньку от Петрова подмигнул ему, но Иван Иванович угрюмо отвернулся: ему было очень нехорошо. А молодой нагнал Петрова и тихо сказал ему:

– Напрасно вы так, товарищ. Он, ей-богу, ничего. Конечно, невежественный, темный, а когда-нибудь и он поймет... Все поймут.

Петров хмуро повернул костлявую голову с темными запавшими глазами – и встретил задумчивые, тихо сиявшие глаза. Они сияли тихо, до самой глубины своей и глядели широко, с радостью и удивлением. И было мучительно глядеть в их светлую глубину, и хотелось разбудить его и крикнуть.

– Все поймут, товарищ, поверьте, – повторил молодой, и Петров кротко согласился:

– Может быть, – и шутливо крикнул околоточному: – Ну что, крючок, очухался?

– Оставьте, пожалуйста, ваши насмешки, – обиженно от-

ветил Иван Иванович и, испугавшись своей дерзости, добавил: – Сами же велели молчать, а теперь... Это, что ль, баррикада-то? Ну и нагородили!..

2

В действительности народу было много, работа шла веселая и живая, и Иван Иванович долго не мог никуда прийтись. Пробовал и тащить, и подпихивать, и вязать проволокой, но все у него выходило не так, и его прогоняли. Просто он не понимал назначения баррикады – она казалась ему странной и нелепой игрушкой, сооружаемой какими-то баловниками для непонятного баловства, и что нужно сделать для того, чтобы она стала лучше, он не догадывался. И вид имел бестолковый, растерянный и даже печальный, так как очень беспокоился к тому же за пальто. Одну полу он уже успел испачкать, и по серебристому сукну проходила скверная, темная полоса. Подумал – и пошел жаловаться к Петрову.

– Не знаешь? – презрительно сказал тот. – Видишь вон столб телеграфный? Ступай и пили.

– Да у меня и пилы нет.

– Поищи.

И опять его гоняли от одного к другому, но наконец он нашел пилу и даже подручного для работы, какого-то старого рабочего.

– А ты бы шинель-то снял, – посоветовал рабочий. – Пальто хорошее, жалко, как испортится, да и работать легче.

– Боюсь, украдут, – сказал околоточный.

– Ну вот! – удивился старик. – Кому оно нужно. Тут, брат, граждане, а не воры...

– Рассказывай! – не поверил Иван Иванович, но пальто снял, сложил комочком изнанкой наверх и осторожно положил на подоконник, так, чтобы оставалось на виду.

Работа пошла легко, и все вокруг как-то посветлело, стало проще и понятнее. Пригляделся околоточный и к народу, и народ был все простой, такой, с каким он привык и умел обращаться; рабочие, какие-то мужики, полугоспода, приказчики из лавок. Были и женщины.

– Смотри-ка, – сказал Иван Иванович, – и бабы тут. Тоже работают.

– А отчего же им не работать. Всяк должен свою лепту.

– Выдрать бы их за эту лепту, вот что.

– Ну и гадюка же ты! – удивился рабочий. – Тебе-то они чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя научат, в лучшем виде все поймешь.

– Граждане, а деретесь, – упавшим голосом возразил околоточный.

– Мы-то граждане, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?

И опять стало скучно и беспокойно. Невдалеке стоял Петров и искоса наблюдал, и все кругом было враждебное, злое, обидное в своей веселости. Еще вчера он был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодня они считают себя лучше, а сами грязные, оборванные, подлецы. Шагах в пяти-

десяти, у лавки, стоял лавочник, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович ослабился и закивал ему головой: первый, наконец, хороший человек. Околоточный часто забегал к нему в магазин поговорить по телефону, знал его и понимал, что и ему теперь противно смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно глядел на выставленную баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.

– Ага! – сказал околоточный.

– Ты что?

– Ничего, так. Рано вы в граждане записались.

– Ты опять?

Лавочник вышел. Впереди себя он катил огромную пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так что острыми ребрами своими она расплзлась в стороны, как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех.

– Попробуй-ка перескочи!

Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работающих, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил глаза. «Привязался», – подумал

он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:

– Даже и смотреть нельзя, скажите, пожалуйста, какие ца-
цы!

– Глаз-то у тебя нехороший, – серьезно заметил старик. –
Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя
на баррикаде вместо красного знамени. И дешево и сердито!

– Что же тут хорошего!

Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разо-
браться, где кончается шутка и начинается серьезное, и сердце
у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась
изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего мас-
ла. Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя
многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в
голову. Мальчишку обругали, а Иван Иванович совсем успо-
коился и за себя, и за пальто и уже начал понемногу распо-
ряжаться и повышать голос:

– Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О
господи, вот же народ бестолковый!

Теперь он понимал, что такое баррикада.

– Упри его концом сюда, так, чтобы остряком оно вперед.
Так, верно!

И уже развязно подходил к Петрову:

– Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши то-
варищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поста-
вим.

Петров, не оборачиваясь, коротко ответил:

– Убирайся вон.

– Как же это так? – пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то исподнизу, как побитая собака. А потом снова овладел положением и постепенно повышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее.

– А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались, – сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду. – Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.

Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.

– Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!

И со всего размаха ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги.

– Я не виноват! Она... Я не виноват, честное благородное слово! Я ей сказал...

Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал – плюнул.

– Гуманность! – сказал он презрительно.

– Господин Петров! Господин Петров! – звал его около-

точный. – Я ей сказал...

– Молчать!

И опять жизнь Ивана Ивановича, как ему казалось, повисла на волоске. Но женщина повязала платок, улыбнулась сквозь слезы и сказала:

– Ну его к богу.

Пришел молодой, сияющий. Он куда-то уходил и только сейчас вернулся, радостный и возбужденный.

– Надо его на нашу квартиру. Я был там, говорят – всех доставляйте сюда. Хорошо!

– Что хорошо? – спросил Петров.

– Так. Все хорошо. Погода хорошая.

Когда Василий и двое других дружинников повели Ивана Ивановича, он вдруг остановился и громко закричал:

– А пальто? Я не могу без пальто. Мне холодно. Я простудиться могу.

Вернулись и взяли пальто. Оно так и лежало комочком, как положил его Иван Иванович. Шли молча и торопливо, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь; на Ивана Ивановича и его новое пальто не обращали никакого внимания. Теперь, когда было столько случаев расстрелять его и его не расстреляли, он проникся уверенностью, что впереди ему ничего серьезного не грозит, и смотрел на своих спутников с презрением.

– Послушайте, вы, – сказал он молодому, – как вы шапку нацепили? Разве так носят?

– А что? – спросил тот.

– А то. По ногам бьет, вот что. Подтянуть надо.

– Сойдет и так, – засмеялся молодой. – Сие не есть важно.

«Сие, – подумал Иван Иванович. – Вот еще дурак: сие», –

и с отвращением сплюнул.

– Куда вы меня ведете-то? – грубо спросил он.

Один из дружинников сердито взглянул на него и оборвал:

– Молчать!

И опять словно тяжелая крышка захлопнулась над головой околоточного. Стало душно и нехорошо, и хотелось не то плакать, не то ругаться, не то просить о чем-то. Совсем недалеко, где-то за белыми крышами, посыпались частые выстрелы. Дружинники остановились и беспокойно оглянулись.

– Надо свернуть, – сказал один.

– Ничего, пройдем, – ответил молодой.

– Лучше свернуть, – поддержал другой и вынул револьвер. – А у вас есть револьвер, товарищ?

– Нет, – беззаботно ответил Василий. Оказалось, что у всех троих был только один револьвер, и Иван Иванович злобно улыбнулся. «Так, так», – подумал он.

Свернули в коротенький, безлюдный переулок, густо покрытый давно не сгребаемым снегом. Но не успели сделать и нескольких шагов, как из-за поворота вылетел беспорядочной лавиной отряд драгун, человек двадцать пять или тридцать. Прошла только минута или полминуты, и все измени-

лось: дружинник, у которого был револьвер, одной струей выпустил все заряды и убежал за угол; еще раньше убежал его товарищ. А Василий зацепился за шашку, попавшую ему между ногами, упал, и верхом на нем сидел околоточный, бил его кулаком по затылку и не кричал, а шипел что-то, какое-то бесконечное свистящее ругательство.

Иван Иванович торжествовал. От бурного ликования, от ненависти, от злобы он как будто терял мгновениями сознание и захлебывался словами. Он то смеялся, то начинал обиженно плакать, то визгливо вскрикивал что-то непонятное и все порывался ударить Василия, которого держали за руки драгуны. Постепенно из криков, ругательств и плача выделились визгливые слова:

– Этот самый! Этот самый!

Он бесконечно повторял: «Этот самый!» – вкладывая в эти слова весь свой страх, и ненависть, и обиду... Толстый офицер неподвижно сидел в седле и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника.

– Так как же? – сказал он, задыхаясь. – Расскажи, как там было. Покороче!

Иван Иванович рассказал, но не так, как было, а по-своему, и главным виновником нападения выставил Василия. И все время тыкал в него пальцем и кричал:

– Этот самый!

Василий молчал, был страшно бледен, и губы его дрожали. Снизу лицо его озарял чистый, еще не загрязненный снег,

сверху падал на него отсвет холодного, белого зимнего неба, и не было уже молодости в этом лице, а только смерть и томление смерти. Сразу все кончилось. Сразу обрывалась жизнь, которая еще сегодня цвела так пышно, так радостно, так полно. Все и навсегда кончалось: глаза не увидят, и уши не услышат, и мертвое сердце не почувствует. Все кончилось.

– Так как же? – сказал офицер. – Надо его расстрелять. Он вас расстрелять хотел, а мы его расстреляем. Вот и будет хорошо.

Солдаты уже прицелились, когда офицер широко раскрыл глаза и закричал:

– Стой! Вы куда же это его поставили, а?

Солдаты не понимали.

– К окнам поставили, идиоты! Стекла побьете. К стенке поставить. Ну, так. Валяй. Нет, погоди. Ты, слушай, отвернись! Не понимаешь? Спиной стань.

Он тихо ответил:

– Не хочу.

– Что? Что ты там бормочешь?

Он так же тихо повторил:

– Не хочу.

Иван Иванович громко засмеялся. Толстый офицер перевел на него тусклые и странно-добродушные глаза и сказал:

– Чего вы смеетесь? Это его дело. Не хочет так не хочет. Ну валяйте.

Когда все кончилось, офицер приказал одному солдату отдать свою лошадь Ивану Ивановичу, а самому сесть позади товарища. Уже тронулись и перешли на рысь, когда офицер внезапно закричал:

– Стой!

Остановились. Офицер тяжело повернулся к околоточному и озабоченно спросил:

– А шашку-то вы взяли?

– Вот она! – весело ответил Иван Иванович.

– Ну то-то. Трогай!

Теперь Иван Иванович чувствовал себя еще лучше, чем утром. В том же новом пальто он ехал на лошади, рядом с настоящим офицером, и хоть сильно подпрыгивал, но держался крепко. Жаль только, что публики не было: улица была пуста, и где-то за белыми крышами бухали пушки.

1908 г.

Правила добра

1

Кто не любит добра?

Случилось так, что некий здоровенный пожилой черт, по тамошнему прозвищу Носач, вдруг возлюбил добро. В молодости своей, как и все черти, он увлекался пакостничеством, но с годами вступил в разум и почувствовал святое недовольство. Хотя по природе он был чертом крепкого здоровья, но излишества несколько пошатнули его, и пакостничать уже больше не хотелось; склонность же к порядку – добродетель, весьма распространенная среди чертей, – твердый, положительный, хотя несколько и туповатый ум, некая беспредметная тоска, особенно овладевавшая им по праздникам, и, наконец, неимение опоры в семье и детях, так как Носач остался холостяком, – постепенно поколебали его убеждение, будто ад и адские порядки есть окончательное воплощение разума в бессмертную жизнь. Он с жадностью искал работы, чтобы отвлечься от своих тяжелых сомнений, и перепробовал ряд профессий, прежде чем надолго и окончательно не устроился при одной маленькой католической церкви во Флоренции в качестве соблазнителя. Тут он, выражаясь его словами, отдохнул душою; и тут же, по времени,

было положено начало его новой подвижнической жизни.

Церковь была маленькая, и работы Носачу представлялось немного. От мелких пакостей, на которые так склонны юные черти, как-то: задувание восковых свечей, подставление ножки псаломщику и нашептывание молящимся старухам беспричинных гадостей, он уклонялся, чувствуя скуку, серьезное же дело не наворачивалось. Молящиеся всё были люди скромные, тихие и дьявольским наветам поддавались туго: ни золотом, которого они не видали, ни огневой любовью, которой они не знали никогда, ни гордыми мечтаниями высокого честолюбия, совершенно чуждого их непритязательной жизни, не удавалось Носачу поколебать мир и тишину их неглубоких душ. Пустяковые же грехи они охотно творили сами, и не было у черта ни надобности, ни охоты даром тратить воображение на приискивание новых, тем более что круг маленьких грехов весьма ограничен. Пытался он первоначально ввергнуть в бездну соблазна самого попа, но и тут потерпел естественную неудачу: поп был старенький, беззубый, наполовину впавший в детство – и, как дитя, невинный. Если черту и удавалось во время богослужения вышибить у попа из памяти необходимые слова и заменить их неподходящими и даже соблазнительными; если удавалось обкормить попка кашей или заставить проспять утреннюю мессу – то и в этом был только внешний, формальный грех, а грех настоящий отсутствовал: разницу между тем и другим прекрасно чувствовал прирожденный черт. И мало-помалу

в свои прямые обязанности соблазнителя он начал вносить равнодушие и холод формализма: наскоро расскажет старухе неприличный анекдот, плюнет раза два-три в угол, заставит попика каждый раз в одном и том же месте перепутать слова и поскорее усядется на свое излюбленное место в тени колонны – по украденному молитвеннику внимательно следит за службой.

Такое времяпровождение, хотя и приятное, было, однако, враждебно деятельной натуре пожилого черта; и, незаметно для себя, он втянулся в обиход церковный, разделил интересы домоправительства, стал чем-то вроде второго сверхштатного сторожа. По утрам подметал церковь и чистил медные ручки, во время службы поправлял лампы и вместе с верующими гнусаво подтягивал клиру: «Ora pro nobis»². И, входя в церковь снаружи, он уже привычным жестом окунал лапу в кропильницу со святой водой и кропил себя, а когда все шли под благословение, то шел и он, слегка толкаясь, по своей грубоватой дьявольской привычке. В редкие свои посещения ада, куда он являлся, как и все черти, с фальшивыми докладами, Носач все больше и больше преисполнялся отвращением к его шуму, гвалту, грязи и дикой неразберихе. Визгливые ведьмы, которым в свое время он отдал полную дань восторга, ныне преисполняли его чувством омерзения; и не одной из них со своею былою ловкостью он прищемил

² Молись за нас (грешных). У католиков – завершающие слова молитв, обращенных к богородице и святым (*лат.*).

хвост в дверях, радуясь страху и мучениям несчастной.

И так как все непрерывно лгали и каждое слово каждого было ложью, и сатана лгал впереди всех и за всех, то начинала, с непривычки, болеть голова и скорее хотелось на воздух.

После одной из таких побывок Носач с особым удовольствием вернулся в тихую церковь и двое суток как убитый спал за колонной; проснувшись же, принял видимость и решительно направился к попику в исповедальню: был именно тот час, когда верующие исповедовались.

Попик очень удивился, что незнакомый пожилой господин с тщательно выбритым, сухим лицом, имевшим постное и даже мрачное выражение благодаря огромному отвислому носу и резким складкам вокруг тонких губ, есть самый настоящий черт. Но когда Носач клятвенно подтвердил свое заявление, стал с детским любопытством расспрашивать его об адских делах. Но черт только отмахивался рукой и угрюмо ворчал:

– Ах, и не говорите, святой отец, это не жизнь, а чистый ад.

– А где же твои рога? – спрашивал поп. – И где же твои копыта? И ты зачем ко мне пришел: соблазнить меня хочешь или покаяться? Если соблазнить, то напрасно – меня, сударь, соблазнить нельзя.

Попик засмеялся и похлопал его по плечу.

– А кашу помните? – угрюмо спросил черт.

– Какую кашу? – удивился попик.

– А на той неделе, в субботу, помните? Вы еще много съели, помните?

Попик заволновался:

– Так это ты мне? Ай-ай-ай-ай-ай! Поди прочь! Поди прочь отсюда, не хочу тебя и видеть! Надевай свои рога и уходи, а то сторожа позову.

– Я покаяться пришел, а вы меня гоните! – уныло сказал черт. – Аще, сказано, одну заблудшую овцу...

– Так ты и Евангелие знаешь! – удивился старичок.

Черт строго и гордо ответил:

– Проэкзаменуйте.

– Так, так, так! Ты, значит, серьезно, а?

– Проэкзаменуйте.

– Ну и удивил же ты меня... не знаю, как тебя назвать, ах, удивил. Пойдем же ко мне, я тебя поэкзаменую: тут тебе пока не место. Скажите, пожалуйста, черт, а Евангелие знает!.. Пойдем! Пойдем!..

И целый вечер у себя на дому попик экзаменовал Носача и восторженно удивлялся:

– Да ты богослов! Ей-богу, богослов. Ты занимался, что ли, этими вопросами?

– Занимался-таки, – скромно подтвердил черт. Вообще хотя он держался и скромно, но с большим достоинством, не лебезил, не забегал вперед, и сразу видно было, что это – черт строгий и положительный. Своими огромными познаниями он нисколько не кичился и все больше и больше нра-

вился добродушному старому попику.

– Так чего же ты хочешь? – спросил поп.

Черт с размаху бухнул на колени и завопил:

– Святой отец, разрешите и научите меня творить добрые дела! Стосковался я о добре, святой отец. Жить не могу без добра, а как его творить, еще не ведаю. От сатаны же и от дел его отрекаюсь вовеки: тьфу, тьфу, тьфу!

Когда волнение поулеглось, попик благодушно потрепал черта по плечу, для чего ему пришлось приподняться на цыпочки: Носач чуть не вдвое был выше ростом. От прикосновения черт устранился – он не любил фамильярного обращения – и с угрюмостью, составлявшей главную черту его характера, настойчиво спросил:

– Так как же, святой отец, научите?

– Добру-то? Можно. Это можно! Но только знаешь ли ты творения святых отцов? В Библии ты силен, но этого, дружок, пожалуй, маловато. Да, маловато! Иди-ка погуляй, а я тебе вечером составлю списочек: что читать.

Черт уже выходил, когда попик, с любопытством глядевший на его широкую спину, остановил его вопросом:

– Послушай, милейший: ты всегда это носишь?..

– Одежду?

– Нет, все это, – попик неопределенно очертил рукою фигуру дьявола, – вот у тебя нос этакой грушей... у тебя всегда так? И лицо у тебя очень постное, как будто ты мало кушаешь, и одежда у тебя черная... Мне это нравится, но всегда

у тебя так, или же ты имеешь и другой вид? Если имеешь, то покажи, пожалуйста: я хоть и стар, а чертей еще никогда не видал.

Дьявол мрачно солгал:

– Другого вида не имею.

– Нет? Ну, что ж поделаешь: нет так и нет. Иди же погуляй, а я поработаю. Хоть я давеча и сказал тебе комплименты, что ты богослов, но ты еще мало... – попик значительно поднял палец, – очень еще мало знаешь. Да!

– А про добро узнаю? Мне главное про добро узнать.

Попик успокоительно сказал:

– Про все узнаешь. Столько книг прочесть, да не узнать: какой ты, брат, мнительный!

Два года сидел черт над книгами и мучительно доискивался: что есть добро и как его делать так, чтобы не вышло зла. С древнееврейским языком черт и раньше был хорошо знаком, а теперь изучил еще и греческий: все читал в подлиннике, сверял, отыскивал ошибки, доселе ускользавшие от общего внимания, не без остроумия и даже убедительности создавал новые богословские схемы, впадая в несомненную ересь. Совсем измучился и даже похудел, но ответа на свой вопрос так-таки найти не мог и впал под конец в отчаяние. Два года терпел, ничего, а тут так вдруг загорелось и так страшно стало, что пошел к попу среди ночи и разбудил его: помогите!

– Ну, говори, несчастный, что такое у тебя случилось?

– Да то и случилось, что прочел я все ваши книги, а как

допрежде не знал добра, так и теперь не знаю. Жить мне тошно, святой отец, и тьма ночная пугает!

– Да все ли ты прочел? Ой, не пропустил ли чего? Тороплив ты, сударь.

– Сейчас последнюю кончил. Умен я, святой отец, вот в чем мое горе: ум у меня дьявольский, тонкий, не терпящий противоречия: и раньше я других на противоречиях ловил, а теперь вот и сам попался!

Попик укоризненно покачал головою.

– Мудрствуешь?

– То-то и беда, что мудрствую. Вон у добрых людей, рассказывают, голос такой есть внутренний, указующий пути добра, а какой может быть у дьявола голос? Только от ума и действует дьявол. А как начал я с умом читать эти ваши книги, так только одни противоречия и вижу: и то можно, и другое можно, и того нельзя, и другого нельзя. Вот хочу я для начала земной моей жизни вступить с хорошей женщиной в брак и совместно с нею творить добро, а как начитался ваших книг, так и не знаю теперь: добро есть брак или зло.

– Могий вместити...

– Вместить-то я много могу, да не знаю, что вмещать. Вот вы, святой отец, безбрачны, и в этом даже ваша святость, а патриархи не хуже вас были, а жен имели даже по нескольку. И не будь бы в браке святые отцы Иоаким и Анна, то не было бы у них дочери...

Попик даже испугался и замахал рукой отчаянно:

– Молчи, молчи, грешник! С тобой и говорить опасно – того и гляди, сам в ересь впадешь! Уж лучше женись, если не можется.

– Да разве это ответ?

– А что же тебе надобно, горделивый?

– А мне такого ответа надо, чтобы годился он на все времени и для всяких случаев жизни, и чтобы не было никаких противоречий, и чтобы всегда я знал, как поступить, и чтобы не было никаких ошибок, – вот чего мне надо. Жениться я погожу, а вы пока подумайте. Даю вам семь дней сроку, а не позовете меня через семь дней, вернусь я в ад – поминай как звали!

Даже рассвирепел черт: вот до чего захотелось ему добра! Понял это добрейший попик и, не рассердившись нисколько, старательно думал шесть дней, а на седьмой позвал к себе дьявола и сказал:

– Черт ты внимательный, а главное-то в книгах и проморгал, да. Читал, что сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Ясно ведь, а? – торжествовал попик, – возлюби – вот тебе и все.

Но измученный черт нимало не обрадовался и мрачно ответил:

– Нет, не ясно. Раз я про себя не знаю, что мне нужно, и желания мои неясны и даже противоречивы, то как же другому буду я благодеяния оказывать? Живым манером в ад его вгоню, опомниться он не успеет.

– Экий ты – не знаю, как тебя назвать, – раскоряка! Ну, не можешь ты как самого себя, то просто возлюби. И когда возлюбишь, то все и увидишь, и все поймешь, и добро без усилий сотворишь: узенькая будет у тебя тропочка по виду, как канат натянутый, а никуда с нее не упадешь и ни в какую трясину не взвалишься.

– Возлюби! – мрачно ухмыльнулся Носач. – Возлюбить-то я и не могу. Какой же был бы я черт, если бы мог возлюбить?.. Не черт бы я был, а ангел, и не я тогда у вас, а вы бы у меня учились. Поймите же меня, святой отец, потрудитесь: не могу я по природе своей любить ангельской любовью, но и зла делать не желаю, а хочу творить добро – вот вы этому самому меня и научите.

Сказал попик сокрушенно:

– Природа твоя гнусная.

– На что гнуснее! – согласился черт угрюмо. – Вот потому-то и бороться с нею хочу, а не камнем на дно идти. Не для одних же ангелов небо, имею же и я право стремиться к небесам? – Вот вы мне и помогите. Даю вам еще семь дней сроку, а не поможете – махну на все рукою и провалюсь в тартарары!

Прошло еще семь дней, и, позвав мрачного черта, сказал ему попик следующее:

– По многом размышлении нашел я для тебя, несчастный, два весьма вразумительных правила: полагаю, что не промахнешься. Сказано: если кто попросит у тебя рубашку, то

ты и последнюю отдай. И еще того лучше сказано: если кто тебя по одной щеке ударит, то ты и другую подставь. Делай так, как сказано, вот тебе и будет урок на первый раз, и сотворишь ты добро. Видишь, как просто!

Черт подумал и радостно осклабился:

– Это другое дело. Не знаю, как и благодарить вас, святой отец: теперь я знаю, что такое добро.

Но оказывается, что и тут не узнал он добра. Прошло две недели, и уже стал успокаиваться обрадованный попик, как снова явился к нему черт; и был он мрачнее прежнего, на лице же имел кровоподтеки и ссадины, а на плечах, поверх голого и темного тела, трепалась совсем новенькая рубашка.

– Не выходит, – мрачно заявил он.

– Что не выходит? – встревожился попик. – Лицо у тебя такое неприятное – ах, боже ты мой, – и над глазом синяк... а нос-то, нос-то!.. Что же это ты, милейший, пошел добро творить, а вместо того – подрался. Или, может быть, ты с лестницы упал? Ничего я не понимаю.

– Нет, подрался.

– Да я же тебе говорил: аще кто ударит тебя по левой щеке, подставь правую. Помнишь?

– Помню. Две недели ходил я, святой отец, по городу и все искал, чтобы меня по щеке ударили, но никто меня не ударил, и не мог я, святой отец, выполнить заветы добра.

– А драка-то? А это что же такое?

– Это совсем другое дело. Заспорил я с одним граждани-

ном, и он меня ударил тростью по голове, вот по этому месту, – черт указал на темя. – Тогда я его – так мы и подрались: и скажу вам, не хвастаясь: я ему два ребра сломал.

Попик отчаянно замотал головой.

– Ах, господи, да ведь сказано же тебе: «Аще кто ударит тебя по левой щеке...»

Но черт кричал еще громче:

– Говорю же вам: не по щеке, а вот по этому месту! Сам знаю, что когда по щеке, то нужно другую, а он по этому месту. Вот шишка, – попробуйте.

Руки опустились у несчастного попаки. Отдышавшись, сколько следовало, сказал он с горечью:

– Ну и дурень же ты. Ум у тебя глубокий, человек ты, или, как бы это сказать, высокообразованный, а в отношении добра любая курица больше тебя понимает. Как же ты не понял, что святые слова сии имеют распространительное толкование. Дурень ты, дурень!

– Вы же сами говорили – толкований никаких не надо.

– Да, – горько усмехнулся попик, – толкований никаких не надо – ты так думаешь! Ну, что я буду с тобой делать, сам ты сообрази, ведь не могу же я с тобой по городу ходить. Сидел бы ты лучше дома. А что это за рубашка у тебя – подарил кто-нибудь?

– Сам я хотел ее подарить, да никто так ни разу и не попросил. Две недели ходил по городу среди самых бедных людей, и чего только у меня не просили, а рубашки так никто

и не догадался попросить, – уныло вздохнул черт. – Видно, сами они не понимают, что такое добро.

– Ах, несчастный, – снова заволновался поп, – вижу я, что наделал ты большого зла. Просили тебя, говоришь, о многом?

– Просили.

– И хлеба, например, просили?

– Просили.

– А ты ничего и не дал?

– Я все ждал, чтобы рубашку попросили. Не ругайте же меня, святой отец, и я сам вижу, что плохо мое дело. Да ведь хочу же я добра, подумайте, недаром же я от сатаны отрекся, недаром же я два года, как студент, сидел над книгами. Нет, видно, не будет мне спасения.

– Ну, ну, погоди, не отчаивайся, я тебя еще поучу. А скажи, за что тебя гражданин-то этот палкой ударил? Может быть, ты невинно пострадал, за это много прощается.

Черт развел руками.

– Уж и не знаю: тогда думал, что невинно, а теперь начинаю и в этом сомневаться. Так было дело.

После долгих моих скитаний по городу, утомленный, но по-прежнему пылающий жаждою добра, присел я на берегу Арно отдохнуть, чтобы набрать сил для нового хождения. И вижу: утопает в реке неведомый человек, закружило его водоворотом, и носится он с необыкновенной быстротой. Раз он проплыл мимо меня, и другой, и третий...

– И четвертый?

– Да, и четвертый. И пока я размышлял, отчего он не тонет, приписывая это чудесное явление силе невиданных подводных течений, собрался на его крик народ, и тут – теперь мне стыдно об этом рассказывать – произошла эта самая скверная драка. Должен вам пожаловаться, святой отец: меня не один этот гражданин – меня и другие били.

Стоял черт, опустив длинные руки, бессильные творить добро, и отвислый нос его, пораненный ударом, выражал уныние и крайнюю тоску. Посмотрел на него попик искоса и недружелюбно, еще раз взглянул, радостно вздохнул почему-то и, подойдя близко, наклонил к себе тугую голову дьявола и поцеловал его в лоб. И тут еще заметил: на темени, у самого корня седых волос, запеклась кровь. Дьявол покорно принял поцелуй и шепотом сказал:

– Страшно мне, святой отец! Видел я в аду крайние ужасы, до последнего страха касалась моя душа, но не трепетала столь мучительно, как теперь. Есть ли что страшнее: стремиться к добру так неуклонно и жадно и не знать ни облика, ни имени его! Как же люди-то на вашей земле живут?

– Так и живут, миленький, как видишь. Одни в грешном сне почивают, а кои пробудились, те мучатся и ищут, как и ты, с природой своей борются, мудрые правила сочиняют и по правилам живут.

– И спасаются? – недоверчиво спросил черт.

– А это уж одному богу известно, и нам с тобой в этот

конец даже и заглядывать не годится. Да ты не отчаивайся, миленький, я уж тебя не оставлю, я тебя и еще поучу, у меня много времени свободного. Черт ты старательный, и все у тебя пойдет по-хорошему, только в уныние не впадай да ранку на голове промой холодной водой, как бы не разболелась.

Так кончили они разговор; и не знали они оба, ни огорченный унылый дьявол, ни сам попик с благостной душой, когда он лобызанием любви касался противного дьявольского чела, а дьявол в свою очередь жалел жалостью любовной мечущихся людей, что как раз в эту минуту совершалось то самое добро, имени и порядка которого тщетно доискивались оба.

Так и разошлись, не зная: попик – к себе, приискывать новые правила добра для поучения, а дьявол – к себе, в темноту запыленных углов, чтобы там зализывать раны и тщетно допрашивать бога об его грозных и непонятных велениях.

2

Вот и снова начал благостный поп обучать добру непокорную дьявольскую душу – но тут-то и начались для обоих самые тяжкие мучения.

Пробовал попик давать подробные наставления на разные случаи жизни, и выходило хорошо, пока случаи совершались в том самом виде и в том порядке, в каком предначертал их его наивный ум. Не только со старательностью, а даже и со страстью, проявляя силу воли необыкновенную, черт выполнял предписанное. Но всего многообразия жизненных явлений не мог уловить в свои плохонькие сети человеческий ум, и ошибался черт ежеминутно. В одном месте сделает, а рядом пропустит, потому что вид другой и слова у просящего не те; а то бывает, что и черт не дослышит либо не так поймет, – и опять ошибка, человеку обидно, а добру поправление. Уже и у попика начал мутиться разум: никак он до тех пор не предполагал, чтобы столько было у жизни лиц, темных загадок, вопросов неразрешенных.

«И откуда это все берется? – думал попик, пока черт в углу зализывал новую рану или тяжело вздыхал от гнетущего бессилия. – То ничего не было, а то вдруг так все и полезло, так все и полезло. Тут не только черт, а и священнослужитель не разберется. Но как же я раньше разбирался? – удивительно! Боюсь я этого, а ничего не поделаешь: надо попробовать

распространительное толкование. Дам ему такие общие законы, а он их пусть распространяет... Только бы не вышло чего, о господи!»

И на распространительное толкование черт покорно согласился: измучился он к этому времени до последней крайности и готов был на всякие жертвы – да не принимались его жертвы. Били его столько, что за одно это он мог бы попасть в мученики, а выходило так, что и побои не только его не украшали, а налагали ярмо все нового и нового греха. Ибо за дело его били, и не могли этого не признать ни он сам, ни его великодушный покровитель. Уже и плакать черт научился, а раньше совсем как будто и слез не имел. Плакал он столько, что, казалось бы, за одни эти одинокие слезы и неутомимую тоску о добре мог бы попасть он в угодники, а выходило так, что и слезы не помогали, ибо не было в них творческой к добру силы, а только грешное уныние. Только и надежды теперь оставалось, что на распространительное толкование.

И совсем приободрился черт и даже с некоторою гордостью сказал попу:

– Теперь вы за меня, святой отец, не бойтесь: теперь я и сам могу. Это раньше мне трудно было, а раз теперь вы допускаете толкование, я уже не собоюсь. Ум у меня положительный, твердый, пить я уж давно ничего не пью, и никаких ошибок теперь уже быть не может. Только вы не таитесь от меня, а прямо скажите самый важный и самый первый закон, по которому жить. Когда этот закон исполню, тогда вы

и другие мне скажете.

Собрал всю свою науку, все свои соображения старый попик, взглянул и в душу к себе – вздохнул радостно и не совсем решительно сказал:

– Есть один такой закон, но только боюсь я тебе его открыть: очень он, как бы это сказать, опасен. Но так как на все есть воля божия, то, так и быть, открою, ты же смотри не промахнись. Вот, смотри.

И, раскрыв книгу, трепетно указал черту на великие и таинственные слова:

НЕ ПРОТИВЬСЯ ЗЛУ.

Но тут и черта покинула его гордыня, как увидел он эти страшные слова.

– Ох, боюсь, – сказал он тихо. – Ох, промахнусь я, святой отец!

Было страшно и попу; и молча, объятые страхом, смотрели друг на друга черт и человек.

– Попробуй все-таки, – сказал наконец поп. – Тут, видишь ли, хоть то хорошо, что тебе самому ничего делать не нужно, а все с тобой будут делать. Ты же только молчи и покоряйся, говоря: прости им, господи, не ведают, что творят. Ты эти слова не позабудь, они тоже очень важны.

Вот и ушел черт в новые поиски добра; два месяца пропадал он, и два месяца, день за днем, час за часом, в волнении чрезвычайном поджидал его возвращения старый поп.

Наконец вернулся.

И увидел поп, что черт совсем исхудал – одна широкая кость осталась, а от мяса и след пропал. И увидел поп, что черт голоден, жаждет, до голого тела обобран придорожными грабителями и много раз ими же избит. И обрадовался поп. Но увидел он и другое: из-под закосматившихся бровей угрюмо и странно смотрят старые глаза, и в них читается все тот же непроходящий испуг, все та же неутолимая тоска. На силу отдышался черт, харкнул два раза кровью, точно по каменной мостовой бочонок из-под красного вина прокатили, посмотрел на милого попа, на тихое место, его приютившее, и горько-прегорько заплакал. Заплакал и попик, еще не ведая, в чем дело, и наконец сказал:

– Ну, уж говори, чего наделал!

– Ничего я не наделал, – печально ответил черт. – И было все так, как и надо по закону, и не противился я злему.

– Так чего же ты плачешь и меня до слез доводишь?

– От тоски я плачу, святой отец. Горько мне было, когда я уходил, а теперь еще горше, и нет мне радости в моем подвиге. Может быть, это и есть добро, но только отчего же оно так безрадостно? Не может так быть, чтоб безрадостно было добро и тяжело было бы его творящему. Ах как тяжело мне, святой отец. Присядьте, а я вам расскажу все по порядку, вы уж сами разберете, где тут добро, – я не знаю.

И долго рассказывал черт, как его гнали и били, морили жаждою и грабили по пустынным дорогам. А в конце пути

случилось с ним следующее:

– Лежу я, святой отец, отлеживаюсь на камне, что при дороге. И вижу я: идут с одной стороны два грабителя, злых человека, а с другой стороны идет женщина и несет в руках нечто, как бы драгоценное. Говорят ей грабители: отдай! – а она не отдает. И тогда поднял грабитель меч...

– Ну! – вскричал попик, прижимая руки к груди.

– И ударил ее мечом грабитель, и рассек ей голову надвое, и упало на дорогу нечто драгоценное, и когда развернули его грабители, то оказалось оно младенцем, единым и последним сокровищем убитой. Засмеялись грабители, и один из них, тот, что имел меч, взял младенца за ножку, поднял его над дорогою...

– Ну! – дрожал поп.

– Бросил и разбил его о камни, святой отец!

Поп закричал:

– Так что же ты! Так как же ты! Несчастный! Ты бы его палкой, палкой!

– Палку у меня раньше отняли.

– Ах, боже мой! Ведь ты черт, ведь у тебя же есть рога! Ты его бы рогами, рогами! Ты бы его огнем серным! Ведь ты же, слава богу, черт!

– Не противься злему, – тихо сказал черт.

Было долгое молчание.

Побледневший попик как стоял, так и пал на колени и покорно сказал:

– Моя вина. Не ты, не грабители убили женщину и ребенка – я, старый, убил женщину и ребенка. Отойди же в сторону, мой друг, пока я помолюсь за наш великий человеческий грех.

Долго молился поп; окончивши молитву, разбудил уснувшего черта и сказал ему:

– Не для нас с тобой эти слова. И вообще не нужно ни слов, ни толкований, ни даже правил. Вижу я, что иногда хорошо любить, а иногда хорошо и ненавидеть; иногда хорошо, чтобы тебя били, а иногда хорошо, чтобы ты и сам кого-нибудь побил. Вот оно, сударь, добро-то.

– Тогда я пропал, – решительно и мрачно заявил черт. – Для себя вы как хотите, а мне дайте правила.

– А ты и опять промахнешься и меня подведешь: нет, сударь, довольно! – Попик даже рассердился. – Нету правил. Нету и нету.

– А раз правил нет, так и добра никакого нет.

– Что? Добра нет? А что я с тобой, с чертом, разговариваю, что я тебя, черта, учу, это – не добро? Поди, сударь, неблагодарный ты это, как бы сказать, господин!

Но то ли озлобился черт, то ли вновь до отчаяния дошел – уперся мрачно и ворчит:

– То-то много вы меня научили, есть чем похвалиться!

– Да разве черта научишь?

– А раз черта не научишь, так чего же ваше добро стоит? Ничего оно не стоит!

– Эй, прогоню!

– Прогоняйте, если не жалко. Я в ад пойду.

Помолчали. Черт спросил:

– Так как же, святой отец, идти мне в ад?

Даже прослезился попик: так жалобно спросил его черт и поклонился низко, говоря:

– Прости меня, миленький, обидел я тебя. А относительно добра вот что я тебя спрошу: черт ты любознательный, и во многих ты бывал храмах и хранилищах искусств, и много ты видел творений великих мастеров – нравятся ли они тебе за красоту?

Черт подумал и ответил:

– Какие нравятся, а какие нет.

– А слышал ли ты, чтобы для красоты были правила?

– Какие-то, говорят, есть.

– Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав сии какие-то правила, сотворить красоту?

– Какой у меня талант? Нет, не могу.

– А добро без таланта творить хочешь? Тут, миленький, для добра-то таланта требуется еще больше, да. Тут такой талант нужен!

Черт даже засвистал:

– Вот оно что! Нет, святой отец, это вы уж через край хватили! Если я плохую картинку напишу, меня за это в ад не пошлют, а если я ближнему голову сверну, так ведь какой содом подымется! Да картинку-то меня никто писать и не

понуждает, а добро, говорят, твори. Твори – а правил не дают; твори – а в чем дело, не объясняют, да за каждую промашку в потылицу!

– Талант нужен, миленький!

– А если его у меня нет, так в ад мне и идти?

Поп покачал головою и руками развел:

– Уж и не знаю, голубчик, сам голову с тобою потерял.

– Знать не хочу вашего таланта! Правила мне давайте! Я не картинки писать хочу, а добро творить – вот вы меня и учите, хоть сами выдумайте, а учите!

Совсем разбушевался несчастный дьявол, под конец пригрозил даже пойти к другому попу. Старик даже обиделся и укоризненно сказал:

– Вот уж это нехорошо, дружок! Сколько я на тебя труда положил, вот, думал, приведу к богу новую овцу, полюбил тебя как сына, а ты хочешь к другому. У меня тоже самолюбие есть, за что же ты меня обижаешь? Ты меня лучше не обижай. А я тебе вместо правил, с которыми и человеку-то опасно, дам урок на каждый день. Времени у меня свободного много, и сяду я за труд: с самого раннего утра очерчу тебе каждый день, сколько их есть в году, что и как делать. Но только от писаного не отступай ни на единую черточку, а то ты сейчас же промахнешься; если же будут сомнения у тебя или что позабудешь, то в этих случаях бездействуй. Как бы тебе это сказать: закрой глаза, заткни уши и стой как истукан. Нынче же сажусь за работу, а ты иди наверх, приютись

где-нибудь под крышей и бездействуй, пока не скажу. Если же скучно будет, то помогай звонарю – он совсем у меня от старости ослабел и не в те веревки дергает. Звони себе во славу господню!

Вот и сел старый поп за свой великий труд, а черт начал бездействовать. Для этой цели разыскал он среди темных чердачных переходов, поблизости от колокольни, комнату не комнату, а так, помещение: четыре стены глухих, вместо двери низкий сводчатый лаз, и только на одной стене, высоко над полом, светлело глубокое, запыленное, крытое паутиною оконце. Раз в два или в три дня приносил ему попик скудную пищу и присаживался для недолгой душевной беседы, а в остальное время, никого не видя, черт бездействовал и размышлял. Против этих размышлений напрасно предостерегал его попик, говоря, что у дьявола его размышления есть действие; и притом вредное, – черт хоть и соглашался, но ничего поделаться с собою не мог. Трудно было не думать об испытанном, а как начнет думать, так и покажутся со всех сторон мутящие разум противоречия: скользит прекрасное добро, как тень от облачка над морской водою, видится, чувствуется, а в пальцы зажать нельзя. Кому же верить, как не богу, а сам бог нынче одно говорит, завтра другое, а то и сразу говорит и то и другое; в каждой руке у него по правде, и на каждом пальце по правде, и текут все правды, не смешиваясь, но и не соединяясь, противореча, но где-то такое в своем противоречии странно примиряясь. Но где? – не может

найти этого места несчастный черт. И от этого овладевает им крайний человеческий ужас, и страшно не только двинуть рукою, да и вздохнуть-то страшно.

– Ну как, – спрашивает попик, – соскучился? Ничего не поделаешь, потерпи, миленький, скоро авось и кончу, тогда вот как заживешь. Здоровье у меня только плохое, и смерть близко – ну, уж как-нибудь доведу, не оставлю тебя, сирого.

Черт еле слышно шепчет:

– Противоречия.

– Опять! – ужасается попик. – И где ты их только находишь? Это в разуме, брат, да в словах всякие противоречия, так на то он и разум, и не может без того, чтобы все четыре колеса не в одну сторону вертелись; а в совести, брат, все течет согласно.

Черт криво усмехнулся:

– Хорошо вы говорите, святой отец: так, значит, не бывает, что три колеса в одну сторону вертятся, а четвертое в другую?

– Ну и дурень! Конечно, не бывает.

– А вы говорите, что бывает.

– Я говорю? Да что ты на меня, миленький, валишь? Сам запутался, а на меня валишь. У меня и то после каждого разговора с тобою голова болит, а мне голова нужна, я для тебя же, дурака, работу сочиняю. Какой ты, брат, неприятный, как бы это сказать, господин. Лучше скажи-ка: строго бездействуешь или допускаешь послабления?

Черт угрюмо вздохнул.

– Строго. Вчера вот только муху убил, очень она на лицо липла, и не знаю, можно это или нельзя?

– Муху-то? – засмеялся попик. – Муху можно! Постой... Ну, вот и опять сбил ты меня, несчастный: то ли можно, то ли нет – теперь уж и сам не знаю. Не взыщи, брат: сам меня запутал. Пока ты меня не спрашивал об мухе – знал я хорошо, что бить их можно, и неоднократно бил, а вот теперь...

– Живая она, – мрачно сказал черт.

– Да, да, живая! – огорчился попик. – Так и я, значит, живых мух бил? Вот грешник! Ай-ай-ай, вот грешник!

Но черту этого мало. Ему нужны вывод и твердое решение.

– Значит, нельзя мух бить? Вы прямо скажите.

– Мух-то? – недоумеваает попик. – Ты про мух говоришь?

И до того, случилось, они договорятся, что оба впадут в полное одурение и долго, не мигая, смотрят друг на друга. Но только у черта одурение было надменное и как бы снисходительное, а у попаки тихое и скоропреходящее: еще до своей келейки после разговоров не успеет дойти, как все противоречия забыл, развеселился, а потом в благостном настроении уселся за тяжелую для дьявола работу. И мух опять бьет, и даже не без злорадства.

Но что за мухи для дьявола! Стоит он со своею непомерною дьявольскою силой, готовый сокрушить горы, и не знает, как поступить с ничтожной мухой, надоедливо ползаю-

щей по мрачному, изборожденному лицу, еще хранящему темный отблеск адских неугасимых огней. Что за муки для дьявола! Тонкий ум, изошренный в упражнениях, способный одним колебанием своим создать как бы новый, великий мир, в ужасном бессилии останавливается перед ничтожнейшим вопросом. А муха ползает, а муха надоедливо жужжит, забирается в волосатое ухо, глупо и нагло щекочет мрачно стиснутые губы, бесстыжая, нелепая, даже не подозревающая о тех страшных безднах, над которыми издевается бессмысленно! Многих и многого ненавидел дьявол; много и многого он страшился, но так и не узнала его душа образа более ненавистного и страшного, нежели образ ничтожной мухи, ползающей по лицу.

Но все хуже здоровье попаика, одолевает его белая старость. Попишет немного и полежит, и больше лежит, чем работает, а уже три года томится заключенный в бездействие дьявол и ждет обещанного добра. Поняв свою выгоду, уже не тревожит попаика противоречиями, а только жалобно торопит:

– Ах, поскорей бы, святой отец!

– Не бойсь, миленький, не умру, – успокаивает его попик. – По моему расчету, мне еще с полгодика осталось. Да, брат, с полгодика! А работа уже к концу подходит. Не пугайся, не волнуй себя. А я тебя сегодня как раз порадовать пришел: нынче одного еретика жечь будут, так пойдем с тобою, посмотрим, повеселимся.

«Сказано: не убий», – мрачно подумал черт, глядя на улыбающегося попака, но вслух ничего не сказал и охотно собрался в путь, так как очень соскучился от долгого заключения.

Еретика долго жгли, и народ радовался. Приятно было и черту: немного напоминало ад; но вдруг вспомнилась муха, которой он не смел тронуть, и сразу затрещали в голове противоречия. Взглянул с тоскою на попака: тот покачивается от слабости, от волнения бледен, дрожат старческие руки, на голубеньких глазах слезы, а весь лик радостен и светится неземным светом. Жгли в аду и черти, но не было же святости в их лице! Ничего не может понять обезумевший дьявол. А попак-то радуется, даже светится весь! И от волнения, как только домой пришли, в постель слег, ослабел очень от радости. Не выдержал черт и, насупившись, вступил в диспут:

– Хотел бы я знать, чему вы радуетесь, святой отец?

– А как же? Еретичка сожгли! – ответил попак тихо и умильно.

– Так ведь сказано же: не убий! А вы человека убили и радуетесь.

– Никто его не убивал, что ты, миленький!

– Да ведь сожгли же его или нет?

– Слава богу, сожгли, сожгли, миленький!

Даже глаза закрыл от умиления и лежит себе, такой беленький, чистенький, невинный, как младенец. «Неужто и здесь противоречие только в разуме да словах, а в совести

его все течет согласно? – думал дьявол, беспомощно потирая рукой шишковатый лоб. – Ничего не понимаю! Видно, не в том добро, что делать, а в том, как делать... Нет, ничего я не понимаю, пусть он пишет свои уроки, а я уж до времени притаюсь, пальцем не шевельну!»

И с того времени в одиночество свое уже не возвращался, а остался при ослабевшем старце в качестве прислужника: подавал ему пищу, убирал келейку и с дьявольской силой и упоением чистил старое попиково платье, будучи уверен, что уже здесь-то наверное греха нет. Когда же, преодолевая слабость, садился поп за продолжение своего труда, черт вытягивал свою длинную, жилистую шею и через плечо с жадным любопытством заглядывал: ох, не промахнуться бы попу! Ох, не подвести бы ему несчастного черта: ведь последняя надежда.

Но вот и кончена рукопись, а с нею как будто кончена и жизнь старенького попа. Уже не поднимается он с постели и последние строки начертал лежа: неразборчивы они и кривы, но тем дороги, что последние. На коленях принял черт великий дар и громко, с истинным наслаждением поцеловал сухую руку.

– Что, рад небось? – спросил попик. – Ну, радуйся, радуйся, давно пора. Только смотри, опять не промахнись!

– Теперь не промахнусь, – уверенно ответил черт. – Если только вы там в чем-нибудь не промахнулись, но это уж ваше дело; а я буду исполнять точно, как сказано.

– Черт ты старательный, это верно. И рукопись смотри не потеряй, другой не будет. Где ты думаешь подвизаться? Если поблизости, то загляни как-нибудь, навести, мне без тебя будет скучно. Привык я к тебе, дружок. Прежде я все твоему носу удивлялся, а теперь, знаешь ли, мне даже и нос твой нравится. Это ничего, что он отвислый: у многих людей бывают отвислые носы. Так где же ты думаешь подвизаться?

– Пойду по всему миру! – самонадеянно ответил черт. – Эх, пожили бы вы еще с полгода – много тогда хорошего рассказал бы я вам, святой отец! Вот до чего я хочу творить добро, – черт сжал огромные кулаки и яростно потряс ими, – что это только видеть надо, как я начну работать!

Так и ушел черт в ликование, но вот что дальше случилось. Вместо того чтобы сразу начать действовать по наставлениям, что, конечно, было бы самое лучшее, он отправился в ад для проповеди. Потерял ли он соображение от радости, гордыня ли его обуяла и захотелось похвастаться перед своими, или просто потянуло его к родным местам – но только от попики прямою дорогою, мимо, не колеблясь полетел он в ад. И что же вышло? Только начал он проповедовать, а другие черти выскакивают вперед его и тоже проповедуют и даже с еще большей силой, так как свободно лгут. И в одно мгновение вся правда превратилась в ложь, и самые святые слова, яростно выкликаемые чертовскими глотками, приняли непристойный и страшный вид. Минуты, кажется, не прошло, а уж весь ад наполнился проповедника-

ми и святыми; и впереди всех, обрадованный новой потехой, гнусавил псалмы вдребезги пьяный сатана. Визгливые истасканные ведьмы разыгрывали целые комедии на тему о благочестии и высоких подвигах; и никогда еще ад, даже в большие свои праздники, не был таким адом, как в этот несчастный день! А потом начались откровенные непристойности и всеобщая драка – и больше всего попало Носачу, давно не упражнявшемуся и в значительной степени потерявшему ловкость. Но что самое печальное – в драке у него порвали рукопись, и когда, отбившись от стаи шаловливых ведьм, он взглянул на свое сокровище – горю и стенаниям его не было предела. В ярости он оскорбил самого сатану, назвал его лжецом и еле унес ноги: так разгневался пьяный оклеветанный владыка!

Со всею прытью, какая только доступна была его старым ногам, прижимая к груди истерзанную рукопись, примчался Носач к старенькому попику, но – увы! – попик уже умирал.

– Да погодите же минутку – у меня рукопись порвали, – завопил черт, падая на колени.

Еще с добрый десяток минут, не сообразившись, вопил черт, и жаловался, и требовал новой рукописи взамен попорченной, потом стих и, бережно отложив рукопись, сам опустился на пол у поповской постели. После долгого молчания разжал попик сухие, запавшие губы, бессильно пожевал ими и с трудом вымолвил:

– Опять промахнулся?

Черт мрачно взглянул на истерзанную рукопись и великодушно солгал:

– Так, пустяки, святой отец. Мне вас жалко: вы и вправду умираете или еще с полгодика поживете?

Попик ответил:

– Ни единого даже дня, дружок. Я уже вчера собрался умереть, да думаю: дай подожду денек – авось и ты придешь. Вот ты и пришел! Спасибо тебе, дружок. Открой мне, пожалуйста, занавес на окне: хочу я последним взглядом проститься с дорогими местами.

Но в открытое окно только и видно было, что угол крыши, покрытый красной черепицей, да уголок синего неба с проходящим облаком. Попик смотрит с радостью, а черт думает: «На что он смотрит?.. Тут и смотреть не на что: красная крыша да неба кусочек... Или он на облачко смотрит? Так понесу же я его на колокольню и покажу ему все облака, какие

будут, и все красные крыши его возлюбленной Флоренции».

Так и сделал. Даже не спрашиваясь, подхватил он на свои жилистые руки сухонькое тельце, не оказавшее сопротивления, и с величайшею осторожностью донес до высокой площадки, где дух захватывало от высоты и сердце радовалось красоте города и божьего мира.

– Смотрите-ка, святой отец: это не то, что из окошка, – сказал он с гордостью.

И оба стали смотреть и радоваться. А уже близилось к закату солнце, и по ту сторону Арно на высоком холме чернели кипарисы, готовые своими острыми вершинами как бы пронзить падающее светило. На востоке же, откуда сегодня утром поднялось ликующее солнце, воздушной цепью залегли недалекие горы; и мнилось, будто гигантскими гирляндами благоухающих сиреневых цветов опоясан прекрасный город. Розовыми цветочками казались далекие виллы, расположенные по склонам, и в ущельях прохладно синела вечерняя тень.

Попик тихо радовался и вспоминал:

– Вот за теми горами я родился, дружок. Там и сейчас находится моя деревня; там была прекрасная девушка, которую я полюбил и оставил для бога. И долго не было для меня иной радости, как смотреть на те далекие горы и тихо вздыхать. Давно это было, дружок, не помню когда.

Солнце заходило.

– А вот и милый город, по которому я ходил, много ходил.

И нет, дружок, более приятного чувства, как ощущать под ногою горячие родные плиты, – как бы матерью становится земля, когда походишь по ней лет семьдесят, и смягчается твердость острого камня. Но там, куда я пойду сейчас, будет еще лучше, дружок.

Черт вздохнул, колебанием груди своей приподняв легонькое тело. Попик понял его тоску и сказал гаснущим голосом:

– Ты... не вздыхай. Очень возможно, дружок, что ты также пойдешь со мною в рай. Ты... черт старательный.

Красною, жаркою кровью разбрызгалось солнце за черными кипарисами и погасло. И, не отстав от него ни на единое мгновение, умер старенький попик, ушел из родного города, покинул родимую прекрасную землю. Долго и напрасно будил его встревоженный черт, взывал грубым голосом:

– А звезды-то! Вы еще звезд не посмотрели, святой отец. Вы еще на луну не взглянули, а уже идет она, святой отец, поднимается, вот-вот бледным светом ляжет на ваши родные плиты. Откройте же глаза, святой отец, и взгляните, умоляю вас!

Когда же убедился, что покровитель его и друг умер навсегда, то отнес его и положил на холодную постель. И когда нес по лестнице, то думал: «Вот вверх я нес живого, а вниз несу мертвого!» И великая скорбь овладела душой дьявола: метался он по комнате, и вопил, выл, как зверь, бился о стены, – не привык он к человеческому горю и не умел выражать

его тихо. И до того дошел, что, схватив свое единственное сокровище, цель долгих поисков и страданий – изорванную рукопись, – с яростью швырнул ее в угол как нечто негодное. Сделав же это, так и не понял, что именно в эту самую минуту им и совершалось то самое таинственное и недостижимое добро, имени которого он столь тщетно и мучительно доискивался. Так и не понял никогда!

* * *

Но какой неприятный вид имела драгоценная рукопись! Измятая, оборванная, растрепанная, испятнанная потными лапами чертей, лежала она перед угрюмыми глазами постаревшего дьявола, вновь вернувшегося к своим стремлениям и надеждам. С трепетом раскрыл он первую страницу и надолго погрузился в изучение добродушно-неразборчивых, старательных строк. И по мере того, как читал, все больше тарасил глаза, пугался, недоумевал, пока, наконец, с последней страницей весь не превратился в одно сплошное недоумение и страх. Даже в самые тяжелые минуты жизни черт не имел такого растерянного и глупого вида, как теперь.

Что это – глумление? Насмешка над добром? Издевательство над бедным чертом, стремящимся к добродетели? Или же потерял свой последний разум старенький попик и с детской серьезностью лепечет наивные пустяки, придает характер важности ничтожным мелочам, путается в них, как в

длинном, не по росту, платье? Но черт обманут – черт в неистовстве и страхе: потеряна последняя надежда.

Вся книга, с начала своего до последней оборванной страницы, состояла из коротеньких деловых рецептов, точнейшего описания тех действий, которые надо совершать по дням недели, по часам дня. И ни единого закона, ни единого правила, ни единого общего начала, – даже самое слово «добро» не упоминалось ни разу. Делай то-то (точное описание поступка) – и больше ничего. Что-то вроде нынешних поваренных книг, с тою только разницей, что даже и в поваренных книгах у составителей их видно иногда старание дать общее начало: ешь только овощи, а мяса ни в каком случае не ешь! А тут – ничего.

И что особенно и больно укололо черта: во всей книге не было ни одной из тех прекрасных истин, что в таком огромном количестве собраны за тысячи лет существования человеческого разума и служат к украшению и прославлению добра. Он сам знал их немало и мог, казалось бы, ожидать, что старенький поп не поскупится на этот предмет, – недаром же он столько учился и так прекрасно чувствовал добро. Но нет ничего! Сухой перечень голых действий, иногда тщательно зализанная клякса, свидетельствующая только о трудолюбии писавшего, – и все.

Но вдруг появилась надежда: может быть, попик нарочно не сделал общих выводов, предоставляя это уму и трудолюбию самого черта, – о, он был достаточно хитер, этот старый,

невинный попик! И снова садится старый черт за работу и взглядывается в каждое слово сквозь круглые огромные очки, выписывает, сверяет, грубыми пальцами ловит тонкую нить неназванного добра. Обрывается нитка – но что до того старательному черту, возлюбившему добро! Отыскивает концы, вяжет хитрые узелки, путает и распутывает, складывает и вычитает, – вот-вот доберется до итогов, твердо и на все времена и для всех людей, какие были, есть и будут, установит неизменные начала добра. Черт не честолюбив, сейчас ему дело только до своей шкуры, но минутами овладевает им истома гордости: не для всех лиц, ищущих добра, работает он так неумоимо, не ему ли некогда воздвигнется новый и великолепный храм?

Какими же словами можно описать отчаяние и последний ужас несчастного дьявола, когда, подведя последние итоги, не только не нашел в них ожидаемых твердых правил, а наоборот, и последние утратил в смуте жесточайших противоречий. Подумать только, какие оказались итоги:

когда надо – не убий; а когда надо – убий;

когда надо – скажи правду; а когда надо – солги;

когда надо – отдай; а когда надо – сам возьми, даже отними;

когда надо – прелюбы не сотвори; а когда надо – то и прелюбы сотвори (и это советовал старенький поп!);

когда надо – жены ближнего не пожелай; а когда надо – то и жену ближнего пожелай, и вола его, и раба его.

И так до самого конца: когда надо... а когда надо, – и наоборот, не было, кажется, ни одного действия, строго предписанного попоком, которое через несколько страниц не встречало бы действия противоположного, столь же строго предначертанного к исполнению; и пока шла речь о действиях, все как будто шло согласно и противоречий даже не замечалось, а как начнет дьявол делать из действия правило – сейчас же ложь, противоречия, воистину безумная смута. И самое страшное и непонятное для дьявола было то, что наряду с действиями положительными, согласными с известным уже дьяволу законом и, стало быть, добрыми, – старый попик с блаженным спокойствием предписывал убийство и ложь. Черт никак не мог допустить, что не попик его обманывал, а обманывают слова; и вот наступил для него миг совершенного безумия, – вдруг показалось, что старый попик есть не кто иной, как самый величайший грешник, быть может, сам сатана, в виде сатанинской забавы пожелавший искутить черта.

Забившись в темный угол, черт горящими глазами глядел на дверь и думал:

«Да, да, это он! Он узнал, что я хочу добра, и нарочно оделся попом и даже богом, как я оделся человеком, – и погубил меня. Никогда не узнаю я правды и никогда не пойму, что такое добро. Быть же мне вовеки несчастным и в жажде добра вовеки неудовлетворенным. Проклят я вовеки».

И все ждал, что раскроется дверь, и покажется смеющийся-

ся сатана, и, простив, позовет его в ад. Но не приходил сатана, и дверь молчала; и, подумав, так решил несчастный старый черт:

«Буду жить в отчаянии и творить предписанное, никогда не зная, что я такое творю. Проклят я вовеки!»

Так и жил черт, стареясь. Когда требовалось рукописью – спасал, а когда требовалось убивать – убивал. И было ли противоречие только в словах, а в действиях все уживалось согласно, но постепенно наступил для черта покой, и почувствовал он даже как бы некоторое удовлетворение. И хоть и верил твердо, что проклят вовеки, но настоящего живого огорчения от этого не испытывал; и о добре перестал думать. Но были для него и черные дни, – обрывалась рукопись, и в зияющей пустоте вставал ужасный образ бездействия; и поднимали голову ядовитые сомнения и, как призрак манящий, звало в неведомую даль неведомое Добро.

Тогда удалялся черт в свой темный чердачный угол и там застывал в бездействии. Заложив уши, чтобы ничего не слышать, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, стоял он, черный, подобно истукану; и были крепко сложены на груди жилистые руки, способные сокрушить горы и обреченные на бездействие. Стар уж он был в это время: завивали голову космы седых волос, лезли из широких ноздрей, мшистым кровом крыли и лицо, и грудь, и застывшие руки; и, увидя его, не подумал бы ты, что это некто живой, обреченный на страдания, а сказал бы: вот и еще одна старая колонна в хра-

ме, которой я раньше не заметил. Ползали по лицу его мухи, серая пыль ложилась на голову, и пауки неторопливо плели на нем свои тенета, – и время стояло неподвижно, как проклятое.

...Кто не любит добра?

1911 г.

Он

Рассказ неизвестного

1

Я был пьян от радости, я благодарил судьбу: мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября, в темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбою пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской; а через полтора часа – еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, – я уже имел урок, пристанище, двадцать рублей денег. Как во сне, как в сказке! И все было очаровательно: богатая гостиница, великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен: жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром полу-

чать пятьдесят рублей в месяц.

– А море вы любите? – спросил меня Норден («господин» я не буду прибавлять в рассказе).

Я мог только пробормотать:

– Море? О господи...

Он даже засмеялся:

– Ну, конечно, кто же в молодости не любит моря! Вам будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море... немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться, и улыбаться. Вы будете довольны.

Ну еще бы! Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил:

– В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка, Елена. Пять лет тому назад.

На это я так ничего и не ответил. Не нашелся. И, кроме того, меня смущала его улыбка – говорит о смерти дочери, а сам улыбается; и я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил мне, и при этом, с крайней доверчивостью, не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии; в другое время я несколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы.

Но к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Нордена, а уже стала привычной вся

роскошь моей жизни: и собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкою студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах.

Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было невесело, просто невесело; и причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Нордена. Только шаг за шагом проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи, – вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом.

Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен: мне, приبلудному студенту, гольтепе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство, его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок, да ели, да камни, да предупреденные холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды.. Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан;

было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу, и сам Норден гордился садом, и я, как только увидел, пришел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев⁷ – слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких, – что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья.

Почему не было следов на дорожках? В доме жило много народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на дорожках.

Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об этом Нордену. Он долго смеялся – я не мог понять, отчего он смеется, – осторожно и крайне любезно коснулся моего локтя и сказал:

– А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они

должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром.

И, точно по приказу, я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно и увидел: по дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой. Я понял, что это рабочие Нордена и что железными граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей, – но мне не понравилось и это.

Разве только и есть следы, что от ног? Ребенок мог забыть игрушку – дети всегда разбрасывают игрушки, рабочий мог оставить лопату или грабли, но здесь никто ничего не забывал, никто ничего не оставлял. Последние листья роняли деревья, и это было вовсе не весело: потемневшие, свернувшиеся листья, безнадежно припавшие к холодному гравию, – но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы. Порою казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отчаянно борется с воспоминаниями и делает так, чтоб все было пусто; но чем шире разевала рот пустота, тем осязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они – эти темные воспоминания о какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде.

И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь чреде событий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого, из разыскивающего – в прячущегося, из преследователя –

в преследуемого. Но до тех пор я все искал; и мое печальное воображение, склонное к тягостным вымыслам – у меня было тяжелое детство и невеселая одинокая юность, – заселило странный сад всевозможными преступлениями, убийствами, смертями. Конечно, я был молод, и когда выпадал солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских беспроблесных потемок, я смеялся над вымыслами своими; но вот шли туманы с моря, низко опускалось, придушая свет, тяжелое мокрое небо, и я снова слышал, как скребут железом, сдирая следы, трое темных; и снова волновался.

Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь, если бы сам Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за оградой сада, не указал мне на груды камней, имевших форму пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъели цемент, и кой-какие круглые камни уже повывалились, несколько нарушая правильность формы: быть может, поэтому я и не обратил на нее внимания.

– Видите пирамиду? – сказал Норден. – Хоть и меньше Хеопса, но все же пирамида.

Он засмеялся – чему он постоянно смеялся? – и продолжал:

– Здесь я хотел построить церковь в норманнском стиле. Вы любите норманнский стиль? Но мне не позволили... такая узость взглядов!

Я молчал, не зная, что сказать: вообще я не находчив. Он подождал, сколько нужно для ответа или для вопроса, и

охотно пояснил:

– Как раз на этом месте был найден труп моей дочери, Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил.

– Как же это случилось?

– А как тонут молодые люди? – улыбнулся Норден. – Поехала на лодке кататься одна, поднялся шквал, лодку перевернуло... как это обычно случается?..

Я посмотрел на серое море, покрытое мелкою рябью; кое-где чернели голые большие камни, кое-где вода особенно поблескивала – просвечивало дно.

– Здесь очень мелко, – сказал я.

– А она уехала далеко.

– А зачем она уехала далеко?

– А зачем молодые люди уезжают далеко? – засмеялся Норден и крайне любезно коснулся моего локтя. – У меня есть две прекрасные лодки, на зиму мы их прибираем, а весной снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?

– А ту лодку тоже прибило на берег?

Норден сперва не понял:

– Какую ту лодку? Ах да, ту? Как же, как же, ее тоже прибило на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать: прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее.

После этого разговора, открывшего, как мне казалось, многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда голо-

вой, сюда ногами. Но зачем же он, так безжалостно сдирающий следы, перекрасивший в белый цвет лодку, в которой утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность, свойственная даже самым последовательным людям?

Не знаю. Я как-то не успел об этом подумать. Все мое внимание захватило море – мне показалось, что оно, именно оно, является главным источником той великой печали, что лежала над людьми и местом этим. Оно было...

2

Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных и тяжелых людей.

По утрам я занимался с Володей. Это был благонравный восьмилетний человечек с прекрасными манерами взрослого джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновенно покорный. Он не задирает ног на стол, как другие мои ученики, не ковыряет в носу, не пачкает бумаги и стола и не делает мне никаких гадостей; и каждое замечание мое он выслушивал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соломон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил он мне или только притворялся, что верит, — но было неловко от этого удивительного внимания, благодаря которому самые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную цену и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников, ровно в десять часов над столом появлялась его стриженная светлая, крупноватая голова, два часа занимала частицу зрения моего и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей; и два больших, светлых, широко расставленных глаза лежали выпукло, как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмотря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-ли-

бо из моих учеников, настолько мало, что как будто его самого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась, как кажется, именно эта самая покорность его и предупредительность: сам он никогда не смеялся и даже не улыбался, но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно хохотал; сам он ничего не выражал на своем плоском белом лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем страх, удивление, или восторг, или радость, лицо тотчас же покорно принимало требуемое выражение. Словно это был не ребенок, а кто-то, в угоду взрослым добросовестно исполняющий обязанности ребенка, – он и шалил, но только по приглашению и как-то дико, будто вспоминая чужие, виденные во сне шалости. Ибо у других двух детей – мальчика семи лет и девочки пяти – он ничему научиться не мог: они были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел, они постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я, по незнанию языка, не мог перекинуться даже словом.

Пробовал я брать Володю с собой на прогулку, но и гулял он отвратительно деланно, как маленькая дорогая кукла, изображающая благонаправного мальчика. И только раз, ненадолго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по саду, и у одной из чистеньких белых скамеек, на ровной дорожке, не хранящей следов, я увидел Володю: он сидел прямо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. По видимому, он очень больно ушибся, так как лицо его выражало страдание и он плакал – сидел один и плакал. Но как

только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу; и было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он снова выражал почтительность и готовность.

– Ты ушибся, Володя?

– Да, немножко.

– Отчего же ты не плачешь?

Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил:

– Я уже плакал.

Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он даже добавил: «Благодарю вас!» – так был вежлив этот странный и жалкий человек.

Весь день я был свободен: гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода, или читал в своей комнате: все свои книги, а их было множество, Норден любезно предоставил в мое распоряжение, и это вначале было одной из величайших радостей моей невеселой и однообразной жизни. Иногда я занимался в самой библиотеке Нордена, он и это позволил мне; и тут я чувствовал себя совсем как король: мягкие диваны, большие столы, заваленные журналами, множество книг в дорогих переплетах, тишина, как в Публичной библиотеке, – комната находилась во втором этаже, и никакой шум туда не проникал. Да и не было шума, если по каким-то одному ему известным причинам не заводил его сам Норден, заставляя собак лаять, детей танцевать и петь, и всех, у которых был рот, – хохотать.

Обедали мы все вместе: дети, англичанка, Норден и я. Гостей у Нордена я не видал ни разу, но за обедом иногда появлялся какой-то толстый, молчаливый немец, раскрывавший рот только для еды или для смеха, когда к этому приглашал его Норден; кажется, это был управляющий его именем не то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись – трудно сказать почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анекдоты и всех настойчиво приглашал смеяться. Для англичанки он переводил их на английский язык, но если и забывал перевести, она все равно хохотала: так требовали, по-видимому, обычаи дома. Первое время я был серьезен, и Нордена это беспокоило и даже огорчало, – тревожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно спрашивал:

– Почему вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным? Но ведь это же очень остроумно.

И объяснял, почему остроумно и почему я должен смеяться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или только улыбался, а не громко хохотал, Норден начинал волноваться, настойчиво рассказывал все новые и новые тусклые анекдоты, выжимая из меня смех, как воду из масла; и казалось, что, не засмейся я и теперь, он станет плакать, целовать мои руки и умолять для спасения его жизни прохихотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал хохотать, как все, – помню до сих пор тот конвульсивный, нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как удила пасть лошади. Помню то мучительное чувство страха

и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха, хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело.

В течение нескольких дней, видя за столом только упомянутые лица, я решил, что в доме больше нет никого. Но однажды, как раз за обедом, наверху, в комнате, которая всегда была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть может, нарушая приличия – я всегда путаю эти приличия, – спросил:

– Кто это играет?

Норден весело ответил:

– Ах, это? Разве вы не знаете? Это моя жена. Простите, если я забыл вас предупредить. Это моя жена. Она не совсем здорова и не выходит из своей комнаты. Но это удивительно талантливый человек! Вы послушайте, как она играет.

Но музыка была очень печальна, и Норден стал беспокоиться.

– Удивительно играет, – повторил он, отстукивая ножом по краю тарелки неуловимый такт. Но не выдержал и побежал наверх. А возвращаясь, еще с лестницы весело кричал:

– Дети! Мисс Молль! Приготовьтесь, мама хочет, чтобы вы веселились.

Наверху действительно заиграли что-то веселое: какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорож-

но-веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуверенность, и Норден дружески пояснил:

– Новые ноты. Я только что привез из Петербурга. Очаровательный танец, его сейчас танцует вся Европа.

И весело закричал:

– Танцирен, мейне киндер, танцирен. Мисс Молль!

И эти послушные куколки завертелись; и самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была искренно весела и смеялась от всей своей маленькой души. Сама мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго, как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звонкими ударами бича. Норден похлопывал в ладоши, вскрикивал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не может долее выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась, спрашивал меня:

– А что же вы, что же вы?

Потом остановился и начал упрашивать:

– Ну, пожалуйста! Ну, немного, вы доставите всем нам огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Молль вас очень быстро научит.

Но танцевать я отказался наотрез. Когда раскрасневшихся детей увели, Норден закурил сигару и, весело отдуваясь, сказал:

– Фу, устал. Не правда ли, как у нас весело?

С тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху, иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную: после каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцует вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто, у него там были какие-то большие дела, но ненадолго – на день, на два, не больше. Мне очень хотелось узнать, что такое делается с женою Нордена, – теперь мне казалось, что тут именно лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и людей, но все попытки мои остались безуспешными. С прислугой сближаться я не хотел, да она, по-видимому, ничего и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже, несомненно, лжив.

– Ну что, как мама сегодня? – спросил я его. – Вы были у нее сегодня.

– Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет, что не может с вами познакомиться.

– Она очень больна?

– Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее очень большой талант.

– А часто она плачет? – резко спросил я.

– Мама? – удивился Володя. – Нет, она никогда не плачет.

– Смеется? – сердито усмехнулся я.

– А разве смеяться нехорошо? – виновато спросил почтительнейший из учеников, ожидая, видимо, что я прочту ему лекцию о смехе, и готовый, сообразно с выводами лекции,

засмеяться или загрузить. Но лекции я ему не прочел, и больше мы о маме не говорили.

Как-то ночью, вернее, на рассвете – те трое уже скребли железом, сдирая следы, – в доме случился переполох, священный, по-видимому, с болезнью невидимой музыкантши. Что-то упало, кто-то закричал, как от страшного испуга или боли, в доме забегали огни, и в приоткрытую дверь я слышал, как Норден успокоительно говорил:

– Это ничего. Ветром оторвало ставню, и она немного испугалась. Уже все прошло.

Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с моря: всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по углам дома, а иногда, как певец на эстраде, останавливался на газоне и обвивал себя свистом и дикой песнью – но ставни все были целы, я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же утро я впервые увидел и его жену: я поднял глаза к ее окнам, и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом, в сумраке комнаты, увидел такой же неверный, фальшивый образ: она стояла и смотрела на разгулявшееся, грохочущее море. И, к удивлению моему, насколько я успел рассмотреть, она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с большими темными провалами глаз. С дерзостью – я теперь иногда становился дерзким с Норденом – я спросил, сколько лет его жене? Оказалось, что ей всего двадцать девять лет и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.

3

Мой дневник, который я вел у Нордена, кем – то украден: по-видимому, и его коснулась все та же система сдирания следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. Кто бы ни был укравший, он ничего не достиг своим мелочным и гаденьким поступком, и благородная рука его напрасно трудилась, взламывая замок: я достаточно твердо и ясно помню события вплоть до последнего момента, когда ужас на долгие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, отпечатленных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое, что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли.

Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле, но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта, – и серой, бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко рябили волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так малоподвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень, и это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную г-жу Норден, наступила неделя вялого за-

тишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, не ощущаемых вблизи, но всю даль кривших безразличной мглой и полдень превращавших в серые сумерки; и вместе с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и открылись островки и целые материка песчаных отмелей. Их ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предметом не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях, и, когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную безжизненную и пустынную землю.

Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий плеск ее – грохотом и ревом прибоя; на чистой поверхности песка я начертил чистое имя *Елена*, и маленькие буквы имели вид гигантских иероглифов, взывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим следам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой; испугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида – по случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены.

– Зачем вы здесь поселились? – в тот же вечер дерзко я спросил Нордена. – Здесь ужасно скучное море!

Норден, видимо, огорчился моим замечанием и тревожно повернул голову в сторону темного окна.

– Разве оно скучное? Нет, это неправда. Когда вы узнаете его ближе, оно очарует вас.

Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очарование тоски и страха, опасный и смертельный яд, – от которого надо бежать... но разве поймет это Норден – он уже рассказывает новый анекдот, и просительно заглядывает в глаза, и клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба мы сидим глаз на глаз и смеемся – боже мой, как это было глупо и унижительно!

Последовавшие за этим разговором дни ничем не отмечены в памяти, точно их не было совсем, и я все время спал в тоскливом, без сновидений сне, а пятого декабря замерзло море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в тот же день, пятого декабря, началось то необыкновенное, что еще более сгустило для меня печальную загадку унылого места и людей и жизни и что до сих пор не понято мною и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной сказкой. Здесь приходится, пожалуй, пожалеть о дневнике с его ежедневными и точными записями, так как только в строгой последовательности их можно если не объяснить, то понять чувство нестерпимого, под конец болезненного страха, постепенно овладевавшее мной.

Постараюсь, по возможности, быть точным и не пропустить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы самое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно важным кажется мне отметить первое появление того странного, необыкновенного существа, которое как бы воплотило в себе все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что тяготели над несчастным и проклятым домом Нордена и меня, дотоле постороннего человека, вовлекли в свой страшный водоворот.

Повторяю, в этот день, пятого декабря, выпал первый глубокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро; и когда после занятий с Володей я вышел наружу – было тихо, мертвенно-бело и прекрасно. Оставляя глубокие следы, я поспешно выбрался на берег и ахнул: моря не было. Еще вчера только вот отсюда начиналась его ледяная, исковерканная шквалами, тускло поблескивающая поверхность, а сегодня все было ровно, не было никаких границ, малейших задержек взору. Если б мир был нарисован на бумаге, то можно было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок, а дальше идет еще не тронутая карандашом белая бумага; и с тою потребностью чертить, оставлять следы, рисунок, которая является у людей перед всякой ровной нетронутой поверхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу:

Елена.

Взглянул на пирамиду: ее уже не было. Был невысокий

снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то совсем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Сюда головой, туда ногами... Нет, трудно представить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное. И как будто освобождение я почувствовал: стало необычно легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что надо съездить в университет, показаться педелю. А сам Норден представился просто чудачком, правда, неприятным, почему-то несчастным, но безобидным и во всяком случае чужим: заработаю денег, а там уеду, пусть живут как хотят, рассказывают анекдоты и танцуют.

«А ну-ка: как теперь будешь ты со следами!» – весело думал я, пробираясь обратно, и умышленно не ставил ногу в старый след, а прокладывал новый, широкий и растрепанный. И это было так приятно: оставлять след и помнить завтра, что сегодня я здесь шагал; и еще, быть может, много дней, до нового чистого снега, видеть себя уходящим в прошлое. И сад вдруг сделался прост и обыден: в холодной ласке спокойного снега исчезли отчужденность и одиночество, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы. Только одно портило и нарушало мягкий покой: большие деревянные футляры, которыми Норден одел от мороза дорогие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так делалось в саду, и мне были неприятны эти высокие, сразу непонятные, словно пустые, деревянные ящики; некоторые из них

смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги перед началом какой-то дикой процессии. «Точно прерванное воскресение мертвых», – подумал я, с недоброжелательством вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал очень остроумной, практической и веселой выдумкой.

Самого Нордена уже два дня не было дома, он уехал по своим делам в Петербург, и в огромном, хорошо натопленном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто и тихо: по своим комнатам сидели с англичанкой дети и не шалили, затихла на кухне прислуга, и где-то в верхних комнатах за их зеркальными стеклами молчала в одиночестве и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва каких-то неведомых сил. Я с час просидел в библиотеке, но читать не хотелось – было на душе слишком как-то весело и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и неисследованный дом; и, прислушавшись, не идет ли кто, я перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находилась несчастная г-жа Норден. Двери были открыты; торопливо и осторожно я прошел одну и другую комнату, потом коротенький коридор и оказался на площадке с лестницею вниз – про эту лестницу я и не знал; и сразу понятно стало, что именно здесь, за этой высокой, молчаливой дверью, находится больная. С отчаянной решимостью я попытался открыть дверь, но она не подавалась – так я и остался на пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Постучать? Но какое же я имею право!

Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой минутой становилась все глубже, проникала во все предметы, оковывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в широкое окно. Наконец внизу послышались чьи-то шаги, и я поспешно вернулся в библиотеку; и снова я почувствовал ту же беспокойную радость, безотчетное волнение, что и давеча. Но читать и в этот раз не мог и скоро с книгою в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собою в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего маленького защищенного крытого уголка.

Вечером по обыкновению я занимался в своей комнате, писал дневник и письма и в обычный час лег в постель, но после дневного крепкого и продолжительного сна не мог теперь уснуть и час или два лежал с открытыми глазами, с интересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому дому и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днем; за окном, слабо защищенным тонкой белой занавеской, смутно белела ночь, – по-видимому, была луна за облаками и лила свой призрачный, рассеянный свет. Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто – то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске.

Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в

нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две стены здания и окна были довольно низко над землей: ничего не стоило, поднявшись на носки или просто будучи высокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом», – подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавеску... Да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу – та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица.

– Что вам надо? – негромко спросил я, забывая, что сквозь двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен.

И действительно, ответа не последовало, и так же неподвижно и прямо смотрело на меня темное лицо. «Ну погоди же, – подумал я сердито. – Я тебя поймаю!» Но не успел я повернуться от окна, как он уже начал отходить – медленно, не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профилем. Я успел еще заметить, что плечи его прямые и необыкновенно широкие и что на голове у него невысокий котелок, но вообще в нем не было ничего необыкновенного и странного – разве только загадочность появления среди ночи под чужим окном. На всякий случай я решил выйти наружу и посмотреть, но, пока я одевался, решение мое ослабело, и я

остался, думая с притворным равнодушием: «Завтра узнаю, в чем дело».

Утром я расспросил прислугу и домашних: оказалось, никто в течение ночи не приезжал, никого не видали, кто был бы похож на моего незнакомца. При расспросах моих дворник держался очень просто и спокойно, но молодой бритый лакей Иван выразил, как мне показалось, смущение и некоторую тревогу; еще раз заставив повторить рассказ о появлении незнакомца и под конец сразу успокоившись, решительно заявил, что все это мне только показалось. Как я узнал впоследствии, в доме многие боялись призрака, но все почему-то были убеждены, что таким призраком является утонувшая когда-то Елена. Впрочем, страх этот, неглубокий и несерьезный, носил все признаки тех поверий, что рождаются в несчастных домах, возбуждающих мнительность и любопытство.

Ничего не добившись, я пошел заглянуть на мое окно, в надежде, что оно может дать мне какую-то разгадку случившегося, – но то, что я увидел и заметил, меня крайне смутило и как-то неприятно взволновало. Под окном не было никаких следов – это первое, что бросилось мне в глаза; далее, я, видимо, ошибался в высоте окна, считая ее не превышающей обычного человеческого роста: в действительности я едва доставал подоконник кончиками пальцев, хотя рост имею выше среднего. Это обстоятельство имело для меня особую важность, так как вчерашний незнакомец возвышал-

ся над подоконником по грудь, другими словами: либо он был человеком чрезмерно, даже неестественно высокого роста, либо висел в воздухе, как... галлюцинация. Да, галлюцинация – вот что я подумал в конце моих наблюдений и вот что так неприятно меня взволновало.

И объяснение это было довольно правдоподобное: то напряженное внимание и беспокойство, с которым я приглядывался к незнакомому дому, ожидая от него таинственных и мрачных чудес, пошатнули-таки мою нервную систему и подарили меня чудом, естественным, которое осталось на долю нашего скептического и образованного века. Да, несомненно, это была галлюцинация... если только это не был случайный прохожий, или какой-нибудь безумец, или... Но как же тогда следы? Но если это действительно галлюцинация, то почему же я чувствую себя таким здоровым, крепким, несколько не нервным, все предметы вижу с полной отчетливостью и соображаю ясно и точно? И почему моя тревога и нервность выродились именно в эту фигуру, правда, довольно мрачную, но простую и обыденную и никакого отношения к моим догадкам не имеющую? Как и многие в доме, я скорее ожидал бы увидеть *Елену*, но этот молчаливый господин в котелке – какое мне дело до его котелка!

Так я и не решил вопроса, но и без всякого решения успокоился легко и быстро: чувство здоровья давало мне уверенность, что ничего серьезного быть не может, с какой стороны ни подходить к явлению. По обычной колее прошел день, а

к вечеру приехал из города Норден и привез новые ноты какого-то развеселого и модного танца. И после обеда играла наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в незнакомых нотах, а дети танцевали, и мисс Молль кружилась, как цирковая лошадь на арене, а сам Норден раза два прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора и комически утрируя их. Все очень смеялись, и когда слезающимися от смеха глазами я взглянул в окно, мне показалось, что там кто-то стоит. Сразу опомнившись, я внимательнее взгляделся: было темно и пусто за окном, да и никого там не могло быть, и все это были пустяки. Но уже забеспокоился Норден:

– Отчего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нравится наш новый танец? Этого не может быть, что бы вам не нравилось, – я буду жаловаться мисс Молль, и она вас накажет, как дурного мальчика. А! Вы уже испугались.

Показывая на меня, он по-английски сказал что-то мисс Молль, и заставил ее смеяться и покачивать головой, и, наконец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шутливо, в виде наказания, ударить ее рукою по моей руке. Но и этого показалось мало: резвясь, как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что делать и что мне говорить: было и стыдно и противно, а то, что это только шутка, совершенно связывало меня и делало неммым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо

лакея Ивана, а через минуту и он, во фраке, как был, и в белых перчатках, также стоял на коленях и просил меня танцевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем ступенькам, что такими безмолвными видел я вчера, и становилось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал, а танцуя и кружась перед темными бесчисленными, как казалось, окнами, странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением: где я? что со мною?

Долго еще не мог успокоиться Норден и, когда дети уже ушли спать, все еще держал меня в столовой и по мелочам перебирал все воспоминания вечера: как кружилась мисс Молль и как вертелся Володя, как это было смешно, когда они все встали на колени упрашивать меня. И, доверчиво касаясь моего колена своею выхоленной барской рукою, близко склонив ко мне свое лицо, которого я до сих пор не успел ни рассмотреть, ни запомнить, он говорил задушевно:

– Нет, вы подумайте, как это хорошо, как это приятно, как это, наконец, культурно! Да, культурно. Мы живем в глуши, в деревне, вокруг нас сейчас на десять километров нет ни единого огонька, а в ту сторону – он протянул руку по направлению к морю, – может быть, и на сотни километров, и что же мы делаем, однако! Мы смеемся. И еще что мы делаем! Мы танцуем! Мои друзья в Петербурге спрашивают меня, как я могу жить в таком уединении и не скучать? Да, но если б они видели наш сегодняшний день!

Он расхохотался и, трепля меня рукою по колену, хохотал очень долго, что-то очень долго, невыносимо долго. И пошел радоваться дальше:

– Да, если б они видели – они все бы приехали сюда, чтобы танцевать с нами! Но позвольте: почему же нам этого не устроить? Да, да, вот мысль! Вот блестящая мысль!

Он в волнении заходил по комнате, утрированно изображая человека, осененного гениальной мыслью: прижимал пальцы ко лбу, разводил руками, поднимал кверху глаза.

– А сегодня ночью...

Но он перебил меня:

– Да, да, конечно: мы позовем пятьдесят, сто человек, и мы все будем танцевать, и это будет так весело, так культурно!..

– А сегодня ночью...

Норден быстро обернулся и продолжительно, не улыбаясь, посмотрел на меня. И пока он молчал, я чувствовал, что не в силах произнести слово, – точно замок железный повис у меня на губах.

– Вы хотели сказать?.. – вежливо наклонился он в мою сторону.

Но я уже ничего не хотел сказать и ничего не сказал.

Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко, точно провалился в яму, набитую доверху черным пухом, и спал приблизительно до двух или трех часов, когда кто-то разбудил меня громко прозвучавшими словами: пора вставать!

Голос был так громок, что я даже привстал на постели, – но было в комнатке пусто и тихо, и дверь заперта, и я сразу понял, что это один из тех обманов слуха, что бывают у спящих. И уже повернувшись на правый бок, чтобы спать дальше, я вдруг вспомнил смутную тень за окном... Да, за окном по-вчерашнему стоял кто-то.

Это был он. Я погрозил ему пальцем, но, как и вчера, он ничего не ответил и продолжал стоять неподвижно. Теперь я ясно увидел, что он действительно обладает чрезвычайно и даже неестественно высоким ростом и стоит на земле; и, вместо того чтобы испугать, это как-то странно успокоило меня. И опять я подумал, что надо выйти во двор и поймать его, и опять при этой мысли, точно услышав ее, он повернулся от окна и не торопясь пошел вдоль дома. Одеваться? – Нет, не стоит, все равно не успею.

«Если только это... если только это, то, пожалуй, это уж и не так страшно!» – подумал я, укрываясь одеялом, почти веселый от сознания, что на сегодня все кончилось.

Но руки мои и ноги были так холодны, что прикосновение одной ноги к другой причиняло почти боль: казалось, что это не мои, а чьи-то другие, ледяные ноги лежат под одеялом. И понемногу я весь начал дрожать мелкой дрожью, как от лихорадочного озноба.

В следующую затем ночь, седьмого декабря, я лег спать одетый, с твердой решимостью настичь незнакомца, схватить его за шиворот и так или иначе добиться разрешения неприятной и странной загадки. Чувства страха я не испытывал, но вполне естественное раздражение и даже гнев не дали мне уснуть; однако ожидание мое было бесплодно, и ни единая тень, ни единый звук не нарушили ночного молчания и пустоты за окном. Так же спокойно прошли следующие две ночи: никто не являлся, и с необыкновенной легкостью, удивительной при данных обстоятельствах, я почти совсем забыл о своем странном посетителе; редкие попытки вспомнить создавали почти болезненное чувство – так упорно отказывалась память вызывать неприятные для нее и тяжелые образы. И сон у меня после той ночи снова стал крепкий и спокойный, как всегда.

В субботу (Нордена снова не было: он уехал в город) я весь вечер сидел в его прекрасной библиотеке, рассматривал заграничные, весьма ценные художественные альбомы и с некоторой грустью размышлял о том, что мое эстетическое развитие не стоит на должной высоте. Задумавшись о способах и средствах, как устранить этот недостаток, я забыл о времени, и когда заглянул на библиотечные, без боя, часы, было уже начало двенадцатого, а ложился я в постель редко

после одиннадцати. Я заторопился и, собирая свои листочки с заметками, равнодушно и случайно заглянул в темное окно: там, возвышаясь по грудь над подоконником, стоял он и смотрел в комнату. От неожиданности я выронил заметки и, нагнувшись, стал собирать их с ковра – не без надежды, что, когда я снова взгляну в окно, его там уже не будет... Однако надежда моя не оправдалась.

Теперь при свете лампы, падавшем в окно, я смог довольно хорошо рассмотреть его лицо: спокойное и даже равнодушное, само по себе оно не было страшно. На вид ему было лет тридцать пять, черты лица крупные и правильные, ни бороды, ни усов, – лицо даже лоснилось, как будто от тщательного и недавнего бритья; только одного я не мог рассмотреть – его глаз. Они были освещены, как и все, и я их видел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный прямо на меня. Что было в этом взгляде, я не умею сказать: он был прям, неподвижен и давал ощущение почти физического прикосновения; и впечатление от него было ужасно. Сколько времени он стоял здесь и так смотрел на меня? Эта мысль почему-то подействовала на мое самолюбие и вернула мне силы: он показался мне просто наглым негодяем, и, сделав шаг к окну, я что-то угрожающе крикнул. И как тогда, у окна моей комнаты, он медленно повернулся и отошел, сразу пропав в темноте ночи.

Я засмеялся и, возбужденно ходя по комнате, несколько раз громко повторил:

– Какой негодяй! Нет, только подумать, какой негодяй!

Продолжая возмущаться все более и более, я уже решил, несмотря на поздний час, разбудить лакея Ивана и работников и идти обыскивать сад, когда одна простая мысль уничтожила и ярость мою, и эти нелепые планы: я вдруг вспомнил, что библиотека, а следовательно, и окна ее находятся во втором этаже дома!

Этот вечер – в субботу, в библиотеке – стал началом дикого, лишённого цели и смысла, но упорного и систематического преследования. Я не могу точно восстановить в памяти ни дней, ни чисел, но знаю, что была известная последовательность и даже осторожность в том, как он медленно и постепенно приближался ко мне, завладевал все новыми окнами и часами, как бы окружал меня своим странным и упорным вездесущием. Недели полторы он приходил только ночью, потом вечером, потом в сумерки, – вернее сказать, начиная с сумерек, так как одним посещением в сутки он уже не ограничивался.

Да и можно ли было называть посещением эти внезапные молчаливые появления то за одним окном, то за другим, к которому я переходил в стремлении избавиться от настойчивого посетителя? Помню, что однажды я быстро перешел комнату с одной ее стороны на противоположную – и меня удивило, что он уже был там, успел обогнуть большое расстояние вокруг дома и уже снова поджидает меня.

По-видимому, никто из домашних ничего не подозревал,

и жизнь текла по-обычному, холодно и печально, в глухом молчании и покое, лишь изредка нарушаемом судорогами нелепого норденовского веселья. Почему в этом доме никогда громко не плакали и не капризничали дети? Только раз, возвращаясь в свою комнату после занятий с Володей, я услышал где-то близко плачущий голос самой маленькой: это было так необычно, так не в порядке дома, что я остановился и наконец открыл тихо дверь, за которой находилась девочка. К удивлению, ни мисс Молль, ни старшего ее воспитанника не было, комната была пуста, и в углу, лицом к стене, стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голосом шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подогнув тряпичатые ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом, а другую ручонку самая маленькая часто подносила к глазам и как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькая перестала шептать, но не обернулась и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом.

– Тебя наказала мисс Молль? – спросил я девочку, наклонившись, но не смея повернуть ее к себе лицом: так почему-то неприкосновенна и страшна показалась мне печаль самой маленькой. Три или четыре раза я должен был повторить вопрос, пока не услышал тихого ответа:

– Нет. Я сама.

– Хочешь пойти ко мне на руки? Я поношу тебя по ком-

нате.

Ответа не было, но кукла снова медленно сползла на пол, и вся фигура девочки, ее узенькие и круглые плечики, завиточки русых волос на затылке выразили колебание; и я уже протянул руки, когда где-то через комнату послышался громкий смех самого Нордена. Я оставил девочку и быстро вышел, решив как можно скорее объясниться с Норденом и уехать.

Конечно, мне следовало уехать, и все доводы рассудка говорили за то, что отъезд должен быть поспешным, даже немедленным, быть может, в этот же самый день, в ту же минуту, как только явилась спасительная мысль. Но что-то сильнейшее, чем рассудок с его скучным и вялым голосом, приковывало меня к месту, направляло волю и все глубже вводило в круг таинственных и мрачных переживаний: у печали и страха есть свое очарование, и власть темных сил велика над душой одинокою, не знавшей радости. Не знаю, думал ли я так или отыскивал какие-нибудь лживые предлоги, но только почти без колебаний отбросил мысль об отъезде и остался для новых страданий.

Возможно, что отчасти меня удержали наступившие прекрасные погожие дни, полные солнца и тишины. Ночные морозные туманы опушали инеем деревья, проволоку мимо проходившего телеграфа, каждую тонкую веточку и прутик превращали в белый мохнатый отросток какого-то невиданного красивого растения. Поредевший за осень сад снова стал непроницаем, словно покрылся новой, белой листвою; и тени на ветвях были так слабы, что дальние и ближние деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось, что никогда ослепленные глаза не разберутся в этой серебристой, неподвижной, застывшей путанице. Но вот посмот-

ришь еще – и вдруг все отделилось, каждая веточка плавает в море голубого воздуха, и среди белых, толстых, пушистых ветвей одного дерева воздуха так много, как во всем мире. Это было прекрасно и необыкновенно, а когда еще солнечные желтовато-розовые лучи вмешивались в неподвижную игру, тихо гасли, и вспыхивали, и терялись где-то в отдаленнейших переходах инея, глазам и душе становилось даже больно от красоты.

Во все эти дни он не появлялся, сам Норден с его смехом и анекдотами находился в городе, а без него некому было шуметь – и чувство тишины было так сильно, как будто во всем мире прекратились внезапно всякое волнение, крик и голоса. И в эти тихие и счастливые часы я совсем забывал об ужасах часов ночных, когда земля также переставала быть той, какой я всегда знал ее, когда также царила *тишина*. И каждое утро я надевал лыжи и шел на берег застывшего моря, к могильному холму, и смотрел на большие и глубокие буквы, выведенные в снегу и обозначающие чистое имя: *Елена*.

А возвращаясь к дому, я вежливо, но неотступно смотрел в окна, за которыми жила и томила невидимая госпожа Норден, в надежде хоть мельком увидеть явившееся однажды молодое и бледное лицо. Но никто не показывался у окна, и можно было подумать, что там нет живых и что совсем нет на свете никакой госпожи Норден, странной женщины с бледным лицом, о которой никто не говорит, – как нет на свете Елены. О ней не говорят, но ежедневно к ней во-

дят детей, и редко – правда, очень редко – я слышу из своей комнаты, как в людской раздается нерешительный и слабый звонок, повторяемый трижды и не похожий ни на чьи другие звонки: это зовет она. И мне странно подумать, что дверь к ней открывается, как всякая другая дверь, и навстречу горничной поднимается кто-то, кто есть она, что-то говорит тихим голосом, о чем-то просит, показывает ей свое бледное лицо. А горничная равнодушна, называет ее «барыня» и ничего не может рассказать о ней – или не хочет?

Числа пятнадцатого декабря вернулся из города Норден, а вскоре затем круто изменилась погода, потемнели дни, повалил густой и словно серый снег и покрыл холодной и плотной пеленой начертанное имя *Елена*. И вместе с дурной погодой вернулся он, и в новую фазу вступили мои отношения с невыносимым посетителем.

Девятнадцатого декабря, в воскресенье, после завтрака, когда все разошлись из столовой, я стоял с Володей у окна и смотрел в сад на падающий снег, когда появился *он*. Это было первый раз, когда он пришел днем и при посторонних. Стоял *он* в каких-нибудь двух шагах от стекла, и на черном котелке его и на плечах белел снег; я ясно видел две-три снежные звездочки, которые тихо прилегли на темное платье и спокойно остались там. Но главное внимание мое обратил на себя Володя: его глаза сузились, и взор приобрел ту определенность, какую дает рассматривание близкого предмета; несомненно, Володя видел то же, что и я. Более того,

когда незнакомец через несколько секунд повернулся и стал уходить, Володя даже шагнул вперед, чтобы дольше видеть. Очень взволнованный, я повернул к себе мальчика и строго спросил:

– Вы видели *его*?

И он спокойно, как взрослый, солгал:

– Я не понимаю, про кого вы спрашиваете, и я не вижу ничего, кроме падающего снега. А разве вы видите что-нибудь еще?

– Да.

– Что же вы видите еще?

Я знал, что он будет лгать до конца, и бросил попытку узнать что-нибудь через него. А на другой день точь-в-точь повторился такой же случай, только стоял я у окна не с Володей, а с его не менее лживым родителем, и так же, постояв несколько секунд на полном виду, отошел *он* и скрылся за углом. И так же следил за ним глазами г. Норден.

– Каково? – сказал я и с некоторым усилием засмеялся.

– Я очень рад, что вы наконец развеселились, но в чем дело? – с видом искреннего удивления спросил меня Норден и осторожно коснулся рукой моего плеча.

Но ведь он же видел, видел, я это знаю!

– Вы видели?

– Нет.

– Нет, это неправда, самая форма вашего ответа показывает, что вы видели. Что это значит?

Он смотрел на меня пристально и без улыбки. Охваченный чувством ужасающей беспомощности, почти отчаяния, я глупо крикнул:

– Я буду жаловаться!

– Жаловаться?

И, конечно, он немедленно воспользовался моей ребяческой выходкой. Выражение лица его внезапно изменилось, стало внимательным и до приторности любезным; чуть не обнимая меня, – казалось, еще минута, и он осыплет меня поцелуями, – Норден забросал меня вопросами о причинах моего недовольства.

– Вас кто-нибудь оскорбил, быть может, прислуга? Но я не могу допустить этого в моем доме! Назовите имя виновного, и я немедленно... о, в этих случаях быть строгим даже культурно! Нет? Но тогда вы, вероятно, скучаете, – да, да, не отпирайтесь, я догадываюсь. Когда-то я также был молод... Ах, молодость, молодость!

Он еще долго болтал, и трудно было понять, насмехается ли он явно надо мною или же и сам хочет избавиться от беспокойства, – настойчивые просьбы быть веселым и сейчас, немедленно, начать смеяться временами переходили почти в угрозу. Кончилось все планом колоссально интересной, колоссально веселой елки, которую мы с завтрашнего же утра начнем готовить; сейчас же он закажет дерево – особенное, колоссальное дерево, сейчас же составит список покупок, сейчас же кто-то поедет в город...

Так нелепо кончился наш разговор. И последующие затем дни, наряду с мраком, сгущавшимся над моей душой, запестрели проблесками какой-то искусственно веселой суеты, крикливой и шумной работы над ненужным, шуток, которые никого не веселят, громкого смеха, похожего на треск раздираемых в отчаянии одежд. Принесли дерево, действительно очень большую ель, наполнившую комнату пряным, смолистым, немного похоронным запахом хвои, чадили восковые свечи, которые то зажигались для опыта, то тушились; и я с мисс Молль и детьми что-то навешивал, лазал по лестнице, которую держал сам Норден, и раскидывал по колючим, неподатливым ветвям серебристые нити. Потом танцевали, исполняли какие-то замысловатые обряды и хоровые песни, и снова играла нам невидимая музыкантша.

А ночью происходило следующее. Разговор с Норденом, вернее, моя собственная глупость, так возмутили меня, что я тут же решил, с новым приливом сил, не оставлять дела так, сделать что-то твердое и решительное. И снова, как в ту ночь, я лег спать в постель не раздеваясь и нетерпеливо ждал минуты, когда за пологом окна я почувствую его присутствие: в этот раз, сгорая от невыносимого возбуждения, я сам готов был позвать своего странного и беспощадного преследователя. Но *он* медлил, и было уже около часа ночи, когда обычное, никогда не обманывавшее меня чувство показало мне, что *он* тут. Я быстро подошел к окну и отдернул занавеску: да, здесь. С ненавистью и гневом я окинул взглядом темный

силуэт с широкими плечами и головой, казавшейся во тьме почему-то маленькой, погрозил пальцем и повернулся, чтобы идти, – и *он* также повернулся от окна. Шагая быстро, но осторожно и без шума, я прошел ощупью две темные комнаты, пока сильный запах меха не показал мне, что я уже в прихожей; тут я зажег спичку, тотчас же погасшую, и открыл дверь в холодный стеклянный фонарь, отделявший прихожую от наружной двери. Железный засов был холоден и обжигал руки; в темноте, не имея возможности зажечь спичку, я довольно долго возился с ним, наконец распахнул дверь и решительно шагнул в темноту – и почти столкнулся с *ним*. Он стоял на занесенной снегом небольшой каменной площадке всего в одном шаге от меня, был неподвижен и молчал. Темное лицо его было обращено ко мне. Ростом он был немного выше меня. Не знаю, сколько времени стояли мы так друг против друга; он не делал попыток войти, не двигался, но с каждым мгновением мне становилось все страшнее, – и, тихонько шагнув назад, я стал медленно, с какой-то бессмысленной, но казавшейся мне необходимой вежливостью закрывать дверь. Когда я, закрыв дверь, поспешно задвигал засов, мне почудилось, что *он* слабо тянет ручку двери к себе, но, несомненно, это было только воображение.

В темной прихожей было тепло и уютно и опять сильно пахло мехом от зимних одежд. Дрожа, я отправился в свою комнату.

Тогда меня еще не покинул разум; и наутро, после долгой и бессмысленной ночи, я отдался размышлениям о происходящих событиях. Помню хорошо, что в то утро я был очень серьезен, очень спокоен, и голова у меня была свежа, как у всякого другого, совершенно здорового и ничем не напуганного человека. Чтобы ничто не мешало размышлениям, я, под предлогом легкого нездоровья, отказался участвовать в дальнейшем, еще не законченном убранстве елки и пошел пройтись по широкой, накатанной дороге, ведущей к станции. День был морозный и хмурый.

Из книг и рассказов старых людей я знал, как и всякий знает, что людей одиноких, несчастных, потрясенных внезапным горем или совершивших преступление посещают фантастические видения. Но я не совершал преступления, и не было у меня такого горя, и, что самое главное, непонятное, бессмысленное и нелепое: и никакой вообще связи с *моей жизнью* не имел и не мог иметь этот уличный и в то же время необыкновенный господин в котелке, летающий по воздуху, сторожащий меня у окон, полюболивший меня такой привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня? Я только репетитор в этом доме, и я ничего не знаю о той печальной ошибке, горькой неправде, быть может, преступлении, тень от которого покрывала чуждых мне людей и чуж-

дое место. И я совершенно здоров, ежедневно прибавляюсь в весе, и все это так бессмысленно, что я даже не могу поехать к психиатру. Что ему надо от меня? Я только репетитор в доме.

Я несколько раз вслух – на дороге не было никого – повторил, как заклинание, эту фразу: я только репетитор в доме; и она была настолько убедительна и ясна, что на мгновение даже явилось желание поговорить с призраком и объяснить ему, что он ошибается, что я – только репетитор в доме. Но разве с призраками говорят, разве им доказывают что-нибудь? Бессмыслица, бессмыслица!

И снова я шагал по дороге и напряженно размышлял, пока не заметил, что мысли мои повторяются, двигаясь в одном и том же порядке, что я мыслю по кругу, соответствующему бегу цирковой лошади, и что круг замыкается в одном и том же месте, одним и тем же словом: бессмыслица. Надо сойти с круга, надо думать как-то иначе, но как? – я не знаю. А круг повторялся снова, я уже не шел, а бежал по замкнутой линии, возвращаясь, устремляясь вперед, теряя надежду и силы; и тогда мне стало нестерпимо страшно. Не от призрака, нет, он как-то потерял значительность, а от того, что делается и что *может* делаться в бедной человеческой голове. Помню, что я чуть не закричал и, повернувшись, быстро зашагал домой: даже *это* казалось домом рядом с призраком пустоты, явившимся сознанию.

И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно;

и что было совсем радостно и заставило меня смеяться: без меня приехали приглашенные на Рождество два студента, племянники Нордена, очень милые и очень вежливые молодые люди, очень похожие друг на друга. Вместе с самим Норденом они возились около елки, кончая ее убранство, и тут же были дети, а вверху звучала музыка, в этот раз также показавшаяся мне непритворно-веселой, – играла невидимая г-жа Норден новые танцы, привезенные студентами. Помню, что со студентами я ходил гулять, потом за обедом мы пили вино и чему-то очень много смеялись, а вечером уже совсем по-настоящему танцевали, так как приехала какая-то толстая дама с двумя дочерьми, молоденькими девушками, очень веселыми и любезными. Забегая несколько вперед, упомяну, что в последующие дни приехало еще много гостей, приглашенных на Рождество, очень милых и приветливых людей, и мне даже странным показалось, как мог наш дом, хотя и большой, вместить такое количество людей, исчезавших к ночи по своим комнатам. Кто они были, я, собственно, не знаю; и еще я должен указать на некоторый курьез памяти: я не помню ни одного лица, ни старого, ни молодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские, черные и цветные, очень ясно вижу до сих пор даже один генеральский мундир, но над ним настолько бессилен вызвать памятью хоть какое-нибудь лицо, словно это не было настоящим и живым, а только вывеской у военного портного.

Возвращаюсь к тому дню, когда приехали студенты и тол-

стая дама с двумя дочерьми. После вина и танцев, в которых я принимал самое оживленное участие и всех смешил своей неловкостью, у меня сильно кружилась голова; и, придя в свою комнату, когда все разошлись, я, не раздеваясь, бросился на постель и тотчас же уснул. Проснулся я часа через два или три среди глубокой ночи: томила жажда и что-то еще другое, беспокойное и повелительное, звало меня проснуться и встать; было мертвенно-тихо в спящем доме, и за окном, у которого я забыл задернуть занавеску, стоял *он*. Помню, что я еще пожал плечами и не торопясь, но в то же время не сводя глаз с окна, налил один за другим два стакана воды и выпил. Но *он* не уходил. И, уже леденея от холода, словно открылось окно наружу, в мороз и тьму зимней ночи, совсем позабыв о недавнем вечере с его танцами и музыкой, весь отдаваясь чувству дикой покорности и тоски, я медленно показал *ему* рукой на дверь и по-вчерашнему, в темноте, направился к выходу. И опять по-вчерашнему пахло мехом в передней, и был холоден железный засов, долго не поддававшийся усилиям моих дрожащих слегка рук; и снова, как вчера, уже стоял на площадке *он* и молча ждал. Я также молчал и ждал, очень внимательно почему-то прислушиваясь к далекому и одинокому лаю собаки, единственному живому звуку, нарушавшему безмолвие ночи; не знаю, сколько прошло времени, когда *он* вдруг шагнул в дверь, сильно толкнув меня плечом. Я последовал за ним и еще видел, когда *он* открывал дверь из передней в комнаты, его темный силу-

эт, мелькнувший на фоне далекого окна; и меня несколько не удивило, что *он* вошел в мою комнату – именно в мою комнату. Вошел и я, по привычке закрыв за собой дверь, но дальше порога не двинулся: было очень темно, я не знал, где *он*, и мог на него наткнуться. Только спустя некоторое, довольно долгое время, когда глаза мои освоились с полумраком комнаты, я увидел темное, высокое неподвижное пятно у стены; если бы я не знал, что в этом месте стена пуста, я мог бы принять это пятно за какую-то мебель или грудку висящего платья. Дыхания не было слышно.

Времени прошло так много и неподвижность *его* была так ненарушима, что я начал сомневаться, и, сделав шаг вперед, далеко протянутой рукой осторожно коснулся пятна: на мгновение мои пальцы ощутили прикосновение к материи и чему-то за ней твердому, плечу или руке. Я отдернул пальцы и опять долго стоял, не зная, что я должен делать дальше; наконец я пересилил сухость в горле и громко, хотя и хриплым голосом, сказал:

– Что вам надо? Я только репетитор в доме.

Но *он* молчал, и мне стало смешно, что я сказал ему «вы». Но все же я понял из его молчания, что мне надо ложиться в постель; и я сделал это, медленно и по порядку раздевшись под его невидимым в темноте, но угадываемым взглядом, – сидел я на своей кровати, сильно скрипевшей при моих движениях, что меня почему-то очень смущало. И уже ложась под холодное одеяло, я еще подумал, что не выставил

за дверь ботинок, но решил: теперь все равно. Лег я навзничь, лицом вверх, иначе казалось невежливым; и в ту же минуту *он* сел – осторожно подвинув меня к стене – на край постели и положил свою руку мне на голову.

Она была умеренно холодна и очень тяжела, и от нее исходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раздумал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосновения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я почувствовал, что я засыпаю, но странно: сон и тоска не боролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и от головы медленно разливались по всему телу, проникали в самую глубину тела, становились моей кровью, моими пальцами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и сон дошли до сердца и залили его, но дальше все: и сознание, и страх, и отрывочные мысли о происходящем – все погасло в чувстве единой и все исчерпывающей, все покрывающей тоски. Погасли все образы, все мысли и воспоминания, и отошла молодость; погасли все желания, сама жизнь погасла, и было душе так больно, такая тоска овладела ею, для какой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова. Уже стало совсем неинтересно, что возле сидит *он* и держит на голове свою страшную руку; и медленно, тоскуя смертельно, тоскуя неподвижно, тоскуя вне всяких пределов,

какие полагает ограниченная действительность, – медленно я погрузился в сон без сновидений.

Утром я проснулся в свое обычное время. Комната была пуста, и все было на своем месте, как всегда. В окно светило красноватое, морозное солнце; чувствовал я себя ни плохо, ни хорошо, а как-то пусто и плоско, и в зеркале, одеваясь, увидел свое обычное, нисколько не изменившееся лицо – серое и некрасивое лицо часто голодавшего человека, которого никто не ласкает. И все было как обычно, как всегда, но одно я знал твердо: что-то изменилось в мире, и прежнего, еще вчерашнего мира нет и больше никогда не будет. Тут же, еще не выходя из комнаты, я сделал одно интересное и как-то тускло меня порадовавшее наблюдение: от недавнего страха перед загадочным призраком, терзавшего меня все это время, не осталось и следа. А выйдя в столовую, где уже собрались гости и Норден рассказывал при общем смехе свои анекдоты, я почувствовал непреодолимое отвращение ко всем этим людям. Настолько было велико отвращение, что, здороваясь, при каждом новом рукопожатии я испытывал чисто физическое ощущение томительной, подступающей к горлу тошноты. Правда, в течение шумного и разнообразного дня чувство отвращения сгладилось, почти исчезло, но каждое следующее утро начиналось для меня томительной тошнотой, идущей за каждым крепким пожатием незнакомой руки.

В то же утро, возвратившись с прогулки, во время которой все мы под предводительством господина Нордена играли в снежки, я ушел на несколько минут в свою комнату и написал письмо товарищу-студенту, жившему в городе. Друзей в жизни у меня не было, и этот студент не был моим другом, но относился он ко мне лучше других, был добрый и хороший человек, всегда готовый помочь. Смысл письма и чувство, с которым я писал его, было то, что я нахожусь в ужасной опасности и он должен приехать и спасти меня; но выражено все это было в очень вялой форме, звучало скукой, почти равнодушием и едва ли достигло бы цели, пошли я письмо. Но почему-то я даже не послал его, и уже долго спустя, после выздоровления, я нашел его в кармане тужурки запечатанным и без адреса. Может быть, я тогда забыл адрес? – не знаю. Даты на письме нет; и вот что в нем написано: «Дорогой М. И., если вы не очень заняты, то приезжайте сюда. Здесь что-то происходит, и меня надо взять». И подпись.

И вообще надо думать, что с этого именно дня у меня началось то странное ослабление памяти, а временами почти полная потеря ее, вследствие которой на весь последний период моей жизни у Нордена ложится налет отрывочности и беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица многочисленных гостей Нордена и вижу только платья без

голов: как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и за- танцевал платяной шкаф; но должен добавить, что и речей я не помню, ни одного слова, хотя знаю твердо, что все, и я с ними, очень много говорили, шутили и смеялись. Совершенно не помню я чисел и до сих пор не знаю, сколько времени, сколько дней и ночей прошло до того момента, как я покинул дом, – и иногда мне кажется, что прошло не менее нескольких недель, а иногда – что все совершилось в два- три дня. И в то же время я с величайшей ясностью помню отдельные мелочи, многие свои тогдашние мысли и чувства и храню ощущение от того периода не беспамятства, а, наоборот, памяти твердой и сознания вполне ясного, как будто только теперь, после болезни, я забыл, что происходило, а тогда помнил все и все сознавал.

Так, первое, чего и нельзя забыть, я помню те ночные часы, когда приходил *он* и клал мне на голову свою холодную и тяжелую руку. Эти посещения стали как бы порядком моей жизни и каждый раз происходили при одних и тех же обстоятельствах: с вечера, когда гости расходились по своим комнатам, я одетый бросался в постель и несколько часов спал; потом в темноте шел в прихожую, открывал наружную дверь и впускал *его*, уже стоявшего на площадке. Потом мы шли в мою комнату, я раздевался и ложился навзничь под холодное одеяло, а *он* садился возле и клал мне на голову свою руку. И от руки исходили сон и тоска – сон и тоска. Страх перед незнакомцем совершенно исчез; правда, я никогда не пытал-

ся сам коснуться его или заговорить, но это не от страха, а от какого-то чувства ненужности всяких слов; и все делалось по виду так спокойно и просто, словно *он* не был величайшим злом и смертью моею, а простым, аккуратным, молчаливым врачом, ежедневно посещающим такого же аккуратного и молчаливого пациента. Но тоска была ужасна.

А потом начиналось короткое утро, лишенное света, и долгий, шумный, беспорядочный и, по-видимому, веселый вечер – очень быстро, одно за другим. Не знаю, что сделали без меня с елкой, но с каждым вечером она горела все ярче и ярче, заливала светом потолок и стены, бросала в окна целые снопы ослепительного огня. И целый день с утра до ночи раздавался непрерывный смех Нордена и его приглашающий возглас:

– Танцирен! Танцирен!

Я не помню других голосов, но этот крик до сих пор стоит у меня в ушах, преследует меня во сне, врывается в глубину моих мыслей и разгоняет их. Покрывая музыку, смех, топот ног, весь тот шум, который производят люди, собравшиеся для веселья, резкий, как голос попугая, он звучал во всех углах и становился невыносим. И иногда Норден кричал весело и шутливо, но часто – как мне помнится – голос становился хриплым, почти угрожающим; казалось порою, что и сам он устал, но уже не может остановиться и кричит с угрозой, почти со слезами:

– Танцирен! Танцирен!

Один такой случай я хорошо помню. Не знаю, почему вдруг смолкла музыка наверху и наступила тишина, необычайная для этого времени; не знаю, не обратил внимания, вероятно, что делали гости, собравшись у стены, залитой светом елки. Помню только самого Нордена. Вероятно, он был пьян, потому что и борода его, и волосы были в беспорядке, и выражение лица у него было дикое и странное. Он стоял посередине комнаты и, потрясая кулаками, яростно вопил:

– Танцирен!

И кому-то грозил. Дальше была снова музыка и танцы; и в этот, кажется, вечер, именно в этот, состоялся тот самый большой, даже грандиозный бал, от которого у меня в памяти сохранился образ множества движущихся людей и необыкновенно яркого света, похожего на свет пожара или тысячи смоляных бочек. Положительно невозможно, чтобы на балу присутствовали только обычные гости Нордена: людей было так много, что, вероятно, были и другие, только на этот вечер приглашенные гости, потом разъехавшиеся. И с этим же вечером у меня связано очень странное чувство – чувство близости *Елены*: словно и она присутствовала на балу. Очень возможно, что в саду и на дворе действительно горели смоляные бочки и что я случайно или умышленно пробрался к тому месту берега, где стояла занесенная снегом пирамида, и долго думал там о Елене, но в тогдашнем состоянии моем вообразил себе иное – другого объяснения я не могу найти. Но это только объяснение, чувство же близости

сти *Елены* было и остается до сих пор таким убедительным и несомненным, что всю правду я невольно приписываю ему; я помню даже те два стула, на которых мы сидели рядом и разговаривали, помню ощущение разговора и ее лица... но тут все кончается, и теперь мне кажется минутами: стоит мне сделать какое-то усилие над памятью – и я увижу ее лицо, услышу слова, наконец пойму то важное, что тогда происходило вокруг меня, но нет – я не могу, да и не хочу почему-то сделать это усилие. Пусть лучше будет так, как оно есть. Потом *Елена* ушла и больше уже не возвращалась.

Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в памяти одно: будто я оказываюсь невольным и слепым свидетелем каких-то огромных и чрезвычайно важных событий, совершающихся возле меня, какой-то огромной мучительной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ. Свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались, борясь, эти существа, колыхался так сильно, размахи были так широки и властны, что и меня захватило в круговорот... Но не думаю, чтобы и сам Норден знал больше меня; и если он и был одним из действующих лиц, то, вероятно, не менее слепым, чем я как свидетель. Но эти чувства и догадки, ничего не объясняющие, существовали только днем, а ночью приходил *он* – и все: волнения и догадки, желания и воля – все поглощалось смертельной, ни с чем не сравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась

с ним воедино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса живого мира и нарушают цельность мучительного чувства; но тут я засыпал, тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего мира, даже от ощущения собственного тела – и оставалась только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пределы, какие полагает ограниченная действительность.

Не знаю, сколько прошло дней после необыкновенного бала, когда неумолчный крик Нордена: «Танцирен! Танцирен!» – вдруг оборвался внезапно, был поглощен хаосом каких-то других громких, беспокойных и многочисленных голосов. Так же внезапно оборвался и танец, был поглощен потоком какого-то нового движения, беспорядочного, хаотичного и печального, как печальны были голоса. Произошло это ночью, около того часа, когда должен был прийти *он*, и по характеру напоминало мне ту ноябрьскую ночь, когда была буря и с невидимой госпожой Норден случился припадок. Я проснулся и, не знаю – почему, не счел нужным выходить из комнаты; и так же равнодушно, с непонятной, но твердой уверенностью, что сегодня *он* не придет, я позволил себе раздеться и лечь в постель. Но голоса и движение по дому продолжались еще долго, и особенно настойчив был один звук: кто-то непрерывно бегал по деревянной лестнице вверх и вниз. Взбегал вверх и тотчас же, с той же стремительностью и грохотом ног по деревянной пустой настилке, сбегал вниз: и снова вверх, и снова вниз. В другое время этот бес-

покойный звук, говорящий о несчастье, показался бы мне мучительным и, конечно, не дал бы мне уснуть, но теперь я не думал о значении его и был даже рад: он давал мне эту уверенность, что, пока в доме шумят, *он* не посмеет прийти и я могу спать спокойно. И совсем равнодушно, без тоски и мыслей, как неживой, я быстро уснул, последним звуком унося в сон грохот пустых ступеней под тяжелой, беспокойной и торопливой ногой. Тогда я еще не знал, что *он* больше никогда не придет и никогда больше я не увижу широких плеч с маленькой темной головой.

Утром, когда я проснулся в обычный час, в доме было необыкновенно тихо. Обычно в этот час уже начиналась жизнь, но теперь, после беспокойной ночи, все, даже прислуга, вероятно, еще спали, и во всем доме царила необыкновенная тишина. Я оделся и вышел в столовую, и тут увидел: на том столе, где вчера мы ужинали, лежала мертвая женщина, обряженная так, как обычно обряжают покойников.

Хотя я никогда не видал госпожи Норден, но тут сразу узнал – это была она.

Не было над нею ни свечей, ни чтеца, и стояла кругом ненарушимая тишина; и от этого мне показалось в первую минуту, что никто еще в доме не знает о смерти – так одинока была она на своем ложе. Но тотчас же я понял, что все они действительно спят, и перестал думать о них. Это было не от недостатка сознания: наоборот, именно в этот час вернулось ко мне сознание более ясным, чем оно было когда-ни-

будь раньше. Нет, потому я перестал думать о людях, что они стали не нужны.

Она была молода и прекрасна. Нет, она не была прекрасна, но она была та, которую я знал всю жизнь и всю жизнь любил. И любил я ее, не зная, что люблю, и искал ее, не зная, что ищу. Мне не нужно было заходить с той стороны, чтобы увидеть маленькое темное пятнышко у глаза, милую родинку – я и так знал, что она есть. Мне не нужно было касаться ее тонких ледяных пальцев, сложенных на груди, чтобы увидеть их живыми, такими я их знал всегда, и не нужно было поднимать мертвых век, чтобы увидеть ее знакомый взгляд, живое сияние дорогих и вечно любимых глаз. Мне жаль только ее дорогих и милых пальцев, которые должны были играть веселые, незнакомые танцы, пока там, внизу, смеялся и танцевал – смеялся и танцевал несчастный Норден. Прости его, он не знал. Прости и меня, что я чертил на песке пустое имя *Елена*: я не знал тогда твоего имени – как не знаю и сейчас.

Нет, она не была прекрасна, и никто не мог бы сказать, какая она. Но она была та, которую я любил всю жизнь, не зная, что люблю. Всю жизнь я думал о других и о другом, а о ней не подумал ни разу – и оттого все мысли мои были ложью; всю жизнь я видел другие лица, слышал другие голоса, а ее никогда не видал и голоса никогда не слышал, – и оттого ненастоящими казались мне все люди. Только тебя одну я знал, и только тебя одну не видел ни разу.

Я не могу припомнить вполне точных выражений, но так

приблизительно думал я, стоя перед мертвой. Теперь я не знаю, насколько правдиво было тогдашнее чувство мое, и больше того: я не могу вспомнить отчетливо бледного лица, на которое смотрел так долго и которое – тогда – я знал так хорошо. Но я знаю, что чувство любви, внезапно открывшей свои глаза, было тогда глубоко и непостижимо, и так же глубока была начавшаяся тихо, но все растущая печаль. Кажется, я не сразу понял, что она мертва, и только постепенно, видя неподвижность трупa, ощущая пустоту и тишину мертвого дома, я начал чувствовать горькую и неутолимую печаль. Я заплакал и плакал долго, и так, продолжая плакать, плохо различая первые свои шаги, я вышел из норденовского дома.

Я вышел раздетый, только в одном сюртуке, без фуражки, но холода не почувствовал, да и день был не особенно морозный, иначе я, конечно, замерз бы в пути. На дорогу я не пошел, но, миновав сад с его глубоким снегом, выбрался на берег и оттуда дальше в море. На льду снег был почему-то не так глубок, идти было легче, и уже скоро я оказался далеко от берега, в центре пустынного, ровного и белого пространства. Плакать я перестал, ни о чем не думал и только шел, с каждым шагом точно растворяясь в пустоте белой и безграничной глади. Ни дороги, ни следа ноги, ни темного пятна не было передо мною и вокруг меня; и когда я, начиная уставать и поддаваться холоду, приостанавливался на минуту и озирался кругом – всюду было то же пустынное, ровное белое пространство, почти сама пустота, какую ее можно ви-

деть только во сне. И скоро мое движение вперед приобрело все черты долгого и однообразного сна, покорной и безнадежной борьбы с неодолимым пространством; так, вероятно, грезят измученные оглохшие лошади к концу далекого пути и те особенные люди, что ходят из конца в конец земли и тягучим ритмом своих шагов гасят сознание жизни. Время от времени слой снега утолщался, ноги вязли в глубоких сугробах, и я останавливался, минуту смотрел вокруг и говорил:

– Какое горе! Какое несчастье!

Говорил я эти слова с таким выражением, как будто убеждал кого-то, и глаза мои, которыми я смотрел на бесконечную плоскую равнину, казались мне такими же белыми, мертвыми, ничего не отражающими, как снег. Но это было еще в начале пути, когда я что-нибудь говорил, – потом я совсем умолк и двигался и останавливался молча.

Долгое время холод совсем не был замечен, и голове и груди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы отделявшего платье от тела, и просто, без боли и неприятного, стали неметь руки в локтях и ноги в коленях – трудно становилось сгибать их. Но я не думал и не понимал, что замерзаю, и все шел, внимательно разглядывая снег под ногами, и снег был все один и тот же. И сколько я ни поднимал и ни опускал ногу, снег был все один и тот же. И наступила ли ночь действительно, или мрак шел изнутри меня – все вокруг меня начало медленно и тихо темнеть, из ровно-белого превращаться в ровно серое, стало совсем не на что смотреть. А

когда совсем не на что смотреть, то это слепота: я так тогда это и понял и дальше, не знаю сколько, шел уже слепой. Момента, когда я упал и началось беспамятство, я не помню.

Больше сказать мне нечего.

Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли рыбаки: случайно я упал на ихней дороге. В больнице у меня отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах, и еще месяца два или три я был чем-то болен, долго находился в беспамятстве. У Нордена умерла жена, и он прислал денег на мое лечение. Больше о нем я ничего не слышал. Также не появлялся с той ночи *он* и, я знаю, больше никогда и не появится. Хотя, приди он теперь, я, может быть, встретил бы его с некоторым удовольствием.

Дело в том, что я почему-то умираю. Они все допрашивают меня, что со мной и почему я молчу и отчего я умираю, и эти вопросы – сейчас самое трудное для меня и тяжелое; я знаю, что они спрашивают от любви и хотят помочь мне, но я этих вопросов боюсь ужасно. Разве всегда знают люди, отчего они умирают? Мне нечего ответить, а они все спрашивают и мучают меня ужасно. Живу я сейчас с М. И. – товарищем, которому я писал, – он очень любезен и через неделю, в конце мая месяца, хочет взять меня куда-то в деревню. Это все хорошо, я ничего не возражаю, но не нужно все время спрашивать, не надо говорить так много. Как мне объяснить ему, что молчание есть естественное состояние челове-

ка, когда сам он настойчиво верит в какие-то слова, любит их ужасно.

Вчера вечером мы ездили на острова. Там очень хорошо, было много гуляющих. Вышла в море, несмотря на ночь, какая-то яхта с очень белыми парусами и долго еще виднелась на горизонте.

Да: кажется, нужно еще добавить, что я не люблю ни Елены, ни госпожи Норден и совсем не думаю о них. Теперь все.

Ослы

Новелла

1

Знаменитый Энрико Спаргетти по справедливости считался любимцем богов и людей. Сильный и прекрасный собою, он обладал чарующим голосом, несравненным *bel canto*³, и уже при первом выступлении своим затмил всех других известных певцов и получил прозвище Орфея; а к тридцати годам жизни его слава распространилась по всему Старому и Новому Свету, от солнцепламенного Рио-де-Жанейро до холодных гиперборейских стран.

Родители его были людьми простого звания и жили в бедности, но Энрико божественным даром своим приобрел неисчислимые богатства и сделался другом многих весьма высокопоставленных особ: английских пэров, немецких графов и даже тогдашнего владетельного принца Монако. И многие философы, чуждые дешевых обольщений, вступали в близость с великим певцом, стремясь разгадать тайну его необыкновенного дарования, живописцы же и скульпторы соревновались друг с другом в изображении и увековечении

³ Прекрасное пение (*ит.*).

его прекрасной головы и лица, в чертах которого явственно виделась печать избранничества. Излишне упоминать, что и женщины всего света дарили его своей благосклонностью, порой доходившей до неистовства ничем не сдерживаемой страсти; но, будучи человеком благоразумным и больше всего любя свое искусство, Энрико часто оставлял без ответа их неосторожные домогательства и сумел, наряду с турецким многоженством, сохранить всю прелесть и удобства холостой жизни. Многочисленные дети, бывшие плодом этих случайных любовных связей, не оставлялись им, однако, без попечения и богато содержались в пансионах Парижа, Лондона, Петербурга, Нью-Йорка и других городов.

В ту пору, когда подвизался Энрико Спаргетти, еще не были изобретены граммофоны, и мы не имеем возможности хотя бы отдаленно судить о свойствах и силе его голоса, но в мемуарах современников и тогдашних журналах находим многочисленные указания на то, что голос этот обладал обольстительностью, превосходившей всякое вероятие, и казался принадлежащим всемогущему чародею. Рассказывают, что тысячи собравшихся, слушая Энрико, теряли всякую волю над собою и покорно переходили, послушные чародею, от горьких слез к неудержимому смеху, от отчаяния к ослепительному восторгу и почти безумному экстазу. Первым же звуком своего голоса, возносящимся к небу на крыльях свободного вдохновения, он подчинял себе самую непокорную душу и вел за собою человека, как поводырь слепца

или магнит железные опилки; правда, многие гордецы пытались сопротивляться таинственным чарам, но еще не было случая, чтобы такое сопротивление увенчалось успехом и несчастный не становился самым горячим поклонником Энрико Спаргетти.

Так, передают, что один государственный муж, великий в своей области, создатель царств и железных легионов, но совершенно равнодушный к музыке и красоте, долго не соглашался послушать Спаргетти, уверяя, что он немедленно при первых же звуках заснет в своем кресле, как некогда засыпал под пение няньки.

– За бочонком вина и под аккомпанемент барабана – пожалуйста, я готов его послушать и даже могу и сам подтянуть, как бывало на наших студенческих пирушках; но эти трели и пиано... извините, я слишком занят! – сердито отвечал он приближенным, которые уговаривали его посетить концерт приехавшего певца.

И что же оказалось? Приглашенный в свою ложу царственной особой и не смея отказаться от приглашения, равного приказу, великий муж не только не заснул, но впал в состояние, близкое к экстазу и потере сознания. Красный от восторга, он так выразился по окончании концерта в беседе с царственной особой:

– Ваше величество! Если бы мне дать такой голос, я без единой капли крови завоевал бы и сложил к вашим стопам Францию, Австрию и Великобританию. Одним я спел бы:

марш за мной! другим я спел бы: вы мною покорены! Смирно! – и дело было бы в шляпе с позволения вашего величества. Должен сознаться, что это сильнее штыка и даже – сильнее пушки!

А Энрико, награжденный высоким знаком отличия, поехал дальше, всюду сея очарование и не видя границ своей чудодейственной власти. Ибо то, о чем только грезил государственный муж, уже отчасти сбылось с великим певцом, однажды имевшим случай испытать свою власть над грубой толпой. Это было в Лондоне, в одном из его темных и опасных кварталов, куда Энрико один, без спутников, пробирался на свидание: внезапно окруженный толпой грабителей, угрожавших его жизни, он пением заставил их отказаться от своего преступного намерения и, продолжая петь, довел их, как рачительная бонна ведет послушных детей, до самых ворот полицейского участка, куда и сдал их, немых от восхищения и неожиданности.

Вполне естественно, что при таких условиях Энрико Спаргетти проникся верою в свою сверхъестественную мощь и порою, глядя на себя в зеркало, не на шутку задумывался о своем божественном происхождении.

2

Как и все певцы, не имеющие времени для литературных занятий, Энрико долгое время совсем не знал, кто такой Орфей, именем которого часто называли его поклонники и журналы; и однажды он обратился с вопросом по этому поводу к своему секретарю и другу, Гонорию ди-Виетри.

– Скажи мне, кто был этот Орфей, имя которого я так часто слышу как похвалу? Мне это надоело. Когда он жил? И неужели этот тенор был настолько лучше меня, что меня украшают его именем? Я в этом сильно сомневаюсь.

Почтенный и высокообразованный Гонорий в ответ рассказал певцу миф об Орфее, который своей песней чаровал леса, скалы и диких зверей пустыни.

– Деревья, – повествовал Гонорий, – привлекаемые силою прелестных звуков, толпились вокруг певца и давали ему тень и прохладу; очарованные скалы теснились к нему; птицы лесные оставляли свою чащу, а звери – свои трущобы и тихо и кротко внимали сладким песням Орфея...

– Так это сказка! – со вздохом облегчения сказал гордый певец. – Ну а как же окончил Орфей свою жизнь?

– Очень дурно, Энрико, – отвечал Гонорий, – он был безучастен к женщинам, которых привлекал своими песнями, и за это был насмерть растерзан фракиянками. Берегись, Энрико!

Певец засмеялся:

– Да, в этом мы похожи, и я также буду когда-нибудь растерзан. А скажи, мой друг, этот Орфей мог бы покорить того графа, который дал мне орден?

– Мог бы, я полагаю.

– А мог бы он пением привести грабителей в полицию?

– Также мог бы, я думаю. Но ведь это сказка, а ты живешь, и тебе не в чем завидовать ему, несравненный.

Энрико задумался и, помедлив, сказал:

– Да, я живу. А хочешь, я завтра утром выйду на площадь и подниму восстание в Италии?

– Не сомневаюсь, что ты можешь это сделать, – ответил осторожный и расчетливый Гонорий ди-Виетри, – но не знаю, что ты дальше будешь делать с восставшими. Чтобы ими управлять, ты должен будешь петь непрерывно, днем и ночью, а это едва ли выдержит твое здоровье!

Оба посмеялись шутке, и на том окончился их разговор. Но самолюбивый и гордый Энрико не мог примириться с тем, что, хоть и сказочный, Орфей стоит во мнении людей выше его, и, снова слыша его имя, произносимое в похвалу, каждый раз чувствовал как бы укол в самое сердце. Если бы еще он мог хоть раз услышать пение Орфея и сравнить голоса и манеру! Очень возможно, что это сравнение указало бы преувеличенность славы Орфея и рассеяло предрассудок, от которого теперь он должен так несправедливо страдать. Но скалы, которые теснились к певцу? Конечно, скалы – это глу-

пость, о которой не стоит говорить, но птицы и звери? Правда, теперешние птицы напуганы человеком и не так доверчивы, как были тогдашние; да и зверей теперь можно найти только в зверинцах – но все же?

Уже совсем позабыл о разговоре занятый делами Гонорий, когда певец неожиданно спросил его, по привычке руководиться его знаниями и советами:

– Послушай... а этот Орфей мог своим пением укрощать и увлекать домашних животных? Например, коров, собак и кур.

Гонорий подумал и ответил осторожно:

– Я не знаю, существовали ли тогда домашние животные, которых ты перечислил, но если существовали, то, конечно, и их Орфей очаровывал своим пением. Но ведь это сказка, Энрико, и ты напрасно так много об этом думаешь.

– Мне все равно, сказка это или нет! – сердито ответил певец. – Но мне это раз и навсегда надоело. Чтобы я никогда больше не слышал об этом Орфее, о котором столько лгут!

Испуганный секретарь поспешно согласился, но это лишь по виду успокоило взволнованного и оскорбленного певца. И чем выше были его успехи, чем больше несла ему судьба цветов, денег, любви и поклонения, тем ненавистнее становился лживый образ непревзойденного Орфея, чаровавшего не только людей, но и животных. Здоровье знаменитого певца заметно портилось, и часто удивленные и испуганные поклонницы не знали, чему можно приписать внезапные

вспышки гнева и раздражения, с каким встречал несчастный Энрико их нежные взгляды, цветы и лобзания. А он, хмурый и печальный, скупно отвечая на поцелуи горячих и душистых губ, думал в отчаянии: «Ах, если бы ты была корова, очарованная мною! А теперь чего стоит твое поклонение? Ничего».

Наконец терпение Энрико истощилось, и в один знаменательный день он сухо сказал своему секретарю Гонорию ди-Виетри:

– Слушай меня и, пожалуйста, не возражай и не спорь. Это мое решение. Я хочу доказать Орфею и его поклонникам, что я, Энрико Спаргетти, могу сделать не меньше, чем он, и что мой дар очарования не ограничивается только людьми. К следующему воскресенью собери в моем загородном саду три или четыре дюжины ослов...

– Ослов! – воскликнул изумленный и ужаснувшийся Гонорий, но певец гневно топнул ногой и закричал на высоких нотах своего прекрасного голоса:

– Ну да, ослов! Ослов, я говорю тебе! Если ты и тебе подобные понимают меня, то почему ты смеешь думать, что и ослы не поймут! Они очень музыкальны.

Гонорий почтительно склонил голову:

– Твое желание будет исполнено, несравненный. Но я первый раз слышу, чтобы ослы были музыкальны – наоборот: и пословицы, и опыт народов учит нас, что животные этой породы совершенно лишены слуха и критического чутья.

Так, в басне о соловье...

– А ты сам очень любишь вульгарного соловья? – возразил певец и добавил: – Оставь, Гонорий, эту жалкую клевету на ослов, в которой, как я убежден, столько же преувеличения и неправды, как и в славе этого проклятого Орфея. Несчастье ослов не в том, что они лишены голоса, но не слуха и потребности в пении; самая их потребность кричать, которая обходится им так дорого и придает их крику сильно драматический характер, свидетельствует о их глубокой музыкальности. Кого они слышат в своей жизни? Только погонщиков, голос которых груб и отвратителен. И ты увидишь, мой друг, что будет с ними, когда их слуха коснется мой вдохновенный голос: я им спою все то, что я пел бразильскому императору, грабителям и английской королеве.

Напрасны были уговоры трусливого и благоразумного Гонория: непоколебимо веря в свою чародейскую мощь и всемогущество, Энрико ничего не хотел слушать и под конец даже поколебал самого секретаря: быть может, Энрико и прав, думал последний, отправляясь нанимать ослов, и в этих животных не все еще погасло для искусства, сила же Энрико воистину безгранична!

Уверенный в своем торжестве, Энрико пожелал придать состязанию особую пышность и велел пригласить синдика и многих других почетных лиц города, не считая обычного состава поклонниц и поклонников, которые были неизбежны и появлялись во всякий момент, как только раскры-

вал он рот для пения. Но первые три ряда кресел он, с надлежащим извинением перед почтенными гостями, предоставил ослам, желая иметь их непосредственно перед своими глазами, остальным же слушателям оставил боковые и задние места.

Одно только обстоятельство несколько удивило и даже огорчило славного певца: оказалось, что за каждого приглашенного осла его собственнику надо платить от трех до пяти лир. Это был первый случай из жизни Энрико, когда не публика ему платила, а он платил публике; но здесь его успокоил Гонорий, сказав, что это недорого сравнительно с обычными ценами на первые места в его концертах; и, молитвенно вздохнув, добавил:

– А если ты победишь в состязании, в чем я теперь не сомневаюсь, я с полным правом подниму плату на следующие твои концерты, и, таким образом, ты останешься в выгоде. Главное – победить!

– А в этом уже положиись на меня, – ответил Энрико, смеясь и почти любовно думая об ослах, еще не подозревающих, какое ждет их наслаждение.

Тем временем, пока рабочие спешно строили в саду певца эстраду для приглашенных и раковину для самого артиста и призванные декораторы украшали все это гирляндами цветов, флагами и фонариками, пока весь город взволнованно говорил о дерзкой затее гениального Спаргетти и спорил, разбившись на партии, об исходе состязания, – сам Энрико и озабоченный Гонорий каждый делали свое дело.

Поколебленный в традиционном взгляде на ослов, но все еще окончательно не уверенный, Гонорий ди-Виетри принимал все возможные меры к тому, чтобы хоть несколько приготовить этих непривычных слушателей к предстоящему удовольствию; решив затратить даже лишние деньги, он уже три дня выдерживал ослов в саду, перед раковиной, чтобы приучить их к обстановке, и старательно оберегал их от всего волнующего, печального и раздражающего, способного нарушить их столь необходимое душевное равновесие. В справедливом предположении, что, будучи сыты, ослы приобретут большую способность к сосредоточению и вниманию, он усиленно питал их и даже по совету врача тайно примешивал в их пищу значительные дозы бромидов и других успокоительных лекарств.

Усилия его увенчались успехом, и к воскресенью хорошие, тщательно вычищенные ослики с их маленькими

детскими ножками и задумчивыми, даже печальными глазами напоминали скорее группу превращенных ангелов, нежели упрямых и грубых животных; одолеваемые бромом и сытостью, они почти перестали и кричать, и лишь при восходе солнца, на рассвете воскресного дня, два или три ослика с мучительными потугами выразили громкий привет лучезарному светилу, разбудив и слегка напугав чутко дремавшего Гонория.

Со своей стороны, Энрико Спаргетти тщательно приготовил и обдумал то, что в противоположность утилитарным заботам Гонория можно было назвать «духовною пищею» для ослов. Перебрав весь свой богатый репертуар, артист остановился на таком подборе песен: для первого отделения – нечто лирическое, любовно-мечтательное и задумчивое, погружающее душу как бы в некий волшебный и нежно-печальный сон.

Для второго, после краткого антракта, – каскад веселых и ликующих звуков, игривых песенок, капризных трелей, как бы знаменующих восхождение солнца после лунной ночи и щебетание птиц; и, наконец, для третьего, решительного, – трагический взрыв страсти, вопли жизни, побеждаемой смертью, томление вечных разлук, любви безнадежной и горькой... нечто такое, над чем может зарыдать и камень! И, если скалы, приходившие к Орфею, еще не потеряли окончательно способности к передвижению, они придут, чтобы вместе со всеми приветствовать победоносного певца!

Наступило воскресенье. Концерт был назначен днем, и весеннее солнце ослепительно сияло, когда приглашенные заняли свои места, восхищаясь сказочной красотой сада и с трепетом ожидая появления на эстраде своего кумира, Энрико Спаргетти.

Первые четыре ряда, предназначенных для ослов, были превращены в маленькие изящные стойлища, обитые красным бархатом; и когда животные, украшенные пучками лент и высокими перьями, заняли свои места, остальная публика встретила их шепотом восхищения; кроткие и задумчивые, со своей мышшиной блестящей шерстью, отливавшей серебром под лучами солнца, они были прекрасны! На всякий случай, дабы кто-нибудь из ослов не выскочил раньше, они были привязаны к своим местам толстыми шелковыми шнурами.

И вот – при громе аплодисментов показался на эстраде Энрико Спаргетти, несколько бледный, несколько взволнованный, но решительный и прекрасный в своей смелости; как он рассказывал потом, даже перед императорами он не испытывал такого волнения, как в этот раз. Обычным низким поклоном ответив на приветствия, он с легкой насмешливостью, оцененной журналистами, послал несколько воздушных поцелуев ослам и, сделав бесстрастное лицо, приказал аккомпаниатору начинать.

И все смолкло.

При первых же звуках чарующего голоса, превратившего

все земное в небесное, слушатели были покорены и совершенно забыли об ослах, ранее вызывавших такое тревожное любопытство; и когда кончилась первая песенка, за нею вторая и третья, никто и не заметил, с какою трогательной задумчивостью, с каким глубоким вниманием слушали певца ослы. Но Энрико и Гонорий торжествовали, переглядываясь, и Энрико даже шепнул аккомпаниатору значительно:

– Это – победа!..

– Si, signor!..⁴ – ответил аккомпаниатор восторженно и покорно.

Надо думать, что молчание ослов обуславливалось скорее какими-то их собственными соображениями, нежели прелестью и очарованием звуков, ибо при четвертом, как раз наиболее трогательном романсе, два осла сразу взревели, – в начале, как всегда, беспомощно захлебываясь и стеная, в середине возвышая голос почти до раскатов пророческого крика и кончая теми же беспомощными и страдальческими выдыхами. Крик этот был настолько неожиданный, что задние ряды, забывшись, закричали: «Тише!», а Энрико, бледный, но вежливый, сделал аккомпаниатору знак переждать и дать гг. ослам откричаться.

Но лишь только Энрико снова открыл рот, уже не два, а десять, двадцать ослов нестройно взревели, путаясь в головах друг друга и своими громовыми раскатами покрывая не только нежнейшее пианиссимо певца, но и самые его отча-

⁴ Да, господин! (*ит.*).

янные форте. Напрасно расстроенный Энрико повышал голос и вкладывал всю силу выразительности в свою изящную мимику – лишь моментами, в случайные прорывы ослиного крика улавливало ухо его божественные трели, рыдания и слезы: уже все четыре дюжины ослов, взаимно заражаясь, мрачно ревели, как в последний день земли.

Так, при гробовом молчании оскорбленных поклонников и замирающем ослином вопле, закончилось первое неудачное отделение.

– Это же невозможно! – говорил в уборной Энрико, в слезах припадая на грудь также потрясенного Гонория. – У меня чуть не лопнули голосовые связки! Хоть ты-то слышал меня? Я себя не слышал!..

– Конечно, я слышал тебя, мой бедный друг. Но я говорил же тебе, что ослы...

– Ах, оставь! – воскликнул Энрико. – Но почему они начинают выть как раз тогда, когда я открываю рот, и умолкают вместе со мною? Ты слышишь: сейчас они тихи, как ангелы. Отчего это?

Гонорий нерешительно ответил:

– Да, молчат. По-видимому, на них все-таки действует твое пение, и как только ты...

– Но ведь это же глупо! Ведь так они ничего не могут слышать! Ах, Гонорий, а ведь над этой песенкой рыдал сам император бразильский! – горестно восклицал певец, роняя крупные алмазные слезы. – А как я для них старался! Я сам

– сам! – плакал для этих ослов, чего не делал даже для английской королевы... Нет, я их проберу: долой лирику – я дам им драму, и тогда мы увидим. Я их перекричу!

– Пожалей голос, Энрико, я умоляю тебя! – плакал Гонорий, поддерживаемый рыдающим аккомпаниатором:

– Пожалейте, синьор!

– А Орфей жалел? Нет, я их перекричу! Я их перереву, если с ними нельзя иначе. Звонок!

При могильном молчании людей и ослов началось второе отделение; и люди казались взволнованными и утомленными, а ослы свежими и спокойными, как будто они только что искупались. Но и в этот раз все усилия Энрико оказались бесплодными; дружно взревев при первых же нотах, ослы поднялись почти до пафоса, и трудно было понять, откуда столько дикой мощи в этих маленьких ангелоподобных животных! Они ревели, как горная лавина, и напрасно, бегая по сцене, поднимаясь на носки и краснея от натуги, старался перекричать их божественный певец – слушателям был виден только его открытый рот, безмолвный, как колодец.

Пользуясь минутным затишьем, Энрико прокричал аккомпаниатору:

– Посмотри на того, с левого края: он все время молчит!

– Si, signor.

– Он будет моим первым учеником! Начинай!

– Si, signor.

И снова дружно заревели ослы, и – о ужас! – к ним присо-

единился и тот, кого Энрико в тщетной надежде приуготовил в свои первые ученики; более того: именно он оказался тем воистину несравненным по мощности горлодером, который сделал дальнейшее состязание невозможным без опасности для жизни и здоровья присутствующих. Полный свежих сил и бодрости, он, шутя, покрывал голос уже охрипшего Энрико в то время, как остальной хор мучительно терзался и захлебывался, а через цветы и кресла уже пробирались погонщики с палками и дубинами, ведомые что-то кричащим Гонорием.

Так печально окончилось состязание Энрико Спаргетти с Орфеем, и молчаливо разъезжались приглашенные, когда Энрико сказал едва слышно ужаснувшемуся секретарю:

– Гонорий, пригласи доктора. Кажется, я сорвал голос.

Эпилог

К счастью, тревога оказалась ложною, и через месяц утомленный голос знаменитого певца восстановился до прежнего блеска и силы. В то же время благодаря стараниям Гонория самому случаю было придано лестное для певца толкование, и журналы вполне согласно объяснили непрерывный рев ослов именно тем, что они были восхищены и покорены чарующим *bel canto* великого артиста. И прозвище Орфея утвердилось за ним навсегда.

Сам же Энрико говорил, улыбаясь, что ослы хороши для перевозки тяжести и других работ, но как слушатели оставляют желать многого, и безумен тот, кто захочет перекрычать осла.

Так он шутил с друзьями, прекрасный и сияющий. И никто не знал, даже Гонорий, что душа его всю остальную жизнь страдала от обиды и что вид мирного ослика, трудолюбиво везущего повозку, вызывал в нем дрожь и чувство, близкое к паническому страху.